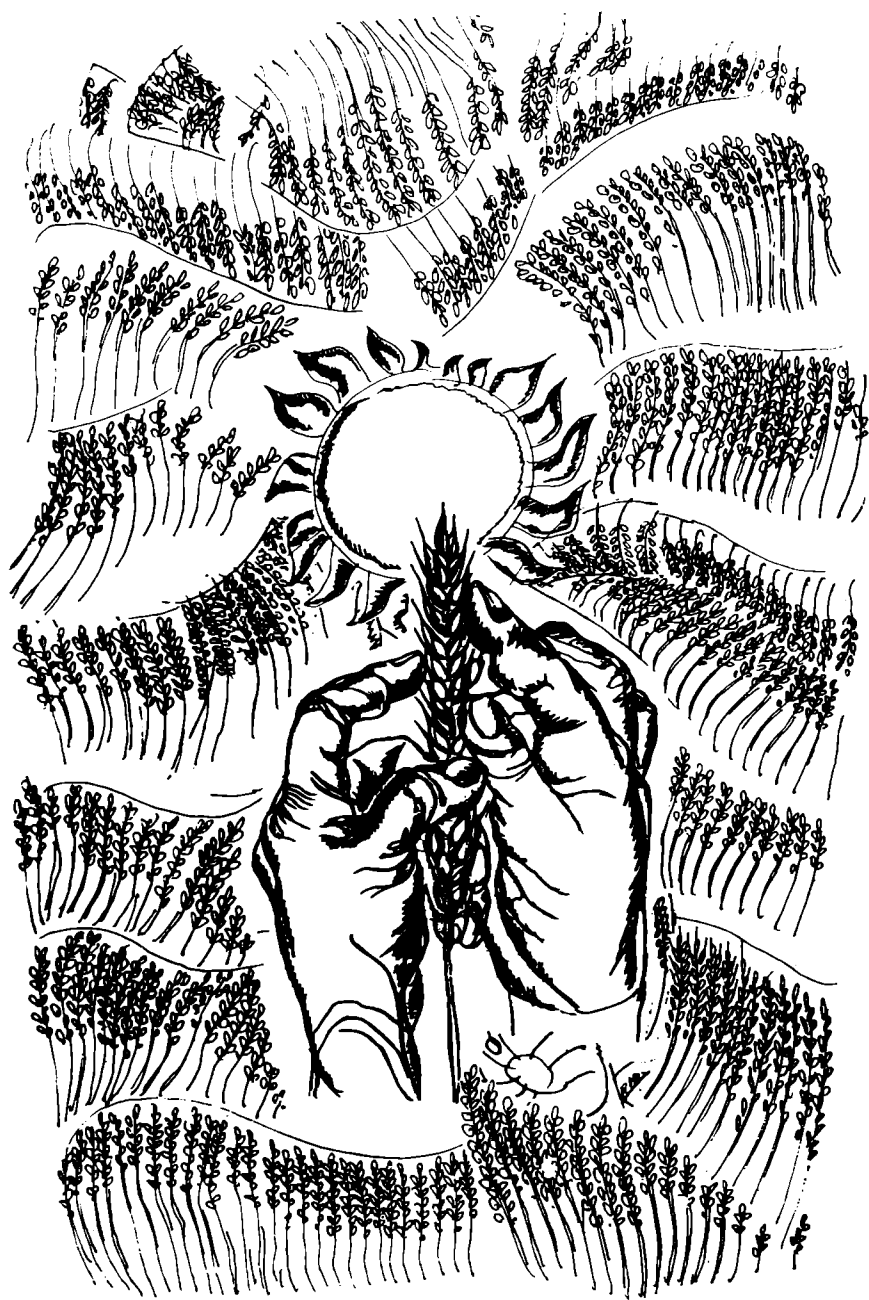




ружба ародов

11
—
1984





А. РЫБАЧУК, В. МЕЛЬНИЧЕНКО.

**Труд. По мотивам поэзии
Л. Первомайского.**

Дружба Народов

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

11
—
1984

ОСНОВАН В 1939 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

МОСКВА

«ПОМОГАЯ ПАРТИИ ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДУХЕ, ФОРМИРОВАТЬ ПОДЛИННО СОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР, НАШИ ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО МНОГОЕ СДЕЛАЛИ, ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ ПРИРОДУ ТАКОГО ХАРАКТЕРА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ПРАВДИВЫЕ, ПОЛНОКРОВНЫЕ ОБРАЗЫ ЛЮДЕЙ, БЕЗЗАВЕТНО ПРЕДАННЫХ НАРОДУ, СОЦИАЛИЗМУ, ВОПЛОЩАЮЩИХ ГЕРОИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО МИРА».

К. У. ЧЕРНЕНКО

Из речи на Юбилейном пленуме
правления Союза писателей СССР

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор Сергей БАРУЗДИН

Первый заместитель главного редактора Леонид ТЕРАКО

Ануар АЛИМЖАНОВ, Лев АННИНСКИЙ, Альгимантас БУТКОВСКИЙ (ответственный секретарь), Имант ЗИЕДОНИС, Мирон ЩУК, Алим КЕШОКОВ, Юрий КИРШИН, Вадим КОЕВ, Георгий ЛОМИДZE, Елена МОВЧАН, Рафаэль МУХОМОВ, Александр ОВЧАРЕНКО, Борис ПАНКИН, Вардгес ПЕТРОВ, ДЕСНЯК (зам. главного редактора), Инна СЕРГЕЕВА, Александр ХОЛОПОВ, Иван ШАМЯКИН, Константин ЩЕРБАКОВ,

Александр РОШКО
Кале-
ЭЛЬНИ-
ЧЕНКО,
ЮДЕНКО-
Юнислав

ДИБАШ КАИНЧИН

С того берега

П О В Е С Т Ь

С АЛТАЙСКОГО.

Перевод

Е. ГУЩИНА

Сумрачно в юрте, душно. Пахнет только что сваренным молодым мясом, сывороткой, оставшейся от молочной самогонки — арачи, пахнет горячим молоком, стоит не выветрившийся еще жар от очага, горевшего здесь весь день.

— Возвращайся поскорее, сынок, — мягко проговорил старик, сидевший подле огня, и вздохнул.

— Сразу назад! Сразу! — резко и повелительно отозвалась старуха с женской половины. Была она маленькая, ссохшаяся, кажется, выйди она из юрты, подхватит ее ветер и унесет, словно сухой лист, но глаза посверкивали грозно. — Нечего тебе делать в доме кержака. Хватит на него батрачить. — Покосилась на старика, как бы подталкивая его, чтобы еще что-то сказал сыну, но тот сделал вид, будто не заметил ее взгляда.

Парень, восседавший рядом с отцом, с досадой отложил баранью кость, которую не успел обглодать, и задумался.

Тихо стало в юрте. Все ждали, что скажет парень. Казалось, даже бурдюк для кислого молока — чегеня, выделанный из цельной шкуры кобылицы и висевший неподалеку от очага, и тот вроде прислушивался, нет ли ответа. И еле видимый в темноте, тускло отсвечивающий большой сундук, и лежащее на нем седло с медными наклейками, и свисающие сверху круглые пузыри с маслом, и связки таежного лука — слизуна, и большой казан на женской половине, и деревянная ступа возле дверей — все притихло в ожидании. Чудилось, будто макушка скалы, лохматая от колючек и вечно с любопытством заглядывающая в юрту через дымоход — тундук, и та пригнулась, тоже выжидающе замерла.

Но парень ничего не сказал.

— Ты, однако, там за Федосьей увиваешься, — сурово продолжала старуха, вытирая поварешку. — Сердцем чую, за ней. Но и думать не моги — взять жену из другого народа. Она любить тебя будет, пока ты в силе, пока добычлив. А чуть что с тобой случится, отвернется. И о нас, твоих родителей, не позаботится. Возьмешь хоть плохонькую, да свою, до конца дней будет тебе верная жена. Я прожила долгую жизнь, всякого навидалась, знаю. Не слушаешь матери, потом поздно будет... Не только о себе думай, о нас тоже. А то ведь уже и по айлу пройти совестно: вдруг встретится Килин или его жена Чечек? Как им в лицо смотреть? Ведь у нас с ними сговор. Когда ты был совсем мал и ихняя дочка мала, мы сговорились поженить вас. По рукам уда-

рили, арачку пили, все честь честью. Теперь девочке уже семнадцать. Хорошая выросла, красивая. Да что тебе говорить; будто сам не знаешь. И тебе, сын, уже двадцать один год стукнул. Пора ввести в юрту молодую жену, чтобы помогала нам, старым людям. Если ты хороший сын, так не осрамишь меня, свою мать, не нарушишь закон предков. Ведь ты из чрева моего, моя плоть и кровь.

И опять парень промолчал.

Нарушая тяжкую тишину, из подвешенного мешка в деревянное ведро, звонко цокая, падают капли сыворотки. За тонкой стенкой из лиственничной коры шумно вздыхает корова. И все мощнее в вечернем сторожке затишь наплывает грохот Катуня. В этой неистовой реке есть великая сила; гневается, страдает, грозит и плачет оттого, что никогда и никому не высказать ей своей тайны, своей сокровенной мысли.

— Неужто не помнишь, сын,— заговорил и старик, огладив широкую седую бороду огромной ладонью и приглушив голос, от которого в былые времена колыхались стенки юрты,— что твой старший брат погиб в битве с беляками, а твоего среднего брата взяла к себе Катунь? Двое его детей малы. Младшей всего три месяца. Подумай сам: кто станет их растить? Мы с матерью совсем старые, за нами самими уже нужен догляд. Кто дров на зиму заготовит? Кто сена накосит и привезет? Кто за скотиной ходить станет? Тяжко говорить такие слова, а еще печальнее, что они, как вижу, не доходят до твоего сердца. Пойми, сын, нечего тебе сейчас делать на том берегу. Я посылал тебя туда с умыслом, чтобы поработал на Каллистрата, а тот заступился бы за нас, коли станут сгонять с места. А теперь в аиле Советская власть и нас уже никто отсюда не прогонит. Жизнь моя идет к закату, и тебе надо возвращаться домой. Ведь, кроме тебя, у нас никого больше нет.— Голос старика надсадно дрогнул.

Раньше отец никому не выказывал своей слабости. Слова жалобного от него не услышишь, бывало, а нынче... Стал сдавать помаленьку. Завелась, видно, как он сам говаривал, в могучем, неохватном кедре трухлявина. А ведь как могуч и силен был. Время не щадит.

Огонь в очаге отбрасывает красноватые блики на крутой, как отвес скалы, лоб старика, лицо его кажется отлитым из меди. Глаза ползукарыты, тусклы. Никогда раньше не был отец таким. Лицо его всегда было воодушевленным. Взгляд прямой, честный, взгляд человека, достойно прожившего жизнь. От его большого тела, от каждого движения веяло уверенностью в своей силе, правоте. Умение помочь, посоветовать, напутствовать мудрым словом, пристыдить за проступок угадывалось во всем. Хотя почему бы ему и не быть таким? Столько прожито, испытано, столько раз достигали его беды. Да и казалось: опора крепкая на старости лет — три сына. И дочь вон еще скоро приведет в дом зятя — кюйу. Нарождает внуков.

«Эх, отец, отец,— с горечью подумал сын.— Стоял старый кедр, и из семян его выросли рядом три молодых стройных деревца — три сына. В грозу ударила молния в старшего — наповал уложила. В половодье вывернуло с корнем и унесло другого. У отца — кедр ветви высохли от горя, и раны — затеси — не затянутся никак новой корой — мало соков идет от старых корней. Остался я, самый последний, младший. Молодой кедр. И как быть мне? Люди говорят: пойдешь в отца, хорошим человеком будешь. А как стать похожим на отца? Разве такую же бороду отрастить? И правда, борода у отца немислимо большая, целая копна. Садится на лошадь — конец бороды под кушак подтыкает, чтоб не зацепилась за повод или чумбур. Потому что однажды, когда умирал стригунка, борода сплелась с арканом, вырвало из нее большой клочок волос. Ту отметину до сих пор не затянуло. Белый кругляк-проплешина остался на правой щеке. Нет, не в бороде дело». Сын всегда уважал и побаивался отца, хотя тот его ни разу

пальцем не тронул. Ему и в голову не приходило сделать что-нибудь поперек воли отца, послушаться его. И не из страха, а, скорее, из понимания, что отец всегда посоветует только разумное. Спокойно и просто жилось ему, младшему сыну. Отец — вот его помощь и защита. Так было раньше. А сейчас сидит перед ним согбенный старик, которому уже требуется посох. Слаб стал, и, значит, пришла пора поступать, как захочется самому, не слушаясь ничьего совета.

— Я погляжу, отец,— сказал сын, посмотрев на старика. Повернулся к матери.— Ладно, мать.— Он ожидал, что родители начнут ругать его, впервые послушавшегося их. Но те молчали.— Пойду погуляю.— Он проворно вскочил на ноги, ударился головой о керем — жердину, на которой сушились кругляшки домашнего сухого сыра — курута. Дым и пепел закружились по юрте, сверху посыпалась труха. Если бы дома было все ладно, мать бы ругнулась добродушно: «Экий увалень у нас парень, э-э, совсем отвык от родной юрты. Позабыл про керем».

Парень шагнул из темной юрты на свет и вздохнул свободно. Тяжко ему было при стариках и от разговора, и от дум, ото всего. Теперь отдыхал душой, вбирая в себя свежий воздух, воздух родных мест, где всякая трава имела свой неповторимый запах. Густо и остро пахло не только чебрецом, лишайником, пометом сенокоса, но и замшелыми камнями, и безлиственными колючками, и сухими былинками.

Южные каменные гряды гор, суровые лики скал, беспорядочные нагромождения осыпей — курумников дочерна накалились под дневным щедрым солнцем и сейчас весь свой жар отдавали ночи. И, если бы не ледяное дыхание реки Катунь, в долине было бы душно, как в бане. Нечем было бы дышать.

Хотя в узком треугольнике, что вычертили гребни гор в небе, было светло, тут, на дне ущелья, уже наступил вечер. Тот, кто ходит в просторной шапке, не углядит горной вершины. Рассказывали, будто один гость захотел взглянуть на гребни, резко вскинул голову вверх, да упал на спину и вывихнул себе шею. Кругом сплошная стена — изгородь из скал-великанов, отсюда, кажется, и змее не выбраться. Но здесь протекает Катунь, значит, все-таки есть где-то выход-ворота.

На поляне, вытянутой вдоль берега Катунь, стоит с десятков юрт, светит в темное небо тундуками. Люди только что подоили коров, заперли в загоны овечек и коз и сейчас ужинают, пьют горячее молоко. Доносятся негромкие, спокойные голоса. В юрте, что с краю, поскрипывает колыбель, позвякивают подвешенные на ней бусы из овечьих бабок, и молодой женский голос нежно выводит нехитрый мотив колыбельной. Где-то неподалеку кричит молодуха, подзывая сына:

— Э-эй! О-ой! Ступай домой, сорванец! И так целый день где-то пропадал! Иди, ремнем тебя угощу!

День переходил в ночь. Еще юрко прошивали сгустившийся воздух ласточки-иголки, но уже вылетели на охоту летучие мыши, неуклюже хлопающие обвислыми крыльями.

Парень привязал на вершине холма лошадь попастись, и теперь она отчетливо проступала из сумрака светлым живым пятном. Виднелись очертания церкви с недостроенным куполом, а возле большого черного камня, что повыше церкви, слышался гомон — там собралась молодежь. В другое время парни и девушки так бы и сновали между юрт с возгласами «На игрища! На игрища!», созывая друг друга. Но сейчас в селе стряслась большая беда — утонул в Катунь человек, их сородич. Поэтому молодые собираются в излюбленном месте тихо и играют негромко, несмело. Но все же играют. Беда бедой, а жизнь продолжается, она не останавливается со смертью человека.

Ноги парня сами собой повернули к черному камню. Нет, не играть он туда шел, играть ему нельзя — брат его родной только что утонул. Посмотреть шел, как забавляются другие. На другом берегу

Катуни игрищ не водится, разве что изредка свадьбы справляют. «Всего лишь глянуть со стороны иду,— думает парень оправдывая себя.— Посмотрю, как играют другие, может, и полегчает на душе, забудусь хоть на малое время. Отдохну от всех тревог, а потом на тот берег. К Федосье. Совсем недолго дома пробыл, а уж так соскучился по ней, будто век не видал».

— Учар! — услышал сзади громкий окрик.

Парень остановился. Его догонял друг Салкын.

— Ну, как съездил? — осторожно, даже бережно спросил Салкын, пожимая руку друга.

Учар замялся.

— Как тебе сказать...

— Не нашел?

— Нет,— тяжело вздохнул Учар.— В заверти у Кара-Бома нашел сломанное весло. Только не знаю, чье оно. Братово или рыбаков каких.

— А я позавчера вернулся,— тихо проговорил Салкын.— Видел, как ты вдоль реки шел и шестом под камнями шарил.

— Я тебя тоже видел.

— Знаешь, Учар, скажу прямо. Не найти тебе брата. Катунь сильно поднялась, из берегов вышла. Вся в пене, в мусоре, мутная. Зря только изводишься. Если и вынесет где, то далеко-далеко, в низовьях.

— Все равно должен искать,— угрюмо проговорил Учар.— Ведь я брат. Ты это понимаешь?

— Понимаю. И помогал тебе, как другу. И еще хотел бы помочь, да не смогу. Дела комсомольские... На совещание в аймак вызывают. Послушай, Учар... А ты решил?

— Что решил? — не понял Учар.

— Ну как что? Забыл? В комсомол будешь вступать или как? Обещал же подумать!

— Мне сейчас не до того.

— Вот это ты зря,— лицо у Салкына стало серьезным.— Проявляешь несознательность. Комсомол сейчас важнее всего.— Снисходительно усмехнулся.— И не удивительно, что ты так незрело рассуждаешь. Ведь живешь пока на том берегу. И я тебе как друг советую поскорее вернуться к нам. Пойми, Каллистрат твой — бай и кулак. Нам, беднякам, классовый враг. И ты, батрак, помогаешь ему богатеть. А может, думаешь завладеть его богатством, в зятя к нему набиваешься? Только мы скоро твоего Каллистрата к ногтю. Понял? Как бы и ты вместе с ним...

— Да ни о чем я не думаю,— пожал плечами Учар.— А Каллистрат не такой уж плохой человек, если на то пошло. Добрый он.

— Добрый, говоришь? — весь напряжился Салкын.— Защищаешь мироеда?

— Не дергай меня, Салкын. Разве мы с тобой одним арканом связаны? Думай как хочешь, а я по-своему.

— Э-э... тогда ты и вправду мне враг,— презрительно сощурился Салкын.— А я-то еще хотел просить тебя потолковать с молодежью на том берегу. Комсомольскую ячейку там хотим создать, думал, поможешь. А ты, оказывается, контра. Да я тебя...

— Ты? Меня? — Учар схватил Салкына за ворот рубашки.— Кого пугаешь?!

И они, наверное, подрались бы. Но тут послышался возмущенный девичий голос:

— Что вы тут делаете? А ну-ка пойдемте на игрища! — Учар узнал девушку. Это была Шыранкай. Она смело встала между парнями и, взяв обоих под руки, потащила за собой. Спросила ласково: — Что нового на том берегу, Учар?

— Да все по-старому,— запинаясь, покраснев, отозвался Учар.

Шыранкай, по-русски «смышленная», была та самая девушка, про

которую говорила Учару мать. Названная, суженая его по сговору. Уже отдали часть калыма родителям девушки, так были уверены, что породнятся.

Учар и Шыранкай в детстве всегда играли вместе, а потом Учар ушел на тот берег и редко встречал Шыранкай. И, лишь когда изредка Учар возвращался домой, его родители тотчас же собирались в гости к родителям девушки и сына непременно тащили с собой. Пока старшие пили чай и беседовали обо всем на свете, Учар и Шыранкай сидели молча с пламенеющими лицами, боясь взглянуть друг на друга. Они знали про сговор, стыдились один другого на игрищах, чтобы избежать насмешек сверстников, всегда старались держаться подальше друг от друга.

Вот такие были у них отношения. Но этой весной шел как-то Учар к своей лошади, чтобы отвести ее на выгон с густой травой, и попала ему навстречу Шыранкай. Не свернула, как обычно, в сторону, а подошла к парню, смело посмотрела ему в глаза, сунула в руки что-то невесомое, мягкое и пошла себе дальше, не сказав ни единого слова.

То был кисет. Весь расшитый цветными нитками, изукрашенный тоненькими кожаными ремешками.

Хорошо ему стало, приятно на душе. Никогда еще не получал подарков от девушек, Салкыну, тому уже несколько кисетов подарили да еще и платочек. Вот ведь какая она оказалась, Шыранкай: для него, Учара, старалась, вышивала вечерами тайком, думала о нем и все время носила кисет с собой, чтобы отдать при встрече... Но ведь знала же, что Учар не курит. Может, для кого другого вышивала, а отдала ему? Нет, не должно быть такого. Ему шила кисет, никому другому, и как сладко это сознавать.

После этого Учар стал искать встречи с Шыранкай, но она почему-то, наоборот, избегала его.

А сейчас вот Шыранкай совсем рядом и нисколько не стыдится Учара. И перед Салкыном не чувствует неловкости. Так крепко взяла за руку, не вывернешься. Хорошая выросла девушка, работающая, мастерица-рукодельница. Многие просят ее пошить шапки из лисьих лапок, они у нее получаются — заглядение, ни с какими другими не спутаешь. А какая сама Шыранкай красивая! Ступает легко и сильно, как молодая маралуха, и густые ее черные волосы трепещут, развеваются на ветру. Пахнет от нее свежим травяным соком, видно, полола огород. Очень выросла она за эту весну, почти догнала Учара, стала ладная, гибкая. Глаз не отвести. Любой парень сватов зашлет. И родители ее слынут хорошими, достойными людьми, и дом — полная чаша. Уж они-то не отступятся от своего слова, да и родители Учара верят: не рушим закон предков. И вправду, что делать? Как быть? Ведь и Федосья красива. Он, Учар, без нее совсем пропадает.

— Э-э, оказывается, к нам Учар пожаловал! — обрадовались парни и девушки, окружая их, когда те втроем подошли к черному камню.

— Ну, отец, как поступит наш сын? — спросила старуха, когда Учар вышел из юрты. — Послушается ли нас? Тебе, как отцу, надо бы построже с ним поговорить. А то и приказать. Слышал, как он нам ответил? («Подумаю, отец. Посмотрю, мать»). Что это за разговор? Разве можно так отвечать родителям? — Она взяла шкуру ягненка и принялась ее мять. Не могла ни минуты усидеть без работы, успокаивала ее всегда работа. Зато старик сидел без движения, будто дремал, никакое занятие на ум не шло.

— Да не молчи ты, — вспылила старуха. — Скажи хоть слово. Вся душа изболелась, а он словно воды в рот набрал.

Старик вздохнул.

— Слишком много времени прошло с тех пор, как отправили нашего сына на тот берег. Почти тринадцать лет. Привык он там, тяжело ему будет возвращаться. Разве родная кровь потянет назад да нас, стариков, пожалеет... Видно, Каллистрат и Аграфена тоже стали для него родными. А тот берег Катуня считает вторым своим домом... Что ж, поглядим. Время покажет. Давно надо было взять его оттуда, а мы все чего-то выжидали. Вот и дождались.

Старик вдруг начал подниматься.

— Ты куда? — спросила старуха.

— Пойду к Каракою. Хоть поговорим, душу отведу. Сколько мне в юрте сидеть?

— Ну ступай. Только к Катуня не ходи. Боюсь я за тебя. Успокойся, смягчи свое сердце. Ведь у нас еще дочка, сын есть, надо о них думать. А случится что с тобой, как их воспитаю одна?

— Знаю. Зачем мне это говоришь, как неразумному?

Старик Курендай вышел на улицу, осмотрелся. Темнота пока не загустела. Лошадь Учара смутно белела на холме. Значит, Учар где-то неподалеку, скорее всего, на игрищах. Пускай побудет со сверстниками, молод еще, зелен, печаль стариков ему непонятна.

Тундук в юрте Каракою светится красным глазом. Большой огонь развели, теперь станет он гореть всю ночь — в юрте остановился известный на всю округу картежник Тус.

Миновал юрту Каракою, старик направился к Катуня. Медленно вошел в темный прибрежный лес — арал, густо заросший лиственницами, березами, елями, ольхою и непролазными дебрями тальника — спутника всякой реки.

— Дитя мое... Сын мой любимый... — шептал старик и, чтобы не запнуться о камень или не зацепиться за вздыбившееся из-под земли корневище, продвигался осторожно, как слепой, ощупывая землю ногами. И лицо прикрыл рукой, чтобы сучья не угодили в глаза. — Дитя мое, сын любимый, зачем ты принес нам так много беды? Я же уговаривал тебя не рыбачить в ту ночь. Кто же в безлунную ночь рыбачит, когда всякая нечисть выбирается на волю? Но разве вы, взрослые дети, послушаетесь отца? Думаете, раз в силу вошли, так и ума в достатке. Пугаете силу с разумом. А теперь что? Тебе-то легче... Ничего не знаешь, ни о чем не ведаешь. А мне, живому отцу, вечная боль до самой смерти. И зачем ты, дитя мое, принес такие муки мне на старости лет? Зачем влил в слабую грудь свинцовую тяжесть? Ведь я тобой гордился. Ой, ой, больно мне, больно... Ты только начал жить, только стал мужчиною...

Все же старик оступился, поскользнулся на плоском камне, упал, сильно ударившись головой о соседний валун, но ощупывать ушибленное место не стал и подниматься не спешил, лежал на сыром песке. Причитал протяжно, жалобно:

— Кто мне сено будет косить? «Ай, ай, помалу бери, помалу. А то чуть не целую копну подхвати. Так не долго и пуп себе надорвать». На кого теперь ворчать стану? Чьей силой любоваться? Бывало, пошутит: «Отец, я архара завалил. Помогите снять с тороки». Кто меня еще так обманет, заставит подняться среди ночи? Для кого ружье буду мастерить? Пули, порох заготавливать? Седло и узду узором чеканить? А нож, что недавно выковал, выточил, кому отдам? Скажешь, Учару? Не дам Учару. Ему Каллистрат сделает...

Старик Курендай приподнялся и на локтях подполз к воде, ледяная волна тотчас плеснула ему в лицо.

— Стать бы мне рыбою. Кинулся бы тогда за тобой, искать стал бы тебя. Всю реку, как таймень, проскочил бы, а тебя напоследок увидел, сын мой любимый. Что может быть страшнее смерти собственных детей! Ничего страшнее нет. Смерть — она слепая совсем и глупая. Почему меня не взяла вместо сына? Он ведь молодой был, ему жить да жить. А мне зачем теперь оставаться на свете? Скажи, зачем?!

Но черная ночная Катунь, молочно белея на середине бурунами-гривами, с грохотом и гулом мчится, спешит в ненасытный океан. Туда! Скорее туда! Будто тысячу аргамаков вспугнули разом и те кинулись прочь, и от копыт их задрожала земля, словно проваливаясь в бездну. Нет, не вода это, а текучий огонь, и даже не огонь, а расплавленный клочущий свинец. Гул не уместается в долине, выплескивается за перевалы, наполняет дрожью горы. Ничто не остановит реку. Это она разнесла в щепки кольцо железных гор, распорола земную твердь, нарушила своим ревом мир и покой. От ее бега содрогаются небеса. Я могуча, рычит она, я свободна, свищет она, я пьяна, поет она, я дика, бесится, дергается, пытаюсь слизнуть волнами каменные пороги и шйверы, мечется неистово, словно в капкане молодая волчица. Не касайся меня, не входи в мою плоть. Вихрем закружу, и неба не увидишь. Если ты камень, выброшу гальку. Если дерево, выкину щепки. Если ты зверь или человек, совсем ничего не оставляю, кости вмою в песок! Так кричит Катунь.

— О река моя,— заговорил старик Курендай, приложив руку к груди.— Ты меня выкормила. Ты меня вырастила. Тебе первой обрадовался, тебе первой удивился. Тебя первую испугался. Ты поила и кормила меня. По твоему голосу тосковал. Зачем забрала у меня сына? Ненавижу тебя! Отныне ты врат! Проклинаю тебя своим отцовским сердцем! Чтоб ты высохла вся! Чтоб твое дно растрескалось от палящего солнца!

И вдруг он приподнялся, встал на колени.

— Что я говорю, неразумный! Прости меня, Катунь! — потянулся навстречу потоку и стал целовать полую мутную воду.— Отдай мне сына, Катунь. Не терзай меня. Хоть кости его отдай. Хоть ноготок. За рою в землю. У человека на земле должна быть могила, не в воде. Отдай, пусть он в земле успокоится...

Долго лежал старик недвижно на влажном песке. Казалось, умер. Но он был жив. Через некоторое время поднялся и, покачиваясь на неверных ногах, ползлелся к тому месту, где у них было заведено оставлять лодку, на берегу возле самой воды.

Старик подергал цепь.

— На замке. Хорошо,— прошептал он.— Учар не уплывет на тот берег... — Приподняв большой плоский камень, лежавший неподалеку, достал оттуда ключ, положил в карман.

В стороне зашуршали шаги. Кто-то брел сюда, но кто, старик в темноте разглядеть не мог. Он узнал голос, это причитала жена:

— Где ты сейчас, дитя мое, где? Меж каких камней застрял? За какое корневище зацепился? Может, лежишь на глубоком дне, придавленный камнем, и тебя заносит песком? А может, крутит, бедного, в водовороте? Ой, сердце мое, сердце... А может, тебя, мою плоть, рыба обгладывает, червь точит? Или выбросило куда на берег и теперь лиса или росомаха растаскивают твои косточки? Ворон расклевывает твои глазоньки?

Не вынес Курендай плача своей старухи, потер рукою повлажневшие глаза и кашлянул.

— Ой, кто это, кто? — испугалась старуха.

— Это я, Шалтырак. Не бойся.

— Зачем ты сюда пришел? Обещал же не ходить к реке.

— А ты зачем пришла?

— Проверить, на замке ли лодка.

— Уже проверил. Привязана лодка.

— Ключ взял?

— В кармане у меня.

— Вот и хорошо. Завтра на рассвете положишь на место. Понял, старый? Ну пойдем домой, отец моих детей. Не будем больше плакать. У нас Учар есть, дочь есть, внуки. Для них надо жить До-олго жить...

Молодежь разделилась на две равные группы, и две живые цепи встали друг против друга. Парни и девушки крепко взялись за руки. Высокие стоят; стройные, гибкие, будто сосны на ветру. Визг, смех отзываются эхом в ближних скалах. Молодые недолго беду помнят, вот уже вроде и позабыли о ней. Принялись играть в «колузужу» — «цепи».

Шыранкай крепко стиснула ладонь Учара и завела чистым, как родник, голосом песню-призыв:

Пусть прибежит к нам
такой парень-молодец,
у которого камча сильна,
узда и седло изукрашены.
И лошадь быстра,
и родители почитаемы.
Пусть прибежит... Салкын!

Салкын разбежался изо всей силы и навалился грудью на руки Учара и Шыранкай, пытаясь разорвать цепь, но не смог.

Молодежь, стоящая рядом с Учаром и Шыранкай, загомонила с радостью:

— Салкын — наш пленник! Салкын — наш пленник!

Если бы Салкыну удалось разорвать цепь, он бы увел Шыранкай пленницей к своим. Учар так и не понял: то ли на самом деле тот не смог разъединить их руки, то ли добровольно захотел сделаться пленником, чтобы стать рядом с Шыранкай; Салкын взял их за руки и запел ласковым, мягким голосом:

Ладонь раскрытую свою
отдаю и говорю «здравствуй»!
Девушке, что рядом со мной,
предлагаю дружбу.

Тут Шыранкай получила вызов с противоположной стороны и убежала туда. Цепь разорвать она не смогла и осталась там. Но Салкын не оборвал свою песню:

Сердце свое раскрытое
отдаю и говорю «здравствуй»!
И вон ту девушку-красу
выбираю своею.

— Эй, парень! — Учар резко встряхнул Салкына за руку. — Давай-ка отойдем в сторонку, — проговорил он негромко, чтобы другие не слышали. Его сердце колотилось в груди.

— Я всегда готов, — понятиливо отозвался Салкын.

Они отошли за куст, и Учар тотчас схватил Салкына за грудки.

— Ты меня за врага считаешь? Скажи!

— Нет, Учар, — спокойно ответил Салкын. — Просто хочу, чтобы ты возвратился на наш берег. Видишь, как у нас хорошо. Столько молодежи. Какие девушки... А ты...

— Что я?

— С кем там играть станешь? Разве что со свиньями Каллистрата. Ты продался кулаку за кусок хлеба. — Салкын тоже схватил Учара за ворот. — Ты предатель!

— Ах, ты так? Знаешь, что я тебе сейчас сделаю?

Но Салкын усмехнулся и спокойно присел на камень.

— Ничего ты мне не сделаешь. Пальцем не коснешься. Понял? Я секретарь комячейки. Кто на меня руку поднимет, тот контра. А с контрой наша власть разговаривает коротко. Сам знаешь...

— Стало быть, ты под защитой власти? Вон как... Ну что ж, поселись тогда. Я человек маленький, меня можно обидеть любым словом, и заступиться некому. — Учар, круто повернувшись, направился к лошади. Жалко ему было уходить от Шыранкай. Так приятно было стоять рядом и ощущать тепло ее руки.

Дернул аркан, вырвал из земли колышек. Повел свою лошадь к юрте. Не успевшая вволю поесть и отдохнуть, она шла за хозяином неохотно. Пять дней Учар искал труп своего брата, и все эти дни лошадь нигде не попаслась как следует. Нынче на берегах Катуня не то что лошади, овечке не наестся вдоволь. Вся трава засохла на корню. Начало лета, а трава шуршит под ногами, что твоя жестянка. Такое было лютное солнце в эту весну.

Учар шел и вдруг почувствовал, что на него издали смотрит Федосья, ласково смотрит, с надеждой.

— Федосья,— зашептал он, словно заклинание,— глаза твои красивее камней-самодветов, лучистее звезд на небе. Синие-синие. Нет, зеленые, как волны Катуня. Теплые, ласковые глаза, как солнышко после дождя. Федосья, я иду к тебе. Видишь, как спешу на твой зов?

Он привязал лошадь к коновязи. Взял седло, попону и чепрак, заходя просушенные отцом, оседлал ее. Белую его лошадь колотила мелкая дрожь. «Как мне не хочется переплывать Катунь,— говорил весь ее вид.— Ночь стоит темная. Холодно и жутко будет барахтаться в ледяных волнах. Пожалей себя и меня».

С сочувствием глянул Учар на белую лошадь и вошел в юрту.

Отца с матерью дома не оказалось, но это даже и к лучшему. Не узнают, что их сын собирается в обратную дорогу по черной реке. А то начнут отговаривать. Не послушаешься, обидятся. Вот только надо сказать им, что вернется через день, и пусть отец к тому времени хорошенько просмолит лодку. Учар будет искать брата и день, и неделю, пока не найдет.

Он взял только карабин и переметную суму, а шубу, которой укрывался ночью, медный казанок и топорик в чехле оставил на месте. Пусть родители верят, что вернется.

Потом вышел вон, вскочил на белую лошадь и направил ее к шумящей во тьме Катуня.

Веселись, Салкын, со злостью подумал он. А ведь какими они раньше были друзьями! Дороже брата друг другу были. Всюду вместе. Вместе играли, вместе росли. Скот пасли, капканы ставили на сусликов, рыбачили, охотились. Салкыну верил, как самому себе. А может, тот в чем-то прав? Может, и впрямь жизнь изменилась?

В те далекие времена было у отца Учара три десятка овец да столько же коз. И столько же коз и овец было у отца Салкына. Учар и Салкын пасли свой скот вместе. Не знали они тогда, что бывает и другая, кроме пастбы, работа. Не ведали, что есть на свете кроме их родной Тулайлу — Заячьей другие горы. А кроме их Дьяан-Туу — Большой горы вершины еще выше. И на земле есть реки, кроме Катуня. И вообще есть другие люди, другая жизнь. Они бы не поверили, что какие-то дети учатся в школах, пока они пасут своих овец и коз. Много было на свете такого, чего они тогда не знали.

Стояло лето. Каменный лик горы Дьяан-Туу дышал жаром, как раскаленные камни в бане. Горячий ветер прикидал к земле и все, что на ней находилось, слизывал шершавым, сухим языком. От нещадного зноя кружилась голова, ссыхались губы и в глазах вспыхивало разноцветье. Ломило в ушах от неистового звона кузнечиков. Двое мальчишек, прокопченных на солнце, как головешки, копошились на песчаном берегу Катуня. Строили из песка избы и юрты. А после, наломав хворостинки, принимались возводить изгороди, кошары и загоняли туда «овец и коз» — шишки лиственниц и елей. Играли во взрослую жизнь, и мало им было такого долгого, длиною в год летнего дня. Не могли представить себя без коз и овец, им мало было пасти свою скотину, они повторяли эту работу даже в игре.

А взаправдашние козы и овцы? С ними ничего не станется, лишь бы волки не напали. Стадо их паслось на горе Дьяан-Туу, благо трав там всяких вдоволь. Наедятся овцы досыта, напьются из род-

ничка, которые там бьют повсюду, полежат где-нибудь в тени скал или в кустах и к вечеру, сытые, спокойные, спустятся домой. Перейдут речку Ак-Суу по мостику, разобьются на два гурта, и каждый гурт направится к своему загону ночевать.

Еще припомнилось лето в самом цветении. Катунь вся в солнечных бликах, будто позолоченная. Жара, кузнечики стрекочут. Учар и Салкын в старице Катунь ловят головастика, темной тучей сплывающих на отмели в прозрачной воде. До того заигрались друзья, ничего вокруг не замечают.

И вдруг донесся крик:

— Ой, ой! Помогите!

Мальчишки со всех ног бросились на зов. На пыльной дороге лежал толстенький, весь в поту человек с испуганным и каким-то размазанным лицом. Чуть поодаль валялись шапка и битком набитая торба. Над ним гордо стоял учаровский козел Кек-Мойын, то есть Синяя Грива. Стоял, караулил, не давая мужчине подняться.

Бодливый был тот козел, Синяя Грива, самый вредный в селе. И нападал обычно сзади, неожиданно. Увидит жертву, подкрадется, разбежится что есть силы и как саданет прямо под коленки! Никто устоять не мог, все снопом валялись. А козел опрокинет человека на землю и не дает ему подняться на ноги. Тут уж лучше не шевелись, лежи, как мертвый, и молчи. Тогда козел насладится своей победой и уйдет искать новую жертву.

Силен и крупен был козел, с теленка ростом, и рога носил на своей дурной голове, похожие на кривые сабли. Слушался только Учара, больше никого. Даже Салкына, которого видел ежедневно, не признавал вовсе. Родители Учара все собирались зарезать «драчливого черта», чтобы кого не изувечил, но Учар не давал. Козел кроме драки хорошо знал службу, ни одной козе или овечке не давал отбиваться от стада. Бывало, всех соберет и приведет домой.

— Выручите меня, мальчики! Подержите этого дьявола! — пищал мужчина тоненьким голоском, подрагивая пухлыми щеками.

Учар ловко вскочил козлу на спину, схватил его за рога.

— Ай! ай! Токто! Стой на месте!

Мужчина поднялся с земли, отряхнулся.

— Это ваш козел, мальчики?

— Наш, наш!

— Спасибо, что выручили. — Достал из кармана штанов два белых камешка. — Угощайтесь. И не отпускайте его, пока не скроюсь. Ах, какие вы у меня молодцы! Какие воспитанные. Почтенные, видно, у вас родители... — и поспешно засеменил по дороге, взвалив свою торбу на спину.

Когда мужчина ушел, Учар и Салкын стали разглядывать камешки. Зачем он их дал да еще сказал «угощайтесь»? Таких камешков на берегу Катунь сколько угодно валяется, есть и покрасивее.

Учар хотел было забросить подарок, но неожиданно лизнул белый комочек и удивленно вскрикнул:

— Салкын, он сладкий, как солодка!

Тот попробовал и тоже удивился:

— Разве может камень быть таким сладким?

Так впервые ребята познали вкус сахара.

С этого и началось. Мальчишки повадились поджидать того мужчину, мелкого торговца. Но он два раза прошел мимо них, даже не взглянув на любителей сахара.

— Ты нас еще попомнишь, — погрозил ему в спину Салкын.

На другой день друзья подкараулили торговца и спустили на него козла, который, как сорвавшаяся с цепи собака, набросился на толстяка.

— Эй, мальчики! Мальчики! Помогите.

С радостью кинулись они на выручку и опять получили награду —

по кусочку сладкого сахара. А раз дают, значит, можно и еще... Но как-то однажды загнал Учар своих овец и коз в загон и вдруг заметил, что мать не в духе. А возле калитки стоит наготове свежесломленный тальниковый прут. Учар на всякий случай стал держаться от матери на почтительном расстоянии.

Мать разгадала причину его осторожности.

— Подойди ко мне, балам, мой сыночек, — с ласковой улыбкой двинулась ему навстречу мать. — Я тебе нос вытру, мой хороший.

Но Учара так просто не возьмешь. Отскочил как ошпаренный. Отец его сроду не бил, а вот от матери доставалось частенько.

— Ты что же, боишься меня? — ласково выпевала мать. — Да неужели я отстегаю жеребеночка, ягненочка моего невинного? Подойди к матери. Я тебе дам любимый талкан со сметаной, мой сладенький...

Учар отскочил еще дальше, напрягся весь.

— Ну, погоди, пострел! — перестала таиться мать. — Все равно угощу тебя прутом! Ступай сюда. Ладно... Сейчас будем коз доить. Подержи-ка Алчак-Мюс!

Осторожно, посверкивая глазенками, Учар приблизился к матери. Ухватил козу за рога и держит. А сам настороже, в любой миг готов кинуться наутек.

Мать стала доить козу по прозвищу Раскидистые Рога, приговаривая:

— Вот какой крепкий у меня сыночек. Совсем вырос. Как хорошо пасет коз. Вон как много у них молока...

Обмяк Учар, потерял осторожность. Вот тут-то его мать и схватила. Засвистел тальниковый гибкий прут.

— Будешь, неслух, натравливать своего паршивого козла на почтенного гостя?

— Нет! Нет! Не буду! Не буду!

— Горе ты мое, разрешаешь хоть зарезать Синюю Гриву?

— Ой, нет! Ой, нет! Не дам!

— Как, мать не слушаться? Перечить ей? На тебе, на!

А назавтра опять встретились мальчишки на берегу Катуня, оба наказанные, оба битые. Стали наперебой рассказывать друг другу, какую трепку получили от родителей.

Вот такие были закадычные друзья Учар и Салкын. Вместе сладкое попробовали, вместе и горечь разделили. А теперь отвернулись один от другого, будто вся дружба кончилась.

Вспомнил Учар детство, и теплом в душу дохнуло.

«Как бы то ни было, а Салкын мне друг. Другого такого у меня никогда не будет. Салкын за новую жизнь борется, а ты за что? Эх, Учар, Учар, сам не знаешь, чего хочешь. Несет тебя, как щепку по реке, а куда прибьет?»

И опять светлые воспоминания детства возникли перед глазами, наполнили душу трепетом.

В тот год к ним приезжал шаман — кам Демди. Невзрачный был мужичонка, плюгавенький. Всегда пьяный, пел, плясал и балагурил. А ругался как! Не смущался, что его слышат старшие по возрасту, даже сестер не стыдился. Правда, те из уважения к брату-шаману говорили:

— А мы и не слышим вовсе, что говорит наш брат. Как приехал, у нас будто уши сразу заложило.

Учар с Салкыном посмотрели на шаманство Демди и... начали шаманить сами. Вместо бубна взяли в юрте сито. Колотили по нему ладонями: Бум! Бум! Но сито лопнуло, и тогда они утащили деревянный поднос для мяса.

— Одумайтесь, чертенята, — пугали их люди. — Вот превратит вас Демди в поросят и погонит к подземному царю, злому Эрлику!

Но мальчишки никого не слушали. Сложат на берегу Катуня курганчик из камней, разведут костер, надымят можжевельником и

примутся шаманить. Это действо приводило их в суеверный восторг. Не хватало только жертвы.

И тут Салкына осенило. Он схватил козленка, выкормыша, брошенного матерью, который неотступно, как собачонка, следовал за ними, повалил его на спину.

— Вот наша жертва!

Учар придерживал козленку ноги, чтобы не брыкался.

— Ты не бойся нас, мы не взыграем. Мы играем,— сказал Салкын трепещущему козленку и полоснул его по животу ножичком, который всегда носил с собою в ножнах. Полоснул и тут же вскрикнул:

— Ой, я думал, режу обушком, а оказалось, острием! Что я наделал!

На животе у козленка выступила кровь.

— Бежим скорее! — крикнул Учар. И мальчишки помчались со всех ног куда глаза глядят, думая, что убегут далеко-далеко, где их никто не найдет.

Нашли их через три дня в тайге, оголодавших, оборванных. Они были столь жалки, что их и наказывать не стали. А с козленком ничего не случилось. Салкын всего лишь поцарапал ему кожу, злополучную рану замазали свежим пометом, и она зажила скорее, чем нашли беглецов.

Как много связывает Салкына и Учара в этой жизни. Начни вспоминать, конца не будет...

Учар подъехал к берегу. Белая лошадь, гремя копытами о камни, потянулась к воде. По звуку Учар определил, что подковы еще не разболтались. Поискал глазами черный камень недалеко от берега, по которому местные жители определяли уровень воды в реке. В темноте камня не углядел, но и по яростному гулу было ясно, что Катунь в полной своей силе. Дни стояли жаркие, ледники таяли, через край питая реку.

Раньше Учар очень любил Катунь. Увидит ее бело-зеленую стремительную воду и сразу духом воспрянет, обрадуется, словно перед ним отец или мать. Всегда гордился, что живет близ такой грозной реки. А сейчас на Катунь и глядеть не хочется. Ушел бы куда угодно, лишь бы не видеть ее, чтобы не напоминала она о горе. Ушел бы, да нельзя.

«Эх, Катунь, Катунь... Любил я тебя. Зачем ты отняла у меня брата? А может, сейчас и меня к себе возьмешь?» — думал Учар, расседывая коня. Седло, арчима¹ и карабин он положит в лодку, а белую лошадь привяжет к корме особым узлом, который сразу развяжется, стоит покрепче дернуть за конец.

Потрогал цепь, крепящую лодку, замок оказался запертым. Перевернул большой плоский камень, но ключа там не оказалось.

«Успели, спрятали, чтобы ночью не переправлялся. Но плохо же они знают своего сына».

Стиснув зубы, он глянул в тревожную темноту, где грозно редела Катунь. Потом торопливо подхватил седло и арчима¹ и, позвякивая о камни стремянами, отнес их подальше от воды.

«Без ключа этот замок не открыть. Каллистрат его выбирал, а он в замках толк знает. Но ничего... И без лодки обойдусь,— подумал Учар. Повернул арчимак¹ положил седло и укрыл все чепраком.— Дождя вроде не должно быть. Эх, а подпруги плетеные... И нагрудник хорош. Целый месяц отец плел их, украшал чеканью. Обидится сильно, если потеряю. Но тут до сих пор никогда ничего не терялось. Седла, сбруи всегда лежали на виду, и никто их не трогал. Даже чье-то ружье — кырла — дней десять валялось на берегу, и никто его не

¹ Переметная сума.

взял. Однако карабин надо прибрать, а то еще кто позарится. Карабин — ценность большая». — И Учар, взобравшись повыше на берег, сунул карабин под валежник, прикрыл сверху корой.

«Что я делаю? — внезапно пронеслось в голове. — Бросаю и седло, и карабин. В ночь безлунную, будто кто гонит меня. Нет, все верно... Я должен увидеть Федосью. Шыранкай увидел, а теперь надо поглядеть на Федосью. Хочется голос ее услышать, ласковый, добрый. Полюбоваться ее милой улыбкой, родинкой на шее. Больше ничего не надо... На дне речушки переливаются под лучами солнца бесчисленные камешки, но один камешек ярче и красивее всех — Федосья такая. Сотни диких коз, вспугнутых выстрелом, скачут по скалам. Одна несется, едва касаясь копытцами камней, будто крылья у нее, — Федосья такая. Среди сотни маралух одна самая легкая и ладная, вся серебрится — Федосья такая. Много цветов радует глаз на поляне, один цветок — самый заветный, будто лучшие соки земля отдала ему. В огромной тайге одна лиственница выше всех, стройнее. Одна звезда в небе ярче других мерцает. Один колос полновеснее других. Один соболю пушистее и приметнее всех — Федосья такая».

Учар решительно спустился с высокого берега к воде. Теперь он был готов ко всему. Вот только ему показалось, что вода в Катунь почти на одном уровне с гребнями гор на той стороне. Днем бы Учар ни на минуту не задумывался, но сейчас ночь, а ночью он Катунь еще не переплывал.

— Алтай — родина моя. Кудай — бог мой, — тихо зашептал он, поглаживая медный крест на груди. — Уч-Сюмер — гора моя. Катунь — река моя. Помогите, выручите, — и его зазнобило, нервная дрожь сотрясла все тело.

— Не бойся, дитя мое, — будто слышалось ему вдруг с неба, и склонился к нему кто-то, похожий лицом на отца и на Каллистрата одновременно. Будто благословлял, прикрыл глаза и кивнул седой головой.

Только мать Катунь несогласна.

— Э-э, сынок, — шумит она, — остановись, не причиняй нового горя родителям, — а сама бьется, ворочается на неудобном каменном ложе, свивается в жгут, выпускает гриву, взлетает огромным водяным веретеном, бешеной стрелой несется вперед. — Знай, парень, — шипит она, приплясывая, — в эту безлунную ночь я не мать тебе, а коварная обманщица, влекущая, ненасытная. Красивее, сильнее, храбрее тебя мужчин я ласкала. И никто из них не смог вырваться из моих объятий. Все они навеки мои, все они во мне. Души их, вечно молодые, светлыми струями извиваются среди моих волн, сверкают сквозь толщу моих вод. Хорошо им там, раздольно, но все равно просятся они на землю, ищут пологий берег, чтобы ощутить земную твердь, ищут тихие заводи, чтобы отдохнуть от моих ласк. Вам, людям, нужен покой, а я вода, я вечное движение, вечный плеск. Если и ты этого жаждешь, ступай ко мне. Покажу тебе красоту сказочную, невиданную. Песни услышишь диковинные, которые до вас, людей не долетали. Я чиста, ослепительна, я всегда новая, мои ласки неуемны и дурманыщи, слаще их не бывает на свете. Я синяя, я зеленая, холодная, как лед, и горячая, как кипяток в казане. Я краше земли, потому что меня питают соки ледников. Иди же ко мне, юноша. Вкуси покоя и станешь вольным, как я.

— Ты зря меня пугаешь, Катунь, — проговорил Учар и, весь напружинившись, приблизился к кромке воды. — Я силен, и мы поспорим с тобой, кто кого. Я изюбр, вышедший на схватку с соперником. Я натянутый лук, готовый пустить оперенную стрелу во врага. Я таймень, несущийся к тому берегу, разрезающий алыми плавниками упругость холодных волн. Я иду к своей Федосье, и никто меня не останавливает, даже ты, Катунь!

И Учар, ведя лошадь под уздцы, зашагал вверх против течения. Он знал, что надо подняться почти на версту, иначе его сильно снесет вместе с белой лошадью. Там, в низовье, на той стороне, есть опасный бом — скалистый обрыв и вечно ревущие пороги — быки. Если попадешь туда, разобьешься вдребезги. Вокруг скользкие крутые скалы, не за что зацепиться, если и останешься жив.

«Переплыть я, переплыть. Должен переплыть», — вертится в голове Учара. А белая лошадь уже почуяла, что придется плыть по холодной реке. Тревожно ей; понуро идет она за хозяином.

Впервые Учар переплыл Катунь в пятнадцать лет. Они тогда лежали с Салкыном на горячем песке и глядели на противоположный берег. И Учар сказал:

— Переплыть бы вон к тем кустам крыжовника. Ох и наелись бы, гляди, какой ясный.

— И вовсе это не крыжовник, — возразил Салкын. — Неужели не видишь?

— Нет, крыжовник.

— Шиповник.

— Спорим? — протянул руку Салкын.

— Спорим. А на что?

— На десять щелчков. Пять по лбу, пять по носу.

— Идет!

Учар порывисто вскочил с песка и прыгнул в волны. И тут же понял, как опрометчиво поступил. Волны скрутили его, навалились всей тяжестью. Река затягивала его в свою ледяную, страшную глубь. Учару даже показалось, что у Катунь вообще нет дна. Все замелькало в его глазах, и даже услышал он истошный, как по покойнику, крик матери. Не успевал глотнуть воздуха, грудь разрывалась, огненные круги застилали весь мир.

Салкын вытаскил его за волосы на берег Катунь, на свет. Но Учар был настойчивый. После этого он все же переплыл реку и каждый год три-четыре раза преодолевал Катунь. А в прошлое лето переплывал почти ежедневно. Покосы Каллистрата растянулись по всему берегу. На том берегу поставили шалаш. Нанял Каллистрат восемь косарей. Учара поставил во главе их, а Федосья — поварила. Все лето стояли погожие дни, было так жарко, что рассыхались клинья на косах и граблях. Придя с покоса к шалашу на обед, Учар сразу же бросался в реку — охладиться.

— Не надо, Учар, прошу тебя, — умоляла Федосья, и зеленватые глаза ее становились печальными. — Боюсь я за тебя. А не послушаешься, пожалуюсь отцу.

И меднолицый от солнца Учар радостно улыбался: как хороша жизнь! Горы вокруг будто выхваляются своей красотой друг перед дружкой. Все они наряжены в зеленые шубы густых лесов, белым пламенем в небесной синеве светятся их короны — ледники. Водят хороводы поляны, покрытые цветами. Отовсюду струится пьянящий запах меда, живицы и свежескошенной травы. Все вокруг растет, цветет, тянется к солнцу, наливается, крепнет, живет, радуется в ожидании лучшего. А Катунь такая светлая, чистая, глазам больно на нее смотреть — ослепляет, и гул у нее ровный, мягкий. А на том берегу реки шалаш из целого стога сена. Неподалеку очаг, в нем огонь с невидимым отсюда жидким дымом. А возле огня Федосья, девушка, пахнущая солнцем, огнем, и рядом с нею он, Учар. Высок и строен Учар, словно молодая лиственница, мышцы его крепки, как наросты на березе, гибок он, будто снежный барс — ирбис, и совсем не ведает, что такое усталость. С рассвета до самой темноты будет косить, пока глазам видно, и не устанет, нет. А косари, товарищи его, мужики ядреные, как на подбор, в самой силе. Не отдыхать сюда пришли — на заработки. И как косят! Но прокос у Учара все равно шире и чище, чем у них. Вон впереди трава по пояс, густая, что тайга дремучая,

кажется, не продаться сквозь нее даже с косой. Но Учар преодолевает ее и оглядывается. Трава уложена в ровный валок, цветок к цветку, стебель к стеблю, а на поляне чисто и ровно, как во дворе доброго хозяина. И удаль в Учаре оттого играет, что на него, как ему чудится, глядит издали Федосья, глядит и любитесь им.

Не слыша предостерегающих слов Федосьи, Учар с ходу бросается в реку. Как отрадно! Катунь обжигает его тело, но Учар сильнее реки. Молод, здоров, уверен в себе и потому легко переплывает Катунь. Но разуверься он в себе хоть на миг, и конец, судорога сведет руки и ноги. Правда, на этот случай у него припасена булавка...

С каким вдохновением он плыл! Пружинил, отталкивался, натягивал тело, словно тетиву лука. А когда вспыхивали впереди белые-белые буруны, набирал полную грудь воздуха и нырял поглубже. Иногда откроет глаза в глубине и видит: толщу воды пронизывает цветная радуга, камни переливаются, наколотые на золотые спицы солнца, и золотистые рыбы стоят спокойно на дне, едва шевеля плавниками.

И вот уже, дрожа от холода, Учар выбирается на берег и зарывается в горячий песок. Лежит себе, греется, блаженствует. А Федосья на том берегу, мелькая цветастым сарафаном, мечется, будто наседка, птенцы которой — о ужас! — утиным выводком заскользили по воде. Кричит что-то ему, и Учар, не в силах сдержаться, вскакивает на ноги и кричит во все горло:

— Федо-осья-а-а-а! Я люблю тебя-я-а! Федо-сья-а-а-а!

Но крик не долетает до того берега, река уносит его вниз, растворяет в своем гуле. Иначе Учар не осмелился бы произносить, да еще так громко, сокровенные для него слова, которые жили в самом потаенном уголке сердца.

И тут увлажняются у него глаза, грудь начинает ныть от сладкой тревоги, и он снова бросается в Катунь, плывет назад, к Федосье. Поначалу видит перед собой лишь воду, белые гребни, но иногда волны вскидывают его вверх, и тогда он видит Федосью, которая стоит у самой кромки берега и, не отрываясь, глядит, как он плывет к ней.

Но, когда Учар выходит на берег, Федосья обиженно надувает губы и отворачивается от него.

— Федосья, ты что мне кричала? — спрашивает Учар, подпрыгивая на одной ноге и похлопывая себя по уху, чтобы вышла вода.

— А ты не расслышал?

— Нет.

— Ну, раз не расслышал, то и не надо. А ты о чем кричал?

Он смущается.

— Не скажу. Такое можно кричать, когда ты далеко.

— И я тогда не скажу...

Однажды, когда Учар, переплыв Катунь туда и обратно, вылез на берег, увидел, что у костра сидит Каллистрат. Долго где-то пропал — возился с лодкой, делал новую, пчелами занимался. Хмуро посмотрел на Учара глубоко посаженными карими глазами, пошевелил мохнатыми бровями и проговорил медленно, задумчиво:

— Косили хорошо, ладно косили... Но вот если еще раз увижу тебя там, — показал плеткой-камчой на Катунь, — то, парень... не обесудь, накажу. Эта река много душ стубила.

После этого Учар, бывало, поплещется возле берега, и все. Боялся послушаться Каллистрата. Ему и сейчас бы не поздоровилось, узнай Каллистрат, на что он решился...

Белая лошадь фыркнула и ткнулась губами в плечо хозяина. Встревожилась, закрутила головой, видимо, волнение Учара передалось и ей. Учар потрепал лошадь по холке, вскочил на нее, направил к реке. И она послушно вошла в воду, закусывая удила, заскользила копытами по камням. Вот ноги ее перестали доставать дно, и Учар

скользнул со спины лошади. Он даже не почувствовал холода, мысли его были о другом.

«Лошадь никогда не утонет, сын мой,— вспомнились слова отца,— лишь бы в уши ей не попала вода. Коли попадет хотя бы капля, считай, пропала». Это же говорил и Каллистрат.

Учар плыл, держа чумбур накоротке, почти касаясь крупа лошади. Так ему было легче, потому что круп заслонял его от течения. Но таким образом можно было угодить под копыта. И он, отпустив чумбур подлиннее, пропустил лошадь вперед, выгребая руками изо всех сил, чтобы чумбур сильно не натягивался. Однако, как ни старался, животное плыло быстрее, тянуло его за собой. Самое лучшее для него было бы держаться за хвост. Но хвост далеко впереди, до него не дотянуться.

Темно ночью на реке, страшно. Не видать ни берега, ни гор, ни неба. Только иногда впереди вспыхнет гребень волны, будто освещенный изнутри, и тотчас погаснет. Голова быстро закружилась без привычных ориентиров. Учар стал терять уверенность, что плывет туда, куда надо. Но он подстегнул себя мыслью, что лошадь не должна заблудиться, она стремится к дому. Вот только бы чумбур не упустить.

«А самый лучший пловец,— звучит в голове спокойный голос отца,— это козел, элик. Скок с берега и почти бежит по воде. Будто прямую черту проводит через реку. Выскакивает всегда почти напротив того места, откуда прыгнул. А марал — тот слабак в воде. Если волк его преследует или собака, ни за что не станет плыть. Зайдет в воду по колено, выставит рога и стоит. И зачем он так стоит, дурак? Ему бы плыть, а он стоит. Потом смотришь, согнулся марал дугою от холода. А там и лег».

Да и Каллистрат говорил: «Костный мозг у марала быстро застывает, потому и гибнет. Из казана вынул горячую кость, не успеешь до рта донести, уже застыла».

И это верно. В прошлую зиму шел Учар через Катунь, брел по глубокому снегу и запнулся обо что-то. Разгреб снег, увидел оленьи рога, на которых было шесть отростков. После узнал, что марала в воду собака загнала.

«Еще хорошо плавают свинья,— улыбаясь, поучал отец.— Ее в воде хоть обухом бей, не утонет!» Каллистрат согласно кивал головой. «Конечно, вон сколько в ней сала, а оно легкое».

Наонец Учар понял, что он на середине Катунь. В этом месте река ровная, спокойная, а дальше она станет свирепой. Столько будет всяких водоворотов, бурных течений, особенно у берега, вода прямо кипит, злостью исходит, будто собирается все размыть. Там и подводные камни выставили свои острые хребты. Не дай бог на них наткнуться, распорют сразу. Коряги-плывуны попадают. Но беды не должно случиться, есть еще сила у Учара. Он может плыть, даже не держась за чумбур.

«А как змея плывет, видели? — как-то при нем спросил отец у Каллистрата.— Я на лодке раз наблюдал. У нее за щеками вздуваются два белых пузыря, которые поддерживают ее голову на плаву. Значит, ей тоже не утонуть». Каллистрат согласился: «Не утонуть».

«Эх, Катунь родная... — думает Учар.— Сколько раз я тебя переплывал. Неужели на этот раз ты меня одолеешь?» В прошлом году решил однажды перебраться на ту сторону реки на саях. Катунь только что встала, лед блестел и был прозрачен, дно просматривалось, как сквозь стекло. А, будь что будет, решил тогда Учар, огрел плеткой-камчой белую лошадь, направляя ее по следу. Знал, что лошадь перед этим отдохнула хорошо, подковы у нее новые, не упадет, не остановится. Ай, какой дурак... Зачем торопился... Вечно терпения не хватает. Лед сразу затрещал, прогнулся, темная вода выступила на поверхность. Учара даже пот прошиб от страха, и он принялся настегивать свою белую лошадь и орать: «Но, но! Чу! Чу!» По-русски и по-алтай-

ски ее подгонял. Лошадь и сама испугалась, дико косила на хозяина белым глазом и мчалась во весь дух. Стоило ей чуть ослабить бег, как они тут же бы провалились под лед. Когда выскочили на берег, задок у саней был весь мокрый. Сама лошадь долго не могла отдышаться, нервно прыдала ушами и все оглядывалась на реку. Ей тоже не верилось, что выбрались благополучно.

Но как же неразумен Учар. Жизнь его учит, учит и никак не может научить осторожности да осмотрительности. Зима стояла тогда мягкая. В январе похолодало, реку сковало льдом, оставалась полынья шириною аршин в пять, которая никак не затягивалась. И вздумалось Учару положить на полынью две березы. Шуга, мол, задержится в ветвях, застынет, вот тебе и мостик. Срубил деревья повыше, поветвистее. На белой лошади приволок к полынье. Первую березу река сразу же затянула под лед. Вторую Учар стал продвигать комлем вперед и не замечал, как очутился в воде. Испугался сильно, но не растерялся. Скинул шубу, хотел пимы снять, да не смог. Стал медленно, осторожно, хватаясь за ветки, подтягиваться на кромку льда. Трудно сказать, сколько времени прошло, пока он выполз на лед. Ох и забегали Аграфена, Федосья и Каллистрат, увидев примчавшегося на лошади Учара, всего обледевшего, как сосулька. Уложили в кровать, укрыли горою одеял, шуб. Каллистрат налил стакан спирта, только Учар пить его не стал. А вот от чая не отказался. Почти кипяток глотал с малиной.

Наутро проснулся свежий и здоровый.

И вот теперь как ни старался Учар, а не поспевал за белой лошадей. Берег должен быть скоро — течение быстрое, сильное, да и по времени пора бы. Скорее бы берег...

— К Федосье... К Федосье,— шепчет он беззвучно онемевшими губами.— Надо сказать ей о своей любви. Сколько можно мучиться... Но как отважиться? Вдруг скажет «нет»? Как тогда жить? А Шыранкай? Тоже ведь славная девушка. И по ней сердце тоскует.

Тут Учар заметил плавун, что несся прямо на него. «Только этого не хватало»,— тоскливо подумал Учар. Выпустил чумбур и, не успев глотнуть воздуха, нырнул вглубь. Сучья, царапнули тело, продирая одежду. Один из сучьев больно ткнулся в плечо, подтолкнул вниз, поволок. Грудь, казалось, вот-вот разорвется без воздуха. Однако сук легко сломался и длинное ветвистое тело плавунa прошло над Учаром. Он вынырнул на поверхность, радуясь, что все обошлось, и вспомнил про лошадь. Огляделся, река была пуста. Неужели коня ударило плавунom и увлекло вглубь?

А силы у Учара уже на исходе. Ночь, страхи, тот плавун и особенно потеря коня измотали его. Руки и ноги словно ватные, едва шевелятся, воздуха не хватает, в голове гудит, не слышать даже рева Катуня.

И в этот миг пальцы его касаются чего-то твердого. Он подтягивает обмякшее тело к песчаной отмели и жадно вдыхает воздух. Нашупывает зыбкое, убегающее из-под ног дно. В помутневшем сознании искрой проносится мысль: «Берег. Надо поднатужиться...»

Едва отдышавшись, принимается карабкаться на крутой прибрежный склон. И только теперь понимает, что он весь разбит, перемолот, истерзан, смят Катунью. Саднят плечо и колени, ободранные о скалы, но зато он жив! Как хорошо жить!

Поднявшись на тропу, идущую вдоль берега, Учар сразу же увидел свою белую лошадь. Она поджидала хозяина. Обрадовался ей, стал гладить. Лошадь, вся мокрая, дрожала от холода, да Учара и самого бил озноб. Тогда вскочил на лошадь, и та, не дожидаясь понуканий, двинулась в сторону дома Каллистрата.

— Стой! — послышался вдруг резкий окрик.

Из темноты выскочили два всадника. Один из них схватил поводья и остановил лошадь.

Учар поначалу даже ничего не понял. Услышав крик, и не думал убегать. Людей на этом берегу он всех знал, и мало ли зачем его могли остановить. Может, хотят о чем-нибудь спросить. Только почему так грубо ведут себя? Сзади загремели камни под копытами лошадей. Много их тут. Что делают они ночью?

«Да это же бандиты»,— екнуло сердце у Учара. Он огляделся, но с места пока не сдвинулся. Внизу Катунь, из которой только что выбрался еле живой. Рядом голая скала, на нее и змея не заползет. Одна надежда, что темно. Можно соскользнуть со спины лошади и шмыгнуть в кусты.

— Помоги, Алтай-батюшка,— прошептал Учар, готовясь к прыжку, но в тот же миг волосяной аркан обвился вокруг него, туго стянул грудь.

— Слезай,— приказал тот, что держал лошадь за поводья.

Учара сдернули на землю. Сами тоже спешили. Только тот, который держал белую лошадь, остался в седле. Было их четверо. Один из них приблизился к Учару и завязал ему глаза.

«Все,— подумал Учар,— теперь не вырваться. И надо же: Катунь поборо, а попал к бандитам в лапы. Как несправедливо...»

Спросил:

— Что хотите со мной делать? Если грабить, зря время теряете. Часов у меня сроду не водилось. Денег тоже. Табак не курю, водку не пью.

Проговорил и тут же с горечью подумал: «А белая лошадь, а уда-недоуздок, чумбур волосяной? Все заберут».

— Мы и у голого найдем, что взять,— с усмешкой отозвался, видно, тот, что сидел на коне. Голос показался Учару знакомым.

— Найдем, найдем,— довольно пробасил другой. Это Евлампий, у которого маральник в верховьях.— Ты ведь вроде приемыш Калистрата, а, парень? Или я обознался?

— Не обознался.

— Выбирай: жизнь или смерть? — продребезжал еще один, старческий голос. А, это пасечник с Марчаты Савелий. Где Савелий, там ссора и драка. И в красных-то он ходил, и белым служил, теперь вот бандитом заделался. Ему все равно с кем, лишь бы кровь чужую пролить.

Горько было Учару, но он вдруг рассмеялся.

— Чего ржешь-то? — спросил Савелий.

— Смешно получается,— сказал Учар.— Катунь только что переплыл. Думал, утону, уже на дно тащило, еле выбрался. И тут вы. Опять смерть предлагаете. Так между смертями и хожу, выбираю. Не знаю, какая лучше.

— А жить-то хочется?

— Хочется,— вздохнул Учар.— Врать не стану. Хочется.

— Тогда выкладывай: где ключи Калистрат прячет? — Голос тоненький, мальчишечий. Да это же Кулер! Батрак пасечника Савелия. Он одно время крутился возле Федосьи, да Калистрат живо показал ему от ворот поворот. Если Кулер тут, хорошего не жди. Уж он-то с соперником расправится.

— Откуда я знаю? Он мне их не показывал.

— Ну, хватит, парень,— сказал Савелий и легонько ткнул острием ножа Учару в грудь.— Жди нас завтра в полночь...

— Как три раза сова прокричит,— подсказал Кулер.

— Вот. Сова прокричит, значит, мы уже тут. Откроешь ворота. Собак загодя привяжешь. С ключами от амбара встречай. Понял? Да гляди не проспи. Сонного прирежем.

— А постарайся, в долю возьмем. Денежки за пазуху, и кати куда хочешь. С деньгами не пропадешь,— сказал тот, кто на лошади.— Почище Калистратова хозяйство заведешь... Но, коли продашь,

весь твой род вырежем... Что молчишь? Язык от страха проглотил? Ладно... отпустите его.

Соскользнула петля аркана. Сорвали повязку с глаз.

Бандиты разом вскочили на коней. Копыта зацокали о камни, высекая искры, и вскоре затихло все.

Учар поднялся с земли. Что делать? Пуститься в погоню? Застрелят. А до милиции далеко — два дня пути. В бессилии Учар смотрит во тьму, и ему почему-то видится сохатый. Зверь молод, силен, радуется жизни, солнцу, траве, его пьянит запах важенок. Несется по тайге, изнывая от любви, мчится за важенкой. Вот-вот ее настигнет, но что-то тяжелое, злое ударяет в голову. Однако сохатый старается не замечать боли, мчится и мчится дальше, оберегая ветвистые рога, хотя можно их уже не беречь. Скоро затрещат в лесу кусты и сохатый рухнет на землю. И тут же снова наступит полная тишина, будто ничего не случилось. Разве только с радостным карканьем слетит к нему ворон и начнет скликать сородичей на пир.

Вот и сейчас будто ничего и не произошло в мире. Небо спокойно, звезды подмигивают сверху. Во тьме поблескивает Катунь, урчит, охает, ворочается. В густом лесу ни звука, ни движения. Лиственницы вершинами будто вросли в черноту неба, дремлют в тиши, от них веет запахом живицы и молодой хвои. Только в ночи носится, тревожно крича, какая-то малая птица. Нет, не птица это, потерявшая гнездо, сердце Учара мечется в груди и не находит покоя.

«Поджидали они меня, или я им случайно повстречался? — силится понять Учар. — Хотя откуда могли знать, что именно сегодня поплыву на этот берег? Непонятно. Ясно одно, хотят ограбить Каллистрата, да еще с моей помощью. А что им нужно? Рога — панты, которых у него целых двадцать две штуки? И еще два молодых пушистых рога мы с братом добыли в Кара-Тайге. Но зачем им эти рога? А может, мед? Мед только-только начали качать, мало его у Каллистрата. Нет, не мед им нужен. Что же тогда? Масла сейчас тоже мало. А вот мука припрятана. Хотя вряд ли она им тоже нужна. Может, золото хотят найти? Только есть ли оно у Каллистрата? Никогда он не говорил о золоте. Э-э, да зачем чужое добро считать, — устыдил себя Учар. — Надо думать, как из беды выйти. И перво-наперво решить: рассказать обо всем Каллистрату или лучше промолчать? А что если убежать? Алтай большой, можно где-нибудь затеряться. Нет, так нельзя, люди все равно узнают. Назовут трусом и проклянут. Да и бандиты грозились весь род вырезать. Так что убегать нельзя. Значит, я должен все рассказать Каллистрату и помочь ему».

Припомнилось... Стояло знойное лето. И земля, и деревья, и камни, и вода, и даже воздух — все было зеленым, ласковым. Учар шестилетним мальчишкой ловил рыбу в тихой протоке Катунь. Вода там стоялая, до самого дна прогрета солнцем и потому теплая. Учар острожно шарил под камнями у самого берега, вылавливая усатых османчиков, складывал их в ямку с водой, чтобы потом отнести своему щенку, который до рыбы был очень охоч. Солнечные лучи не пронизывали воду, а отражались на поверхности, слепили глаза. Жарко было даже в воде. Мальков было много-премного, они шныряли по дну темными стайками. Помнится, Учар обошел большой гладкий валун, выступавший из воды, под которым поймал уже с десятков османчиков, и тут, возле самого берега, среди покачивающихся на воде сучьев, сухих листьев и другого хлама приметил лоскуток красной материи. Пока он разглядывал находку и гадал, что же это может быть, услышал плеск весел и, обернувшись, увидел приближавшуюся лодку, в которой сидел человек, судя по широким плечам, довольно большого роста. А главное, он был русский. С черной густой бородой, с лоснящимся от пота красным лицом. Белая рубашка вся взмокла на его груди и прилипла к телу. Наверное, долго он плыл, вот и вспотел. Испугался Учар. А вдруг этот огромный человек — сам хозяин воды?

Тогда он может забрать мальчишку к себе и никогда не отпустит. Заставит жить под водой и там, в глубине, ловить ему рыбу.

Человек подплыл совсем близко. Учар даже присел от страха. Но тот улыбнулся, и улыбка у него оказалась добрая.

— Эй, сынок! Острогу тут не видел? — прокричал он могучим голосом, перестав грести. — На конце красная тряпочка!

— Видел, видел, — обрадовался Учар. — Во-он лежит!

Человек подогнал лодку к берегу двумя взмахами весел, обмотал цепью тальниковый ствол. Полез в воду, туда, где краснела тряпочка, вытащил на берег огромную рыбину, в боку которой торчала деревянная ручка остроги.

— Гляди, какая добыча, — проговорил он, довольно улыбаясь. — Покрупнее твоих мальков будет, а? Ты молодец, парнишка. Глаза у тебя острые. Я-то мимо бы проплыл и не заметил свою острогу. Награжу тебя, награжу... Знал бы ты, сколько я охотился за этим тайменем. Еще утром аж в самом Айры-Таше засек острогой, да он вот уволок ее. Все протоки проплыл, утомился, как черт. Думал, и не найду. Отчаялся уже.

Этот чернобородый сильный человек и был Каллистратом. И подумалось тогда Учару, что такой огромный человек и рыб должен ловить тоже больших, под стать себе. Когда потом тайменя взвалили на лошадей, то голова его и хвост почти касались земли.

Отчего в тот раз Каллистрат так радовался добыче? Рыбину эту первым увидел Филарет, самый богатый человек на этих землях. Под старость тот очень уж увлекся рыбалкой. Почти каждый вечер садился в лодку, батрак освещал ему воду горячей берестой, а он бил острогами рыбу. Домой возвращались, лодка чуть не тонула от тяжести. В одну из таких ночей наткнулись они на тайменя-великана. Филарет сначала принял его за потонувшее бревно, а потом разглядел — таймень. Стоит в затишке, чернея широко спиной, отдыхает, медленно шевеля плавниками-крыльями. Филарет даже дышать перестал. Осторожно приблизился, взмахнул самой большой острогой. Но лодка отчего-то качнулась, и тот промахнулся. Рыбина ударила хвостом, окатила Филарета водой и молнией ушла в глубину. После этого Филарет совсем свихнулся. Забросил все дела, стал шастать на лодке по Катуну — искал того тайменя. Другой рыбы для него не существовало. «Не должна была качнуться лодка, — говорил он всем. — Почему она качнулась? Видать, того тайменя послала мне судьба. Если не убью до ледостава, не жить мне на белом свете. Хозяин тверди я, хозяин воды — тот таймень. Кто осилит?»

Осенней темной ночью таймень опять встретился Филарету. И опять промахнулся Филарет, потому что лодка снова качнулась. Бороду рвал старик от отчаяния и не заметил, как лодку затянуло в стремнину. Разбило о камни, а плавать Филарет не умел, да и кого отдадут живым грозные катунские пороги.

Батрак, что светил Филарету, спасся чудом и поведал, что Филарет будто бы сказал: «Кто убьет ту рыбину, пусть вместо меня станет властителем всех кержацких земель».

После таких слов всяк, у кого имелась хоть какая-нибудь лодочка, стал шарить по Катуну, близ берегов, по всем протокам и заводям в поисках тайменя-великана. Да никому тот на глаза не попадался. И лишь на следующий год пофартило Каллистрату, пронзил-таки своей острогой царя Катуня.

Каллистрат на радостях взял Учара к себе домой. Напоил его настоящим «фамильным» чаем с пряниками, подарил два аршина ситца — невиданное богатство. Из этого материала мать сшила Учару рубашку и штаны, нарядный ходил по селу, все завидовали. С той поры и зачастил Учар на ту сторону в гости к Каллистрату. Пил там чай с леденцами, играл с дочкой хозяев Федосьей, носился по лугам с белым жеребенком-выкормышем. У отца Учара тоже были лошади, два

жеребца и много жеребят, однако Учару полюбился отчего-то каллистратовский снежно-белый, нынешняя его белая лошадь. Хозяйка, Аграфена, души не чаяла в мальчишке. Старательный он оказался, работающий, во всем готовый услужить. То телят пригонит с выпаса, то курицу найдет, спрятавшуюся в бурьяне, чтобы снести там ячико. Да мало ли что может мальчишка, его проворные руки и ноги всегда в помощь взрослым, не обойтись без них.

«Кто такой для меня Каллистрат? — спрашивал себя сейчас Учар, поторапливая белую лошадь. — Хорошо кормил, за свой стол сажал, одевал исправно, не отличишь от сыновей. Вместе с Федосьей в школу отправил. Какую сам работу делать умел, тому и меня обучил. Когда я заболел, Каллистрат в самую шугу переплыл на лодке Катунь, чтобы достать целебных трав у старой Элемчи... А я? И я работал сколько было сил. За овцами, за коровами его ходил, лошадей холил. Дрова, сено ему заготовлял. Дом помогал строить, амбары, баню, чуланы разные, изгородь. Человек, когда душа у него лежит к другому человеку, много сделает для него хорошего, говаривал Каллистрат. А сколько я ему оленей словил? Ой, много...» — Учар отпустил поводья, и белая лошадь, чувствуя, что хозяин расслабился, приостановилась, стала щипать траву.

Три года назад выпал такой глубокий снег, какого и старики не помнили. И вот, охотясь в ущелье Таш-Чеден — Каменная изгородь, Учар наткнулся на стадо оленей, выход которым из ущелья закрыла сорвавшаяся с вершин снежная лавина. Их было шестнадцать, оленей-пленников, они так оголодали, что грызли кору деревьев. Учар прибежал домой, рассказал Каллистрату. Тот внезапно загорелся поимкой оленей, спешно оделся, прихватив лопаты. Они вдвоем двинулись в тайгу. Три дня копали, кожу на ладонях сбили, но проход-таки расчистили и пригнали животных к себе домой. С этого времени стал Каллистрат оленеводом. И сразу как-то изменился. Характер у него стал другой, в движениях сделался быстр, помолодел, повеселел. Раньше ходил задумчивый, скупой на разговор. «Пока слово скажешь, курица снесется», — ворчала Аграфена. А теперь иногда ни с того ни с сего вдруг рассмеется, хлопнет в ладоши. Но из-за этого оленьего стада чуть жилы не надорвали. Не ожидали ведь, что будет такое пополнение в хозяйстве, впрок корма не заготовили. Пришлось покупать и привозить сено издалека. Кое-как перезимовали, а в прошлом году в теплую пору обнесли Кара-Туу — Черную гору — изгородью высотой в полтора аршина. К концу, правда, так отощали, что пришлось Каллистрату нанимать окрестных мужиков и выставлять им угощение. Вошел во вкус новоиспеченный оленевод, решил еще маралов добыть к себе в питомник. Снова засобирався в горы зимой, хотя он человек уже в возрасте. Марала ловить — дело нелегкое, на это способен только настоящий мужчина, молодец из молодцов, могущий вытерпеть все лишения и трудности. К зиме марал заметно тощает, а снег становится сыпучим, словно крупа, ноги так и визнут, ходить уброчно. Вот в это время Учар с братом да еще Салкын и отправлялись за маралами. На ногах широкие лыжи, обшитые снизу барсучьим мехом, в руках аркан, за пазухой круг сухого сыра — курута, от которого и сыт будешь, и пить не захочешь. Все остальное — лишний груз. Как выйдут охотники на свежий след, гонят и день, и два. Марал больше трех дней обычно не выдерживает, выбивается из сил и ложится на снег. Тут-то и надо его заарканить, привязать к дереву. Да пожить рядом неделю, рвать для него сухую траву, обдирать лишайники с деревьев. На эту нетрудную работу сгодятся даже старики, родители. А сами охотники пойдут дальше, по следу другого марала.

Пожив некоторое время с людьми, марал становится смирным, привыкает к человеку, иногда из рук траву и всякий корм начинает брать. И его уже можно вести домой. Один старик впереди на лошади держит аркан, привязанный за рога, другой сзади подгоняет и тоже

за аркан придерживает. Марала обязательно надо вести вдвоем. Иначе он может ударить переднюю лошадь копытом. Удара его боятся даже медведи. И вот таким образом пригоняли марала к Каллистрату, а тот давал в награду нетель или бычка.

«Да, что ни говори, а Каллистрату помочь надо,— подумал Учар.— А тут еще и Федосья, она ведь дочь Каллистрата, бандиты ее не пожалеют. Кулер, так тот может над ней даже надругаться. Хотя нас с Каллистратом двое да еще Федосья. Она так знатно белкует. Вот только сможет ли стрелять в человека, хватит ли духу? Однако деваться некуда. Тут либо ты, либо тебя. Надо втолковать Каллистрату, чтобы людей на помощь позвал. И еще у него два батрака. Выхода другого нет, придется драться. Помогите мне, мои горы! Помогите, мои деревья!— Помогите мне, Белая лошадь! Помогите мне... Эх, была бы возможность перебраться опять на ту сторону, пошел бы к Салкыну, он бы сразу поднял своих комсомольцев. И бандитов бы переловили. Сколько раз говорил Салкын: «Приходи к нам, Учар, будем новую жизнь вместе строить». А я все упрямился, как несмышленный телок. В нашем споре Салкын прав, а не я. Потому что с ним вся молодежь. Со мной же никого, я один, один — одинешенек, и помочь мне некому».

Учар въехал на крутой взгорок, и ему сразу стал слышен голос реки Куркурек — Громотухи. Река эта — приток Катуня, и начинается она тоже с ледников. Будто барс на добычу, накинута Куркурек на Катунь, пересекла, будто белая стрела, перехватила могучее течение, и на много верст ее струи не теряют своего белого цвета, бегут вроде сами по себе, не смешиваясь с водами Катуня. В этой реке не то что купаться, руку страшно в нее опустить. Кажется, тут же подхватит тебя, увлечет на глубину, понесет, расплющит о камни. Утки, гуси не могут сесть сюда. От грохота уши закладывает, голова кружится от завихрений летящих волн, и разговаривать на берегу можно только громко, почти кричать. Над рекой, как над кипящим котлом, всегда висит белый туман, а брызги пронизывают радуга. Хорошо, что высокие берега Громотухи поросли густым, непроходимым лесом. Ветви деревьев глушат звуки, и они замирают в ущелье.

Здесь на берегу и стоит Каллистратов дом, уютно угнездившийся на таежной поляне. Дом окружен изгородью в два человеческих роста — сплошной тес, без щелочки, все прочно слажено.

В одном из окон заметен тусклый свет. Летом тут вообще не зажигали огня. Нечего рассиживаться при свете, надо спать, чтобы подныться с петухами и работать. Коротка летняя ночь, как хвост у воробья. Но сейчас зажжена лампа, наверное, его, Учара, ждут.

Неподалеку от Каллистратова двора темнеют островерхие юрты, избы и избышки, а то и просто сараюшки. В них живут алтайцы, перекочевавшие сюда недавно. Опасно стало жить, как раньше, в три — пять семей. Вокруг рыщут бандиты, грабят почем зря. Миром все же лучше, можно и отпор дать. Алтайцы держат по две-три коровы, по четыре-пять лошадей, по несколько десятков овец и коз. Скота, правда, заметно меньше стало, потому что прошла по тайге и горам война. Много людей повыбила, хозяйства обескровила. Но алтайцы занимаются не только скотоводством, пашут они и землю, выращивают ячмень, картошку. Охотничают, рыбачат, короче, промышляют кто как может. Многие из них помогают Каллистрату: возделывают его пашни, косят ему сено, пасут скот, строят. Или маралов отлавливают, панты режут. Новая власть запрещает держать батраков, потому что это эксплуатация, но руки у новой власти до этого отдаленного уголка еще не дошли, а значит, все можно. Поэтому те, кто победнее, нанимаются к Каллистрату батрачить, кормятся у него. Сам Каллистрат богат. Как говорится: от хлеба да отломится, от мяса да отрежется, от масла да капнет. Вот бедняки и не ропщут. Лучшего-то не видали.

Лишь только Учар выехал из леса на поляну, за изгородью свирепо забрехал пес Тайгыл. Его лай тут же подхватили еще три собаки,

забегали, заскреблись, завывали. Горы вздрогнули, встрепенулись, все вокруг насторожилось. Собаки эти, что на ночь спускались с цепи, злые, как волки, разорвут любого, кто проникнет во двор. Каллистрат их всегда сам кормит. Иногда Учару, как управится со своими делами, захочется собак покормить, но Каллистрат тут же перехватит у него ведро с едой и пойдет сам. А если когда отлучается, кормит собак Федосья. Только ей и доверяет это, больше никому. Батраков же к собакам не допускает вовсе. К Учару собаки привыкли на охоте, к тому же видят его каждый день, почитают за своего, узнают. Даже шаг его коня различают среди других.

И тут собаки радостно заскулили, зацарапались лапами по тесинам так, что Учару теплом пахнуло в душу: узнали-таки.

— А ну, цыть, змеи! — послышался через некоторое время окрик Каллистрата. Он долго возился с засовами, крючками, цепями. Наконец отворил ворота. Сонный, но во рту дымящая самокрутка.

— Ну как, паря, съездил? Все ли ладно?

— Плохо съездил. Совсем плохо, — сказал Учар.

— Говорил я, зря едешь, — досадливо прогудел Каллистрат. — Вода полая, большая, опасная. Просил же: подожди меня, управлюсь с пчелами, на пару и поплывем... — Он пригляделся к Учару внимательнее и изумленно вскрикнул: — Постой! Да ты же весь голый и мокрый! Тонул, что ли? Бегом в избу!

Учар соскочил с лошади, снял недоуздок.

На крыльцо выглянула Аграфена.

— Однако Учар приехал? — спросила она радостно и тут же пошла навстречу. Была грузна, необхватна, а двигалась легко. — Пошто так припозднился-то? — заворчала она. — Небось ночью через Катунь переправлялся? Ой, беда с тобой, Учар! — И вдруг всплеснула руками. — О господи... что с тобой? Поди, на коне плыл-то?

— На коне.

— Лодки не нашлось? — спросил Каллистрат осуждающе.

— Лодка-то была. Ключи кто-то спрятал.

— Да разве же рассудительный мужик так поступает? — стал он корить Учару. — Подождал бы до утра.

Учар виновато вздохнул и покосился на окно Федосьи. Там были задвинуты занавески. Может, она и глядит оттуда в щелочку, да незаметно, чтоб родители этого не увидели.

— Ой, что же это мы на дворе-то стоим? — засуетилась Аграфена. — Парень у нас ледышка ледышкой, а мы стоим, языками чешем. Баню я днем топила. Не остыла еще, поди. Беги-ка, прогрейся ладом. А потом и ужинать. Федосья пирожков напекла...

Темно под крышей на чердаке. Из единственного окошечка брезжит жидкий рассвет, от которого едва-едва светло. Пахнет березовыми вениками, развешенными по стенам, кожей и тесом крыши. Днем кровля сильно прогревается, и ночью здесь душно.

Учар лежит на своей постели, укрывшись шубой. В бане он хорошо прогрелся, потом поужинал и теперь отдыхает.

Каллистрат сидит рядом, тяжело задумавшись.

— Молодец, что все рассказал, — после долгого молчания произнес Каллистрат. — Спасибо тебе, сынок. Светлая у тебя душа.

От этих слов приятно Учару. Когда он был маленьким, Каллистрат говорил ему «сын мой» или «дитя мое» в тех редких случаях, когда особенно доволен был Учаром. Когда, например, тот отыскал в бурьяне любимый топор Каллистрата или первым обнаружил на охоте свежий след зверя. А повзрослел Учар, и скупее на похвалу и ласковые слова сделался Каллистрат, разве иногда с нежностью глядел на него.

— Как же я мог утаить? Ведь вы мне словно родные, — произнес Учар, смущаясь своей откровенности. — Разве можно за добро злом платить? Так люди не поступают.

Каллистрат задумчиво усмехнулся.

— Правильно думаешь, правдой живешь. А люди бывают всякие. Есть такие, которых и людьми-то назвать нельзя. Людишки... Значит, Савелий и Евлампий... Сватовья. И Кулер с ними. Щенок, из которого может вырасти волк. Складная компания. А тот, которого не узнал, что за повод-то ухватился, тот Платон. Главари ихний. Не смог я от них откупиться. Запросили слишком много. Да еще и Федосью сватали... Так что ждал я их. Только не сейчас, а под осень, когда все припасы в амбарах будут. Да что-то рано в гости запросились. Раньше срока.

— Торопятся отчего-то, — сказал Учар и подумал, что, наверное, из-за Федосьи. Боятся, как бы Каллистрат не выдал ее за Учара. Из-за длинного Кулера стараются, из-за волчонка своего. От этих мыслей Учар даже покраснел, жар его пронял. Ладно, что темно, Каллистрат не может разглядеть его лица.

— Спешат, спешат, — согласился Каллистрат. — В это время что они от меня могут взять? Только панты, больше ничего. А раз до пант дело дошло, значит, худы у них дела. С пантами сподручно в Китай бежать, там это как золото. Однако взялась за них новая-то власть. Любая власть — она порядок любит и за разбой судит сурово. Не станет бандитов по головке гладить. Почуяли конец, решили напоследок попить кровушки, обогатиться и за перевал. В банде ведь и офицеры есть русские, и другие белые. Провиант им нужен на дорожку. Доберутся до нас, не помилуют.

— Как же быть-то? — спросил Учар.

— Сам думаю. Может, уйти всем в тайгу? Есть у меня потаенное займище, отсидимся там. Пускай бандиты хозяйничают, берут что надо. Хоть живы останемся. А добро, оно наживное. Будем работать, все у нас будет. С голоду не помрем. Хотя...

— А если попробовать отбиться? — возразил Учар.

— Стану думать, сынок. Ты спи. Отоспись хорошенько. Иначе какой из тебя будет помощник. Домашним ничего пока не скажу. Подожду до утра. Там видно будет.

Каллистрат грузно поднялся, пригнулся, чтобы не зацепиться головой за стропила, и пошел к выходу. Поскрипывая одним сапогом, стал спускаться по лестнице.

Потом миновал двор, вышел к реке, сел в лодку, которую вчера смолил и шпаклевал весь день, неторопливо вытащил большой черный кисет и сосредоточенно стал сворачивать самокрутку. Думы его, как и движения, были неторопливы и точны.

«Ну что же, ты не суетись, головы не теряй, — мысленно говорил сам себе. — Начнешь суетиться и кидаться из стороны в сторону, это будет хуже беды. Надо перебрать в голове все выходы и на один из них решиться. Да и выходов-то немного, всего два. Один — уйти в тайгу, отсидеться там, пока хозяйство будут грабить. Другой — отбиваться. Уйти — тоже непросто. Чего доброго, подожгут еще усадьбу. А потом как? Был бы помоложе, можно бы и снова отстроиться. Деньжата есть, хоть и немного. Но ведь сил-то прежних нету. Годы не сбросишь, не продашь, давят на плечи. После погрома да пожара не подняться больше. А если и поднимешься, здоровье положишь на это дело, все равно спокойствия не будет. Бедняки вон в коммуны сбиваются, да и новая власть на справных мужиков косо смотрит. Неустойчивая жизнь пошла, под ногами словно зыбь речная. Не ведаешь завтрашнего... Как ни крути, а бросать двор на разграбление не резон... Надо попробовать отбиться. — Закурил, сощурился от дыма, поглядел за борт, окинул горы, будто ждал оттуда какого-то ему одному понятного знака. — На Учара их четверо наскочило. К ним еще люди прибавятся из банды же. Однако больше десятка быть не должно. Чем больше людей, тем меньше добычи на каждого придется. А Савелий с Евлампием жадны. Значит, с десятков их придет. С ихней стороны. А сколько нас наберется? Я да Учар — уже двое. Двух батраков

уговорю, глядишь, и четверо. Уже не так страшно, тем более мы в за-
саде будем. Жаль, мужики из айлов ушли в тайгу за пантами. Во-
ротятся, самое малое, через неделю. Старики одни остались. Может,
сговорю двух-трех побойчее. Из ружей будут палить, и то помощь.
Надо Учара за винтовками и патронами послать в Кызыл-Кая.
Он знает, где они хранятся. Парень ловкий, скоро привезет. А самому
обойти все айлы. Старики боятся бандитов, но, если пообещать каждо-
му по винтовке, никто не откажется... Что ж, будем отбиваться до по-
следнего, а там уж, как говорится, бог не выдаст — свинья не съест... Эх,
Савелий, Савелий... вонючий ты человечиска, — покачал головой Кал-
листрат. Выбрался из лодки. Поскрипывая левым сапогом, поднялся на
крыльцо дома, присел. — Ненасытен ты, прожорлив, как волк. До са-
мой Монголии, до Китая торговцы твои, коробейники, все села, все
айлы и стойбища обшарили. Твоим именем обманывают и обируют
простодушный алтайский народец. Весь Алтай ты скупил, обокрал. И
еще разбойничаешь, никак не насытишься. Награбленное белыми и
бандитами прибрал. Жадные глаза твои утоления не ведают, утроба
твоя дырявая всегда голодна. Вот и до меня ты решил добраться. Ну
что ж, Савелий, буду ждать гостенька дорогого, желанного. Припасу
тебе подарочек — пулю острую, горячую. Ключет она тебя, земля
вздохнет с облегчением...»

Отцы Каллистрата и Савелия в это урочище пришли вместе. Пого-
варивали люди, что бежали они с какого-то степного рудника. Поэтому
и выбрали глушь из глуши: с одной стороны — свирепая река, с дру-
гой — горы непроходимые. Никто тут их не сыщет. И еще беглецы рас-
судили, что лучше всего им жить среди алтайцев: народ таежный, бес-
хитростный и в дружбе надежный. Уж они-то не выдадут. О чем их
ни спроси, ничего не видели, ничего не слышали. Вот и весь сказ.
Сунулись было новоселы к местным кержакам, но те бывших ра-
ботных людей не приняли, дочерей своих за них не отдали — бо-
лись веру свою опоганить. И тогда беглецы посватались к алтай-
цам. Те поглядели — люди как люди. Дома себе отстроили, скот на-
чали разводить. Чем не женихи? Сыграли свадьбы пришлые люди,
породнились с алтайцами. А вскоре разбогатели. Земли богатые,
лесу сколько хочешь, знай работай, и все у тебя будет. Языку ал-
тайцев выучились, и те, народ приветливый, на доброту отзывчи-
вый, показали лучшие охотничьи угодья.

Отца Савелия, Прокопия, Каллистрат помнил хорошо. Такой же
длиннощий, весь в рыжих волосах, как этот Кулер. В году такого
праздника не было, чтоб не приехал к отцу Каллистрата Маркелу и не
погулял дня два-три. С ним непременно бывал и Савелий. Рад ему был
Каллистрат, все же одноклассник — и поговорить можно, и поиграть. Езди-
ли друг к другу в гости, друзьями были. Но дружба порушилась раз и
навсегда вот из-за чего. Как-то в один из праздников Прокопий, пьяный
вдрызг, вышел во двор по нужде да случайно свалил пчелиную коло-
ду. Пчелы тучей налетели на него и принялись жалить до смерти. После
этого случая разошлись их пути-дороги. Где ни окажутся вместе,
отвернутся друг от друга и разом уходят, чтобы драки не полу-
чилось. А в этом году и у Каллистрата в роду побывало несчастье.
Пошел отец на охоту и угодил под снежную лавину. Люди бо-
тают, будто бы наверху сидел Савелий, поджидал, что вроде бы
следы его лыж видели. Но Каллистрат не поверил, не стал грешить
на Савелия. Лавина, мол, она и есть лавина, под нее попасть очень
даже просто. Кругом столько таких ущелий, куда, прежде чем вой-
ти, надо громко крикнуть, а лучше всего выстрелить. Позабыл,
видно, отец об этом, вот беда и стряслась.

В этом же году у Каллистрата пали две коровы, и старушка Кудь-
юрчи поведала — от глаза. И намекнула на Савелия. Каллистрат и
этому не поверил. И только весной, когда кто-то застрелил его лошадь,
согласился: да, все может быть. Вспомнились ему заветные слова Саве-

лия, сказанные, когда еще были друзьями: «Видел ли ты, Каллистрат, девушку, которая живет со старушкой в урочище Койонду, что за Катунью? Такая красивая, ладная. Сильно нравится она мне. Только мои родители и слушать о ней не хотят. Приданого-то у нее кот наплакал. Отца нету, мать старая, больная. Дескать, не стоит родниться с такой».

Но, когда отец помер, Савелий все же посватался и получил отказ, И поговаривали, что Савелий в большом отчаянии, хотел даже повеситься или утопиться. Но не сделал ни того, ни другого.

Каллистрат в отместку Савелию из любопытства решил взглянуть на ту девушку, чтобы самому удостовериться, так ли уж она хороша, как болтают люди. Подкрался по крутому берегу Катунь к месту, о котором говорил Савелий, и увидел возле избышки-развалюхи девушку, легкую, стройную, будто молодая козочка. В девушке явно чувствовалась алтайская кровь. Глаза черные с искоркой, в черных как вороново крыло косах алтайские украшения. Очень красивая, ничего худого о ней язык не повернется сказать. А что метиска, так это совсем неплохо — от обоих народов она взяла самое лучшее.

Рядом с девушкой сидела старушка, перебирала семенную картошку. Своей дряхлостью она еще больше подчеркивала молодость и привлекательность дочери.

Девушка заметила Каллистрата на яру, но не испугалась, а отчего-то улыбнулась ему. И от этой улыбки случилось с Каллистратом удивительное. Весь мир показался ему таким прекрасным, таким добрым, даже в сердце серебрянные колокольчики зазвенели. Обо всем на свете враз позабыл. Спустился с яра, взял лопату из рук девушки и давай лунки копать. Усталости никакой не чувствовал, будто не землей, а воздухом ворочал. Готов был весь берег засадить картошкой, и сладко было бы ему от такой работы.

Не помнит Каллистрат, как они закончили сажать картошку, как домой воротился, словно во сне был. Все казалось, что горы кружатся и кружатся в хороводе, а Катунь, солнечная, золоченая, смеется и поет нежные песни. После этого часто он оказывался у ветхой избышки, бродил возле нее со сладкой истомой в груди.

Савелий прознал об этом, пригрозил Каллистрату, но тому, опьяненному любовью, все нипочем, отмахнулся, как от мухи.

Осенью справили свадьбу. Савелий тоже пришел, напился, хотел учинить драку, но его быстро связали и макнули головой в бочку с водой, чтоб отошел. А ночью загорелся у Каллистрата зарод сена. И Каллистрат знал, чьих это рук дело. Однако говорят: «Не пойман — не вор».

Невеста пришлась ко двору. Недаром есть пословица: «Корова, отелившаяся впервые, очень любит свое дитя, а сирота — своих родственников». Да и верно, девушка, жившая в бедности да нужде, все умела делать по дому, никакой работы не гнушалась. Знала обычаи русских от матери, алтайцев — от отца, потому что в родстве была и с теми, и с другими. Не выносила безделья, всегда чем-то была занята. На мир глядела ясными глазами, радовалась, что теперь она замужняя женщина, что у нее дом, хозяйство. Диву давался Каллистрат, как поспевала до рассвета подоить коров, напоить телят, пельменей настряпать, пирожков. Прямо огонь девка. Одно сделает, тут же выскакивает задать корму скотине, птице. Забежит в избу, примется за уборку — нравилась ей чистота в горницах. А вечерами вязала да пела мужу. Говорила ласково: «Ты мужчина, возись с деревом да железом, а по кухне и по дому сама управлюсь. Не надо мне помогать. Да и не устаю я вовсе. С чего уставать-то?»

Еще удивляло Каллистрата, ведь совсем молодая, а собирала лечебные травы везде и всюду — на покосе ли, в тайге ли. Знала, какая травка от какой болезни. К ней даже старики за советом приходили, и она не отказывала никому, врачевала. И за это благодарные жители несли в дом то одно, то другое. Огород любила особенно, в нем все бегом да бегом. Поливала, окучивала, выпалывала сорняки. У нее огурцы

да помидоры раньше, чем у других, поспевали, а сами плоды вырастали ядренее, вкуснее.

Работящая да умелая хозяйка в доме — великое дело. Поэтому скот у Каллистрата начал прибавляться. Пашни и огород пришлось расширить. Аграфена и там поспевала. Никто не мог за ней угнаться, когда сеяла, жала или вязала снопы. А как косила! Когда ладной и ласковой женщине работа в охоту, то и всем вокруг хочется походить на нее. Никто подле такой женщины усталости не чувствует.

Но вскоре Каллистрату пришлось бросить все построенное да нажитое. Бросить свое поле, политое потом, пастбища, огороды, и виновником тому был Савелий. Женился на вдовушке, которая была на десять лет его старше, но очень богатая. Одних пасек у нее было три, да что там пасеки. Говорят, самородки золота водились. И Савелий разбогател разом, зажиточной родни стало много, хозяином почувствовал себя. И передал однажды Каллистрату: «Два медведя в одной берлоге не живут. Который послабее, уйти должен».

Да, велика тайга, широки леса, а тесно им стало с Савелием. И пришлось ему, Каллистрату, срываться с насиженного места. Скоро всех соседей согнал с земли Савелий, целым урочищем завладел. В прошлую осень с батраком своим и племянником Кулером приезжал к Каллистрату свататься. Только Каллистрат ответил:

— Есть у меня дочка-ягодка, да зелена еще. Пусть поспеет, тогда и поговорим.

Вежливо беседовал Каллистрат с гостями, почти ласково, величал дорогими сватушками. Знал: так надо.

— Как бы ягодка-то не перезрела, — проговорил Савелий с прищуром. — Как бы ее не расклевали никчемные птицы.

— Да уж пригляжу за этим, — усмехнулся Каллистрат. — А появятся те птицы, так у меня дробовичок имеется. Ихние перышки я, бог даст, пушу по ветру.

Уехали «дорогие сватушки», украв из сеней плетеную с чеканью узду и волосяной аркан.

Долго в тот вечер ходил Каллистрат по двору, задумчиво опустив голову, смоля самокрутки одну за другой.

«Нет, не отдам им дочь, — билась в нем мысль. — Не отдам, пусть они хоть трижды богаты. Лучше за Учара выдам. Хороший будет хозяин. Вот только кровь в нем другая и вера... Да, пожалуй, и это не страшно. Ведь и во мне течет алтайская кровь. И в Аграфене. А в Федосье вообще все перемешалось. Нет, надо будет все-таки отдать Федосью за Учара. Жених, каких поискать. И зять будет преданный. Пускай бы бегали по этому двору ихние ребятишки. А какой в них крови больше, какой меньше, не в том суть. Лишь бы люди были хорошие. И я бы смотрел на внучат и радовался. Скучно мне без внуков-то. Позабавиться не с кем. Игрушку изладить некому, а руки чешутся. Внуков хочу... А Савелий, разве он человек? Одна дочь сбежала у него с батраком-алтайцем, так всему миру войну объявил. Кричал в большом селе на всю улицу: «Кто убьет их обоих, дам коня и корову». Родителей парня чуть не изувечили. Однако ничто не испугало молодых. Кое-как добрались они до Бийска, зашли в церковь и упали в ноги попу. Поп обратил парня в христианскую веру, после этого молодых обвенчали и объявили мужем и женой. Они вернулись домой, Савелий поскрипел-поскрипел зубами, да что поделаешь? Молодые построили избу-насыпшушку, возле нее юрту и стали жить. И сейчас справно и ладно живут, ребятишек у них уже много. Савелий и его родичи на свадьбе побывали, но там ни глотка водки не выпили, ни кусочка хлеба не съели. И до сих пор Савелий к ним не заходит, внуков своими не признает. Не может простить дочери, что пошла против его воли.

Разума у тебя, Савелий, сроду не водилось. То ли уж ты так глуп, то ли жадность твой ум затмила. Нам бы не враждовать с тобой, а в мире жить, одним мы арканом связаны. Как сохатые во время гона:

сшибаемся лбами, рога трещат, а охотника с винтовкой, что притаился неподалеку и выжидает удобный момент для выстрела, не замечаем. Так и бедняки за нами следят, подгадывают время, чтобы скрутить нас обоих, все наше добро отобрать, а самих смять, уничтожить. Так оно и будет... Ограбишь меня, а у тебя у самого все отнимут. Вот ведь как получится... И что я дочери в приданое дам? Какое наследство оставлю? Один лишь завет — как можно больше работать. Учар, тот не позволит своей семье нищенствовать. Породимся с ним — и мне выгода от зятя-бедняка. Теперь их власть. И к труду он привычный. Сколько наставлял его: работаешь от души, себе добро делаешь. Вот, к примеру, лиственницу валишь. Повозишься возле нее подольше, и дров выйдет больше, и гнили меньше. Смолистые будут поленья, много тепла дадут. Или ты почал метать стог-зарод. Делай его крупнее, выше. Тогда долго будешь сюда сено возить. А взять изгородь для маралов. Строй ее высокой, длинной, чем она протяженнее, тем выгоднее пастись там всякой животине. Такие работы, как засыпка зерном амбаров, перекачка меда, срезка пантов, и во все праздник, пусть они никогда не кончаются. Даже бычок, которого забиваешь, и тот пускай не сразу поддастся тебе. У сильного, крепкого бычка мясо и вкуснее, и жирнее. Пускай все как можно дольше и труднее строится, рубится, стрижется, доится, сбивается. А на охоту ездь дольше и дальше, добыча будет ценнее, весомее. Трудись много, и жизнь твоя будет полна». Вот такие мудрые заветы он, Каллистрат, оставит своей дочери и будущему зятю в наставление. Они зачастую ценней куска хлеба.

Каллистрат обошел внутри всю изгородь, осмотрел, все ли ладно, и решил, что завтра, светлым днем, надо еще поглядеть: может, лазейка какая есть или гвозди где ослабли. И непременно надо обкосячить крапиву, бурьян и лопухи вокруг забора, чтобы бандитам негде было прятаться. Амбары крепкие. Двери, замки и засовы ломом не возьмешь. Особенно те, где зерно, мука, панты и мед. Жидковаты двери амбара с кожей и шерстью, но зачем им они. Разве позарятся на медвежьи шкуры. А дорогая пушнинка хранится в избе, в сундуках. И в избушку — ледник для масла и сала топленого — не так просто попасть. Мясом Каллистрат никогда не запасался. Мясо, оно живое ходит. И свое, выращенное, и таежное. Рыба в Катунь плавает, сколько нужно, столько и поймать можно. Все у него крепко, все надежно, но против огня ничто не устоит. Особенно конюшня, сарай, чуланы, навесы для коров и овец. А мастерская... Чего в ней только нет! Всю жизнь собирал инструмент. Какой покупал, выменивал, а какой сам выковывал, вытачивал. И все это завтра может исчезнуть. Как с этим расстаться без боли великой? Тут вся его жизнь, труд, пот, долгие думы. Один маральник чего стоит. А пчелы... А дом... Шестикомнатный, каждая комната просторная, хоть на телеге развезжай. Срублен из звонкой лиственницы, бревна еще побуреть не успели, радуют глаз красноватой гладкой древесиной. Прогонистые, ровные, не поймешь, где комель, где вершина. Простоит такой дом века, потому что Каллистрат валил те лиственницы в начале мая, когда стволы налились соками, а листья-иголки еще распусться не успели. И крыт дом в два слоя тесом, тройчатником лиственничным, да так, что и капля воды не попадет на углы и стены. Двенадцать окон, наличники резные, узорчатые. Сработал резбу мастер издалека и за каждый наличник взял по овечке-матке. А до чего же теплый получился дом! На дворе морозы трескучие, а в комнатах благодать. Печи только утром и вечером растапливали. Когда рубили дом, Каллистрат наказал работникам класть стены сначала без мха. И где чуть маленькая дырочка в пазу, заставлял подтесывать да еще подсмеивался над ними: «За вами не следи, так решето будет, а не дом. Не зря говорят: «Кабы не клин да не мох, и плотник бы подох». По два мешка моху после клали под каждое брев-

но. Полы выстлал из кедровых плах и тоже двойные, с черновой за-
сыпной подкладкой. Красить половые плахи не стал. Кедр — дерево
теплое и ласковое. Ни ногу не занозишь, не простынешь. Каких тру-
дов все это стоило, можно сказать, жизнь положил.

Каллистрат все ходил и ходил по двору как неприкаянный. Уви-
дел на земле полешко, оброненное Федосьей в спешке, поднял и
унес, уложил в поленницу. К дереву у него была тяга. Сколько ло-
док выдолбил. А сколько пихт погубил, пока не научился выдалбли-
вать, расклинивать днище лодки. Если случался день, который про-
ходил в безделье из-за чего-либо, терзался и считал тот день про-
павшим, будто и не жил. Отдыхал редко и то лишь затем, чтобы по-
том сноровистее взяться и пластаться без передыху, пока сил хва-
тает. Даже не постился в святые дни. Голодный — не работник. Под-
ряжая батраков, сначала кормил и внимательно глядел, как они едят.
Если человек мало ел, сразу отказывался от него — не работник бу-
дет. Случались и гулянки, как же без этого? Однако после пластался
за двоих, наверстывая упущенное. Медовуха у него в доме всегда
стояла. Если кто зайдет, Аграфена без угощения не отпустит, нальет
добрый ковш медовухи или пива, а когда гость соберется уходить,
сунет гостинец детям: хлеба или туесок меда. И человека в благо-
дарность попросит то подсобить бревна ошкурить, то крышу под-
новить, то чулан пристроить.

С алтайцами, живущими по соседству, у Каллистрата хорошие от-
ношения. Стоит кликнуть, все явятся. А добудут в тайге пушнину,
ему несут, никому другому. За бесценок возьмет Каллистрат, но в
долгу не останется. Только он может сделать новую нарезку в ство-
ле старого ружья — курлы. И нож охотничий откует, и топор. Надо,
казан залудит, пилу наточит. В голодную весну даст картошки и
семян, мукой снабдит. Понимает, люди — хотят, не хотят — работа-
ют.

Все умеет и может Каллистрат, одно у него не получается —
добром своим с кем-то поделиться.

Как-то теперь будет?

Потускнел ущербный месяц над вершиной горы Кара-Туу. Посе-
рело вокруг, помутнело — скоро рассвет. На востоке небо окраси-
лось в розовый цвет, и на нем отчетливо проступили зазубрины леса
на вершинах. Хорошо урочище, сказочно красиво. Какое бы ни было
у тебя горе, а поглядишь вокруг, и жить захочется еще больше, и
сердце для радости откроется. Горы, зеленые волны леса со свер-
кающими вечным льдом макушками, поднялись высоко, вросли в не-
бо, в самую его сердцевину. Каких только там нет деревьев! Лист-
венницы, пихты, ели, кедры, березы и осины, много всяких кустарни-
ков. А ягод сколько! Смородина, малина дикая, кислица, облепиха —
всего не перечесать. Каждое растение, живое, трепетное, тянется к
солнцу, хочет обогнать другое в росте. Но солнца и тепла, и места
всем хватает. Щедра земля, щедро солнце, щедра тайга.

Поглядел Каллистрат с крыльца на окружающую благодать и вы-
шел за ворота, оставив их распахнутыми. Подумал, надо собак привя-
зывать, скоро женщины встанут.

Прямо у ворот лежали красно-бурые коровы, гладкие, сытые,
жевали свою жвачку. Все сразу подняли головы и поглядели на
хозяина. Одна из них, самая старая, ей, кажется, лет восемнадцать,
не меньше, рога от старости отвалиются скоро, при виде хозяина шум-
но вздохнула, тряхнула головой и поднялась.

Пора бы с нее содрать шкуру, да жалел ее Каллистрат. В свое
время она приносила хороших телят, была, так сказать, главой ко-
ровьего племени, вот и оставил ей жизнь в благодарность. Теперь у
ворот лежали одиннадцать коров, десять бычков да десятка полтора

телят. Есть еще бык Акмандай, но его что-то не видать. Раньше у Каллистрата коров было еще больше, но появилась маралья ферма и буренок пришлось поубавить — зимой с кормами трудно. Оставил коров-ведерниц. Молоко у них такое густое, что, как говорят соседи, ягненок наступит в жбан со сливками и копытцем не продавит.

Две огромные свиньи лежали неподалеку же в лопухах. Одна с поросятами, и все восемь штук при ней. Свиней Каллистрат частично тоже извел — очень уж прожорливы. Этих он держал из-за сала. Соленое сало удобно зимой на охоту брать. И веса малого, и места много не занимает. Да и пельмени со свиной хороши.

«Как же быть со скотом? Куда же его деть? — озабоченно думал Каллистрат. — Ведь угонят. Свиней, чтоб досадить мне, прирежут, а коров и в особенности коней угонят. Тут ведь есть и тягловые, с которыми пни выдергивал, и верховые, и иноходцы. Некоторые из них могут за день сто верст проскакать и останутся сухими, хоть еще столько же скачи. Нет, надо прятать их, прятать. Угнать в верховья, там ельник густой, непролазный, никто не найдет. А как быть с коровами? Их далеко не угонишь, им дойка требуется. Попросить бабушку Кудьюрчи? Пускай она покочует с ними. А с молоком на ее усмотрение. Хоть себе берет да масло сбивает, хоть на землю выливает. Как захочет. Жалко таких коров портить... — Поглядел на свиней, вздохнул. — Эти пускай остаются, бог с ними, а поросят можно пока соседям раздать... Куры, гуси... А-а, ладно, не до них, пусть бегают. Вот с маралами как поступить? Их не скроешь у соседей, в тайгу не угонишь. Может, взять да и выпустить на волю? Вот только, если отобьемся — шибко обидно будет. Но оставить на ферме нельзя, Это же такое богатство. А ульи? С ульями ничего не сделаешь. Мед надо спрятать в реке. Панты тоже схоронить. И пушнину, и деньги, и золотишко надо закопать подальше от людских глаз».

И Каллистрат, поскрипывая левым сапогом, направился к реке. Там прохладно, легко дышится и хорошо думается.

Всю ночь ворочался Учар с боку на бок на своей постели на чердаке, никак к нему сон не шел. Все ему мерещилось, что бандиты окружают дом, и даже явственно слышал скрип лестницы и тихие, крадущиеся шаги. Под утро забылся и привиделось вдруг, что уже не лежит в духоте под крышей, а едет на санях с Федосьей за сеном. Устроился на душистом сене, плечом в шест — бастрык утыкается, за бастрыком Федосья. Кони сытые, мчат и мчат, мягко покачиваются сани, поскрипывают оглобли, позвякивает колечко на узде. Снег твердый, накатанный, легко повизгивают полозья, равномерно вбиваются в снег копыта, пофыркивают изредка лошади. И хотя зима на дворе, а в ельнике всполошились совы, знай себе, покрикивают.

А как приятно покачивает, словно ты в колыбели, мягко и сладостен ход лошадей. Душа обмирает от восторга. Морозно, но Учар подставляет лицо лучам солнца и ему становится тепло. Сено такое дурманящее, пахнет летом... Глаза Учара закрыты, но стоит их открыть, и зимний сверкающий свет так и вольется в него, запрокинется над ним глубокое небо, проглядываемое до самого донышка, чистое-чистое...

Вокруг снега, снега, уплывают куда-то назад, за спину. Деревья стоят в изморози, всякая веточка одета куржавиной, будто покрыта белыми цветами. На каждом пне копка снега белой шапкой. На валежнике целый зарод. Тайга спит, только совы все покрикивают да покрикивают. Иногда веки набрякают теменью — это высокие кедр, ухватившись друг за дружку густыми лапами, застыт солнце. А через мгновение снова золотой снег проникает в душу, значит, выехали на поляну.

Учар и Федосья лежат рядом, между ними только твердый бастрык. Оба молчат. У каждого свои думы, но есть одна общая мечта. Им хорошо от близости друг друга, они могут так ехать бесконечно, хоть целый месяц, и им не надоест. Вожжи лежат свободно, их не надо держать. Лошадь и так не сойдет с дороги, иначе увязнет по самое брюхо, да и зачем ей сходить с дороги? Трое саней идут следом и вовсе без возчика. В прошлую зиму такие праздники нередко случались у Учара. Каллистрат то ли боялся властей, то ли что выгадывал, но батраков не нанимал, так что Учар и Федосья всю зиму сами возили сено. Было тогда у них четверо саней, на каждого по двое. Ездили через три дня, потому что четырех возов хватало скоту ровно на три дня. А еще запас кормов надо было иметь на случай бурана или отлучки. И Учар с нетерпением ждал наступления этого третьего дня: вставал на рассвете, пока задаст сено, пока справит кое-что по хозяйству, вершины гор запламенеют от солнца. Это самый пик утреннего мороза. Но, пока Учар завтракает, мороз спадает, вот тогда пора. Все готово, можно двигаться в путь. И тут выходит Федосья, которая, оказывается, уже успела подоить коров и убратся в доме. Учар замечает по ее улыбающемуся лицу, что и она радуется поездке. Всякий раз она одевалась по-новому. Особенно нравилось Учару, когда девушка надевала алтайскую шубу из ягнячьих шкур, шапку из лисьих лапок и меховые сапожки. Такой казалось ему ближе и роднее. А может, Федосья догадывалась об этом и хотела сделать ему приятное?

Едут они, а вокруг все будто дремлет, но вскоре промерзшие горы и тайга пробуждаются от веселого смеха. Это Учар с Федосьей затевают игры, борются, толкают друг друга. Вот Учар, поддавшись Федосье, смешно сваливается с воза, вскакивает и гонится за санями, чтобы опять сесть, а Федосья не пускает его, мягко отталкивает.

— Сдаешься? — кричит. — Если сдаешься, пушу в сани.

— Нет! Не сдаюсь.

— Ну тогда беги! Язык высунешь, сдашься.

— Ни за что на свете!

Он бежит, и Федосья втягивает в сани запыхавшегося Учара.

— Ладно, пожалею тебя. Ух, упрямый...

Доедут до стога разгоряченные, распаренные. Учар взберется на стог, а Федосья станет в сани, подхватит навильником слежавшееся сено и бросает вниз.

— Это тебе лепешка! А вот оладушки! А это блины!

Учар бросает и бросает к ногам девушки сено и жалеет, что стог уменьшается, что скоро эта игра кончится.

Федосья легко укладывает сено в сани, а это дело совсем не простое. Надо, чтобы копна была ровной и не сползала на дорогу при наклоне. Слишком широко или высоко класть тоже не след, потому что дорога петляет по глубокому снегу, по бокам сугробы. Издали посмотришь, угладишь разве дугу да уши коней, столько тут поворотов, спусков, подъемов. Но Федосья свое дело знает и худого не случится в пути.

Вот все сани загружены, крепко-накрепко перетянуты бастрыками. Если солнце высоко, то сразу ехать не спешат. Выберут листовницу посмолистее и начнут выколупывать серу, чтобы пожевать ее, запашистую, упругую. Или разведут костер и разложат свои съестные припасы. Однако долго задерживаться нельзя, дома нагоняй можно получить. И засобираются они обратно. Иногда дорогу перебежит заяц или мелькнет среди кустов кабарга. Не заметят, как и день прошел. Да что там день! Зима пролетит, оглянуться не успеешь. И все потому, что рядом Федосья. Эх, поцеловать бы ее, да не отважится Учар. Даже подумать об этом, и то в жар бросает.

Вот возвращаются они из школы, что на том берегу. Есть у них три потаенных места для игр. В ельнике, выросшем так ровно, будто

посажен он человеком, будут строить избу и юрту, «ходить друг к другу в гости», а у крутого обрыва есть два камня, похожие на верблюдов, так вот усядутся на них и «скачут», кто кого обгонит. А третье место — яр на берегу Катунь белой глины. Там станут они рыть норы и прокладывать по крутизне дорогу, по которой могла бы проехать телега. Порой так заиграются, что и не заметят, как солнце закатилось, и они, голодные, бегут домой, зная, что опять достанется от домашних.

«Увижу ли еще раз зиму? — думает Учар, поворачиваясь на другой бок. — Как жить хочется. И Федосью всегда видеть... Ну, это и от меня зависит, от моей изворотливости. И от везения. Хоть бы повезло... Каллистрат вроде все продумал. Значит, так: я как будто ничего Каллистрату о бандитах не сказал. Ночью встаю, привязываю собак и открываю ворота. Те входят, и тут наши одним залпом... Да, но не все же войдут одновременно. Некоторые вообще на всякий случай могут затаиться за воротами. А что, если они меня окружают и тут залп? Может, одеться во что-то яркое? В белую рубашку, например? Чтобы наши видели меня и не спутали с бандитами? А вдруг бандитов белая рубашка насторожит? Скажут, чего это вырядился среди ночи? И убьют меня? Все может быть... А что если подвести их к дверям зернового амбара, пропустить внутрь, да и закрыть там? Нет, они не дураки. Скажут, заходи первым. Видно, умнее Каллистрата мне не быть. Как велел, так и буду делать. А там уж как судьба распорядится... Ох, опасно. Рискую жизнью я ради Каллистрата, очень даже запросто могу пулю получить. Ну, а если все закончится хорошо, отдаст ли он за меня Федосью? Может, надо бы набраться решимости да спросить? А коли обманет?»

Рассвело окончательно.

Каллистрат, напившись у реки, поднялся и, заложив руку за спину и поскрипывая левым сапогом, крупным шагом направился к дому. Дел сегодня невпроворот. Но к Куркуреку все же обернулся.

— Прощай, моя река, — сказал с грустью. — Может, больше и не свидимся. Спасибо за твою воду. Никогда не оскудевай. Хотел и тебя своим батраком сделать. Мельницу бы мне крутила. Да... не успел. А может, еще и доведется...

Сколько раз бродил ночами вот так по берегу, заложив руки за спину. Ходил потому, что не было сна. Не шел сон к нему. Проснется среди ночи и вспомнит, что надо пристроить сени к дому. А как лучше? Срубить ли те стены из бревен или сделать их тесовыми? Бревенчатые-то, конечно, будут крепче и теплее, и пыль не просочится, да рубить их труднее. Тесать лицевые стороны надо ровно и так выбирать пазы, чтобы иголку не просунуть, иначе сени получатся худыми. К тому же махать топором в последнее время Каллистрату стало труднее — побаливали измочаленные работой руки и спина давала о себе знать. Валить-то придется опять же лиственницы, причем молодые, прогонистые, без сучьев. А где такие найдешь? Надо, чтобы и от дома недалеко, и не на крутизне. Тащить-то лошадью вниз придется, как бы не задавило ее. Так что как ни крути, а кого-то придется звать в помощники. Одному с таким делом не совладать, надсадиться можно, а тогда и сени не будут нужны. Вдвоем надо валить. А потом еще плахи предстоит пилить для настилки полов. Поперечная пила совсем старая, зубья поизносились, еще когда дом ставили. А косяки рубить дверные да оконные? Опять же тес на крышу понадобится. Ну, крыть крышу — дело плевое, не трудное. Однако доски сперва надо продорожить, желобочки продолбить, чтобы дождь по ним наземь стекал. Дорожить — самая нудная работенка. Вроде идет струг легко и ровно, кучерявится длинная стружка и вдруг — хрясь! — ударится нож о сук. Гукнет у тебя в груди от удара так, что, кажется, мозги скособочились.

От таких вот дум хозяйственных и не идет сон к Каллистрату. Перебирает в уме разные дела, шагая по берегу. То сени, то мельницу строить надо. Далеко вперед пытается заглянуть Каллистрат.

Заложив руки за спину, обойдет свои владения и опять вернется к Куркуреку. Любо ему вот так ходить, когда никто не видит, будто один он на всем белом свете. Горы стоят притихшие, мирные, веет от них покоем и вечностью, кажется, и сам проживешь тысячу лет. Ранняя свежесть бодрит, радует, если к тому же кругом весна. Весна у любого человека, будь даже он немолод, будит надежды, вселяет уверенность. Весна — это свобода и душе, и телу. Зимние заботы отступают, слава богу, перезимовали. И разоблачиться можно, в одной рубахе ходить.

Радостно Каллистрату видеть плоды своих трудов. Шагает степенно, неторопливо, бороду задирает, будто хвастает перед кем-то, гордится. Горделив и властолюбив, много ему надо, и чем больше, тем лучше. Поэтому и любил Каллистрат поиграть, покрасоваться, благо никто его не видит, истинных дум не прознает.

— Чья же это долина такая богатая и красивая? — спрашивает он негромко и удивленно. И сам вертит головой, будто ждет ответа.

— Каллистрата, — уважительно, с подобострастием холопа отвечает сам себе и идет дальше.

— А кто хозяин этого дома-терема?

— Опять же Каллистрат.

— А вон среди лиственниц бродят, пасутся маралы, белея хвостами. Чьи они?

— Да все того же Каллистрата.

— А коровы справные, гладкие? У которых вымя до земли провисло?

— Его же.

— А табун коней? От их копыт земля содрогается. Передние уже у реки воду пьют, а задние еще из леса не вышли?

— Каллистратов, чей еще.

— А кто хозяин зеленого колышащегося поля, окруженного со всех сторон жердяным заплотом?

— Все он, Каллистрат-батюшка.

— А кто проживает вон в тех черных избах да юртах, плохоньких и приземистых?

— Там живут Каллистратовы батраки. Все на него работают, но никому об этом не скажут. Потому как нельзя.

— Он что, Каллистрат-то этот, и впрямь так богат?

— Богат, родимый. Богат и силен наш кормилец. Сильнее его в округе, почитай, нет.

Приятный, ласкающий самолюбие разговор ведет, бывало, сам с собой. Но в это утро, хоть и светлое, но тревожное, Каллистрату играть не захотелось. Есть и посильнее его люди. Могут лишить разом всего: дома, скота, пашен, а может, даже и жизни.

— Пусть будет так, — заговорил он тихо, будто боясь, что его могут подслушать. — Учар отворит им ворота. Значит, и скот прятать не придется. Главное, не насторожить бы их. А то заподозрят чего... Вот только Учара жалко посылать к бандитам. Да другого выхода нет. Этот самый верный, и убытку меньше всего. Если Учар погибнет, постарею от горя. Зато скотину уберегу, дом уцелеет...

Опустил Каллистрат голову, прижмурился, тяжелая слеза оросила щеку, покатилась по бороде. Вспомнил сына своего Петра.

— Эх, Петенька, — проговорил он со вздохом, чувствуя, как тяжелый, горький комок встал в горле и давит, не дает дышать. — Почему ты, сын, не по той дорожке пошел? Разве тебя таким растил? Сердце ведь у тебя было мягкое, жалостливое. Убегал, когда забивали корову. При виде крови падал в обморок, словно девица. Комара, бывало, не мог прихлопнуть. На цветы наступить боялся, потому что

«им больно». Всех жалел. Я уж подумывал: не блаженного ли на свет произвел?.. А что натворил? Ушел с бандой самого Кайгородова. За саблю взялся, за винтовку. Носился по округе со своими дружками, убивал, жег. А кровь, она отмщения требует. Вот и получил свое. Кто тебя порешил? Никто не ведает, да и так ли уж это важно... Что искал, то и нашел. Горько говорить такие слова. Ведь я отец. Но еще горше молчать. Остался теперь без посоха. Нет родного сына, чтобы опереться на него и вместе от беды избавиться. Вместо тебя чужого парня пригрел.

Тут Каллистрат остановился и простер руки в сторону другого берега Катуня.

— Эй, Курендай, отец Учара! Беру у тебя сына. Беру без твоего согласия, будто краду. Посылаю ночью на дело опасное. Что ж, он уже стал мужчиной, а мужчина должен отстаивать свой дом и своих родных. Когда выйдет во двор открывать ворота бандитам, я буду молиться за него. И ты тоже помолись. Ты родил его, я воспитал, научил всему, что знал сам, сделал человеком. А теперь настало время платить. В мире всему имеется цена.

Катунь слушала его слова. И горы слушали, и леса. Далекий берег тоже внимал Каллистрату, но ничто не отзывалось там. Все молчало.

В это утро, ни жив ни мертв, сидел Курендай на берегу Катуня. Старик не спал всю ночь. До полуночи ждал сына с игрищ и, лишь когда молодежь утихла за околицей, отправился искать. Не нашел. Сказали, ушел давно, а куда, не знают.

Хватился — нет седла и карабина Учара. Белой лошади на холме тоже не оказалось. Всполошился старик, поковылял к Катуню.

Лодка на месте, где ей и положено быть. Замок цел. При свете луны разглядел на берегу среди камней потник, чепрак и седло. Рядом лежала одежда сына. Значит, искал, искал ключ, не нашел, да и ринулся на коне в реку. Только вот переправился ли? Почивает сейчас в доме Каллистрата или несет его тело Катунь, треплет о камни? Этого сейчас не узнать. Остается только думать да гадать.

Опустился Курендай к мокрым камням, сжал руками голову.

— Почему, сын, ты так сделал? Сбежал из родного дома поворовски, ночью и ничего нам, родителям, не сказал! — запричитал Курендай, раскачиваясь, чувствуя, как горячие слезы обжигают его впалые щеки. — Почему не подумал о нас, стариках? Не пожалел нас и без того надсаженные горем сердца? К кому так спешил, что лишнюю ночь дома посидеть не мог? Отвык от своего родного жилья? И во всем виноват Каллистрат. Это он отнял у нас сына. Приручил, как собачонку. Дочерью своей Федосьей приманил, околдовал. Она, конечно, девушка хорошая, но разве на этом берегу нет достойных невест? Шыранкай изводится по тебе, шалопутному, сохнет, а ты не видишь, будто ослеп. Видно, сам я, отец твой, виноват, что отправил тебя к Каллистрату. Можно сказать, в батраки отдал да еще просил Каллистрата всякий раз при встрече: «Вы будьте построже к нему, все заставляйте делать, любую работу. А не послушается, наказывайте».

А Учару что говорил?

«Слушайся Каллистрата во всем. Он тебе вместо меня будет. Учись, чему учить станет. В жизни пригодится».

Вот и выучил Учара. И что получилось? Тело твое, сын, мне принадлежит, а душа Каллистрату.

Старик поднялся на ноги, вытянул руки в сторону того берега, запричитал:

— Эй, Каллистрат, отдай мне сына! Я к тебе посылаю его, когда у меня их было три, теперь один остался, и он мой. Ты не откажешь мне, ведь мы с тобой друзья. Ездим в гости друг к другу, чай пьем,

задушевные разговоры ведем. Ой, нет, никогда не считал тебя другом, и ты меня не считал им. Потому что все делаю наперекор тебе, ты мне. И, улыбаясь друг другу, кривим душой.

Я рос в широкой, как степь, долине, всегда окрашенной синей дымкой. И долина та, волнуясь шелковыми травами, что по грудь лошадям, поблескивая цветами-звездами, медленно кружилась вокруг меня. И высокие скалистые горы, сталкиваясь вершинами, острыми, что стрелы, тоже плясали вокруг нас. С каждой горной седловины глядел вниз марал, на каждой поляне расхаживал сохатый, возле каждого выворотня копался медведь, на каждой скале стоял архар, под каждым кустиком пряталась кабарожка, в каждом дупле по соболю, на каждом дереве по белке, на каждой ветке по бурундуку, за каждой кочкой заяц. Из ущелья в ту долину с грохотом низвергались реки, мчались наперегонки с рыбами. И табун в тысячу лошадей мог затеряться в той долине, как обломок иголки.

Помню, юрта наша стояла на холме возле лиственниц. Много было юрт, и некоторые даже из белого войлока, благородные, торжественные. И еще помню, столько ягоды-кислицы было кругом, что босиком пройдешь, ноги становились красными, ветви кустов лежали прямо на земле, осыпанные ягодами. И малины было дикой столько, что стоило лошади пройти немного, и бока окрашивались ягодным соком.

Красивые высокие люди, мужчина и женщина, глядели на меня с любовью и ласково называли «балам» — дитя наше. Тепло и сытно было мне возле них. Но однажды очнулся я и вижу, другая долина, другие люди вокруг меня, очень старые. И стал я пасти овец и коз. Но всегда помнил прежнюю долину, помнил сильного мужчину и красивую женщину. Тяжело было без них.

«Где мой отец и моя мать? — спрашивал я стариков. — Почему их нет рядом со мной?»

«Держи, мальчик, свой рот на замке, — шептали мне они. — Будь нем и глух, на глаза людям не показывайся, хоронись от них. Мы вырастили тебя тайком. Ни матери, ни отца у тебя больше нет. А родился ты вон за той сверкающей горой Кадын-Бажи. Если тебе захочется, ты смотри на нее отсюда, а туда не ходи, тебе нельзя туда. Твой отец сильно провинился перед русскими. Он сжег церковь. Если дознаются, что ты сын этого человека, не жить тебе. Да и нам непоздоровится. Мы тебя нашли среди кустов, ты лежал и плакал, маленький, беспомощный. Посадили тебя в арчимак и привезли сюда. Отца твоего звали Адучи, а мать Эмчи. По отцу ты будешь майман, а по матери кергил. Берегись чужих людей, тебя укроют только твои горы».

И вот я пасу коз и овец целыми днями. Вечером, придя в юрту, выпью чашку кислого молока, съем кусочек сухого сыра и, свернувшись на подстилке из козьей шкуры, тут же усну. На плечах у меня шубейка. Штаны и рубашка тоже из шкуры. Круглый год в них. Больше у меня ничего нет, да мне ничего и не надо. Ни летней жары не замечал, ни зимней стужи не чуял. И слова стариков близко к сердцу не принимал. Жил себе, как былинка в поле.

Но однажды пришли сюда люди, обликом и речью непривычные, невиданные прежде. Развалили нашу ветхую юрту. Старичок со старушкой навьючили на лошаденку все, что могли собрать, и, погоняя двух коров да овец с козами, двинулись еще дальше, в глушь. Помню, весь день поднимались на перевал, но так и не достигли седловины, заночевали на склоне. Пересекли чащу, столь глухую, непролазную, что там и днем было сумеречно, как вечером. Одна корова споткнулась о камни, пала на передние ноги, перевернулась на бок и покатилась вниз. Сорвавшись со скалы, она долго летела по воздуху, брыкая ногами, перебирая ими, словно искала, за что зацепиться. Посмотрел я вниз, и у самого голова закружилась. Ухватился побыстрее за какую-то колючую ветку, чтобы не улететь вслед за коровой.

Далеко вниз, на дне глубокого ущелья, волосинкой блестела река. «Это Катунь», — объяснили мне старики. Верхушки деревьев казались острыми выставленных пик.

Не помню, сколько мы ехали, неделю или больше. И все время то подъем, то спуск. С одной стороны скала; с другой — обрыв. Пальцем ткни лошадь в бок, и она улетит вниз. Тут лошадь не только трогать нельзя, но и понукать не следует, лучше всего поводья бросить. Пускай сама идет по тропе, осторожно переставляя ноги, щупая копытами тропу. Не успеешь обогнуть скалу, как подъем начинается, да такой, что помет передней лошади валится на лоб следом идущей. Так и ждешь со страхом, вот-вот лопнут подпруги, и тогда костей не собрать.

Трижды в своей жизни мне пришлось кочевать, убежать от преследователей. В последний раз я уже был женат, дети у меня были. А разве это легко — бросать юрту, родной очаг и перетаскивать все на другое место? Разве это просто — отстроиться заново? Зачем я живу в ущелье, в теснине? Разве долин у нас мало? Иной год бывает такое половодье, что глядишь на Катунь и думаешь: унесет тебя ночью вместе с юртой, женой и ребятишками. Ляжешь спать, а проснешься в воде. Но сейчас все, хватит. Покочевал на своем веку, пора на одном месте осесть. Никуда больше не поеду.

Вот приехал я, гонимый, в это урочище. Юрту поставил, обживаться стал помаленьку. Потом ко мне прибились еще две семьи, такие же горемыки, как и я. Мы с женой помогли им устроиться. За ними прикочевали и другие, а через несколько лет аил селом стал. Колокола зазвонили, поп стал кадилом размахивать. Появились господа и объявили, что земля принадлежит им. Оказывается, бумага уже такая есть. Не нравится? Уходи. Куда? Куда глаза глядят, в необжитую глухомань. Или отрекись. От себя самого, от обычаев, от предков.

«Нет и нет! — думал я. — Я не совершал ни воровства, ни убийства, никакого другого дурного дела, чтобы меня изгоняли отсюда, обрекали на новые скитания». Так и остался.

Но сам решил схитрить. Послал, Каллистрат, к тебе сына своего, чтобы он выучился вашему языку, вашей грамоте, вашей вере. Хотел, чтобы Учар перенял у тебя все, что ты знаешь сам. Мне нужен был сын грамотный, умелый, знающий многое. Дерзкая мысль во мне зрела. Отец мой, Адучи, сжег церковь и лишился жизни. Я же построю церковь и возвышусь.

Поэтому и пошел я по миру собирать деньги на построение храма. Три года ходил.

А люди встречались в пути всякие, некоторые из них не прочь были отнять у меня деньги.

Долго так ходил. До Бийска дошел, потом до Барнаула. Поманило дальше — в Омске побывал и в Томске. Что там видел, что нового узнал? Перво-наперво понял, что народ русский очень многочисленный, земель у него много, мыслью все не облетишь. Узнал, что люди русские отзывчивые и добрые и к другим народам терпимы, с ними вполне можно жить.

Удивляло меня название местностей, рек, озер. Карасуу, Сузун, Тусколь, Гора Бекту, степи Кулундинские. Слова эти — родные мне, моему языку. Тусколь — соленое озеро, Карасуу — черная вода. А Кулундинские — значит, жеребятчи.

Вспомнились слова тех стариков, что выбрали меня, брошенного, и выкормили: «И спустились мы в степи белесые, бесконечные, до конца-края которых и коршуну не долететь. И назывались те степи Кулундинскими. Кочевали мы там и нагуливали скот. Отары наши были бессчетны среди степного разнотравья, возле соленых озер. К осени собирались у горы Бабырган: справляли свадьбы, устраивали конные скачки. На зиму поднимались в горы, на бесснежные южные

склоны, там пасли свой скот. Хорошо жили, трудились много, как предки велели. И отдыхали весело. Но потом русская царица, что прозывалась Екатериной Второй, велела построить в Сибири крепости. А раз крепости возвели, отрезаны дороги в степи. Кочевать нельзя стало, скота поуменьшилось. А раз меньше скота, меньше народу. Вымирать люди стали помаленьку, болезни их одолели. Кочевые люди из других народов набеги на нас устраивали, плетеною камчой угоняли наши стада и наших людей пленяли. Кто только не грабил нас...

Тяжелое было время, и если бы русские не пришли на помощь, то и весь народ полонили бы захватчики, языка бы лишили собственного, не только земель. Тяжелее стало, что крепости появились, но без них нельзя никак. Те, что ордами приходили в наши земли грабить, теперь стали остерегаться».

Много я узнал, многое проведаль, пока путешествовал по русским городам. А главное, разъяснили мне русские рабочие, что зря я собираюсь строить церковь, что никакой бог — ни русский, ни алтайский — ни защитит мой народ. Что все равно, какой богач — русский ли, алтайский ли — неминуемо появится в новом селе и заставит всех работать на него. Все приберет к рукам, и церковь его станет поддерживать. А мы будем батраками.

И вот пришла в горы наша, бедняцкая власть. Нам не надо строить церковь, потому что никто теперь не прогонит нас из родных мест. Мы живем и говорим на своем языке. Очаг наш не погас, корни не засохли. Правда, новая власть еще не успела набрать большой силы, потому что долго боролась со всякой нечистью. Но скоро она будет сильна, а богатеет мы прогоним, все у них отберем: стада, дома, пастбища, пашни. Хозяевами станем на своей земле.

Отдай, Каллистрат, мне моего сына. Теперь мы свободны. Пусть мой сын строит новую жизнь. Мой старший сын, Эжер, погиб за нее в бою с белыми бандитами, и Учар пусть продолжает дело брата. А церковь осталась с недостроенным куполом. Не жалею, что мы ее строили, там теперь дети учатся, там школа. А о боге учитель детям не рассказывает. Нету Христа. Наша власть отменила его. Вот как... Так что отдай мне Учара назад. Слышишь, Каллистрат? Отдай Учара, от-да-ай!!

Полетел голос Курендая за Катунь, все отдаляясь, слабея и слабея. Волны его приглушили, течение подхватило и вниз понесло.

Приложил Курендай ладонь к уху, прислушался, будто ждал отклика с той стороны. Весь притаился, дыхание задержал. И почудилось ему, будто с другого берега донесся слабый крик, тревожный и невнятный. Словно птица в ночи прокричала.

Каллистрат грузно взобрался по лестнице на чердак. Захотелось подремать немного. Силы ему сейчас, ох, как пригодятся.

Лег на медвежью шкуру и шумно перевел дух. Шкура мягкая, ворс густой, длинный. Огромный был медведище. Каллистрат с Учаром свалили его в позапрошлую осень. Учар выстрелил, да неудачно. Как же накнулся на него медведь! Как проворно бросился! Хотя с виду неповоротлив, а ловок, куда до него кошке с ее гибкостью. Каллистрату еще подумалось тогда: «Конец парню». Чуть опередил несущегося на Учара раненного зверя и спустил крючок. Медведь так и не успел добежать до парня, какого-то шага не хватило. Ткнулся мордой в снег и остался там лежать. Да-а, частенько Каллистрату и Учару приходилось рисковать жизнью. И на этот раз судьба снова решила их испытать.

Он хотел разбудить Учара, чтобы еще раз обсудить, что и как, но тот вдруг сам поднялся.

— Знаете, что я надумал? — сказал он Каллистрату. — Надо обмануть их. Я открою им ворота, проведу к амбару с мукой, скажу, тут спрятаны ключи. А вы в это время отсюда, с чердака...

— Если они пойдут туда, — усмехнулся Каллистрат невесело. — Ты вот что, Учар... Старайся от них подальше держаться. Хотя бы на два-три шага. Сообразил, для чего?

— Чтоб в меня не попасть.

— Верно. Веди себя с ними просто. Не мечись, как будто ты на самом деле меня предал.

— Вас предать? Не-ет... Вы мне как отец. Аграфена — как мать. А Федосья... Федосья... — он покраснел и замолчал, не находя слов.

— Любишь ее? — спросил вдруг Каллистрат, усмехнувшись.

— Хорошее это слово, но маленькое, короткое. А у меня в сердце не вмещается.

— Если, бог даст, все будет ладно, отдам ее за тебя.

Учар во все глаза уставился на Каллистрата, и расплылось, потеряло очертания бородастое лицо Каллистрата.

— Ну-ну, ты что... — положил ему тяжелую руку на плечо. — Хорошая вы будете пара. Оба работающие, здоровые... Все потом вам оставлю: дом, коней, скот. Потому как верю: не размозите моего добра, а, наоборот, приумножите. Имя свое тебе отдам. Люди спросят: «Чей это такой дом-терем?» — «Учара Каллистратова». — «А чьи кони идут на водопой к Катунь? Передние к воде подошли и уже пьют, а задние еще из леса выходят?» — «Учара Каллистратова». — «А коровы, а маралы, а свиньи, а пашни? Чье все это?» — «Да все его же, Учара Каллистратова». Дай-то бог, чтоб так и было... А теперь давай маленько отдохнем. Поднакопим сил.

Ночь стояла темная, безлунная, будто нарочно такая выдалась. Тяжелые тучи плотно заволокли небо, нависли почти над самой крышей. Только далеко-далеко на западе светлела чистая полоска синевы, на фоне которой четко выделялись лесистые гребни гор. Отточенным клинком светилась та полоска.

От тяжести облаков было душно. Даже грохот Куркурека слышался тише, как сквозь вату, все звуки впитывали в себя облака и гасили их.

Тихо было, очень тихо, только иногда ржала в лесу стреноженная белая лошадь. От ее ржания Учару становилось не по себе.

— Наверное, за меня беспокоится, — сказал шепотом Учар. — Животные ведь чувствуют беду.

— А может, другие кони близко, — успокоил Каллистрат. Гостей поджидали на чердаке. Старались не разговаривать, не двигаться, Каллистрат даже не решался курить, хотя ему очень хотелось, лишь вздыхал, изредка шепча: «Уши пухнут».

Внизу в кухне на подоконнике горела единственная лампа. Свет ее смутно освещал двери амбара с мукой. На эти двери из чердачного проема, где была загодя выставлена рама, из слухового окна-скворечника глядели люди Каллистрата. Было их восемь человек. Пятеро из них с винтовками: сам Каллистрат, Федосья, не захотевшая оставлять отца, два батрака да сосед Калтар. Аграфена, не умевшая стрелять, сидела рядом с собаками, готовая по условному сигналу спустить их с цепи всех разом. Учара с ними не было. Он скрывался во дворе. У него была самая опасная обязанность — открыть ворота и подвести бандитов к амбару. Если они его пропустят вперед, что вполне возможно, то там, в амбаре, лежит наготове его карабин. Он в полнейшей тьме схватит оружие и начнет стрелять по бандитам, столпившимся у дверей. А с чердака по ним откроют огонь все остальные.

На чердаке в засаде был еще старик Бутен. Когда Каллистрат предложил ему винтовку, тот отказался:

- Не стану стрелять в людей.
- Какие же это люди? Это бандиты.
- Все равно.
- Пять коней подарю,— пообещал Каллистрат.
- Хоть целый табун. Человеческую кровь не пролью.
- Не будешь в них стрелять, они сами тебя убьют.
- На них и кара падет.

Поняли, что уговаривать упрямого старика нет смысла. Взяли его с собою на всякий случай — знал много. Каллистрат жалел, что старик не согласился, стрелок был отменный. Из своей самодельной старинной пищали умудрялся бить белку в голову. Да вот одряхлел за последнее время, перестал охотиться.

Тихо в опустевших комнатах дома. Тихо во дворе, все затаились: и люди, и строения, и темный, невидимый лес.

Снова призывно заржала белая лошадь, зафыркала, словно испугалась кого-то. Звала хозяина.

И тут в ельнике раз за разом трижды прокричала сова.

С чердака хорошо было видно, как Учар, светлея рубашкой, потихоньку, крадучись, пошел к воротам.

- Кто там? — спросил.
- Мы,— ответили из-за ворот тихо. По голосу — Кулер.
- Сейчас собак привяжу.

Под навесом в тени сидела Аграфена. Учар поймал собак и концы цепей протянул ей. Аграфена перекрестила его, шепнув:

— Господи, спаси и сохрани...

Учара трясло от волнения и страха, когда снова направился к воротам. Но боязни старался не показывать.

Отодвинул засовы, приоткрыл створку ворот. Навстречу сунулся кто-то высокий, плотный. Крепко ухватил за локоть, отстраняя. Не входя, заглянул во двор, подозрительно окинул дом, и амбары, и баню. Собаки лаяли, но людей было не слышать.

— Я сказал, что ко мне отец придет,— спокойно проговорил Учар.— Они думают, что это он.

— Ладно... Где ключи?

— Маралов мне отдадите? На что вам они? А я их держать стану. И еще пчел,— просительно сказал Учар и удивился, до чего правдоподобно вышло.

— Ты свое получишь. Ключи. Живо...

— Я в амбаре с мукой спрятал. Пойдемте. Покажу...

Плотный человек, еще раз оглянувшись, шагнул в тень и призывно махнул рукой. Сзади тотчас наперли, надавили. Толпа ввалилась во двор, бросилась к крыльцу.

— Амбар-то не там,— зашептал Учар, хватая за рукав бегущего к крыльцу человека с винтовкой.

— Знаем,— тихо ответил он на ходу.— Разберемся.— Человек приостановился, поискал что-то в кармане и торопко протянул Учару. В тот же миг что-то быстро, стремительно сверкнуло, скользнуло мимо рук и ожгло бок. Боль была острая, резкая. Учар не испуганно, а скорее удивленно вскрикнул и опустился на землю, зажимая ладонью рану. Рука сразу сделалась горячая и липкая.

И вдруг ему стало легко и хорошо. Будто наступил день. Солнце на небе красное, как на закате перед ветром, и красное зарево расходится кругами по двору. Учар, Каллистрат, Аграфена и Федосья сидят под навесом и завтракают, пьют красный, будто окрашенный костяниной чай.

— Учар,— вдруг говорит Каллистрат,— возьми сейчас моего рыжего коня и поедешь во-он на ту гору,— и показывает рукой на пламенеющую вершину.— Наломашь там льда, привезешь полные

сани. Разбросаем во дворе, и станет прохладно. А то, видишь, жара держится. Спасу нет.

— И я с ним поеду,— просится Федосья.

— Нет, ты не поедешь,— говорит Каллистрат и хмурится.

— Сено возила всю зиму. А почему сейчас нельзя?

— Коню тяжело будет.

— Да и гроза скоро начнется,— добавляет Аграфена.

Только произнесла это Аграфена, как ударил гром и загремело, загрохотало. Красное небо озарилось вспышками.

«Откуда гром? — думает Учар, изумляясь. — Разве так бывает, чтобы светило солнце, на небе ни облачка, и вдруг гроза?»

Нет, это вовсе не гроза. Это бандиты. Но почему они бегут к крыльцу? Там же Федосья!

— Эй! Эй! Амбар не там! Он вон где, совсем в другой стороне! — кричит Учар и не слышит собственного голоса, только слабый писк и хрип раздаются из груди. Хочет бежать, защитить Федосью, но не может, ноги не слушаются и руки как ватные. Все обгоняют его. Он видит, как Федосью выводят на крыльцо, как заламывают ей руки.

— Учар,— плачет она и зовет его.

И Учар на ватных ногах плывет к ней, почти не касаясь ступнями земли. Его сердце разрывается от боли и жалости к Федосье.

И вдруг видит, с чердака, выставив длинный ствол ружья, в него целится Каллистрат. Черная мушка на конце ствола останавливается на уровне его груди.

— Это же я! — в отчаянии кричит он. — Разве вы меня не узнаете? Я же в белой рубашке!

Озноб прокатывается по телу. Это совсем не Каллистрат. Это же Кулер! Как язвительно он усмехается. Указательный палец его напрягается на спусковом крючке. Слышится явственный щелчок бойка. Взрывается в патроне порох. Пуля, накаля ствол, мчится к выходу. Вот она, желтая, горячая, отрывается от конца ствола и летит, окутанная синим дымом. И не уклониться, не спрятаться от нее. С треском разрывается рубашка, кожу обжигает огнем, и пуля входит в плоть его. Становится горячо и темно. Меркнет на небе красное солнце, тускнеют рдяные волны света...

Но разум в нем не убит, парень лежит живой, затаившись. Пусть бандиты думают, что Учар мертв. Пусть. А он жив, сейчас возьмет и улетит. И как это мог позабыть, что умеет летать, что стоит ему только раскинуть руки и поднатужиться, как оторвется от земли. Там, в высоте, его не поймает никто. С каждым взмахом рук будет подниматься все выше и выше. И Федосья с ним улетит. Она ведь тоже умеет летать, только об этом не догадывается. Надо ей об этом сказать, шепнуть. Они, как два лебедя, воспарят в воздухе. Федосья будет впереди, а он, подранок, сзади. А как хорошо летать! Какая же это радость — парить в высоте.

Вот уже труба Каллистратова дома осталась внизу, острые вершины пихт проплывают внизу, едва не царапая живот. Надо еще немного поднатужиться, взмахнуть крыльями-руками посильнее, и пихты сразу отодвинутся, как будто провалятся вниз.

Дышать становится все легче — воздух в вышине прохладный, свежий, как родниковая вода. Пьешь — не напьешься. А внизу уже горы. Сверху, оказывается, очень удобно их разглядывать, все видно — каждый кустик, каждый камешек.

Глядит во все стороны Учар — кругом его родина. Долина круглая, как казан. С белыми прожилками горных рек. Где он только не бывал! Во-он в тех буреющих осыпях, курумниках, караулил сусликов — тарбаганов. В темном ельнике, что за скалами, бил рябчиков и белок, а рядом, в сереющем сушняке, брал соболя, черного, драгоценного. Далеко под ногами в ущелье змеится речка. Там в его капкан попалась выдра. На тех гольцовых камнях подстерег архара.

А под самым Уч-Сюмером... Дядя по материнской линии, старик Амаду взял его с собой на охоту. Взял, потому что сам уже плохо видел. «Ну, что видишь, балам?» — спрашивал постоянно. А Учар любовался переливами красок на леднике, как раз наступал рассвет, и солнышко старалось, чтобы выглядел он как можно нежнее.

И вдруг на седловину вышло стадо в десять маралов. Как красиво и величаво они шли. Будто не шли даже, а плыли в танце, горделиво, откинув за спины ветвистые рога.

— Идут, дядя Амаду, идут! — громко прошептал Учар и рукой показал на маралов. — Рога у них, как сучья, торчат. Только лбы белеют!

До сих пор шутят дядины домашние:

«Расскажи, Учар, какие у маралов лбы белые».

Оказалось, что стадо тогда не приближалось, а, наоборот уходило. И белели у них хвосты.

Как хорошо лететь в чистом небе! Учар и Федосья летят к Уч-Сюмеру. Им хочется попросить у великой вершины благословения. Но небо отчего-то темнеет, поднимается встречный ветер и относит их от горы, не дает приблизиться.

«Не зря было небо такое красное, — думает Учар. — Вот и ветер поднялся. Хорошо бы опуститься куда-нибудь в тихое ущелье и переждать. Там есть чистые родники — аржаны. Вода в них вкусна. Пьешь — не напьешься. И как раз пить сильно хочется, горло пересохло, губы слиплись. Хоть маленький, хоть крошечный глоточек...»

— Надо ему дать молока, — слышится над ним голос Аграфены.

— Хочу воды из аржана. Чистой и холодной. Пусть она охладит мою грудь, — пытается выговорить Учар и не может, губ не разжать, так спеклись.

И вдруг теплый дождь падает ему на лицо. Одна капля, другая, третья. Станный какой-то дождь. Соленый...

— Быстрее запрягай, быстрее! — слышится взволнованный, то-ропливый голос Аграфены. Он просачивается в уши и возвращает его из небытия.

— И так тороплюсь. Не видишь? — басит Каллистрат.

— А с этим что делать? — спрашивает незнакомый голос. Учар слушает и старается представить себе этого человека. Да ведь это же голос Гриньки, батрака Каллистрата. Когда они уговаривали Гриньку идти в засаду, тот попросил винтовку, корову и лошадь. «По-первости хватит мне. В верховьях Куркурека присмотрел себе полянку добрую. Там избу поставлю, огород посажу. Пчелами разживусь, маралами. И женюсь!» — «Что ж, — согласился тогда Каллистрат, — дело хорошее. Отобьемся от бандитов, подсоблю». Так он Учару говорил, обещал. А сам в грудь целился. Или это Кулер выстрелил? Что ж, они так похожи...

Как хочется воды! Еще лучше — кусочек льда. Проглотил бы его, чтобы огонь в груди притушить.

— Выстрели в меня, Каллистрат. Добей. Не видишь разве, как я мучаюсь? — слышит Учар голос Савелия, и, хотя глаза закрыты, сквозь веки проникает золотистый полумрак. И будто видит он, как елозит по земле Савелий, словно собака с перебитым задом.

— Не-ет, — гудит другой голос — Каллистрата. — Добивать тебя не стану. Ты мне живой надобен. Я тебя властям передам. Пусть они решают, как с тобой быть.

— Откупиться хочешь? Думаешь, тебя помилуют? Не бывать тому. Все заберут, голым оставят. А самого куда-нибудь сошлют.

— Не разбоем живу. Кусок хлеба у меня всегда будет. Я не вы.

Голоса становятся гуще, речь несвязней. Учару кажется, что он куда-то проваливается, падает, ждет удара и не может дожидаться, сжался весь в комок. Плавнo опускается на сено. До чего же мягко и душисто сено из зимнего стога... Учар лежит на спине с закрыты-

ми глазами. Сани легко скользят по гладкой дороге, покачивают, убаюкивают. Скрипят полозья. Слышится, как бьют копыта по слежавшемуся снегу, позванивают подковы. А может, это ледок звенит? Мелкие осколки из-под копыт летят прямо в лицо. Так приятны их прикосновения. Пахнет ядреным морозным воздухом, снегом, далекими ледниками. Пусть сани долго-долго бегут, ведь рядом Федосья. Стоит открыть глаза, и он увидит бездонное, будто подсиненное небо. Мохнатые, в изморози ветви деревьев будут уплывать назад. Он шевельнет плечом и ощутит рядом Федосью, вздрогнет от неожиданности. А сани все мчат и мчат, и светлые поляны с искрящимся снегом кружатся и кружатся. Высокие темные ели протянули друг другу лапы и пошли хороводом вокруг саней...

А в груди горячо, так горячо, что снег на полянах темнеет и тает. И вот уже потекли ручьи, зазвенели по взгорьям. Ручьев кругом много, а напиться нигде. Только холодные колкие брызги летят в лицо, дразнят его. Он, Учар, стоит возле звонкого ручейка, опускается на колени. Сейчас спекшимися губами коснется воды, сейчас... Даже застонал от нетерпения.

И ручеек, будто сжалившись, плеснул ему в лицо, остудил губы, тоненькая струйка воды попала в рот. Сладка и живительна была та вода, пить ее — не напиться.

— На тот берег! Они целились в меня. Как я мог раньше этого не понять! Только на тот берег! Скорей! — Учар открывает глаза. Видит над собой небо, утреннее, вызолоченное солнцем, ясное-ясное, прозрачное до самого доньшка. И склоненное к нему лицо Федосьи. Ее глаза, ее губы, что шепчут ласковые слова. Оказывается, он и не в саях вовсе, а в лодке. И не ручьи звенят вокруг, а быстрые струи Катуня.

— Ну, полегчало? — спрашивает Федосья.

Учар вспоминает теплый дождь, и слабая улыбка трогает его губы.

— Ты плакала надо мной? — еле слышно выговаривает он.

— Тебе нельзя говорить. Молчи и терпи, — шепчет Федосья и снова берется за весла. Рыжеватые ее волосы развеваются на ветру, лицо озабоченное, серьезное. Она гребет изо всех сил, слышно, как шумит вода, лижет борта лодки. Самое опасное место, кажется, уже миновали, но волны еще сильные и течение быстрое. Брызги летят Учару в лицо, остужают жар, притупляют боль.

«Раз Федосья рядом, все будет хорошо, — думает Учар и успокоенно смеживает веки. — Федосья будет рядом со мной. Будет рядом... На том берегу мы сделаем все, что мы задумали, о чем говорил мне тогда Салкын...»

Он слушает журчание Катуня и улыбается, хотя глаза его закрыты, видит тот берег. Там, на берегу, конечно, стоят Салкын с Шыранкай, взявшись за руки, и ждут, когда лодка причалит. К ним.

— Я знал, что ты вернешься, Учар. Мы ждали тебя.

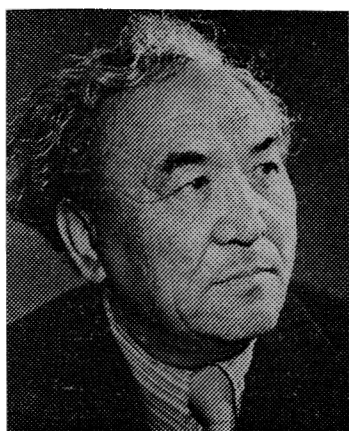
— Я вернулся.

— Это хорошо. Вместе будем строить новую жизнь. Правда, Учар? Правда, Федосья?

— Правда, — отвечает Учар.

— Правда, — как эхо, повторяет Федосья.

А пока скрипят уключины, туго ворочается вода у бортов. Федосья гребет, налегает на весла, с каждым взмахом весел-крыльев приближая лодку к той стороне, где нет батраков и богачей, где люди все равны, где будущее каждого светло и надежно. Учар приоткрыл глаза и любит девушкой с зелеными, как катунская вода, глазами. Ему хорошо-хорошо. Он улыбается и ждет, когда нос лодки мягко ткнется в песок родного берега.



**ДАВИД
КУГУЛЬТИНОВ**

Град в Венеции

П О Э М А

С КАЛМЫЦКОГО.

Перевод
Юлии НЕЙМАН

На море — штиль. В небесах — ни тучи.
Все помогало вдали виднеться ей.
В день, обещающий благополучие,
Встретились мы с прекрасной Венецией.

— Здравствуй,— вскричал я,— краса земная,
Ты, что на всех языках воспета!
Эхо, как будто меня понимая,
Вдаль устремило слова привета.

Пеною обдало, донесло
До горожан, до всех горожанок.
Чудо-Венеция! Так светло
Ты улыбалась нам спозаранок.

Мрамор дворцов над лазурным морем...
Миф, сохраненный в веках, таков:
Некогда сто восемнадцать зерен
В море упало из рук богов.

Зерна невзрачны были сперва,
Но, полежав в бессмертной горсти,
Видно, впитали мощь божества.
Стали они разбухать, расти
И поднялись из пучин острова,
Словно сияющие цветы,
Земли — вместилища Красоты.

Кәгәлтин Дава. Венециянын мөңдөр (калмыцк.).
Журнальный вариант.

Слухи пошли о великом чуде.
И, восхваляя небесный дар,
Земли взялись изукрасить люди,
Стали работать и млад, и стар.

Не отдыхали ни днем, ни ночью
Все, кто чертил, рисовал, ваял.
Каменотесы, скульпторы, зодчие
Вслушивались душой в матерьял.

Что перед ними? Вода и камень.
Все, что было спрятано в них,
Понял художник: рассудком вник
И воплотил искусно руками.

В чем Красоты нетленной зерно?
Что на Земле навеки прекрасно?..
То, где разумно и целесообразно
И Человечность, и Вечность в одно
целое

стройно сопряжено.

...Вод — изобилие. Суши — мало.
Градостроители все учли,
И вместо улиц прошли каналы,
Водные ленты взамен земли.

Ночью вода, блестя, как парча,
Переливается у порога.
Стали каналы одной дорогой,
Плещет она, баркаролой звуча.

И, осеняя, связуют воды,
Словно повторные рифмы стих,
Гнутых мостов ажурные своды.
Каждый — хорош. Четыреста — их!

...Здесь не бывал я. Так отчего же
Странно знакомыми кажутся мне
Эти каналы, чертоги дождей?
Может, я видел это во сне?..

Или сейчас это все мне снится?
Вдруг пробужусь — и нет ничего?
Чудо-Венеция, синяя птица,
Не прерывай свое волшебство!..

Нет, это все предо мной предстало
Не в сновидении!.. Я наяву
По синеве Большого Канала
В сказочной гнутой гондоле плыву.

Плещут под веслами синие воды,
Плавню гондолу несет канал.
Город Венеция, как я мечтал
О красоте твоей в юные годы!

Вижу обличье венецианца я,
В сумрак дворцов устремляю взгляд.
Здесь где-то жил он, сенатор Брабанцио.
Может быть, я узнаю фасад?

Если взглядеться в сумрак балкона,
Может случиться, над синью вод
Профиль точеный твой, Дездемона,
Все-таки хоть на миг промелькнет...

Вот где разгадка... Вот потому-то
Стал мне знаком этот чуждый мир
Чуть ли не с самой первой минуты —
Прелесть его мне открыл Шекспир!

Жизнь представала в ином разрезе,
В мощном, кипучем расцвете сил —
Как нам явил ее Веронезе,
Как Джорджоне ее закрепил.

Где вы, красотки?.. Ревнивцы мужчины?
Дышит трагедией каждый альков...
Нет никого. Лишь видны морщины —
Шрамы на мрачном челе дворцов.

Прошное сгнуло, замирая,
Кануло в глубь венецйских вод.
Впрочем, Венеция есть вторая —
Та, что хлопочет, шумит, живет...

Все же в Венеции вдоль канала
Посуху можно пройти. И тут
Вроде бы улочки — пусть их мало! —
Где копошится торговый люд.

В лавках — товары различной масти.
Все вперемешку: модерн, ампир.
Здесь и сегодня бушуют страсти —
Не те, о которых писал Шекспир...

Здесь поединки — купли-продажи —
Без секундантов ведут, вдвоем.
Может, заглянем? Не будем даже
И приценяться... Только зайдём!

Так же, как вы, я к вещам хладнокровен,
Все это шушера, трын-трава!
Но от заморских здешних диговин
Крѳгом пошла моя голова.

«Кич» — говорите... Второго сорта?
Дешево, дескать, старо, пестро?
Нет, здесь ожившие натюрморты:
Бархат и старое серебро.

И Красота — хоть оно и странно —
Меж пустяковин место нашла.
Вот образцы искусства Мурано —
Прелесть ажурная из стекла.

Голубоват и тончайше-розов
Этих игрушек прозрачный звон.
Словно дыханьем нездешних морозов
Радужный блеск в стекле закреплѳн.

Сколько в безделках этих таланта,
Всюду глубокой культуры знак.
По совершенству терцине Данте
Не уступает иной пустяк!

Чудо? А разве оно не чудо —
То, что прибывшие издалека
Здесь постигают нивесть откуда
Смысл итальянского языка.

Пусть интересы двоих несхожи,
Но их стремлений понятен ход:
Этот мечтает продать дорожке,
Хочет купить подешевле тот!

Что в их беседе почудилось мне бы,
Трудно представить, но в этот миг
В дело внезапно вмешалось небо:
Мрак среди белого дня возник.

То, что казалось облачком милым,
Вдруг разгромадилось... Свет потух,
Словно бы солнце вдруг проглотил он,
Наш Арахá — злой калмыцкий дух.

Холодно, дрожко... В летнюю пору!
Мы друг на друга глядим смутясь.
А с продавцами живая связь
Вдруг порвалась — все забились в норы.

Залпами артиллерийских орудий
Хлопают двери. Гремит засов.
Что приключилось, добрые люди?
Люди, куда вы?.. Напрасен зов!

В нежный, ласкающий воздух Италии
Вторглась, свистя, ледяная струя.
Мы у дверей захлопнутых встали,
Жалко о помощи вопия...

Не откликается ни один —
Мы ж за приют ему не заплатим,
Грязи натащим намокшим платьем
И на полу у него наследим!

Словно табун, прорвался из загона
Ливень. И на плечи нам упал
Тяжко, как будто горный обвал.
К стенам мы жмемся незащищенно.

Слева — канал, он черен теперь,
Как легендарный Стикс или Лета.
Справа — глухая, мертвая дверь:
Как ни стучи, не найдешь ответа!

Там, за дверьми — тепло, благодать.
Не помышляя о катастрофе,
Там попивает хозяин кофе —
Он не обязан нам помогать.

Мечемся, тычемся наугад.
Сбились, пытаюсь согреть друг друга.
...Дождь между тем превратился в град.
Тут бесприютным и вовсе туго!

Некуда нам от воды податься.
Жмемся друг к другу под мокрой стеной
Все — без различия лет и наций...
Но нарастает слой ледяной
Выше ступней. Дошел до лодыг...
Холод до самых костей проник.

Я на войне и горел, и дрог.
В тундре знавал холода и выюгу.
Что ж ты, Венеция, диво Юга,
Гостя коварно сбиваешь с ног!

О мастера объема и света,
Зря расточали вы мощь свою!..
Где б земляков таких, Тинторетто,
Ты поместил? Неужто в раю?!

Город Венеция! Чудом искусства
Ты удивляла мир неспроста,
Но для чего, скажи, красота,
Если она не смягчает чувства?

Лишь для забавы резец и кисть
Там, где единственный бог — корысть.
Там, где Прекрасное — только для глаз,
Сохнет, черствеет сердце людское.

И я подумал: случись такое
Дома, на Родине, там, у нас...
Будь то в селе, в хотоне, в ауле,
Если бы странник в пути продрог,
Настежь бы дверь перед ним распахнули,
Не убоясь его грязных ног,

Чтоб, ощущая любовь и жалость,
Понял чужак, что вокруг друзья.
...Все по себе это знаю я;
Мало ли бед на пути встречалось!

Сам я, бывало, терял дорогу,
В чаще зимою блуждал я сам,
Но получал я всегда подмогу
У эвенков и нганасан...

Жизнь подтверждала мне ежечасно —
Великодушен у нас народ.
Каждый, страдающий понапрасну,
Помощь у добрых людей найдет.

В том убеждался я, где бы ни был,
Где бы, кому ни читал стихи...

...А между тем прояснилось небо,
Угомонился разгул стихий.
Лето вернулось. Светло и жарко.

Снова лазурны и даль и близь.
В полдень опять у Святого Марка
Мы, как условились, собрались.

Все миновало. Вода в канале
Вновь зеленеет, как хризолит.
В полдень с улыбкой мы вспоминали
Утренний наш злополучный вид.

И, прикасаясь к недоброй теме,
Только шутили, забыв про злость,
Точно не с нами, а с кем-то, с «теми» —
Малознакомыми — это стряслось...

В теплых лучах отогрелось тело,
И, забывая недавний гнев,
Сердце от зла отошло, запело...
Слышите? Вправду звучит напев!

Мощно проплыв над улочкой узкой,
Он пересек, нарастая, канал —
Старый напев, только текст не русский.
Это же... «Интернационал»!

Это же гимн, с детских лет знакомый,
Накрепко вросший в сердца ребят...
Только сегодня, вдали от дома,
Здесь он звучит на особый лад.

Вдруг обновилось каждое слово
И — как призыв гремит, как приказ.
Гимн наш партийный я слушал словно
Заново, будто бы в первый раз.

Разум опять кипел, возмущенный
Несправедливостями Земли...
К правде взывая, к ее закону,
Шли итальянцы. С пением шли.

Да, обращаясь к людям открыто,
От унижений долгих устав,
Шли безработные на защиту
Кровных своих человеческих прав.

Судостроители, люди моря
Двигались с пеньем. И мы им вслед
Тоже запели, негромко вторя
Гимну, знакомому с детских лет,

Гимну людского честного братства...
И, разглядев нас издалика,
К нам зашагали по плитам пьяццы
Три белозубых паренька.

Лица их?.. Я позабыл их лица,
Я их не знаю по именам,
Но и теперь еще греет, длится
Свет их улыбок, летевших к нам.

Я не встречал теплей, благодарней,
Чем этот добрый, дружеский свет!
Руки нам жали смуглые парни,
Вместо «Привет» говоря — «Совет».

С русским слилось итальянское слово,
И под негромкий, но стройный хор
Вдруг я увидел Венецию снова,
Как не видал ее до сих пор...

Здравствуй!..

 Не мраморный, золоченый,
Великолепный город-музей
И не торгашеский рынок черный —
Здравствуй, Венеция,
 город друзей!

Город товарищей, у которых
Разум насилием возмущен,
Тех, для кого, как для нас, он дорог —
Правды и чести людской закон.

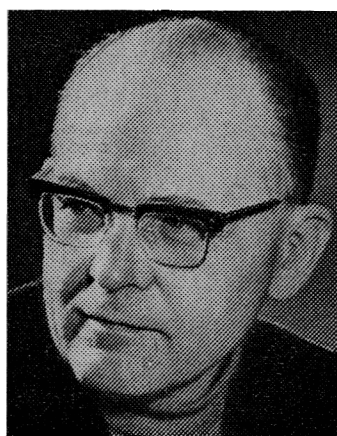
Чудо-Венеция!

 К миру доверие
Ты возвратила мне до конца.
Сердце забыло закрытые двери,
Помнит распахнутые сердца!



АНАТОЛИЙ ДИМАРОВ

Р а с с к а з ы



С УКРАИНСКОГО.

**Авторизованный перевод
К. ГРИГОРЬЕВА**

Только ты, единственный

С о страхом сажусь за письменный стол. Белое пятно бумаги смотрит слепо и равнодушно, и мне уже не верится, что я способен что-нибудь написать. И, если бы не Даринка, я, пожалуй, так и не взялся бы за перо. Если бы не Даринка...

Как начать мой рассказ, с чего начать?

Может быть, с того сентябрьского утра, когда Даринка проснулась с мыслью, что она полюбила. Когда лежала оцепеневшая, ошеломленная неизведанным ранее чувством и весь мир, казалось, замер вместе с ней.

А может быть, начать с того, что, будь Даринка богом, она создала бы собственный мир, где все дни были бы понедельниками. Ни вторников, ни сред, ни пятниц, ни суббот — одни понедельники.

И из всех уроков — одна только физкультура.

Гимнастический зал, турники, брусья. Огромное, на всю стену окно, высокий, чуть ли не под облака потолок. Море воздуха после тесного класса! Юное тело Даринки, неподвластное земному притяжению. И осторожные теплые ладони молодого учителя. Они следят за ней, готовые подхватить в любое мгновение, поддержать, не дать упасть.

Может, поэтому Даринка взлетает над турником как никогда дерзко и смело: ей кажется, что его ладони все время рядом. Даже тогда, когда она возвращается из школы домой. Несет их как бы с собой, тревожно пронзенная постоянным их прикосновением, и нет в мире человека более счастливого, потому что все время, куда бы ни ступила, она натывается на его ласковые ладони.

— Ты его любишь!

Это сказала ей Вера, подруга, когда они возвращались вместе из школы.

— Ты его просто любишь!

— Я люблю? Я? — задохнулась от гнева Даринка. Готова была побить подругу. — Кто это тебе сказал?

Анатолій Дімаров. Лиш ти, єдиний (укр.).

Вера пожала плечами.

— И так всем видно, не нужно ничего говорить!

— Вранье! — сердито выкрикнула Даринка, из глаз брызнули слезы. — Слышишь, вранье!

А ночью плакала сладко; она ведь действительно любит.

И утром, проснувшись, растерянно думала, как она теперь пойдет в школу. Как встретится с ним.

— Не нужно! — сердито сказала Даринка, когда он привычно потянулся к ней — посадить на турник. Казалось, что все девочки девятого «б» так и впились в нее глазами. — Я сама.

— Ты же не достанешь!

— Достану!

Закусив губу, Даринка взметнулась вверх. Вцепилась в металлическую трубу, качнулась, взлетела под самый потолок — сорваться, упасть, разбиться насмерть, пусть знают... пусть знают... Что именно «знают», она и сама не могла сказать. И когда, красная, тяжело и часто дыша, соскочила с турника, когда встала в шеренгу, не смотрела на него.

И не было в это время человека несчастнее Даринки.

«Больше они меня здесь не увидят!»

Но прошел вторник... среда... четверг... промелькнула суббота, потом воскресенье, и Даринка снова пошла на урок физкультуры.

Это уже стало сильнее ее.

Ну и что, кто женатый? Какое ей дело до этого? До нереального этого существа, которое она и в глаза не видела? Просто какая-то тень, едва заметная тучка на ее чистейшем небосклоне.

Впервые она увидела их вместе во время летних каникул.

Веселой стайкой девочки пошли в кино. Сплошное «ха-ха» и «хи-хи», покажи палец — умрут, пока кто-то из взрослых не прикрикнул на них. Тогда они притихли, сдерживая смех, боясь посмотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться вслух. Даринка, отвернувшись от подруг, неожиданно наткнулась взглядом на него.

Он сидел почти рядом, в следующем за ними ряду. Давно их, наверное, заметил и теперь весело и приветливо кивал Даринке. Повернулся к молодой женщине, сидевшей рядом, стал ей что-то говорить. «Обо мне!» — подумала Даринка. Резко отвернувшись, изо всех сил вцепившись в ручки кресла.

Ей стало жарко. Сердце, казалось, стучало где-то в висках, глаза были горячие и сухие.

— Ты знаешь, кто сидит позади тебя? — прошептала Вера лукаво.

Даринка сорвалась с места. Бросилась в проход, натываясь на чьи-то колени, и тут свет, на ее счастье, погас, и никто уже не видел, как она бежала по залу.

После этого никакая сила не могла затащить ее в кино — Даринка была убеждена, что обязательно встретится с ними двумя. И она, его жена, обо всем догадается...

Не помнила, какая та из себя, не успела разглядеть. Что-то светлое и русое — невыразительное пятно на темном фоне.

— Я никогда не выйду замуж! — сказала горячо маме. — Никогда!

Пройдут годы, он постареет, похоронит жену. Станет седым и сгорбленным, как их учитель физики, и тогда Даринка пойдет к нему. Вся в черном, строго-печальная, с благородно посеребренной косой. Сядет напротив и расскажет ему все. Все до капельки. Пусть ужаснется, поняв, какая большая любовь прошла мимо него.

А пока что ей сшили новое платье. Мама, видимо, чтобы утешить дочь, которая решила не выходить замуж, достала крепдешин: по ярко-красному полю синие васильки. Долго шили и примеряли, Даринке это платье уже снилось по ночам, и вот наконец настал день, когда они в последний раз зашли к портнихе.

— А посмотри-ка на себя в зеркало!

Даринка подошла к большому зеркалу и замерла. Какая-то незнакомая девушка, охваченная веселым огнем, взволнованно смотрела на нее. «Ты видишь, какая я красивая!» Даринка пошевелила рукой, и девушка шевельнула рукой. Даринка чуть повернулась, и красавица повернулась вслед за ней. И у нее так же горели щеки и большие, переполненные зеленым светом глаза.

В воскресенье она спросила у матери:

— Мама, можно, пойду в нем прогуляюсь?

— Да надевай, для чего же шили!

Чмокнула благодарно мамулю, долго укладывала в аккуратный венок густые черные волосы. Вспомнила цветное фото артистки, висевшее в их клубе, выбежала во двор, сорвала самую красивую гвоздику. Приладила так же над ухом, будто огонек там зажгла.

— Мама, я красивая?

— Красивая, дочка, красивая. Куда это ты так прихорашиваешься?

— Да... к Вере схожу... — Не говорить же маме, ради кого она решила надеть обновку! Не признавалась в этом даже себе. Просто вышла прогуляться, может же она хоть в выходной позволить себе это. Шла, а новое платье так и играло на ней.

Дом, в котором он жил, стоял недалеко от аптеки, в самом центре. Длинное одноэтажное сооружение выглядывало из-за штaketника небольшими окнами, со двора на улицу вела дорожка из красного кирпича. Обмирая, она шла по тротуару, все время ожидала, что вот-вот он появится на красной дорожке. И тогда она пройдет перед ним в этом платье, и он ее окликнет... Или лучше пусть не зовет, пусть лучше замрет, увидев, какая она красивая.

— Мама, я красивая?

— Красивая, доченька, красивая...

Даринка ступает все медленнее, а двор пустой, а он все не появляется. Вот и дорожка осталась позади, и дом, а он не выходит.

Прошла еще раз... и еще... во дворе было пусто, двор словно вымер, окна равнодушно смотрели куда-то мимо нее...

Вконец оскорбленная, Даринка отправилась к реке топить свое отчаяние.

Тут тоже никого не было. Осенняя вода густой темной массой текла под ногами, шелестела под высокой кручей с пожухлой травой. Даринка быстренько разделась-разулась и прыгнула вниз головой. Ледная вода сперла ей дыхание, вытолкнула на поверхность; взмахивая руками, Даринка бросилась к берегу. Как была в мокрых трусиках и лифчике, натянула, выстукивая зубами дробь, сорочку и платье, подхватила туфли и махнула через луг домой.

Мама ахнула, увидев мокрую дочь на пороге.

Холодная вода не остудила Даринкиной любви, которая с каждым днем разгоралась все сильнее. Наполняла Даринку до предела, не оставляя свободного местечка. Раскрывала учебник — видела его. Готовила домашнее задание — думала о нем. И некому было рассказать, не с кем посоветоваться, не перед кем было и выплакаться, припав доверчиво к теплой груди.

Тогда Даринка начала писать письма. Сначала короткие и несмелые, как первое признание, как намек на то чувство, что переполняло ее юное существо.

«А я вас вчера видела, когда вы возвращались из школы. С вами шли три ученицы, вы им что-то говорили, а они так противно смеялись...»

«Этой ночью мне снился сон, ну, точно так, как бывает на самом деле: я на турнике, а вы стоите внизу и подстраховываете каждое мое движение. И больше в зале никого нет...»

«Вечер был тихий и мягкий, мама сказала, чтобы я шла встре-

чать корову, а я смотрела на солнце и думала о вас. И мне было хорошо, очень хорошо, так хорошо, что хотелось плакать. Только я не плакала, не думайте, просто мне было хорошо...»

«Вчера мне подруга сказала, чтобы я отрезала косу — теперь косы не в моде, потому что их носили когда-то купчихи, а я сразу подумала: интересно, что на это сказали бы вы. И как бы вы сказали, так бы я и сделала...»

Это письмо Даринка, своевременно спохватившись, не положила ему в карман — у нее, единственной на весь класс, была коса.

Он обычно оставлял свой пиджак в раздевалке на вешалке, и Даринка всегда ухитрялась идти последней. Молниеносное движение, и письмо в кармане.

Остуживала потом пылающие щеки, боялась встретиться с ним взглядом.

«Не пытайтесь узнавать, кто вам пишет, потому что все равно не узнаете. Я унесу эту тайну в могилу...»

И еще несколько раз она приходила в своем новом платье к его дому, и каждый раз неудачно. Перестала ходить, когда совсем похолодало, а мама пригрозила запереть платье в сундук.

Эта девчонка в самом деле влюбилась в меня...

Я долго не мог понять, кто пишет. Девушки такого возраста — самые опасные существа. Они как порох — вспыхивают от самой маленькой искры, и тогда этот огонь не погасить никакой пожарной команде.

Письма аккуратно появлялись в моем кармане каждый понедельник, стало быть, это кто-то из девятого «б», в других классах у меня в этот день уроков нет. Но попробуй узнай, кто пишет, когда их девятнадцать и почти все дарят влюбленные взгляды. Когда я показываю им очередное упражнение на турнике или на кольцах, они смотрят на меня так, словно я сам господь-бог, спустившийся к ним с невесть каких вымечтанных девичьих высот. Я уже к этому привык, преподаю ведь не первый год, но письма еще никто не додумывался мне писать, и теперь я каждый понедельник тщательно обшариваю все карманы, чтобы не принести домой «привет» своей Лиле.

Долгое время я не мог догадаться, кто мне пишет.

Но на прошлой неделе, когда мы пообедали, Лиля задумчиво проговорила:

— Интересно, почему она здесь ходит?

— Кто?

Лиля стояла у окна и смотрела на улицу.

— Эта девушка... Уже дважды прошла мимо нашего двора.

— Ну и пусть себе ходит. — Мне лень было шевельнуться после сытной еды. — Ходит, пусть ходит, какое нам дело до этого.

— Но взгляни, какое на ней платье! В таком платье так запросто девушка ходить не будет.

Я нехотя поднялся.

— Ну-ка посмотрим, что это за платье.

Подождал к окну, выглянул и остолбенел: мимо, даже не глядя в нашу сторону, медленно шла Даринка. Свою самую лучшую ученицу я узнал сразу, хотя раньше никогда не видел ее в таком платье да еще с красным цветком в черной косе.

— Она очень красивая, — произнесла Лиля.

— Красивая?.. Гм... Не вижу ничего красивого. — Я лгал. Лгал отчаянно — слова жены будто сорвали пелену с моих глаз. Я впервые понял, какая она красивая, эта девушка.

— Интересно, кого она высматривает? — продолжала между тем Лиля.

— Парня! Кого же еще ей высматривать!

— Но в нашем доме вроде парней нет.— Лиля всегда любила докапываться до самой сути.— У нас все женатые.— Она вдруг подозрительно посмотрела на меня.— Ты ее, случайно, не знаешь?

— Откуда мне знать ее?

— А почему ты так покраснел?

Покраснел? Что за глупости! С чего бы мне краснеть!

Отойдя от окна, я демонстративно сел на стул. Взял газету — смотрит себе в окно сколько хочешь, мне до этого дела нет!

И тут меня вновь словно кипятком обварило — вспомнил о письмах.

Неужели она?

Едва удержался, чтобы снова не подойти к окну.

Чем больше раздумывал, тем больше убеждался, что, наверное, это все-таки Даринка. Сотни деталей в ее поведении, которым не придавал до сих пор значения, представились мне сейчас очень подозрительными.

Ну, что ж, коль влюбилась, то, как говорится, на здоровьечко. У девушек в таком возрасте это вроде эпидемии, все должны переболеть обязательно. Может быть, это и лучше, что она выбрала такой безнадежный объект — мне и в голову не приходила мысль изменить Лиле, тем более с ученицей... Так что пусть перебродит, это быстро пройдет и еще быстрее забудется...

Не помню, как я поднялся со стула, подошел к окну.

— Не высматривай, не ищи, она уже ушла!

— Что за глупости! С чего ты взяла, что я высматриваю? Мне что, и к окну уже нельзя подойти?

Сердясь на жену, я вернулся на место, обиженно отгородившись от нее газетой.

Вот уж никогда не предполагал, что Лиля такая ревнивая. И к кому — к ученице!

— В кино пойдем? Или раздумал?

Почему раздумал? Это, может, она раздумала.

— Я не раздумала. Тогда давай я выглажу твой костюм. Все равно буду гладить юбку, так уж заодно...

Открыла шкаф, достала пиджак, стала выворачивать карманы, чтобы ненароком чего-нибудь не прогладить. Меня так и бросило в жар — показалось, что в кармане лежит очередная записка. Сидел и лихорадочно вспоминал, проверял я в этот понедельник карманы или не проверял.

Нет, обязательно надо будет поговорить с обезумевшей девчонкой!

Как бы только убедиться в том, что это именно она?

Наконец придумал.

Когда в гимнастическом зале открываются двери, между ними и косяком образуется щель, достаточная для того, чтобы видеть все, что делается в раздевалке. Притворившись, будто что-то прилаживаю в дверях, я начал внимательно смотреть.

Девушки равнодушно проходили мимо моего пиджака на вешалке. Остановилась возле него одна лишь Даринка. Быстро оглянулась, и записка в кармане.

Ах ты чертенок!..

— Дарина, — сказал я как можно строже, когда окончился урок, — прошу на минутку задержаться.

Она вспыхнула так, словно я уже поймал ее на горячем. Стояла, опустив черненькую головку, и во мне невольно шевельнулась жалость.

— Что вы мне положили в карман? — спросил я уже не так строго.

Голова ее опустилась еще ниже. А краска полилась на шею и плечи.

— Я только что все видел...

Упрямое молчание. Казалось, что она уже не дышит.

— Я давно догадался, что это пишете вы. Но хотел убедиться... Я прочитал все ваши записки и убежден, что это несерьезно. Это просто игра... Тем более что я уже женат. У меня есть жена, которую я люблю, и мы ждем ребенка...— Зачем я все это ей говорю? Исповедуюсь, точно перед взрослой.— Вот что, Даринка,— сказал я ей твердо,— давай договоримся: с сегодняшнего дня ты выбросишь из головы все эти глупости. Ты же не хочешь, чтобы меня выгнали из школы?.. А мы с Лилей еще погуляем на твоей свадьбе. Договорились?

Я протянул руку к ее подбородку, поднял ее головку. Но лучше бы я этого не делал! Слезы так и брызнули из ее глаз, она всхлинула и бросилась к выходу.

— Даринка!

Даже не оглянулась!

Ну, что ж, может быть, так оно и лучше. Во всяком случае, буду спокоен за свою семейную жизнь.

Возвращался домой, а перед глазами все еще стояло залитое слезами лицо Даринки.

Кто как, а Даринка обрадовалась войне.

Видела в ней какой-то выход из своего безнадежного состояния.

После того разговора Даринка несколько раз не приходила на урок физкультуры. Сказала, что вывихнула ногу, колено даже забинтовала, чтобы было правдоподобнее.

Избегала встречи с ним. В школе пряталась, если замечала его в коридоре, а на улице перебежала на противоположную сторону, еще и отворачивалась.

«Я ненавижу его! — твердила раз за разом Даринка. — Ненавижу!»

Упивалась сладкой мечтой: он, в свою очередь, влюбляется в нее. Безоглядно, иступленно. Ловит ее взгляд, повсюду ищет встречи с ней. А она гордо проходит мимо, неприступно холодная, она не замечает его, он просто не существует для нее. У нее есть другой, с которым она ходит в кино, садится всегда так, чтобы он их видел обоих на протяжении всего сеанса. Чтобы мучался и терзался!

Не важно, что другой не имеет выразительных черт, Даринка даже не смогла бы его описать. Просто он есть, и этого ей достаточно.

Но мечты этой хватило Даринке ненадолго — до той поры, пока снова не пришла на урок физкультуры.

Он явно обрадовался ей.

— О Даринка! Как поживает колено? Мы тут все успели соскучиться по тебе.

Он улыбался так, точно между ними не было никакого разговора.

И снова начались Даринкины муки: любит — не любит. И ночи бессонные, и как огонь горячая подушка..

Начало войны Даринка проспала. Не слышала, как гудели самолеты, как взрывались в Киеве бомбы. Проснулась только тогда, когда мама наклонилась над ней.

— Доченька, проснись!

У мамы было белое лицо и испуганные глаза.

— Киев бомбили!

— Это маневры.

Даринка сладко потянулась, улыбнулась солнечному утру. Ей только что снился сон. Он и она посреди луга. И море цветов вокруг. Все еще улыбаясь, закрыла глаза, хотелось досмотреть сон, как интересную картину: а что же будет дальше?..

— Да проснись, дитя мое! Сосед сказал, что началась война!

Война?!

Даринку ветром сдуло с постели. Как была в сорочке, побежала к окну.

— Где война, мама?

Небо сияло голубовато и улыбчиво, ни облачка на нем, ни морщинки, а зеленый, омытый росой двор был будто застлан радугой.

— Сосед рассказал!..

Даринка быстро оделась, побежала к дверям.

— Ты куда?! — охнула мама.

— Я сейчас...

И двор и улица были такими тихими и мирными, что трудно было поверить в сказанное мамой.

Перед обедом забежала Вера.

— Ой, что делается!.. Что делается!..

Вера уже успела всюду побывать, обо всем разузнать. Что выступал Молотов, что фашисты бомбят наши города, а наши войска уже бьют на границе обнаглевшего врага. И что объявлена мобилизация.

— Ты знаешь, все наши мальчики помчались в военкомат. Записываться добровольцами на фронт. Ой, как интересно!

Верины глаза сияли, щеки пылали.

— Чего радуетесь? — рассердилась Даринкина мама. — Людям горе, а им, глупым, праздник!

— Горе? Какое горе? — переглянулись девушки. — Да с фашистами будет покончено за неделю, если не раньше!.. А пролетариат Германии? А неизбежная революция?..

Выкладывали одна за другой все-все, чему их учили в школе, но переубедить Даринкину маму было не так-то просто.

— Если бы эти ваши молитвы да к богу дошли!..

А через день провожала Даринка Виктора Михайловича на фронт, на войну.

Стояла и смотрела издаലെка, как он прощается со своей женой. Не могла оторвать взгляда — боялась их потерять. Огромная толпа покачивалась вдоль эшелона, возле товарных вагонов, шум стоял такой, что нельзя было ничего разобрать, и Даринке все время казалось, что он вот-вот исчезнет среди моря голов, и она до боли в глазах, до отчаяния в сердце всматривалась в родное лицо. Он что-то говорил (не ей!), ободряюще улыбался (не ей!), и слезы душили Даринку.

А потом паровоз вскрикнул, словно от боли, мужчины полезли в вагоны, белея «сидорами», женщины замахали руками, заплакали, и уже чей-то отчаянный вопль взлетел над перроном, взлетел и опустился бессильно, приглушенный мажорной музыкой: трубы медноголосо ревели, а барабан бухал, будто в темя. Паровоз вскрикнул еще раз, запыхтел, покрывая паром колеса, они прокрутились на месте, вагоны дернулись и поплыли вдоль перрона. Толпа бросилась следом, стараясь не отстать от вагонов, а потом и совсем побежала, и быстрее всех бежала Даринка, бежала до тех пор, пока не почувствовала, что не хватает воздуха и в груди запекло.

Уже по дороге домой решила, что она тоже пойдет на фронт. Представила себя уже там, на войне: в ладной военной форме, которая будет ей к лицу, с санитарной сумкой на боку, в строю наших солдат. Они храбро атакуют врага, который бешено отстреливается, падают, подкошенные пулями, а Даринка быстро бинтует им раны и снова вперед.

— Командира ранило! Где медсестра?

Но Даринку искать не нужно, Даринка уже рядом: становится на колени, нежно склоняется к нему, перевязывает пулей пробитое плечо. Он приходит в сознание, открывает глаза, видит над собой Даринку и только теперь понимает, как она его любит.

Что будет дальше, пока неизвестно, Даринкино воображение не в состоянии уйти так далеко. Ну, да это, в конце концов, и не так уж важно! — Даринке достаточно того, что он убедился наконец в ее чувстве...

А тем временем Даринка идет в военкомат.

Здесь народу не меньше, чем было на перроне. Люди заполнили двор, набились в узкие коридоры. Не пройти, не протолкнуться, и ни одной женщины. Может, потому и удалось Даринке сравнительно легко пробиться вперед.

Совершенно задержанный военный, сидевший за письменным столом, видимо, не спал с тех пор, как началась война. А что не брился с тех самых пор, так это наверняка. Он долго не мог понять, чего добивается Даринка. А поняв, рассердился:

— Уходи и не морочь мне голову! Детсада еще тут не доставало!

— Я хочу в медсестры! — чуть не плакала Даринка.

— А в танкисты не хочешь? — саркастически спросил военный. И, показывая, что разговор с ней закончен, крикнул в приоткрытую дверь: — Следующий!

Так и не сбылась Даринкина мечта. Другая сестра — не Даринка — будет бинтовать Виктору Михайловичу рану, другой он благодарно будет смотреть в глаза...

Ранило меня севернее Киева, у Днепра. Мы ворвались в густой тальник, нырнули в него, как в воду, подальше, поглубже... Ну, вроде спаслись!.. И только так подумал — ударила очередь. Наугад, вслепую. Меня сильно толкнуло в левое плечо и как будто обожгло, стало так плохо, что подогнулись колени. Я падал, хватаясь правой рукой за ивняк, падал и видел напряженную спину товарища, который неторопливо, словно в замедленном кадре, отдалялся от меня.

— Василь!

Мой отчаянный крик слышали, наверно, и на высотке. Потому что снова засвистели, зачмокали пули и на горячий песок густо посыпались листья. Да мне теперь все было безразлично, свою я уже поймал.

— Василь!!!

Василь наконец остановился, выкарабкался из кустов, подошел, приседая: боялся, бедняга, чтобы его не зацепило.

— Меня, кажется, ранило. — Я все еще не верил, все еще надеялся, что, может быть, обойдется... Может, просто чем-то ударило... Ведь не болело нисколько, только легкая тошнота и какая-то онемелость, словно плечо было чужое, не мое.

— Ох ты, горенько! — сразу захохотал Василь, и его по-бабьи круглое лицо наполнилось жалостью. Стал передо мной на колени, точно собирался молиться, сочувственно спросил: — Очень болит?

— Да... — Теперь уже болело. Боль проснулась сразу же, как только Василь спросил. Казалось, что кто-то заломил мне руку назад, изо всех сил выкручивая. Я посмотрел на руку, она свисала, зарывшись пальцами в песок, и рукав гимнастерки чернел на глазах.

— Беда-то какая! — продолжал сетовать Василь.

— Перевяжи! — сказал я сердито — боль, жара, тугой горячий воздух, а он точно сонный!

Василь передвинул с бока на живот сумку от противогаза (он с ней никогда не расставался), стал в ней рыться.

— Где-то же был индивидуальный пакет, — бормотал. — Я же сам его положил... Точно знаю, что положил...

Эта его привычка все время говорить с собой до сих пор мешала мне, а теперь раздражала.

— Ты скоро там? — простонал сквозь зубы.

— Чичас... Чичас...— движения Василя стали еще суетливее, он рылся в сумке, как белка, пока не добрался до дна.— Ага, вот где он! Достал пакет и снова замер.

— Чего же ты?

— Нужно снять гимнастерку.

— Так снимай... Только, ради бога, быстрее! — Кровь уже струилась по руке, стекала по пальцам, капала на песок.

Сопя от усердия, Василь расстегнул на мне ремень, стал снимать гимнастерку. Делал все так неуклюже, что у меня темнело в глазах.

— Куда попало? — спросил я, оставшись в майке.

— Выше лопатки... Это вам повезло, что не в кость. Или в ногу... Так хоть идти можно...— Накладывая бинт поверх бинта, Василь бормотал и бормотал, а я почти с ненавистью смотрел на него, здорового — тебе бы так повезло! А он мотал и мотал, пока не вымотал весь пакет до конца.— Вот так, теперь не спадет.

Левое мое плечо будто в белом коконе. И на этой белизне появляется вдруг черненькое пятнышко. Оно расползается быстро, испаряется рыжим дымком. И плечо горячо пульсирует, болезненно дергаясь.

— Как же вы поплывете? — растерянно спрашивает Василь.

Я уже знаю, что не поплыву — Чапаева сыграть не смогу. От досады, от отчаяния чуть не плачу: в скольких боях побывал, сколько раз делились в меня, оставался невредимым. А тут... Эх, будь оно трижды проклято!..

— Что же делать? — спрашивает Василь, подперев рукой щеку и загрустив уже совсем по-женски. Только платочка на голову да юбки поверх штанов не хватает!

— Что делать? — Я наконец беру себя в руки. Стони не стони, все равно не поможет.— Иди, Василь, без меня.

— А вы?

— А я останусь здесь... Пересажу, пока стемнеет, подамся назад. Найду добрых людей, подлечусь, отлежусь, а тогда и на восток. Днепра мне сейчас не преодолеть.— Говорил это не столько для Василя, сколько для себя, уговаривал себя, будто чужого.— Ты вот что... помоги надеть гимнастерку.— Солнце изо всей силы жгло оголенные плечи, рана от этого еще сильнее болела.

— Петлицы сорвать? — спрашивает Василь, с горем пополам натянув гимнастерку.

Петлицы? Командирские петлицы с двумя кубарями на каждой? Нет, Василь, я не собираюсь сдаваться в плен, не дождутся фрицы! У меня пока что правая рука цела. Я еще смогу стрелять... Смогу, Василь! Смотрю на свой карабин, который лежит рядом, как бы подремывая (пистолета я лишился давно — рвануло осколком, всю рукоятку расплющило, оторвав вместе с кобурой. «Повезло, лейтенант,— говорили бойцы.— Если бы не эта пукалка, полбока бы слизало!)). Месяц провоевал с карабином, не подводил ни разу...

— Как же вы теперь из него будете стрелять? — вздыхает Василь. И, решительно насупившись, снимает со своего ремня желтую кобуру с милицеемским наганом.— Берите этот, а я возьму ваш карабин...

— Спасибо, Василь! — говорю растроганно — понимаю, на какую жертву идет сейчас Василь. Он подобрал наган, эту милицеемскую реликвию, еще под Житомиром и все время носил в вещевом мешке, боясь, что отберут — рядовому не полагалось иметь такое оружие. А оно напоминало ему мирные годы — перед войной Василь служил в милиции. Нужно было видеть, как Василь между боями доставал свою игрушку и подолгу забавлялся ею!

Подцепил ее на бок прошлой ночью, когда решили пробиваться на ту сторону Днепра.

— Спасибо, Василь!

— Да что уж... Носите на здоровье...

Тяжело вздыхая, Василь подбивает мой карабин. Вытряхивает из дула песок, выдергивает затвор, дует что есть сил в патронник. Вылушил из магазина патроны, перетирает их полой гимнастерки — Василь во всем любит порядок, я убежден, что и в нагане его блестит каждая пуля.

— Я побуду с вами. Пока стемнеет, — говорит он.

— Что ж, побудь. — Ему и на самом деле нечего сейчас рыпаться, могут заметить. А что Василь справится с Днепром в темноте, у меня нет никаких сомнений: он, как и я, вырос на реке и плавает, как утка.

Постепенно мной овладевает полное безразличие. Ложусь на горячий песок, заползаю под куст, чтобы хоть было немного больше тени, но солнце достает меня и здесь. Душно, жарко, пот заливает глаза, он густой и соленый, словно нефть, а рана болит все сильнее. Стараюсь не думать о ней, о том, что ждет меня впереди, лежу, крепко закрыв глаза, слышу, как беспокойно ворочается Василь, как тяжело вздыхает, а отозваться не могу...

Я, кажется, заснул. Или на миг потерял сознание. Вздогнув, размежил горячие веки. Василя не было. Ушел, даже не попрощавшись, видимо, только что ушел: в следы не осыпался песок и вели они в сторону Днепра. И тишина стояла такая, будто все на этой земле вымерло, а я остался один... Один на всем белом свете.

Я не разозлился на Василя, не возмутился, мне только очень хотелось пить. Так хотелось пить, что каждая клетка моего пересохшего тела взывала к воде. Чувствовал почти осязаемо, как течет рядом Днепр — несметное количество воды, море воды, а тут один лишь горячий песок, слизывающий с меня последние капельки влаги. «Сейчас встану и пойду к Днепру. И ничто меня не остановит!». Представил на миг, как буду пить воду: вдоволь, жадно, до одурения, и черт с ними, с немцами, пусть стреляют из всех своих пулеметов, а я буду пить!.. Пошевелился, чтобы подняться, когда вдруг закрипел песок и из кустов появился Василь.

— Не спите, а я боялся вас потревожить...

Я не спрашивал его, где он был, что делал, во все глаза я смотрел на мокрую баклажку, которую он держал в руке.

— Пить хотите?

Он еще спрашивает! Вырвал у него баклажку, припал к ней, присосался — не оторвать, пока не выдул все до последней капли...

Прощались в сумерках. Василь двинулся в сторону реки, а я на север, вдоль поймы. Я уже знал, куда идти.

Идти было трудно, хотя жара и спала. Подвешенная рука становилась все тяжелей и тяжелей, тревожила рана. Песок плыл под ногами, и мне казалось, что я топчусь на месте. Где-то далеко на востоке тревожно погромыхивало, сверкало и отсвечивало, а я думал с мрачным отчаянием, сколько же придется мне пройти, когда выздоровею, чтобы добраться к своим.

Ну да хватит об этом, ты сперва выздоровей!..

Плавни наконец кончились, я ступил на твердое.

Уже совсем стемнело, в небе колоче мерцали звезды, где-то между ними заблудился одинокий самолет. Он тоскливо стонал, выбираясь, должно быть, к своим, и такая безнадежность была в этом стоне, такая щемящая тоска, что и самому не хотелось дышать.

«Ну-ка, не распускай нюни! — накричал на себя. — Что это с тобой?».

Сцепив зубы, вскарабкался на крутой обрыв.

Тут идти было легче. Я ступал по твердому, приятный ветерок студил мою грудь, и не было ни единой живой души. Я шел и шел, на ходу баюкая руку, и, когда мне становилось совсем плохо, разрешал себе на несколько минут остановиться. Ни сесть, ни тем более

лечь — просто постоять, закрыв глаза и тихо покачиваясь, от чего моя рана вроде бы немного успокаивалась. И тогда я снова шел, ибо должен был выжить, обязан был уцелеть, а тут, посреди степи, меня легко заметят, едва рассветет. Меня мог спасти только лес, который был где-то впереди; он тянулся к той небольшой речке, за которой меня ждала, а может, уже потеряла всякую надежду верная моя жена.

Потом я шел и шел, не давая себе ни на минуту расслабиться, продирался сквозь темноту, усталость и боль и, хотя все тело аж стонало, упрямо гнал его вперед и вперед. Пока не добрался до леса.

Еще нашел в себе силы пройти чуть в глубину и сразу опустился на землю. Земля спружинила таким мягким мхом, таким ласковым и уютным, что я тут же уснул. Уснул, не донеся к земле головы.

Проснулся задолго до восхода солнца оттого, что замерз. Утра уже стояли холодные, да еще и выпала щедрая роса, я промок до нитки. Дрожа всем телом, поднялся, и рана ответила на это движение пронзительной болью. Посмотрел на плечо. Гимнастерка вздулась шишкой, материя почернела от сукровицы. Плечо, должно быть, сильно распухло, и хорошо было бы перемотать бинты, врезавшиеся в тело, но кто мне сейчас это делает?

Ладно, потерпим.

Поднялся и двинулся в глубь леса.

Я знал, куда идти, сколько приблизительно километров тянется этот лес. Для здорового человека это ничуть не трудно, всего несколько часов хода, но я едва волочил ноги и деревья качались, как пьяные, а на мое раненое плечо будто кто-то навешивал гири. С каждым шагом становилось все труднее, я снова был мокрый, теперь уже не от росы, а от пота, от горького, соленого пота, который заливал меня так, что я не успевал протирать глаза.

Все чаще останавливался, опираясь на сосну. Выбирал подсознательно самый толстый ствол, боясь упасть, ибо тогда, чувствовал, уже не встану.

А я должен был сегодня дойти. Должен был добраться, что бы там ни случилось!

Шел, и меня все больше охватывала неясная тревога. Что-то изменилось вокруг, что-то угнетало меня, беспокоило, а что именно, никак не мог понять. Останавливался несколько раз, прислушиваясь и присматриваясь, но лес был пуст, абсолютно пуст, даже птиц не слышно, а тревога не оставляла меня, пока я, в конце концов, не понял, что ее породило.

Тишина!

Четыре месяца подряд меня оглушало изо дня в день, из ночи в ночь. Я просыпался под взрывами и под взрывами засыпал, надоевшей все время завывало, ревело, гудело, визжало, раздирая в клочья землю, и удивительно, как я не оглох. Я уже и не представлял себе иного существования — только в громе, в сильном реве. Я сжился, приспособился к нему и даже во сне следил за полетом снаряда: этот не мой... этот пролетит... И продолжал спать, хотя взрывалось где-то рядом и со стен осыпалась земля.

И вот всего этого вдруг не стало, тишина стояла такая, что мне даже становилось нехорошо.

И уже казалось, что из этого леса я так и не выберусь. Буду кружить по кругу, как усталый конь, пока не свалюсь. Солнце уже стояло над головой, изо всех сил припекая, я задыхался от жары, напрасно ища спасительной тени под соснами. Еще полчаса, еще час, самое большое, и я упаду, чтобы уже никогда не подняться. В голове шумело и звенело, все вокруг размывалось в горячем тумане.

Будет ли конец этому проклятому лесу?!

А тут еще окопы. Ходы сообщения, окопы и окопы; то и дело мне приходилось через них пробираться, перенося свое раненое пле-

чо, сплошь наполненное болью. Сколько я их сам выкопал за эти четыре месяца, но еще никогда не видел такого количества — не успеешь преодолеть один, как появляются другие...

Зачем их здесь копали, для чего? Какой дурак надумал посреди леса, где за деревьями и слона не заметишь, окапываться? Вот так, ругаясь, кляня неизвестных мне «копателей», наткнулся наконец на дот.

Отступая, наши пробовали его взорвать, заложили, видимо, не один мешок взрывчатки. Представляю, как тут рвануло! Но дот выстоял, лишь приподняло кверху массивную крышу, железобетонную, напшигованную арматурой, приподняло и опустило на место. Да еще вырвало с мясом и отбросило в сторону тяжеленные, в несколько сот килограммов, бронированные двери. И теперь из темного отверстия, словно из погреба, тянуло прохладой.

И я полез туда, в прохладу.

Тут было все выворочено, поломано, изуродовано. Обгоревшее железо, обугленное дерево. Закопченные бетонные стены, черный, низко нависший потолок. И пронизывающе острый, неистребимый запах пороха и тола. Ну, запах — это надолго, он въедается намертво, у меня вон от рук так несет порохом, что и спрашивать не нужно, где был... Интересно, куда они стреляли? Я подошел к узкой амбразуре и сразу же увидел свое местечко. Беззащитно открытое, безжалостно освещенное солнцем, оно прямо приседало домами, прячась от пуль и снарядов, падавших на него. И за двухэтажным зданием поселкового Совета, выделявшимся красной крышей, спрятался мой дом. Мне не хватило воздуха, когда я подумал о Лиле... Которая, возможно, тоже думает сейчас обо мне, не подозревая даже, что я почти рядом...

Захотелось курить. Так захотелось курить, как никогда в жизни. Пошарил здоровой рукой в кармане, хотя наперед знал, что ничего там не найду (последнюю жалкую сигарку мы выкурили с Василием на прощание). Оставалось посасывать губу. Припал лицом к амбразуре и смотрел, смотрел до боли в глазах.

Через некоторое время оставил дот — тут можно было запросто простудиться. Залез в окоп рядом, стал думать, что делать дальше. Как добраться домой. Чтобы никто не заметил.

Через речку как-нибудь переберусь. Я знал брод недалеко от разрушенного железнодорожного моста, там воды по пояс, не глубже, а вот как пройти по улицам? Отправлюсь, конечно, ночью, когда все будут спать, но центр же наверняка патрулируется немцами. Вон над бывшим поселковым Советом полощется флаг, разумеется, не наш. А фашисты так запросто флаг вывешивать не станут — если там не штаб какой-то части, то комендатура. Я постараюсь, конечно, держаться подальше от центральной площади, но как ты ее минуешь, когда мой дом стоит рядышком. А ведь предлагали, когда мы поженились с Лилей, квартиру в другом месте, почти у леса, так нет же, захотелось, видите ли, в центре!

Ну довольно, как-нибудь проберусь. Не может такого быть, чтобы не пробрался! А наткнусь, буду отстреливаться. Еще посмотрим, кто кого!

Достаю наган, проверяю патроны, не вытряхнул ли, не ровен час. Нет, барабан полный, да еще семь в патронташе на кобуре. Хотя, в случае чего, перезаряжать будет некогда. Да и вряд ли удастся это сделать одной рукой...

Дьявольская рана — болит, не утихает. Перевязать бы, сразу легче было. Ничего, как-нибудь перетерплю, недолго осталось.

Как хорошо, что в нашей комнате отдельный ход. Постучу тихонько в окно. «Лилия, это я...».

Что буду делать дальше, не знаю. Запрещал себе об этом даже думать. Увидеть Лилию, избавиться от этого жаркого панциря, и ни-

чего больше не нужно. А там будет видно. Скорее бы только улету-чился этот день, которому конца-края нет...

Не заметил, как уснул. Видать, хорошо намучился, даже боль в плече не помешала заснуть. Что-то мерещилось, что-то грезилось, что-то горячее и темное все время пробивалось в затуманенное сознание, я, кажется, стонал и просил пить, но из кружки, которую мне подавали, не вытекало ни капли влаги. От обиды, от жажды я стонал еще сильнее, и мне себя было так жалко, так невыносимо жалко, что я не выдержал и расплакался вслух. Я проснулся, и лицо мое действительно было мокрым от слез, а во рту пылал огонь, так хотелось пить. Смотрел на речку, полную воды, смотрел и думал, что если не напьюсь сейчас, немедленно, то либо умру, либо сойду с ума.

Выйти из леса, добежать, припасть головой, а там будь что будет!

Но у меня хватило здравого смысла дождаться вечера. Больше, правда, ждать не мог, как только стало смеркаться, я вылез из окопа и спустился к реке. Немцы или полицаи, которые могли меня сейчас заметить, просто-напросто не существовали для меня, я видел одну лишь воду, много воды!

Напившись, долго лежал в сладком забытии. Совсем рядом тихо шуршала река, мне казалось, что вода течет сквозь меня, вымывая усталость, даже рана как будто болела меньше, и я снова уснул. Крепко, сразу, как ребенок.

Разбудил меня гул немецких самолетов, их противный вой я научился различать даже во сне. Вот-вот начнут свою смертельную карусель, а я тут лежу, незащищенный...

Сорвался и тут же остановился, придя в себя. В небе действительно гудели немцы, но я ведь был не на передовой, которую они должны были бомбить!

Достал трофейные часы, на циферблате которых светились цифры. Третий час ночи, пора.

Быстро нашел брод, не разуваясь (куда там мне разуваться, однорукому!), перебрался на тот берег и, стиснув наган, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, пошел вперед. Шел и по привычке невольно пригибался, хотя темень стояла такая, что за шаг ничего не было видно.

Местечко встретило меня сонной улицей. Ни тебе шелеста, ни огонька. Даже собаки не лаяли, чего я больше всего боялся. Держась заборов, я тревожно всматривался в темноту, готовый замереть при малейшем движении. Но впереди было тихо и пусто, так тихо и пусто, что мне становилось страшно. Казалось, что немцы, заметив меня вечером у речки, засев, ожидают меня.

Вот и площадь, и дом поселкового Совета, который должен быть напротив. Прильнув к забору, я замер, пытаюсь хоть что-нибудь рассмотреть. Ничего не видно.

Тихо. Мертво. Ни шелохнется.

Может, и в самом деле тут никого нет?

А флаг?

Что флаг? Повесили и убрались вон. Или спят где-то вповалку, уверенные в собственной безопасности. А ты, дурак, стоишь. Постой, постой, пока не дождешься утра. Вот тогда уж точно попадешься...

Чувствую, что не хватит сил обойти всю площадь вдоль заборов. Где-то упаду и не поднимусь. А может, все-таки пересечь? Как можно дальше от этого дома. На площади же никого нет...

Эх, будь что будет! Раз умирать — не дважды!

Оторвался от забора, быстро пошел.

— Халът!

Ослепительно вспыхнул фонарик.

— Хенде хох!

Выстрелив прямо в слепящий глаз фонарика, я кинулся в сторо-

ну, в темноту. Свет сразу же погас, послышался жалобный стон. Прошивая тишину, затрещал автомат. Автоматная очередь прошла над площадью, над головой засвистели, зацелкали пули. Согнувшись, я изо всех сил побежал, мчался так, как еще никогда в жизни не бежал. Выскочил на какую-то улицу, побежал по ней, как заяц, уже не думал, куда она приведет.

А за мной, видимо, уже отправилась погоня, я, должно быть, всполошил целый полк. Выстрелы, выкрики, тяжелый топот вдогонку. И пули над самым ухом.

Хоть бы не задело!

Стал задыхаться. Выдыхал горячий воздух с хрипом, с болью, со стоном. Подгибались ноги, кругом шла голова. Чувствуя, что вот-вот упаду и тогда конец, тогда уже ничто не спасет, я продрался через низенькую изгородь. Зацепился ногой, полетел головой вниз. Ударилась сильно плечом и тут же потерял сознание.

Наверное, долго лежал без сознания. Потому что, когда пришел в себя, уже начало сереть. Через силу поднялся (в голове так шумело и звенело, что слышно было, казалось, на площади), поплелся в глубину двора, мимо низенькой хатки, окна которой чернели почти у самой земли. Долго путался в какой-то ботве, пока наконец не выбрался в конец огорода. Едва преодолел глубокий ров, продрался на тропинку под вербы.

Тропинка вела вдоль огородов прямо к лесу, я не раз прогуливался по ней с Лилей. Сразу после женитьбы. Целовались под каждой вербой, не могли дотерпеть до леса. Прислонился к вербе, и дохнуло на меня Лилиным телом... Неужели она сейчас спит? Неужели не проснулась, когда я был почти рядом?.. Я застонал от безнадежности, от отчаяния, застонал и ударил по вербе кулаком. И только тогда до меня дошло, что я потерял где-то наган. Вероятно, когда упал возле того забора.

Первая мысль была — вернуться назад. Найти, обязательно найти, кто я без оружия, голыми руками бери, что хочешь делай, но вокруг быстро светало. Пока дойду, совсем рассветет, на улице появятся люди. Или еще хуже — немцы.

Поэтому немедленно в лес! Быстрее в лес!

Здесь тоже было нарыто окопов не меньше, чем по ту сторону реки. Но эти вырыты уже немцами — в полный рост выполнены, еще и досками обшиты. И никакого военного снаряжения, даже стреляной гильзы, все подмели за собой. «Ордунг», порядок. И в блиндаже тот же «ордунг». Я забрался в этот глубокий блиндаж, чтобы либо умереть в нем, либо хоть как-то поправиться.

Лег на голые доски и поплыл, поплыл в неизвестность...

— Ой, людоньки добрые, ограбили!.. И подушку украли, и кожух, и ряднину! И мужнин пинжак бостоновый, и рубашку праздничную, всего раз надеванную! А подушка пуховая, я же на нее три года тот пух собирала, сквозь пальцы каждую пушинку пропустила! Чтоб тому ворюге руки-ноги повыкручивало, да чтоб он так своей кровью умылся, как я сейчас горькими слезами умываюсь!..

Вот так плакала-убивалась Даринкина мама, Даринка мышонком сидела в хате. Даринка сейчас больше всего боялась, что мама полезет в сарай на чердак и найдет там всю пропажу. И подушку, и кожух, и пиджак, и рубашку. Связанные старательно в рядно.

Накричавшись вволю, мама возвратилась в хату. Глаза красные, заплаканные, щеки мокрые от слез.

— А ты почему сидишь? — набросилась на дочку. — Беги в милицию, может, еще поймают!

— Какая милиция, мама? — испугалась Даринка по-настоящему, ей показалось, что мама начинает сходить с ума.

Мама бессильно махнула рукой, охая и вздыхая, потянулась к шкафу для посуды. Открыла, заглянула и ударила себя по бокам.

— Да побей тебя сила божья, и буханку хлеба забрали!..

«Хорошо, что мама не надумала заглянуть еще и в чулан», — подумала Даринка. Там в кадке, на самом дне, было прошлогоднее сало. Недосчиталась бы двух самых больших кусков. И кружки в сених. И одного кувшина в погребе, а также ложки и ножа. Этот странный вор не умел все подряд, и маме предстоит еще немало удивляться потом, когда остынет и немного придет в себя.

А тем временем Даринке нужно дожидаться вечера. Да лечь поскорее в постель.

— Что это ты, дочка, так рано? Не заболела ли ненароком?

— Что-то, мама, голова болит.

Мама прикладывает ладонь ко лбу, и Даринку уже мучает совесть. Но что ей оставалось делать? Что, люди добрые?

— Вроде бы не горячая. — Мамин голос полон беспокойства. — Да ты не волнуйся, дитя мое, не пропадем! — Мама, видите ли, считает, что это у дочки из-за кражи. — Бог взял, бог и даст, было бы здоровье.

— Я, мама, буду спать, — едва сдерживая слезы, говорит Даринка. Еще немного, и она во всем признается маме. И в своей большой любви, и в своем большом счастье. Которое словно с неба свалилось на нее.

А если бы она не заглянула в ту землянку? Если бы прошла мимо? Отправилась ведь в лес за желудями вместе с подругами, ни сном, ни духом не ведая, что он лежит рядом. Девушки махнули в овраг, где росло особенно много дубов, а она завернула к одинокому дубу, стоявшему меж сосен. «Я догоню!» — крикнула им вслед. Дубок еще молоденький, а сыпанул желудями, точно из мешка. Особенно много нападало в окоп, обшитый досками, Даринка их собирала все до одного, а тогда не удержалась, полезла в землянку, в которую вел тот окоп: а не осталось ли там какого-нибудь «трофея»? Позавчера Надийка губную гармошку нашла, обсыпанную перламутром, может, и здесь что лежит?

Как она закричала, как у нее подкосились ноги, когда тело, лежащее без движения на голых досках, вдруг зашевелилось и, застоявшись, поднялось ей навстречу.

Если бы не отнялись ноги, она бы ветром вылетела из землянки. Убежала бы куда глаза глядят, таким страшным показался ей этот человек.

— Кто ты? — спросил он, приближаясь.

«Ой, мама!».

— Отойдите!! — выставила руки.

— Даринка? — в голосе его было столько радостного удивления, что ее всю так и обдало теплом. — Даринка, это же я!.. Виктор Михайлович! Помнишь уроки физкультуры?.. — Говорил торопливо, словно боясь, что она вот-вот повернется и уйдет, а Даринка во все глаза смотрела на него. С его лица — одичавшего, обросшего щетиной, грязного, худющего, синего — выплывали навстречу ей глаза. Самые родные, самые дорогие на свете! Глаза человека, за которого она готова была отдать всю себя, до последней капли. — Узнаешь?

Она кивала головой, что узнает...

— Я хочу спать, мама! — Он же ждет ее!

— Спи, дочка, спи. — Мама привычно поправляет одеяло, вздохнув, выходит из комнаты. — Я тоже скоро лягу.

Даринка лежала, прислушиваясь, что делает в соседней комнате мама. Она все еще возилась, все что-то переставляла, разговаривая вслух. «Вот так ты ложишься, мама?.. Сколько можно возиться!». Да-

ринке уже кажется, что прошло бог знает сколько времени, что уже и ночь скоро пролетит, а мама все хлопочет.

Наконец легла. Дунула на плوشку, скрипнула кровать. Затихла.

Тогда Даринка осторожно сползла со своей кровати. Оделась, все время прислушиваясь, не проснулась ли мама. Достала из-под подушки свечку и коробочек спичек, которые не успела спрятать в узел, и, крадучись, подошла к окну.

Окно долго не открывалось, словно прикипело к раме, а когда наконец открылось, то стукнуло так, что зашумело на всю хату.

— Кто там?! — послышался встревоженный голос мамы.

— Это я, мама, спи!

— Что там у тебя?

— Окно открыла... Душно...

— Не простудись, смотри!

— Не простужусь.

— Голова болит?

— Нет, уже прошла. Спи, а то и я не засну!

Мама и уснула. Даринка, постояв еще немного, полезла через окно. В ночь, холодную и темную.

Хотя лес она знала, как свой двор, землянку искала долго. Оступалась в какие-то ямы, натыкалась на стволы. Глухо, страшно, неуютно в ночном осеннем лесу. А из жуткой темени, из мертвой тишины в онемевшую душу Даринки немигающе смотрели глаза. Сотни, тысячи черных глаз, холодных, жестких, от которых не убежать, не спрятаться, разве что так: идти вперед, не смотря по сторонам, не оглядываясь. Проблуждала бы, вероятно, до утра, так на землянку и не наткнувшись, мимо прошла, не заметила бы, не ожидай он ее у того дуба. Стоял здесь, видимо, с самого вечера.

— Даринка! — позвал шепотом. И шагнул ей навстречу.

— А вы почему встали? — спросила Даринка строго, хотя несказанно обрадовалась ему — злые глаза, всю дорогу следившие за ней, вмиг исчезли. — Пойдемте в землянку. Не хватало еще вам простудиться! — Отчитывала, как малого ребенка, и от этого вырастала в собственных глазах. Не дала ему нести даже кувшин с водой. — Идите так.

На ощупь спустились в землянку. Тут стояла еще более густая темнота, было затхло и отдавало духом не нашим, чужеродным. Тяжелым, неприятным.

Она осторожно поставила кувшин, положила тяжелый узел. Достала свечку, спички, зажгла. Огненный язычок робко лизнул темноту, словно пробуя ее на вкус, ничего, понравилось, и он разгорелся смелее. Темнота испуганно пятилась, жалась к стенкам, обшитым досками. Даринка развязала узел.

— Вот принесла, чтобы было на чем лежать. Разве можно на голых досках?

— Спасибо, Даринка! И маму поблагодари.

— Ну да, ее поблагодаришь! — засмеялась Даринка. — А ухватом по спине не хотите?.. Вот еще сало и хлеб. Вы же, наверно, голодны.

— Не очень. Все время хочется пить.

— А вода вон в кувшине! Прямо из колодца. У нас вода вкусная, почти что сладкая! — не удержалась, чтобы не похвалить свою воду. — Подождите, вот кружка, — он уже собирался пить прямо из кувшина.

Смотрела, как он жадно пьет, и сердце разрывалось.

— Я вам полное ведро принесу. — Пусть уж воры отцепят и ведро, которым достают воду из колодца.

— Спасибо, Даринка! Не знаю, что бы делал без тебя... Ну, а теперь давай, перевязывай. Не забыла, как учили в школе?

— Не забыла, — побледнев, ответила Даринка. Со смехом обматывали тогда друг другу здоровые руки и ноги, смотрели на это, как

на забаву, а тут рана настоящая и не бинт на плече — запекшийся кровью лубок. Даринка даже взглянуть боялась, не то что подступиться к нему. Ведь, наверное, болит!..

— Отдирай, я выдержу! — сказал он сквозь стиснутые зубы. И отвернулся к стене. — Давай, не жалея.

Бинт трещал, как кожа, бинт упирался, точно какое-то живое злое существо, насмерть влившееся в разбухшее плечо. У Даринки ныли руки и ноги, она уже почти ничего не видела, потому что и слезы туманили глаза, и сердце колотилось в груди. А тут еще он попросил (глухо, сквозь едва сдерживаемый стон):

— Не дергай! — И Даринка совсем застыла. — Чего же ты? Давай!

— Не могу, — ответила сквозь слезы. — Вам же больно!

— Не болит! — сказал он с каким-то раздражением. — Ты только не дергай.

Пока отодрала весь бинт, пока разрежала гимнастерку и рубашку, сгорело полсвечи. От раны, от вытекающей сукровицы, от бинта, лежащего на полу, шел тошнотворный запах, а плечо было покрыто кровавой коркой.

— Обмой, — предупредил он Даринку, которая хотела так и перевязывать.

Набрав в кружку воды, она сливала на белый платочек, вытирала, едва касаясь кожи. Плечо было таким горячим, словно под кожей горел огонь.

Перевязала полотенцем, длиннющим, еще маминым свадебным. «Как найдешь себе, дочка, пару, так пригодится и тебе». Теперь ему стало как будто легче. Только извинился, что не может больше сидеть.

— Что-то такое в голове...

Лег на козух, на подушку, закрыл глаза, такая жалость пронзила Даринку, такая нежность к нему, что она не выдержала, заплакала. Распустила юни, как малый ребенок, и лицо кривилось, подергивались губы.

— Не плачь. Я еще не умер.

Ишь ты, глаза закрыты, а заметил!

Полежав еще немного, он поднялся и велел ей собираться домой.

— А как же вы? — жалобно всхлипнула Даринка.

— Я буду тебя ждать. Ты ведь еще придешь?

— Приду... Днем приду. — И чтобы он не подумал ничего такого: — Все равно ведь за желудями нужно...

Когда она уже собралась, он ее спросил:

— Ты о моей жене ничего не слыхала?

Мотнула головой, что нет. Когда он был на фронте, Даринка часто думала о ней: может, зайти, узнать, что с ним, наверное, он пишет письма. Однако не решалась. И от этого начинала ее ненавидеть.

— Ты можешь сходить к ней? — Она молчала, и он сказал: — Слышишь, Даринка?

— Могу, — ответила она с трудом.

— Передай, что я здесь. И, если сможет, пусть наведается... Ты ей расскажешь, как меня отыскать... Скажи только, пусть остерегается, чтобы никто не заметил... Хорошо?

Он еще что-то говорил, но она слышала одно: он ее любит! А что делать ей, Даринке? Куда деваться со своей любовью?

Возвращалась домой несчастная как никогда.

«Что ж, — сказала сама себе уже в постели после тяжелых и неутешительных мыслей. — Любит — пусть любит, я им помехой не буду. Приведу ее за руку: вот ваш муж! Целуйте его сколько хотите! Оставляю и... уйду...».

И от этого ей стало немного лучше.

Спала — не спала, поднялась до восхода солнца.

— Да ты, дочка, больна! — причитала мама. — Посмотри, какие синяки под глазами. И лицо бледное, измученное...

Синяки? Бледное лицо? А какой еще она могла быть?

— Я, мама, не больна! — испугалась Даринка, что еще из хаты не выпустят. — Я, мама, здорова. А синяки потому, что плохо спала эту ночь.

— Оттого и спала плохо, что больна, — продолжает свое мама. — Ты куда это собираешься?

Наспех ополоснув лицо, Даринка вынула из шкафа платье. То самое, единственное, праздничное.

— Пройдусь к Вере.

— Да ты хоть поешь... И кто теперь так наряжается?

— Нужно же его когда-нибудь проветрить. — Чтоб она да появилась на глаза той в чем-то будничном! — Скоро плесень на нем заведется...

— Нашла время проветривать! Попадешься немцам на глаза, они тебя проветрят!

— Не попадусь.

Мама еще продолжала ворчать, но Даринка не слышала, уже шла по улице.

— Здорово!

Соседский парень, ее одноклассник. Когда-то был Михайлом, а теперь полицай — на рукаве повязка со свастикой и автомат за плечом. Даринка, когда Вера впервые сказала, что Михайло записался в полицию, не поверила: не может быть! Она же с ним за одной партой сидела, была в него почти влюблена, пока не появился Виктор Михайлович. Он ведь сам на своей калитке вырезал сердце, пробитое стрелой, и буквы «Д» и «О» — инициалы Даринки. Показал ей как-то, как самую заветную свою тайну, и она этим очень гордилась... А теперь что выходит? Михайло записался в полицию? Да этого быть не может!

Записался. Каждый день мимо их двора проходит, щеголяя повязкой и автоматом, глаза бы не глядели! А мама его, тетка Горпина, заходя к ним, еще и невесточкой обзывает. Сучка облезлая — ваша невестка! Жаба рогатая, гадюка скользкая! У Дарины щеки от обиды пылали, когда тетка Горпина наконец убиралась из хаты. И слезы в глазах.

— Ты бы, дочка, поосторожнее с ними, — испуганно укоряла мама. — Видишь, какое сейчас время.

— А чего она обзывает невесткой! — сердито фыркала Даринка. — Я ее просила, да?

Даринка не ответила на приветствие. А ему как с гуся вода.

— Куда идешь?

— На кудыкину гору!

— Так и я вместе с тобой, — дурновато хохотнул полицай. Наверно, до сих пор обновляет сердце на калитке. А тут еще это платье праздничное. В котором Даринка словно нарисованная. Знала бы, ни за что не надевала.

— Ну чего ты ко мне пристал? — остановилась сердито. — Что тебе нужно от меня? — ногой притопнула.

— Да ничего, — ответил смущенно.

— Ну и иди своей дорогой. А у меня своя.

Гордо тряхнув волосами, она ушла. А он долго стоял, глядя ей вслед.

Не таким уж плохим парнем он был, этот Михайло. Вот только зачем в полицаи записался? Кто его заставлял?

Этого Даринка не знает. Да и знать не хочет, он теперь ей навсегда чужой. Более чужой, чем просто чужие. Даже более чужой, чем немцы. Те хоть враги, с теми все ясно, а этот...

«Как ты мог забыть, что мы за одной партией сидели? Одних и тех же учителей слушали, в одну и ту же книгу вместе заглядывали?».

Вот этого Даринка не сможет простить ему до конца жизни.

Проснулся оттого, что приснилось, будто я дома. Будто нет войны, и я нежусь в постели, не торопясь вставать, сегодня ведь выходной. А Лиля уже гремит чем-то на кухне. «Лилия,— зову,— что ты там делаешь? Иди сюда!». И она входит, вся в военном. В гимнастерке, в юбке защитного цвета, в сапожках, еще и шлем на голове. А через плечо противогаз и винтовка. «Ты куда так вырядилась?» — спрашиваю удивленно. «На войну». — «Так войны же нет! И не тебе, мне воевать придется». — «Тебе нельзя, ты же раненый». И тут в мое левое плечо как будто кто-то выстрелил...

Проснулся — лежу на левом боку. Пошевелился — не удержался от стога. Так застонал, что самого себя стало жалко. Особенно когда вспомнил, что я не дома, в землянке. Ни Лили, ни теплого света вокруг, темно, холодно, тоскливо, как в могиле.

Посмотрел на часы — двенадцатый. Дня или ночи? Приложил к уху. Так и есть, забыл завести.

Плечо вроде немного успокоилось. Стараясь не потревожить рану, поднялся, нащупал кувшин, напился воды. Немного полегчало. А ноги горят. Сколько же это суток я не переобувался, вот так и засыпая в сапогах? От портянок одно тряпье сгнившее осталось. Все пальцы, видимо, натерты.

Что же сейчас: ночь? День?

Встал, стараясь не зацепиться за что-нибудь левым боком, пошел к выходу. Немцы с какой-то хаты сняли двери вместе с косяком, добра чужого не жалко. Так подогнали, что ни единой щелочки не найдешь. Хозяева, будь они прокляты!

На дворе уже день. Свет так и хлынул в землянку, омыв с ног до головы. Потек сквозь меня, как весенняя вода. Невольно провел ладонью по колючей щеке — побриться бы! Так оброс, что и родная жена не узнает.

Был убежден, что Лилия придет с Даринкой. Обязательно придет! Казалось даже, что вон они уже идут. Выглянул, взволнованный, из окопа. Ни души. Пусто, тихо, из-под пожухлой по-осеннему травы желтеет холодный песок. Ни зверька, ни птицы залетной — все словно застыло навеки. Как в зловещем сне.

Где же Лилия? Не случилось ли чего с Даринкой? В тревоге всматривался в ту сторону, откуда они должны прийти. Не видно. Проходит час, другой. Я уже и места себе не нахожу, мерещится такое, что лучше и не думать. Спускаюсь в блиндаж, сижу минуту и снова вскакиваю на ноги. Идут! Выбегаю (сердце едва не выскакивает из груди), смотрю. Ни души.

Но вот между деревьев появилась фигура. Лилия? Даринка? Или совсем чужая женщина? Должны ведь прийти вдвоем, Лилия и дорогу сама не знает.

Даринка! Уже узнаю. И котомку позавчерашнюю, переброшенную через плечо, собирала в нее желуди.

— А где же Лилия, Даринка?

Не ответила, как будто не услышала. Склонилась надо мной (я стоял в траншее), подала узелок.

— Это вам.

От Лили? Но почему она не пришла?

— Где Лилия, Даринка?

— Нет вашей Лили!

— Нет?.. Где она? Что с ней случилось?

— Ничего с ней не случилось! Уехала к родителям...

Уехала к родителям!

И тут я вспомнил, что оставил жену беременной. На пятом месяце. «Ты ж смотри, обожди меня!» — говорил прощаясь. Был уверен, что максимум через месяц вернусь домой. С победой, конечно...

«Неужели она уехала рожать к родителям?.. Скорее всего, что так. Ведь четыре месяца отсутствовал».

Настроение у меня — хуже не придумаешь! А тут еще Даринка почему-то сердится на меня, отворачивается к стенке, что-то там разглядывает внимательно.

— Вот я вам борщ принесла, — стала развязывать узелок, когда уже спустились в блиндаж. — Вы же давно не ели горячего. Мама моя, знаете, какие варит борщи!

— Ты рассказала своей матери обо мне? — спросил встревоженно.

— Что я, маленькая!

— Смотри же, никому ни слова!

Ем борщ, действительно как никогда вкусный, а все мысли о Лиле.

— Кто это тебе сказал, что моя жена уехала к родителям?

— Мария Ивановна.

Мария Ивановна. Соседка наша, Лилина подруга. Вместе с ее мужем нас и призвали в армию.

— Она не говорила ей, когда возвратится?

Кивнула головой, что нет.

— Да ешьте же! — Видно было, что этот разговор ей неприятен. Бедная девчушка, она до сих пор равнодушна ко мне!

— Ох, Даринка, наелся!

— А почему не доели?

— На ужин оставил. Еще и поужинаю.

— А как ваша рана? — Осторожно потрогала пальцем плечо, глаза полны жалости. — Очень болит?

— Болит, но уже не так.

— Вы терпеливый. Я вот так не смогла бы. Я вам еще одеяло принесу, чтобы теплее укрывались. А то еще простудитесь.

— Не нужно, Даринка, мне и кожушка хватает с головой. На одну полу лягу, другой укроюсь, как в люльке!

— Ну да, вы только так говорите.

— Честное пионерское, правда.

Улыбнулась. И какая же ясная у нее улыбка.

— Тогда я вам еще одно полотенце принесу. Видите, кровь проступила.

— А с чем же ты замуж будешь выходить? — спросил шутя.

Так и вспыхнула.

— Я никогда замуж не выйду!

Вскочила с нар, стала собираться. Перелила оставшийся борщ в миску, пустой горшок аккуратно увязала в узелок.

— До свидания, так я завтра приду.

— Приходи, я тебя буду ждать.

Улыбнулась снова.

— Мне ж еще желудей надо насобирать. А то бы дольше с вами побыла...

— Иди, Даринка, спасибо тебе.

— Я вам завтра еще яйца принесу. Вам поправляться надо.

Стоит, припоминает, чтобы еще пообещать.

— Вы тут не очень разгуливайте. А то еще кому-нибудь попадетесь на глаза.

— Хорошо, Даринка, как мышь буду сидеть.

— Так я пошла...

Проводил ее из блиндажа, смотрел, пока не исчезла меж деревьев, потом снова зашел в неуютное свое жилище.

Что же там с Лилей? Как она? Добралась ли благополучно до родителей? Дорога ведь не близкая, почти двести километров, да еще через Киев, напигованный немцами.

Что я теперь должен делать?

До сих пор жил надеждой на свидание с Лилей, была даже мысль снова попробовать пробраться домой, пересидеть, пока рана заживет, потому что в блиндаже этом долго не усидишь. Местечко — рукой подать, лес под боком, всегда кому-то есть здесь дело: тот приходит за хворостом, эта за желудями. Вчера едва успел спрятаться, когда появились вдруг какие-то женщины с подростком. Сидел, притаившись, казалось, что по голове протопали. Долго не осмеливался взглянуть.

А если полицаи? Или немцы с облавой? Что я им, безоружный? «Хенде хох!» — и в гестапо. Хоть бы какое-то оружие иметь.

Вспомнил о нагане, который посеял. И такая досада взяла, так тоскливо стало на сердце, что хоть в петлю головой!

Думала о нем.

Все время думала о нем.

Особенно ночью, когда оставалась наедине с собой.

Лежала, вспоминала, что он говорил, как ел, как смотрел на нее, каждое его движение, каждый жест запечатлевался в сердце Даринкином, и она так видела его в этих ночных воспоминаниях, словно он рядом. Не в землянке, в сыром и мрачном блиндаже, где и среди лета окоченеешь, а в комнате, рядом с ней. Сидит на краешке кровати (Даринка даже подвинулась, освобождая место), поглаживает здоровой рукой перевязанное полотенцем плечо. Он все время его гладит, и Даринка едва сдерживается, чтобы не спросить, болит ли. Наверняка болит, конечно, болит, потому что и у нее вот начинает болеть в том самом месте, где у него рана.

А утром, не раскрыв еще глаз, она прикидывала, что ему понесет. Бегала каждый день, хотя мама не раз уже говорила, что желудей им теперь хватит на две зимы, да к тому же не свиноферма у них, только один поросенок, и тот взят на учет — строго предупредили, под страхом смертной казни, чтобы пальцем не смели его трогать, ибо он уже и не их собственность, а немецкая. «Так что не нужно, дочка, стараться, пусть они им подавятся!». И часть ненависти к новой власти мама переносит на ни в чем не повинное животное: «А, чтоб ты сдох! Жри-жри, хоть бы тебя самого черви пожрали!».

А Даринка все носила и носила. Потом, когда у мамы лопнуло терпение: «Еще раз принесешь, буду и тебя кормить этими желудями! Вместе с поросенком!» — она стала собирать хворост и шишки. Столько приносила, что спина трещала, лишь бы мама пускала в лес. «Ты что, дочка, взбесилась, столько за раз набирать?!» — «Мне, мама, не тяжело». — «Будет не тяжело, как надорвешься! Больше одну не пушу, будем ходить вдвоем». — «Я же не одна, я с девчонками», — пугалась Даринка. Мама ведь не Вера или Оля, от матери не отстаешь, не отобьешься, не скроешься. «А у девчонок что, больше ума? Твои девчонки такие же, как и ты».

Уговаривала, ластилась, обещала не носить тяжелого, пока мама не успокаивалась.

Да и много ли матери нужно, чтобы отойти!

Даринка до сих пор сама не подозревала, что может так хитрить.

Украдкой вытаскивала кусочки из чугунка, доливая, чтобы не заметила мама, водой.

— Иль я варить разучилась? — охала мама, отхлебывая то, что осталось. — Бросала вроде бы все, а оно жидкое, хоть умывайся. Гущу вроде нечистая сила сожрала.

Даринка не признавалась, конечно, что вся гуща уже в горшочке, спрятанном в сарае. То, что оставалось от борща, Даринка уплетала с таким видом, словно более вкусной пищи никогда не пробовала. И целилась глазом на хлеб: как бы отрезать кусочек, чтобы мама не заметила? С хлебом-то сейчас туго, а что будет зимой? Или ранней весной? Эти так накормят, что ноги быстро вытянешь. Где они только взялись на наши несчастные головы?

Мама сокрушалась, а Даринка слушала вполуха, у нее свои заботы, свои потаенные переживания.

Как бы это помочь ему раздобыть оружие? Позавчера, не выдержав, он пожаловался Даринке:

— Посеял наган и теперь ума не приложу, что делать без оружия.

— Где же вы его потеряли?

— Точно не знаю. Если бы знал, сходил бы, поискал... Кажется, когда упал, перелезая через забор. Когда потерял сознание.

— А по какой вы улице бежали?

Не знал и этого. Да разве в темноте что-нибудь разберешь! Помнит только, что забор был низенький, почти по пояс.

— Штакетины?

— Кажется, штакетины.

— Так это же наша библиотека! — обрадовалась Даринка.

В тот же день сходила туда. Обошла весь штакетник — нагана не было.

Возвращаясь домой, встретила Михаила. Он явно обрадовался (а когда не радовался?).

— Даринка, здравствуй! — бросился, словно собирался целоваться.

— Не называй меня Даринкой, слышишь! — отступила от него Даринка.

— А как? — разинул он рот.

— Никак!

Хотела его обойти, но тут ее внимание привлек вдруг автомат. Который висел через плечо. Раньше ей было совершенно безразлично, что он носит, оружие или коромысло, а тут заинтересовалась:

— Что это у тебя?

— Это?.. Автомат... Хочешь посмотреть?

Быстренько снял с плеча, показывает, как из него стрелять. Тем более охотно показывает, что Даринка смотрит на автомат как замороженная.

— Это тебе не винтовка! И пулемета не нужно... На подиска очередь дашь — выкосишь всех до одного! Др-р-р — и все копыта отбросят!

— Подари! — вдруг сказала Даринка.

Лицо Михаила стало таким, что более глупого она еще не видела.

— Тебе?.. Автомат?..

— Жалко, да? А кто писал когда-то в записке, что весь мир готов отдать?

— Да на что он тебе сдался? — Михайло не мог поверить, что Даринка просит всерьез.

— От волков отбиваться! — рассердилась Даринка. — Так не подаришь?.. Тогда больше ко мне не подходи!

— Даринка! — отчаянно крикнул ей вслед.

Даже не оглянулась. Хоть показалось на миг, что он передумал, снимет и отдаст автомат. «От такого дожدهшься, как же! Жлобина несчастный!» — вспомнила его скуповатого отца, который когда-то, еще в детстве, поймав ее на горячем, хорошенько надергал уши. «А не лазь в чужой сад, не лазь! У вас что, свои черешни не родят?» Надергал да еще отвел к матери. Которая добавила уже

от себя. Пусть бы парень, это неудивительно, а то ведь девчонка, прости господи! «И отец жлоб, и он жлобина!»

Но жлоб не жлоб, а автомат-таки у него. Не выходит из Даринкиной головы это оружие, качается перед глазами, хоть руки протяни.

Представляла себе, как бы обрадовался Виктор Михайлович, как глазам своим не поверил бы, когда принесет она ему автомат.

«Где ты его взяла?»

«Где взяла, там уже нет,— ответила бы скромненько Даринка.— Берите, вам теперь с этим автоматом ничего не страшно!»

Разве что украсть? Подсмотреть, где он его ставит, когда возвращается домой, и незаметно утащить. Спрятать под мамину фуфайку, висевшую на ней, как на вешалке, и будьте здоровы — прямо в лес! Пока обнаружат пропажу, Даринка успеет домой возвратиться...

Несколько дней носилась с этой «идеей». Так загорелась ею, что однажды, когда маме понадобилось сбежать к соседям за солью, сама вызвалась.

— Давай я сбегаю.

— Сбегай, дочка,— немного удивилась мама: то говорила, что в сторону соседей и смотреть не хочет, а то сама вроде к ним напрашивается.

Тетка Горпина, Михайлова. мама, встретила ее как родного человека, которого бог весть сколько не видела.

— О невесточка дорогая! Старик, а посмотри-ка, кто к нам пожаловал!.. Соли, говоришь? Сейчас я, сейчас...

«Ничего не получится,— выходя из хаты, разочарованно думала Даринка.— Тут ложки не вынесешь, не то что автомат, тетка ни на шаг не отходит. А при Михайле не выйдет тем более...»

Нет, так ничего не получится.

Что же делать? Если бы хоть не похвасталась, что есть на примете автомат. Сорвалось с дурного языка, Виктор Михайлович так и бросился к ней: автомат? где? у кого? Должна была объяснить: у соседей. У знакомого парня, который служит теперь в полиции.

— Вы его, может быть, помните: Михайло Васюк.

Виктора Михайловича Васюк интересовал меньше всего.

— Как же ты его, автомат этот, раздобудешь? — спрашивал разочарованно.— Он что, так просто отдаст его тебе?

— А я его украду! Вынесу так, что они не заметят.

— Вынесешь! — сказал он сердито.— Так просто возьмешь и вынесешь! Знаешь, что тебя ждет, если поймают?

— А я не боюсь.

— И думать об этом не смей.

Но Даринка знала наперед, что все равно будет думать. А он, прощаясь, сам не удержался:

— Да-а-а, если б автомат... — Хоть тут же и спохватился: — Ладно, и без автомата как-нибудь проживем. Тут хоть бы какую пукалку... Пугач или самопал. Пальнул разок — все враги наповал...

Шутит, а Даринке кажется, что он подтрунивает над ней. Над ее замыслом. И, возвращаясь из леса, поклялась, что раздобудет ему этот автомат. Любой ценой раздобудет.

А то ведь что получается: обманула, нахвасталась? Что он о ней подумает!

И так нехорошо, так горько Даринке... «А что если отнять? Догнать, сорвать с плеча... Или еще лучше: попросить, чтобы дал посмотреть, да и махнуть к лесу».

Будет гнаться? Будет кричать вслед? Пусть кричит, хоть до хрипоты, а догнать — дудки! Даринку в школе никто догнать не мог.

«Нет, не выйдет,— сама себя остудила,— он же криком своим всю улицу на ноги поднимет!»

Разве что оглушить? Ударить чем-нибудь тяжелым по голове, чтобы потерял сознание, и забрать автомат. Пока придет в себя, ее и след простынет.

И уже ловила себя на том, что присматривается, чем его тюкнуть. Бросился в глаза не топор, а колун, этим можно и вола оглушить, только его не спрячешь под полу, не заткнешь незаметно за юбку. Да и голову разломить им запросто. А Даринка тогда не собиралась убивать Михайла до смерти.

Разве что качалкой?

— Что это ты качалкой по хате размахиваешь?

— Да ничего, мама... Просто так...

— Положи сейчас же на место, еще окна высадишь! Развоевалась!

Положила на место. Не годилась и качалка. Кто знает, оглушишь ли ею...

Наконец наткнулась как-то на молоток. Отец им гвозди забивал. Тяжелый, крепкий, сам просился в руки.

Спрятала молоток под подушку, чтобы мама не переложила куда-нибудь.

Теперь оставалось подстеречь Михайла. Лучше вечером, когда не так будет видно. Когда он выйдет со двора на свою собачью службу, Даринка незаметно двинется за ним. Дождется подходящей минуты и молотком по затылку!

Весь вечер прослонялась во дворе, наблюдая за хатой соседей. Тетка Горпина дважды выскакивала во двор, дядька выходил, а Михайла не было и не было. Уже совсем стемнело и выполз красный рожок луны, и свет в окне их хаты погас, а Михайла будто корова языком слизала. Даринка шла в хату и все оглядывалась, надеясь, что в последнюю минуту он появится.

Не появился.

Плохо спала в ту ночь Даринка, все казалось, что раздаются шаги Михайла.

Проснулась, рука под подушкой держала молоток.

И утром Михайло не появился, хотя Даринка внимательно рассматривала его.

В обед не выдержала. Только что возвратилась от Виктора Михайловича с очередной порцией сосновых шишек. Сегодня он казался особенно удрученным, все время молчал, Даринка была уверена, огорчается из-за автомата. И, увидев вышедшую во двор тетку Горпину, она подбежала к забору, поздоровалась, спросила:

— Где это ваш Михайло, что его не видно?

— На службе в Киеве. Взяли да угнали,— пожаловалась тетка.— А ты не огорчайся, скоро вернется.

«А я не огорчаюсь!» — хотела отрезать Даринка, но вовремя спохватилась. Тетка же ни с того ни с сего стала вдруг расхваливать своего сына: и какой послушный, и какой смирный, а уж работающий, просто слов нет. Мало того, что работает на службе, так еще по хозяйству помогает. Что со свиньями, что с коровой — везде управляется. А то уговаривает отца завести пасеку. Сахара-то нет, люди по сладкому чуть не плачут, чего захочешь за мед выменяешь...

— Я, тетка, пойду,— не выдержала Даринка.— В печке, наверное, прогорело все.

— Иди, дочка, иди. Ты тоже, вижу, работающая. Дай тебе бог здоровья и счастья! И хорошего мужа в пару.

Проводила Даринку взглядом до самого порога.

«Мужа! — фыркала про себя Даринка.— Так я за вашего Михайла и выйду!»

А все же было жаль тетку Горпину. Разве она виновата, что сын ее записался в полицию?

Михайло появился в обед.

— Где ты пропадал? — спросила Даринка.

— В Киеве. Комиссара отвозили.

— Комиссара?

— Ага, вместе с женщиной.

— С его женой?

— Не с его, а с чужой. За то, что комиссара прятала.

— И тебе не жалко было эту женщину? — с упреком спросила Даринка. Вспомнила страшные немецкие объявления: кто будет прятать командиров Красной Армии, того ожидает смертная казнь.— Ее же расстреляют!

— А я тут при чем? — пожал плечами Михайло.— Я же на службе. Мне приказано, я исполняю.

— А если бы приказали расстрелять эту женщину, стрелял бы?

— Да чего ты пристала ко мне! — начал сердиться.— Они бы в меня разве не стреляли? Если бы я им попался в руки?

— Кто, эта женщина стреляла бы?

— Тот комиссар! Которого она спрятала. Нам наказывают, мы сполняем.

И тут Даринка подумала о Викторе Михайловиче.

— Ты бы и меня в Киев отвез?

— При чем тут ты! — ответил он с досадой.— У тебя же не прячутся комиссары.

— А может, и прячутся. Откуда ты знаешь!

Михайло снова пожал плечами. Какая это муха ее укусила?

— Ну, иди, а то мама проглядела все глаза,— сказала Даринка насмешливо. Смотрела вслед и видела только автомат, свисавший с плеча. Новенький, с плоским рожком, вороненым дулом и светлой деревянной ложей. Видела еще плоский затылок.

Никогда не думала, что у человека может быть такой уродливый затылок. Как это она его раньше не замечала!

— Ну и что, если убью? Туда ему и дорога.

Это когда Виктор Михайлович спросил: а что если не оглушишь, а убьешь?

— А ты знаешь, что это такое: убить человека?

— Он не человек. Он полицай!

— Все равно живое существо.

— Но вы же убивали! — горячо взглянула.— Вы же в немцев стреляли!

— В немцев стрелял. А убил ли хоть одного, не знаю.

— Как это не знаете? — удивилась Даринка.

— А вот так... Стреляет весь взвод... Или рота. Все целятся, а кто попадает, неизвестно.

— Я не собираюсь его убивать. Только оглушу.

— А он придет в себя и донесет, кто его ударил. Что тогда делать?

Этого Даринка не знала. Об этом как-то не думала. А что донесет, не имела никаких сомнений. Еще и сам повезет в Киев. В тюрьму.

— А вы говорите, не нужно убивать! — В голосе уже слезы.— Они над нами издеваются, а мы их и пальцем не тронь.

— Убивать их нужно,— ответил Виктор Михайлович.— Только не тебе это, Даринка, делать... Не твое это дело — убивать.

«Убью все равно!» — твердо решила Даринка, не видела иного выхода. О том, чтобы незаметно подкрасться, нечего и думать. На службу свою он идет засветло, возвращается, когда тоже уже совсем светлеет. Так она что, у всех на глазах молотком будет размахивать? Ночью тоже не подкрадешься. Подкрасться-то можно,

будь он один! А то ведь они по двое, по трое ходят, стерегут друг друга. Боягузы несчастные!

До сих пор она ни разу не чувствовала такой боли, голова была всегда, как звоночек, а теперь ходит как угорелая. Лицо побледнело, желтые круги вокруг глаз. Что там мама, даже Виктор Михайлович стал с тревогой допытываться, не заболела ли.

— Отстаньте от меня! — ответила раздраженно. — О своей жене беспокоитесь.

А придя домой, забиралась на кровать и плакала. Не представляла себе, что можно так горько плакать. Так безнадежно.

«Он ее любит, ее... Ну и пусть себе любит. Пусть идет к ней, если она ему так мила, а я все равно достану ему автомат. Пусть тогда узнает, кто его больше любит... Ребенка родит... Да я сто детей ему нарожаю!..» И хотя Даринка не собиралась стать многодетной матерью, сама была у мамы одна, но мысль эта была ей особенно сладкой.

«А того я убью!.. Невестка!.. Я вам покажу невестку!..»

В ночь на субботу у Михайла был выходной, Даринка уже все знала о его службе. Встречалась с ним почти ежедневно, разговаривала благожелательно, и с каждым разом он таял все больше. Не было тайны, которой бы не поделился с Даринкой.

— Нашу вербу помнишь? — спросила она его в пятницу.

Стоял последний день бабьего лета, ни ветерок не повеет, ни трава не шелохнется, только серебряная паутина медленно плывет. И деревья все позолоченные.

— Какую вербу?

— Видишь, уже и забыл, — сказала с упреком. — А я помню. Ту, под которой мы всем классом купались. Мы ее так и называли «наша верба».

— А, верба! — засмеялся он радостно. Лучше бы не смеялся, таким чистым и ясным было в этот момент его лицо. Словно он перенесся сразу на несколько лет назад. Даринке даже стало не по себе. Что-то подкатило к горлу. Чувствовала, вот-вот расплчется. — Ну как же, помню. Ты меня там чуть не утопила. В пятом классе, помнишь?

— Как же тебя не топить, если ты плавать не умел.

Он засмеялся еще сильнее. Словно воспоминание это было ему бог знает каким приятным. Будто не выплевывал тогда, кашляя, воду.

— Она стоит уже совсем обнаженная, — проговорила Даринка печально. — Все листья сбросила с себя.

— Ты туда ходишь?

— Хожу. Каждый вечер. Когда совсем темнеет. Чтобы ваши не увидели и не застрелили ненароком. Стою и смотрю на речку, в которой мы купались так весело. И сегодня пойду. А что, уже и к вербе нельзя нам ходить? — спросила с вызовом.

— Почему же... — смутился он. — Хлопцы только чтобы не заметили. У нас ведь приказ: стрелять сразу. Комендантский же час...

— Пусть стреляют, — равнодушно сказала Даринка. — А я буду ходить. Ну, пока. Спи на здоровье.

— Даринка!

«Ох, не называй меня так! Не называй!»

— Что? — обернулась.

— А мне прийти можно?

Ответила как можно безразличнее:

— Приходи. Верба же не моя.

Едва дождалась вечера. Села ужинать — ложка не лезет в рот, заставляла себя жевать, лишь бы мама не допытывалась, почему не ест. Едва в окнах стало сереть, как потянулась к фуфайке — ночи уже стали холодными, да еще над водой.

— Куда это ты, дочка?

— К Вере.

— Смотри, добегаешься. Подстрелят, что я тогда одна буду делать?

— Не подстрелят, я огородами.

— Ой, смотри!

— Я, мама, не долго.

Чмокнула маму в щеку, чтобы не сердилась, и бегом из хаты. Пока к вербе добралась, совсем стемнело.

Даринка и вчера сюда приходила, принесла молоток. Все до мелочей продумала, не забыла и о глубоком дупле, черневшем в стволе. Когда-то они друг дружку пугали, что там змеи сидят. Поэтому перед тем, как положить туда молоток, Даринка сперва пошуровала палкой: может, и вправду змея сидит? И, только убедившись, что там ничего нет, опустила молоток.

И сейчас, подойдя к вербе, в первую очередь проверила: на месте ли? На месте. Ручка холодная и скользкая. Даринка даже вздрогнула от прикосновения. Захотелось вдруг убежать, забыть обо всем, но какая-то сила, неподвластная ей, удержала Даринку на месте. Заставила стоять, всматриваться в темноту, вслушиваться в каждый подозрительный звук и молить неизвестно кого: «Хоть бы уже быстрее! Так или так».

Вдруг подумала: а что если он придет без автомата? Запросто может прийти. Как же она об этом раньше не подумала? Сколько времени зря потеряно. Готова была заплакать, разозлилась на себя. И когда он появился, когда кашлянул — это я, мол, не бойся, — когда его темная фигура выросла рядом, первое, что старалась рассмотреть Даринка, висит ли у него автомат на плече или нет.

Висит!

— Ты с автоматом? — рассмеялась нервно, хотелось, чтобы и он это подтвердил.

— Да, знаешь, как-то уже привык. — Он думал, что она над ним посмеивается. — Ох, ночь какая, вся в звездах! И в воде вон отражаются, как будто плывут.

Даринка ничего не видела — ни звезд, ни речки, — только черное дупло. И казалось оно огромным, и чернота, как в разрытой могиле.

— Закурить позволишь? — спросил он учтиво.

— Кури, — едва разжала зубы Даринка, ее всю трясло.

«Хоть бы уж быстрее... Хоть бы быстрее...»

Он достал из кармана папиросу, зажал в зубах. Достал спички, чиркнул, пряча огонек в ладонях, чтобы не было видно, потом наклонился прикуривая.

«Ну, давай!» — ударило колоколом в голове у Даринки. А руки не слушались, а ноги приросли к земле, а он, прикурив, вот-вот разогнется...

— А, черт!

Огонек погас, он снова чиркнул, наклоняясь еще ниже.

И тогда Даринка вытащила из дупла молоток и, коротко всхлипнув, опустила его на затылок.

Зажженная папироса, описав дугу, светлячком полетела вниз. Икнув, он упал на колени, зарылся руками в землю. И Даринка, замахнувшись, изо всех сил ударила его еще раз. Фуражка, словно ожив, слетела с головы, он молча ткнулся лицом в землю.

Она стояла, окаменевшая, тупо смотрела на тело, неподвижно застывшее у ее ног. Оно казалось сейчас таким длинным, словно он вырос вдвое перед тем, как умереть. Что-то в ней в этот миг будто щелкнуло и замкнуло все до одной мысли. Она стояла, обмершая, отчужденная от всего живого, и казалось ей, что стоит так целую вечность. Что и ночь уже кончается и вот-вот станет светать.

«Да что это я!»

Пошевелила рукой. Провести бы по глазам, по лицу, сорвать эту пелену, сковавшую ее, а рука тяжелая, будто чугунная. «Молоток!» Бросила поспешно ненужный уже молоток в дуло, но тут же подумала, что лучше бы в речку, там никто не найдет. Однако чувствовала, что даже дотронуться до него больше не сможет.

Быстро наклонилась, схватила автомат, лежащий возле него, а он, будто ожив, потянулся рукой к оружию. Даринка оцепенела от ужаса, никак не могла понять, что это просто рука поднялась на ремне, когда она потянула к себе автомат.

Рука наконец упала освободившись. Так бухнуло, словно ударило о землю многопудовой глыбой, ей казалось, что звук этот докатился до местечка и разбудил всех людей. Прижимая к груди автомат, Даринка со всех ног бросилась домой. Гнала, как никогда в жизни, потому что он уже бежал за ней и его длинные черные беспощадные руки касались ее спины. А лугу не было конца, а хаты все не появлялись.

Вбежав наконец во двор, она бросилась не в хату — в сарай. Упала на сено, долго лежала, судорожно хватая воздух перекошенным ртом, и ей хотелось разорвать на груди одежду, душившую ее стальным обручем. Ее всю трясло, дробно стучали зубы, болезненно ныло сердце. И темная его голова, по которой она ударила, неотступно качалась перед глазами...

Утром, мельком взглянув в зеркало, она искренне удивилась, что не поседела.

Зашла в хату мама.

— Ой, дочка, беда!

Даринку так и бросило — автомат! Они нашли автомат!

— Какая беда?

— Михайла убили. Там нагнали полиции, весь луг покрыли, как воронье. А что уж матери той несчастной, не приведи и помилуй! Так кричит, так кричит, что скоро криком изойдет...

Хоронили Михайла на следующий день, пошла на похороны и мама. Даринка же из хаты ни на шаг. Забилась в самый глухой угол, зажала ладонями уши, чтобы не слышно было, как голосит тетка Горпина, как посылает страшные материнские проклятия убийце родного сына. Все равно было слышно, прорывалось и сквозь ладони, и Даринке казалось, что она вот-вот сойдет с ума.

А ночью было еще страшнее — тетка Горпина голосила и причитала до утра. К звездам обращалась, к луне, и этот нечеловеческий стон, жутко отражаясь от холодного неба, падал на землю, пронизывал насквозь.

— Он полицай! — крикнула утром матери. Даже слезы из глаз брызнули.

— Э, дочка, полицай не полицай, а матери — родной ребенок.

И посылались укоризненные нотки в маминых словах. «Если б мама узнала, наверно, осудила бы, — мрачно подумала она. — Все меня осудят, все! Один Виктор Михайлович меня не осудит!»

И решила: как только стемнеет, пойдет к нему. Отнесет автомат.

Все-таки они меня выследили.

В эту ночь я спал, как давно уже не спал. Рана моя затянулась и почти не болела, я утrelся в кожу, даже разулся. Так уже привык к мрачному своему жилищу, что чувствовал себя в нем, как дома, и теперь уже не вскакивал по десять раз за ночь: не идет ли кто? Не крадется ли? Может, причиной такого глубокого сна, сморившего меня этой ночью, был автомат, принесенный Даринкой, только в это утро я спал как никогда, а проснулся от яростного крика:

— Комиссар, выходи!

Меня так и смело с постели. Схватив автомат, как был босиком, подбежал к двери.

— Сдавайся, комиссар!

Полицай! А может, и немцы с ними. Ишь, уже и комиссаром сделали! Много им чести.

Оглянулся затравленно. Спасаться некуда. Поймали, застукали, как в мышеловке.

Эх!..

— Вылазь, комиссар! — И матом трехэтажным. — Выходи, а то гранату бросим!

— Сейчас! — крикнул им сквозь дверь.

— Бросай оружие!

Оружие? Еще чего не хватало. Нет, голубчики, берите меня вооруженным.

— Нет у меня оружия! Ложка разве...

— Тогда выходи! Руки вверх и выходи!

— Выхожу!

Эх, будь что будет.

Саданул ногой в дверь, и в светлом квадрате напротив, вверху, над траншеей, три черные фигуры. С нацеленными винтовками.

Нате, гады!

Автомат затрясся. Скошенные длинной очередью, они сразу попадали. Один прямо в траншею, головой вниз... Не ожидая, пока они придут в себя, я выскочил... Тут, возле двери, никого не было... Дураки, они не заблокировали двери!.. Голова моя была ясной как никогда... Дав очередь веером вверх, бросился по траншее вправо к выгону, за которым спасение, но оттуда, навстречу, поверх головы, густо брызнуло пулями... Ответив, побежал назад, но тут на меня что-то тяжело навалилось. Навалилось, сбilo с ног, придушило, выкручивая левую руку, и, прежде чем потерять сознание от неистовой боли, я увидел сапоги, десятки сапог, которые, топая, прыгали в траншею, на дно...

«Все... Конец...» — успел еще подумать и провалился в неизвестность...

— Они его пытаются!

Истязают днем и ночью, пытая, кто дал ему кожух и подушку, кто кормил. Руки выкручивают, ноги ломают...

— Замолчи! — закричала Даринка подруге. Так ее сейчас ненавидела, словно это она обрекла его на страшные муки.

Вера наконец ушла. Наверное, обиделась. Но Даринке это все равно. Все на свете безразлично, жгла только мысль о том, что его там пыгают в эту минуту, прямо сейчас истязают, а она не может спасти его от мук.

— О-о-о.— стонала Даринка. Стонала и кусала себе руки.— Да ничего у меня не болит! — кричала она матери.— Оставьте меня в покое!

Выбегала из хаты, забивалась в сарай, чтобы не видеть, не слышать никого, и безудержно плакала навзрыд.

Его там истязают...

Его пыгают...

Выкручивают руку, ту, где рана, добиваясь, чтобы он выдал Даринку. А он молчит. Терпит нечеловеческие муки и молчит.

А они его все истязают и истязают!..

Внезапно замерла: а может, неправда? Вдруг Вера наврала, или, может, ей кто-то наврал?

Слезы вмиг высохли. Поспешно набросив на себя фуфайку, она отправилась в лес. Не подумала, что ее кто-нибудь может увидеть,

что там, если это и вправду не вранье, могут сидеть в засаде полиция. Думала только о нем, и эта мысль заслоняла другие мысли.

Добежала, тяжело дыша, и сразу поняла, что здесь его уже нет. Сорванная с верхней петли дверь перекособоженно свисала книзу, в траншее на дне россыпь стреляных гильз. И втоптанная в песок его командирская пилотка.

Подняла ее, ткнулась лицом в холодное сукно, заплакала. Молча и безутешно — теперь она уже знала точно, что его взяли.

Зашла в землянку. Поискала, не осталось ли еще какой-нибудь вещи от него — ничего не осталось, они все подмели, — обессиленная, она почти упала на нары.

И было в ту минуту Даринке не восемнадцать — все шестьдесят.

Вышла насупленная — она уже твердо знала, что ей делать.

Шла домой быстро — не хотела терять ни минуты, чтобы не доставлять ему лишних страданий.

И настал последний день в юной жизни Даринки. Допрашивая, ее не били, не истязали, да и к чему было истязать, когда Даринка сама пришла в комендатуру и рассказала все до капельки. Как его впервые увидела, как отнесла кожух и подушку и как потом почти ежедневно ходила в лес.

Как убила полиция Михайла.

Не говорила просто «Михайло», обязательно добавляла «полицай». Отгораживалась от своего бывшего одноклассника этим словом, как стеной.

Комендант, пожилой тучный немец с незлым лицом (даже накричал однажды на другого немца, замахнувшегося, чтобы ударить Даринку), комендант сперва не поверил, что эта юная девчонка могла кого-нибудь убить, пока Даринка не рассказала о вербе и молотке. Немцы съездили и привезли молоток, комендант наконец поверил.

Потом их судили, Даринку и Виктора Михайловича, чужим, немецким судом, который, ссылаясь на чужие, немецкие законы, вынес им смертный приговор. Даринка этот приговор выслушала так, будто не ей умирать, а какому-то чужому человеку, в мыслях она уже давно распрощалась с жизнью.

И настал день, когда их вывели на площадь, поставили под виселицей, пахнувшей живицей — виселицу смастерили из сосны. И она стояла рядом с Виктором Михайловичем, уже никого не стыдясь, с такой же, как у него, дощечкой на груди. Только у него было написано: «Комиссар». А у нее: «Бандитка». И комендант велел спросить у Даринки о ее последнем предсмертном желании — петля уже обвивала ее шею.

— Развяжите мне руки, — сказала Даринка.

— Освободите ей руки! — приказал комендант. — Она это заслужила чистосердечным своим признанием...

Комендант еще что-то говорил, Даринка его уже не слушала — как только упала веревка, она сразу же схватила Виктора Михайловича за руку.

Они были вместе.

Она была с ним.

До последнего вздоха.

Мы висели на площади, и ее охладевшая ладошка прикипела к чулунной моей руке.

Реквием

Утром дождь, утром туман, утром и жить не хотелось, а с обеда солнце пробилось сквозь тучи, разорвало, разогнало, развеяло, и такой голубизной ударило с неба, что глазам стало больно. Все деревья, только что еще какие-то несчастные и съезжившиеся, до последней ветки намокшие, вдруг встрепенулись, обсыпанные золотом. Золото, золото, золото без удержу полилось книзу: на кресты, на могилы, на памятники, на протоптанные узенькие тропинки, по которым живые ходили к мертвым, а мертвые встречали живых. И все кладбище, доселе неприветливое и угрюмое, доселе зажатое в сереньком пространстве, раступилось могилами и памятниками, давая ему дорогу к матери.

Мама уже давно ждала его, терпеливо всматривалась с небольшой карточки в конце кладбища, и, когда наконец увидела сына, вечно суровое лицо ее как будто смягчилось, как будто даже вздрогнули твердо сжатые губы и потеплели глаза. Мать жадно смотрела на него с невысокой деревянной тумбочки, исхлестанной ветрами, снегами, дождями, и он уже в который раз подумал, что пора поставить памятник. Давно пора... Да все, вишь, некогда, все руки не доходят.

И руки его, большие, терпеливые, с твердыми, как из железа, ладонями, зашевелились беспомощно и виновато.

Его звали Андреем, и работал он водителем в таксопарке в Киеве. А сегодня пришел вот на кладбище.

Он бы, наверно, и сегодня не пришел к матери, хотя был выходной, если бы не вчерашний, будь он проклят, день и не сегодняшняя ссора с женой.

Авария произошла вечером, уже под конец рабочей смены.

Весь день он мотался как угорелый, садились какие-то ненормальные пассажиры, спешившие так, словно им всем грозила смертная казнь. Быстрее, пожалуйста!.. Голубчик, подхлестните вашу лошадку! Будет рубль навару... А быстрее нельзя?.. Сцепив зубы, он крутил баранку, едва удерживаясь от того, чтобы не открыть дверцы и... Да ну вас всех к дьяволу! Не нужны мне ваши несчастные рубли! Под конец измотался так, что свет был не мил. Высадил последнего пассажира, возвращался, расслабленный, в парк. Сдать машину напарнику, добраться домой, завалиться в кровать. И спать, спать... Всю ночь напролет, до следующего вечера...

Мирно светился зеленый огонек, ровно гудел мотор, машина сама катилась по проспекту, хоть не держись за руль, он уже мысленно был дома, где его ожидало два выходных — суббота и воскресенье, — море времени, если распорядиться разумно... Уже подумывал над тем, что будет делать завтра, когда хорошенько отоспится, как вдруг на тротуаре под фонарем в ярком круте выросла женская фигура, взмахнула рукой. Он еще не успел осознать увиденное, а нога уже нажала на тормоз и рука включила указатель поворота. Сработала молниеносная реакция таксиста (первая заповедь: не прозевай пассажира!), и, прежде чем вспомнил, как несколько секунд назад он поклялся больше не брать пассажиров, машина, завизжав тормозами, остановилась возле женщины.

Он уже хотел было дать газ, но увидел, что женщина была не одна — держала завернутого в белое ребенка.

«Придется везти!» — подумал с досадой.

Открыл дверцу, перегнувшись, спросил:

— Вам куда?

Женщина нагнулась и, покачивая ребенка, сказала:

— На Отрадный. Пожалуйста!

Он мысленно выругался. Так и знал: обязательно Отрадный! За тридцать земель, а у него кончается смена. Ну и денек, будь он неладен!..

— Не по дороге. Я еду в парк.

Женщина склонилась еще ниже, умоляюще заглядывая в машину.

— Мне очень нужно!.. Я вас прошу... Полчаса стою...

— Поймите, я еду в парк! У меня давно кончилась смена.— И потучал пальцами по циферблату часов.

— Я вас очень прошу!— в голосе женщины уже слышались слезы.— Полчаса стою, а машины все нет... Я вас отблагодарю...

— Да не нужна мне ваша благодарность!— рассердился он.— Все вы люди, один я не человек! У меня работа кончилась, понимаете вы это или не понимаете?

— Что же мне делать?— в отчаянии спросила женщина.— Полчаса стою... Ему давно спать пора...

«А о чем ты раньше думала?— едва не вырвалось у водителя.— Матери, бес вам в душу!» Он еще что-то сердито думал, а сам уже чувствовал, что не оставит ее посреди улицы.

— Садитесь,— сказал неприязненно.

Она поспешно, боясь, чтобы он не раздумал, дернула заднюю дверцу.

— Вперед садитесь!— закричал он на нее.— Там еще ребенка простудите!

«До чего же они безголовые! Им лишь бы замуж!»

Он подождал, пока она устроится, включил счетчик, левый поворот, все еще поглядывая на пассажирку, отъехал от бровки. И только отъехал, как его с огромной силой швырнуло назад. Скрежет, звон, пыль, будто из пылесоса. Вскрик испуганной женщины, резкий плач ребенка.

Выдернув ключ, стремглав выскочил из машины.

«Жигули!» Врезались в задок «Волги», чуть не залезли на нее.

Бросился к «Жигулям», разъяренно закричал:

— Ты что там, ослеп?!

Передние дверцы машины открылись, оттуда высунулся костыль. Инвалид! Инвалид, будь он неладен!.. Только сейчас заметил треугольник с буквой «Р», наклеенный на ветровое стекло. Пропащее дело связываться с инвалидом! Но гнев еще кипел, расpirал грудь.

— Улицы тебе мало, что на машину полез?!

Инвалид выбрался наконец из машины. Тоже пылал гневом, как домна.

— А ты, мать твою, куда лез?!— закричал изо всех сил.— Таксисты, мало вас вешать!.. Жабовозы проклятые!..

Андрея особенно оскорбило это «жабовозы». Разбил ему машину, весь багажник смял, да еще «жабовозы»! Дать бы монтировкой по кумполу, чтобы знал, как перед собой смотреть!

Но инвалид оказался не из пугливых.

— Ну-ка ударь!.. Ну-ка попробуй!.. Тресну костылем — неделю будешь кости собирать!

Наступает на Андрея, вымахивая костылем. Глаза бессмысленные, изо рта слюна летит.

Тьфу!..

Плюнул Андрей, отступил. Хотел уже сесть, завести машину и поехать (сам понимал, что тоже виноват: не пропустил, ловил ворон), но инвалид с неожиданной ловкостью запрыгал вслед и встал перед «Волгой».

— Э нет, не убежишь!.. Напакостил и удирать? Ты у меня поскачешь!.. Ты у меня наплачешься!.. Я тебя отучу нарушать правила!..

Андрей уже понял, что связался если не с чертом, то с его родным братом. Снова вышел из машины (злость вдруг утихла, осталась одна усталость), попробовал договориться по-хорошему:

— Слушай, папаша...

— Черт тебе папаша, не я! — закричал инвалид. — Сынок нашелся, мать твою!

— Ну, хорошо, пусть черт... Ты только не ругайся — вон в машине женщина сидит. Тебе в дочку годится, а ты матюками... Давай лучше разойдемся по-хорошему... Я, может быть, виноват, но и твоей вины не меньше. Оба нарушили правила...

— Не тебе, сопляку, это решать! Ишь какой: оба нарушили!.. А платить за ремонт кто будет?.. Кто?..

— Да пойми же ты, капуста голова, что мы оба нарушили правила, — пробовал уговорить Андрей. — Ты что, хочешь, чтобы милиция у обоих права отобрала?

— Это еще посмотрим, у кого отберет!.. Нарушил правила и он еще не виноват! Распустились, хоть на улицу не выезжай!.. И не пытайся убежать, номера все равно не поменяешь!..

— Кто от тебя будет убежать? — горько сказал Андрей. У него уже не было сил ни уговаривать, ни ссориться. Махнул рукой на упрямого олуха, обошел машину. Открыл дверцы с той стороны, где сидела женщина. — Вылезайте, приехали.

— Как же мне теперь домой добираться? — растерянno спросила женщина.

— А вон у него спросите, — показал на инвалида Андрей. И уже более мирно добавил: — Сами видите, остановились надолго... Наплодили частников!

— Это вас развелось! — отозвался инвалид, все еще стоял перед «Волгой», заслоняя дорогу. — Вымогатели!..

Женщина, попрощавшись, ушла куда-то в темноту, очевидно, на автобусную остановку, и они остались вдвоем. Мимо проезжали машины — грузовые, легковые, — ни одна не останавливалась. Водители — народ битый: остановишься, обязательно попадешь в свидетели.

— До утра будешь ждать? — въедливо спросил Андрей.

— А хоть бы и до утра, у меня не горит.

— Ну, и у меня не печет.

Андрей снова обошел свою колымагу. «Жигули» врезались не на шутку. Хотя досталось им больше: перекошен радиатор, смят капот, фары — в осколки. «Волгу» тоже помяло как следует. «В сотню обойдется, не меньше, — подумал Андрей о ремонте. — Вот и купил машину!» Берег деньги на стиральную машину, да не простую — автомат: сама стирает, сама и вываривает, полощет и сушит, только и того, что не гладит, включил программу и гуляй себе паном... Собирался подарить на именины жене, которая замучилась с еженедельной этой стиркой, и вот, пожалуйста: сотня, если не больше, собаке под хвост! Андрей грустно смотрел на искалеченную «Волгу», а инвалид тем временем махал рукой, пытаясь остановить проезжавшие мимо машины. «Помахай, помахай! — злорадно подумал Андрей. — Так они тебе и остановятся!»

Остановилась «Волга», такси. Не из их парка. Водитель, молодой и веселый, увидел обе машины, понимающе свистнул.

— По милиции соскучились?

— Вот он соскучился! — показал на инвалида Андрей. — Вцепился как клещ!.. — И, боясь, что водитель вот-вот нажмет на газ, попросил: — Слушай, браток, позови дядю Степу, а то мы тут одубеем.

— Есть позвать! — козырнул тот из машины. — Дескать, ждут и любят... — Шутник какой нашелся!

«А как бы ты шутил на моем месте!» — подумал мрачно Андрей.

Он сел в машину и уже не вылезал из нее до приезда орудовца.

Орудовец, старший сержант, тоже попался железобетонный: на фундамент пустить — тысячу лет будет стоять. Ни упросить, ни умолить. Забрал права, и не подступись к нему. Будут теперь полоскать на всех летучках и собраниях. Эх, жизнь наша собачья!..

Единственное утешение — забрал права и у инвалида. Вот так тебе, старый дурак, и надо! Побегашь в ГАИ — внукам закажешь. Ремонта ему захотелось. За чужой, видите ли, счет!

Ну, люди!..

Он пригнал машину в парк, поставил на место. Его и не очень расспрашивали, что да как. Дело привычное, ежедневно две-три машины разбиваются, такая уж работа — гоняй да гоняй, во все дырки проскакивай, а план давай. Но машина ведь не резиновая, машина железная, только успевай ремонтировать и рихтовать. Потому и не очень допытывались, только велели написать объяснение. Писал, потел, вроде бы старался не обманывать, а поневоле выходило так, что он ни в чем не виноват, а виноват тот инвалид, которому мало было дороги, ему еще обязательно нужно было врезаться в «Волгу»! Закончив писать, он отдал бумагу дежурному механику, спросил, когда отремонтируют машину.

— Загорай,— ответил ему механик.— Куда тебя выпускать без прав? Поработаешь некоторое время в мастерской. Пока замдиректора по безопасности движения не съездит в ГАИ. Выручат вас, космонавтов.

И, хоть Андрей и не надеялся на другой ответ, ему стало еще досаднее. Выйдя из парка, нагнулся на знакомых таксистов, которые после смены не торопились домой, и на их многозначительное «так как?» сказал, что присоединяется.

А валюта?

Андрей достал кошелек, показал две десятки. Честная компания решила, что валюты достаточно, и взяла Андрея «водить козу».

«Козу водили» до двух часов ночи. Выясняли, кто кого уважает, никак не могли расстаться. Сперва засели в чайной, потом в привокзальном ресторане, закрывавшемся позже всех. Андрей хорошенько нализался, не помнит, как добрался домой, проспал до обеда. А проснулся, голова трещит, во рту будто сто свиной ночевало, жена от злости шипит.

С женой Любой, или Любашей, как ее любил называть Андрей, почти никогда не ругался, жили душа в душу, на зависть всем соседям. Но то, что он припелся далеко за полночь да еще пьяный как зюзя, могло и святую вывести из себя. Поэтому Андрей сперва слушал гневные реплики жены, приговаривая:

— Ну, хватит... Ну, ладно... Поругала и хватит...

Однако Любаша сегодня разошлась не на шутку. Люба все не могла простить Андрею бессонной ночи, когда бог знает какие мысли приходили в голову: и что разбился, и что хулиганы напали, и что — самое ужасное! — заночевал у другой. Измученная этими страшными картинками, она успела и похоронить его, и побыть вдовой, и развестись. Люба уже не могла себя сдерживать и выливалась на склоненную мужнину голову все, что думала о нем и не думала.

— Я машину разбил!— не выдержал Андрей. Горько, нудно, повеситься хочется, а тут еще она.— Тебе это понятно или нет?!

— Еще бы не разбить! Залил свои бельма водкой, и море ему по колено! Как ты только не убился на ней!..

— Я напился после того!— закричал Андрей.— После того, как разбил.

— А как же, с такой радости да не напиться!.. А что жена не спала всю ночь, чего только не передумала, тебе на это наплевать!

И уже слезы, уже плач, уже «не подходи ко мне, я тебя видеть не хочу»! Да гори оно все синим пламенем, пропади оно пропадом!.. Хлопнул дверью изо всех сил («По дурной своей голове!»— крикнула Любаша вслед), выскочил как ошпаренный из дома. И на кладбище к матери.

«Если бы вы знали, мама, как мне сейчас горько!»

Может, впервые после того, как похоронил родную мать, пронзительное чувство сиротства. Жгучей тоски по матери...

До слез. До боли. До стоны.

Шел, почти бежал, как когда-то в детстве, когда со всеми жалобами — к матери.

Умиротворенный, возвратился домой. Все успокоилось, осело, мир уже не казался таким постылым. Будто прикоснулся к той вечности, где нет ни злобы, ни тревог, где все кажется таким мелким, несущественным, что не стоит принимать всерьез. Ну, разбил машину, так что? Отремонтируют, починят, через неделю забудется. Сто рублей? Так что они, эти сто рублей? Было бы здоровье, заработаем и стиральную машину купим, если бы только того горя, что стиральная машина. Ну, поссорился с женой, так чего в семье не бывает! Вон другие грызутся каждый день, до ножей дело доходит, да и то как-то живут... У других жены — не приведи господи, а с его Любой еще можно жить не тужить. Вспыхнет, черт те что наговорит, да сразу и отойдет... А ведь и в самом деле, если подумать: целую ночь где-то шатался, пьяный пришел, да другая и на порог не пустила бы! Врезала бы дверью по морде, как Сашку, его напарнику, врезала: нос набок и синяк на всю вывеску. А его все-таки Люба и раздела, и спать уложила, и кружку с квасом поставила, чтобы ночью, когда проснется, было чем огонь в душе залить... А что потом ругалась, так за дело, потому что зароботал...

Пришел домой, а на столе уже две тарелки стоят и хлеб нарезан, две вилки да две ложки и два стаканчика граненых, и бутылочка магазинной, пшеничной, чистой, сегодня, наверное, купленной. И сама Люба — как ласточка, улыбается, будто между ними ничего и не было.

— Где ты пропадал?

— У матери был. — Благодарно посмотрел на жену, все что угодно готов был сделать для нее за такие минуты!

— Садись, будем есть.

— А дети?

— Побежали в школу. Там к ним артисты приехали... Иди, мой руки, а то борщ остынет...

Пока он мыл руки, она и селедку достала, на кусочки разрезанную, луком и постным маслом заправленную, и налила две миски борща. Борщ праздничный, с курятиной — не пожалела молоденького петушка, он даже подумал, по какому случаю, хотел спросить, но жена его опередила:

— Так, может, нальешь? Помянем маму...

Ему стало жарко — сегодня ведь два года... Ровно два года, как мама умерла... Как он забыл? Даже на кладбище не вспомнил, а мама так смотрела на него!..

Его всего перевернуло, воспоминание о матери болезненно сжало сердце...

У него была самая лучшая на свете мама, и шел ему одиннадцатый год.

(Первое смутное, словно из старого сна воспоминание: еще не было ни неба, ни земли, ни воды, еще мир бушевал в первозданном хаосе, а уже была мама. Каждую секунду, каждый миг чувствовал ее незащищенным телом своим, жадно тянулся к ней.)

Итак, была у него самая лучшая на свете мама, и шел ему одиннадцатый год.

А еще раньше, когда он был совсем-совсем маленьким, во время отступления немцев их улочка сгорела дотла. Помнит огонь, море огня и себя на каком-то барахле и как он отчаянно кричит от страха, а мать то выныривает из огня, вынося какую-то очередную одежду, то снова бросается в огонь, а он кричит еще сильнее, потому что мама не обращает на него никакого внимания.

Потом была ночь. Посреди пепелища, под открытым небом. И он на печи, там огонь горит день и ночь — перед сном мама натаскает туда полно дров, еще и заслонку закрое, не боясь угореть. Они устраиваются на горячем поддоне, укрываясь всеми тряпками, какие удалось спасти, а небо нависает над ними низко-низко. Оно то светит ледяными звездами, то чернеет тучами, и всегда в нем что-то гудит тоскливо и жутко, но ему так хорошо рядом с матерью, так уютно, что он ничего не боится.

Жили они на той печи, наверное, с неделю, если не больше, потому что мама не хотела ни к кому проситься; он до сих пор помнит, как упрекала ее какая-то женщина, что простудит ребенка, а мама отвечала, что не простудит, дескать, не бойтесь... Жили на печи, пока мама кое-как не выкопала землянку, а помогал ей усатый дядька в военном, потому что сама мама вряд ли справилась бы с замерзшей землей; дядьку он тоже помнит довольно смутно, только дядькины теплые ладони, когда он брал его на руки, и суровое материнское: «Ну, уходите!» — каждый раз после ужина возле печки посреди пепелища.

(У него и до сих пор на губах горьковато-соленый привкус от пепла, попадавшего ему в миску с едой, особенно когда было ветрено. Пепел лежал повсюду, он поднимался тучей, порой застилая даже солнце, и снег был не белый, а серый, и весной вокруг журчали серые ручейки.)

В тесной и всегда темной землянке они прожили года три (окна не было, потому что не достали стекла), но и тогда мама упрямо продолжала топить печь и готовить в ней еду, и на всю жизнь осталось в памяти у Андрея: посреди двора стоит одна печь с высокой трубой, из трубы клубами вырывается дым, ему кажется, что печь вот-вот сдвинется с места и помчит, как поезд, и тогда он поспешно взбирается на нее, чтобы не отстать. Мама не уставала белить печь, та была как нарисованная, несмотря на снега и дожди.

Потом, когда с войны возвратился отец и землянка сразу стала тесной, они решили построить хату. Отец хотел начать с того, чтобы развалить печь, но мама не дала, в их семье последнее слово всегда оставалось за матерью. «Ну, как знаешь, — сказал тогда отец. — Тебе, наверно, виднее». И они начали возводить хату вокруг печи. Это была и не хата, а беденькая мазанка, поскольку на хату у них сил не хватило бы, строила, в основном, мама, а отец больше хватался за грудь и кашлял, так страшно кашлял, что испуганному Андрейке казалось, вот-вот его вывернет всего. «Проклятая война!» — говорил, откашлявшись, отец и еще долго после того сидел, свесив руки, и все просил маму: «Ты бы, Маня, хоть немного отдохнула! Надорвешься же!» — «Не надорвусь! Я двужильная!» — отвечала она всегда, и Андрейка с гордостью думал: мама у него особенная, не такая, как другие матери.

Хата вышла ненамного просторнее землянки, не хата — халупа с одним-единственным оконцем (опять же нехватка стекла), но это все же была хата и жить в ней было веселее, чем в землянке. Веселее, теплее и уютнее.

Почти половину единственной комнаты занимала печка, ее нужно было изо дня в день кормить. Хорошо, что хоть лес стоял рядом, мама впрягалась летом в повозочку, а зимой в саночки, и отец, подпрыгивая на костыле возле матери (ему уже после войны отрезали ногу), все время просил: «Ты хоть накладывай поменьше!.. Наберешь — лошадь не потянет!» — «Сама знаю, сколько класть!» — отвечала мама, перебрасывая через плечо шлею.

Возвращались из леса — колеса увязали в песке, полозья трещали, и, завезя во двор повозочку или саночки, долго стояла, пошатываясь, не в состоянии освободиться от шлеи.

— Я так и знал! — охал отец и выскакивал из хаты.

Он и настоял на том, чтобы мать брала Андрейку в лес, когда то-

му пошел одиннадцатый. Все же какая-то помощь, хоть сзади будет подталкивать.

И до сих пор помнит Андрей свое первое с матерью путешествие в лес.

День стоял тихий и очень морозный, но им было жарко, потому что снега по пояс и постоянно нужно сворачивать с дороги, если хочешь возвратиться домой с дровами. Мама выбирала молоденькие, усохшие на корню дубочки, чтобы подольше горело и побольше давало жара, старательно обтаптывала вокруг каждого снег, а потом брала топор и начинала рубить. Звенела сталь, вызванивала сухая древесина, звон катился лесом, достигал высокого неба, такого немислимо голубого среди белых шапок сосен, а мама рубила и рубила, красная, разгоревшаяся, расстегнув фуфайку, и глаза ее блестели задорно и молодо. Когда дубочек начинал шататься, мать говорила Андрею: «Отойди!»— и налегала плечом на усохшую древесину. Дубочек падал вниз, снег взрывался белым облаком, Андрейка визжал от восторга.

Нагрузили полные, с верхом саночки. Мама, приладив топор, впряглась в шлею, скомандовала:

— Ну, сынок, поехали!

Андрейка уперся изо всех сил в саночки, мама, выгнув спину, дернула раз... второй... третий... Полозья, оторвавшись от снега, заскрипели, заплакали... Пока выбрались на дорогу, оба совершенно выбились из сил... Андрейке уже казалось, что они вечно будут копать в этом снегу. Наконец, когда под саночками весело и звонко запела дорога, они остановились передохнуть.

И тут на них наткнулся лесник.

В полушубке, в шапке-ушанке, в рукавицах и валенках, с берданкой через плечо.

— Та-ак,— сказал он зловеще, и глаза его засветились нехорошими огоньками.— Дровишки, значица, крадем?.. Дубочков захотелось?..

Андрейка испуганно жался к матери, а она стояла и хмуро смотрела на лесника.

Подойдя к саночкам, лесник оценивающе прищурил глаз и прищистнул.

— Полскладометра, не меньше!.. Частенько так возите?..

Мама по-прежнему молчала.

— Что ж, придется отвезти туда, где брали... А потом нарисуем актив... А как же! Закон никому не дано нарушать...

— Ты-то сам не нарушаешь, как же!— презрительно отозвалась мама.— Пол-леса со своими дружками пропил...

И без того красное лицо лесника так и загорелось.

— Так, значица... С вами по-человечески, а вы, значица, вон как!— Сняв берданку, он со злостью приказал:— Ну-ка, поворачивай!

— Не нукай, я не лошадь!

Отвернувшись от лесника, мама натянула шлею, сдвинула с места саночки, Андрей пошел сзади, оглядываясь на сердитого дядьку.

Постояв какое-то мгновение с раскрытым ртом, лесник зло выругался и побежал вслед за ними. Догнал, нагнулся к саночкам, в руке его что-то остро блеснуло, перерезанные веревки упали вниз, а дрова посыпались в снег. Лесник с силой пнул саночки ногой, и они перевернулись.

Никогда еще Андрейка не видел маму такой. Бросив шлею в снег, она подскочила к саночкам, схватила топор. Занесла над головой и молча двинулась на лесника. Лицо ее было перекошено гневом, глаза метали молнии. Андрейка испуганно закричал, а лесник, наставив берданку, выкрикивал:

— Ты что?.. Брось, а то буду стрелять!..

И пятился.

Наконец не выдержал, повернулся, побежал. Сделав еще несколько шагов, мама молча остановилась, тяжело дыша.

— Сумасшедшая!..— ругался издали лесник.— Тюрьма по тебе плачет!.. Бандиты проклятые!..

Он свирепо рванул берданку, забросил ее на плечо. Удаляясь от них, все еще ругался.

Мать опустила топор, повернула назад. Лицо ее было теперь серым, глаза потухли. Поставила саночки на полозья, стала собирать дрова. Андрейка бросился ей помогать.

Молчала до самого дома. А когда повернули во двор, тихо сказала Андрейке:

— Ты ж отцу ни словечка! Слышишь?

Андрейка кивнул, хотя не понимал, почему нужно молчать. Испуг давно прошел, он очень гордился матерью, которая не побоялась лесника с винтовкой, наоборот, он испугался ее! Такой матери не было ни у кого, и если она запретила ему рассказывать об этом случае отцу, то про мальчиков никакого разговора не было и он волен хвастаться перед ними сколько угодно.

Вскоре вся улица знала о стычке с лесником.

А потом новость докатилась до отца.

— Что там с вами произошло в лесу?

Андрейка лгать не умел, потому и рассказал обо всем, как было.

В тот же день, возвратившись с работы, мама сердито сказала:

— Я думала, что у меня растет мужчина. А ты болтун и трепло!

И Андрей не знал, куда девать глаза.

Ему вдруг захотелось посмотреть на мать. Увидеть, какой она была в его одиннадцать лет.

Вспомнил, что где-то должна быть фотография. Они снимались втроем, и это было последнее фото с отцом, который вскоре умер.

Впервые подумал об отце и почему-то никак не мог его себе представить. Тем более нужно было найти ту фотографию.

Перерыл весь ящик, в котором держал документы, попадались под руку всякие справки, бумаги, письма, пожелтевшие от времени снимки, а нужного среди них не было.

— В альбоме смотрел?— спросила Люба.

Альбом! Как он мог забыть про альбом?

Снял со шкафа толстый фолиант, перевязанный шнурком от ботинок, понес к столу.

— Дай я хоть пыль сотру!— забеспокоилась жена.

Не дал. Сам сдул, вытер ладонью, положил на стол. Развязал, открыл первый лист. Люба мягко прислонилась к его плечу грудью, ей тоже захотелось посмотреть.

Перед ним была целая жизнь. Ее печальные и радостные всплески— от рождения и свадеб до похорон; выхваченные из времени лица, от которых не осталось и следа; едва угадываемые черты, давно перепаканные тяжелым плутом бытия... Вот он совсем маленький... А вот молодой еще отец... Вот мама с грудным ребенком... Дед и баба по матери, только поженившиеся... Тут не было реальной возрастной разницы, тут отец мог быть моложе сына, а дочь старше матери... Взволнованный, растроганный, окунувшийся с головой в прошлое, он листал толстые страницы, узнавал давно забытые лица...

И, наконец, вот он, снимок, который Андрей искал.

Он стоит посредине, между отцом и матерью. Отец положил на его плечо руку. Андрей сразу вспомнил, что отец хотел сфотографироваться с костылями, а мама была против. Тогда отец отложил костыли и оперся на сыновнее плечо. У отца такое выражение лица, словно ему неловко за свою отрезанную ногу, потому и выпячивал

грудь, чтобы лучше виднелась медаль. Эту медаль, боевую свою награду, он принес не прикрепленной на гимнастерке, а завернутой в тряпочку — боялся потерять, что ли? — Андрей в свое время не догадался спросить, а теперь уже поздно...

Мама стояла строгая и не улыбающаяся, в своем единственном праздничном платье... Андрей вспомнил, что мать ни за что не хотела надевать его и до того не надевала это платье ни разу, так оно и висело одиноко в шкафу, хотя отец и сердился, ведь купил он его на не такую уж большую инвалидную пенсию. Лишь после того, как отец пригрозил, что не будет фотографироваться, она надела это платье! Андрейка не мог тогда отвести от мамы взгляда, такой она стала незнакомо красивой!..

— Твоя мама в молодости была очень красивой, — говорит Люба. В ее голосе звучат ревнивые нотки.

Он долго, словно изучая, рассматривает свою маму, а потом переводит взгляд на отца...

— Во мне столько железа, что когда умру, то буду не гнить, а ржаветь, — как-то сказал отец.

И то были не просто слова. Когда они впервые пошли вдвоем в баню и отец разделся, на него страшно было смотреть — все тело сверху и донизу иссечено шрамами. Не было, кажется, госпиталя, в котором бы отец не лежал — все осколки и пули почему-то в первую очередь попадали в него. Отец всегда начинал свой рассказ о войне так:

— Когда, бывало, какая мина летит, я уже знал: моя!

За всю войну ему так и не удалось повоевать как следует — после первого же боя обязательно госпиталь.

— Ему и молодому доставалось больше всех, — рассказывала мама. — Кто бьется, а он обливается кровью!

Отец и с войны возвратился через госпиталь — умудрился поймать осколок уже после победы. Расчищали улицу, мина и рванула. Двоих в клочья, а отцу — в бок...

Придя домой, отец сперва бодрился: как только поправлюсь, примусь за работу! Перед войной плотничал, топор и рубанок в его руках так и пели; возводил хаты, звонкие и веселые, за ним приезжали из окрестных сел, ибо добрую славу не нужно разносить, добрая слава сама идет меж людей... Так что дайте только на ноги стать, мы еще не одну хату построим, ого! Отец все бодрился и похвалялся, а болезнь не отступала, болезнь знай делала свое, и мама снова искала машину, чтобы отвезти его в госпиталь...

— Опять госпиталь, будь он не ладен, за войну не належался! — жаловался отец и вынужден был ложиться... Вынужден был и ногу отдать под нож, отхватили выше колена, после чего, конечно, о плотничестве нечего было и мечтать...

Однако отец не долго печалился, был он человеком веселого нрава и ожидал от жизни только хорошего.

— Хорошо, что хоть ногой отделался, — говорил, возвратившись домой. — Могло бы быть и хуже... А нога что, нога — не рука, проживем как-нибудь и без ноги, была бы голова на плечах!

И припрыгивал на костылях, привыкая жить без ноги.

— Как отпустит, начну сапожничать!

А пока что повадился ходить в кино. Вместе с сыном. Тайком от матери.

Только мать на работу, отцу уже не сидится.

— А что там, сын, сегодня в клубе?

— Да кино...

— Наше или заграничное?

— Наше.

— А про что именно, не слышал?

Если о войне, отца не могла удержать никакая сила. Договаривался с сыном встретиться после уроков возле школы, чтобы успеть на дневной сеанс. Несколько раз предупреждал:

— Не опоздай же, смотри!

И, выходя из школы, еще издали видел Андрейка отцовскую фигуру. Стоял, опершись на костыли, высматривал нетерпеливо.

— Где пропадал?— сердито спрашивал.

— Учительница не отпускала. Уже звонок, а она все говорит. Побежали, а то опоздаем...

— Я уже и билеты купил!— хвастался отец. Размахивая костылями, старался не отставать от сына.

— Посредине?

— А где же...

Тяжело и учащенно дыша, влетали в зал. Кино еще не начиналось, еще заходили зрители, в основном, ученики, садились рядом, и Андрейка, стыдливо на них поглядывая, тихонько просил отца:

— Ты, папа, хоть сегодня помолчи.

— Хватит тебе,— смущенно отвечал отец.

— Потому что, ей-богу, больше с тобой не пойду!— У Андрейки на глаза уже наворачивались слезы.

— Да говорю, что буду молчать!..

Начиналось кино. Оба жадно всматривались в экран. Андрейка вскоре забывал обо всем на свете, а под отцом начинал подозрительно поскрипывать стул, и сердитый шепот становился все громче.

И в самый напряженный момент, в самую драматическую минуту на весь зал звучал голос отца:

— Да куда вы?! Куда лезете?! Правее берите!!!

На отца сердито шикали, он замолкал на несколько минут, потом снова раздавался страдальческий голос:

— Да кто же так воет?! Да он же вас, как мышат, передушит!..

Кончалось всегда тем, что, когда снова включался свет и зрители начинали расходиться, Андрейка сидел как прибитый — ему казалось, что, выходя, все на них оглядываются.

Возвращались домой. Отец подпрыгивал рядом и чувствовал себя, наверное, очень неловко, потому что непрерывно ворчал:

— Вояки!.. Киношники!.. Не нюхали пороха, а туда же — ставят!.. Да если бы мы так воевали, так нас бы куры поклевали!..

Сердился на отца, Андрейка чаще всего отмалчивался, но иногда не выдерживал, вступал в спор. Говорил, что то было на войне, а это в кино, и они лучше знают, как его ставить. Отец словно только того и ждал, чтобы сын отозвался. Хватал его за плечо.

— Да ты посмотри!.. Посмотри вот сюда!..— Чертил костылем извилистую линию, продавливал ямки.— Вот их окопы, а вот пулемет. Так что, прямо на пулемет нужно лезть? Да он же выкосит всех!

— В кино же не выкосил!— возражал Андрейка.

— Так то ж в кино!— выкрикивал отец. И при этом так морщился, словно его мучили зубы.— Попробовали бы они на самом деле так повоевать!..

Сердился уже и на сына, не разговаривал по несколько часов, а привозили новый кинофильм, все начиналось сначала.

Но, чем бы ни заканчивались те походы в кино, всегда не забывал предупреждать:

— Ты ж матери ни гу-гу! Потому что нагорит и тебе, и мне!

— Что я, маленький!— обиженно отвечал Андрейка.

И мама до отцовской смерти так и не узнала об их общем увлечении.

Отец умер в апреле, в неполных сорок лет. Дотянул до весны; однажды Андрейка подслушал, как отец сказал матери:

— Хоть бы зимой не умереть. В мерзлой земле яму копать — людям лишняя морока...

И еще шутил:

— Когда будете хоронить, не забудь надеть валенок. Чтобы нога не мерзла в могиле.

Уцелевшая отцовская нога все время мерзла, даже среди лета, в самую большую жару, и он ее часто парил в кипятке.

Отец умер в пятьдесят втором, а перед этим почти год пролежал, неподвижный, в кровати. Хотели снова забрать в госпиталь, но мама, узнав от знакомого врача, что отца уже ничто не спасет, сказала, что пусть лучше дома лежит, хоть ухаживать будет кому. Поднималась чуть свет, потому что нужно было в семь уже быть на работе, варила на весь день, потом будила Андреюку:

— Вставай, сын, уже поздно! В школу опоздаешь.

Стояла, уже одетая, и, пока он вылезал из постели, наказывала:

— Завтракать будете кашу, вон в печи, да не забудь поставить отцу воду, когда пойдешь в школу.— Отца все время мучила жажда.— И на обед не опаздывай.

Отец уже лежал — ухоженный, умытый, — светил ясными глазами. Как-то, когда они вдвоем позавтракали и Андрей стал убирать посуду, попросил:

— Подожди... Посиди возле меня...

— Я же опоздаю в школу! — сказал Андреюка.

— Ничего... Разок опоздать можно... А ты посиди возле меня...

И что-то такое было в отцовском голосе, в измученном лице его, что Андреюка уже и не противился. Сел на кровать, на самый краешек, чтобы не потревожить немощное отцовское тело, приготовился слушать отца.

— Сядь ближе, — сказал отец.

Андреюка придвинулся, уперся в сухое отцовское колено.

— Вот так... Теперь возьми мою руку...

Отцовская рука была холодной как лед.

— Слушай, сын, сюда: я скоро умру...

Андреюка пошевелился, чтобы возразить (был в том возрасте, когда родители кажутся бессмертными), да что-то помешало, сковало ему язык. То ли отцовские глаза, как никогда серьезные, то ли непривычно торжественное выражение лица, будто отец побывал уже за той гранью, которую запрещено переходить живым и где начинается одна из самых больших, еще никем не разгаданных тайн.

— Мне не страшно, сын, умирать: пожил сколько мог, никому зла не причинил... Вас только жаль... Так что смотри, сын, слушайся маму, а вырастешь, береги ее и жалея. Такой матери не найдешь больше в мире... Слышишь, сын?

Андреюка кивнул, слезы душили его.

— Ну и хорошо... Иди... А то и на самом деле опоздаешь...

Вскоре после этого разговора отец и умер. Дождался воскресенья, попросил:

— Вынеси меня, Маня, во двор. Хоть на солнце посмотрю в последний раз.

Мама подняла его, завернутого в одеяло, вынесла из темной хаты под весеннее буйное солнце, не знавшее, на кого пролить излишек своего тепла. При дневном свете отцовское лицо стало землистым, прямо черным, в широко раскрытые глаза падали и гасли солнечные лучи. От этого глаза были будто две бездонные ямы. Казалось, всего света не хватит, чтобы хоть немного их наполнить.

Не выпуская отца из рук, мама села на завалинку. Укачивала, будто ребенка. Андреюке вдруг показалось, что мама вот-вот запоет колыбельную, ту самую «ой, люли, люли», которая звучала еще над его люлькой, и такой щемящей болью наполнилось сердце, такой неведомой болью, что, отбежав за угол хаты, он вцепился зубами в рукав, чтобы не заплакать в голос...

Когда отца хоронили, мама не причитала, не плакала; окаменевшее лицо ее вздрогнуло лишь тогда, когда отца опускали в яму. Позднее Андрейка однажды услышал, как ее за это осуждали женщины, называя бессердечной, и ему стало так обидно и больно, что он не выдержал и закричал на них с ненавистью:

— Моя мама не такая!.. Не такая!..

И захлебнулся в слезах...

«Никто из них не знал, как умела моя мама улыбаться!» — думает Андрей, глядя на фото.

Люба уже не стоит возле него, вышла во двор. Оттуда доносился ее звонкий голос. Пронесла его сквозь все годы неизменным, и ему иногда кажется, что зайдет она сейчас такая же стройная и юная, как двадцать лет назад. Напрасные надежды, время работает неутомимо, вон сам он уже стал каким дядей, двух почти взрослых детей вырастил...

«Никто не знает, какая улыбка была у моей мамы...»

Может быть, потому, что мама редко улыбалась, он и по сей день помнит ее улыбку.

Отчетливо видит ее суровое лицо, ее строго сжатые губы. Она никогда не кричала на него, не ругала, ни разу не ударила, хоть он и заслуживал. Одного слова ее, одного взгляда было достаточно, чтобы сразу же присмирел. Он не то что боялся матери — просто в голове его не укладывалось, как это можно ее не послушаться.

С работы возвращалась усталая.

После войны на их кирпичном заводе механизацией еще и не пахло, живых человеческих рук не хватало, особенно мужских — они были щедро разбросаны почти по всей Европе, по братским могилам, да и нашей земле досталось предостаточно, поля наши были густо засеяны теми солдатскими руками. Если бы они все взошли, лесом бы стали!.. Так что вся самая трудная работа досталась женским рукам; Андрейкина же мама не принадлежала к тем женщинам, которые искали легкой работы. Изю дня в день месила тяжелую, как чугун, глину, формуя кирпич. Разрушенные наши города, дотла сожженные села нуждались в кирпиче, завод работал в три смены, не имея ни минуты передышки, раскаленные печи день и ночь раскрывали свои ненасытные пасти, готовые проглотить и женщин, подносивших только что сформованный кирпич. Кирпича не хватало все равно, кирпича все было мало, на всех собраниях звучало одно и то же: как выдать завтра на десять тысяч больше, чем сегодня, а послезавтра еще больше...

Так что возвращалась мама с работы черная, часто ложилась спать, не поужинав, потому что и еда не лезла в рот, а отец, тогда еще живой, уговаривал ее бросить к дьяволу завод и поискать более легкую работу, иначе не долго и калекой стать. Она, может, и послушалась бы отца, но к тому времени ее уже поставили бригадиром, так что представить себе не могла, как это можно взять и уйти... Взять и переложить нелегкую свою ношу на других... Бригада была ей, пожалуй, как вторая семья, и, когда отец умер и они остались вдвоем, почти каждую субботу вечером вся бригада собиралась в их хате. Приносили, кто чем богат, выставляли на стол. Сидели в тесноте, все незамужние, все вдовы, выпивали по шкалику-другому, пьянели не пьянели, а не было конца женским разговорам, не было конца грустным песням. Почему не веселым, а грустным? Потому, наверное, что грустная бра-ла за сердце и делала душу чище.

Светлую печаль излучали глаза, болезненно изламывались брови, порою совсем еще молодые, а уже не тронет их рука мужская, не проведет ласково пальцами. Слаженные голоса наполняли комнату до от-

каза, и становилось в ней тесно, и не было чем дышать, и все стонало и жаловалось-плакало. Андрейка сидел, онемевший, и огрубевшие от ветра и жара лица казались ему несказанно прекрасными, а материнское было самым красивым, самым светлым и вдохновенным, и он всем своим существом тянулся к нему.

После каждого такого вечера мама становилась вроде бы даже сама на себя не похожей, какой-то задумчивой и тихой. Именно в такие минуты она чаще всего улыбалась ему.

От улыбки лицо ее не расцветало, как у других женщин, и губы не вздрагивали смехом; только шевельнутся уголки губ и разомкнутся густые, строго сведенные брови. Но столько при этом тепла, столько затаенной ласки выплескивалось из материнских просветленных глаз, что их хватило бы землю затопить. В такие минуты Андрейка чувствовал, что он сейчас для матери все на свете. Что она ради него пойдет на что угодно. От всего откажется.

Убеждался в этом не раз.

Был у них сосед, он до сих пор жив, хоть давно уж ходит на трех и трясет головой. А когда-то из-за него бились самые красивые женщины, пробовали, у которой самые крепкие волосы. Да и девушки укордакой посматривали на него, хотя он успел уже стать вдовцом и имел дочку и сына. Сын — сверстник Андрейки, они в одном классе учились, хотя никогда не дружили, Андрейка терпеть не мог задавак и хвастунов. Соседский же сынок мало того, что ходил в новых сапожках, он еще и подтрунивал над Андрейкиными старыми башмаками, обзывал его всякими словами.

У соседа и хата стояла — не ровня их жалкой хижине. Из кирпича, под цинковой крышей, на четыре комнаты, с большими окнами. И двор был обнесен забором из таких сороковок, что аж звенели. Сосед умел жить, не то что они, и на работе особенно не надрывался.

— Вы, Мария, напрасно так стараетесь, — не раз поучал Андрейкину мать. — Там, хоть разорвитесь, благодарность одна. Если сами о себе не подумаете, никто о вас не позаботится... Так уж мир устроен.

— Работаю как умею, — отвечала мама, и сосед тогда спрашивал:

— И много заработали?..

И сам же, укоризненно глядя, отвечал:

— То-то и оно-то...

Но и сосед тоже был человеком, и у соседа были сердце и глаза, увидел, наверное, что лучшей, чем Андрейкина мать, ему не найти. Увидел и стал потихоньку присватываться. То равнодушно проходил мимо их двора, бывало, едва головой кивнет, а теперь как воскресенье, так он и на порог.

— Драстуйте!.. Думаю, дай зайду по-соседски...

Брови черные, глаза блестят молодо, в чубе ни единого волоска седого. «Мужчина в соку!» — вздыхали незамужние женщины.

Сядет на единственный в их хате стул, считайте, до позднего вечера.

Мама сперва сердилась, чуть не гнала его, но сосед принадлежал к тому типу людей, которые уж если берутся за что-нибудь, то берутся всерьез. И через некоторое время стал замечать Андрейка, что у матери и глаза вспыхивают, и щеки пылают, как только сосед входит в хату. И уже незнакомая, какая-то мечтательная улыбка нет-нет да и появится на материнских строгих устах.

Он и сейчас не знает, чем бы это все закончилось, если бы не соседский сынок. Встретив как-то в школьном дворе Андрейку, он при всем честном народе сказал (презрительно сплюнув при этом сквозь зубы):

— Мы твою маму забираем к себе!

Андрейка спичкой вспыхнул.

— Кто тебе это сказал?

— Отец сказал.

— Твой отец обманщик! — закричал Андрейка. Так его сейчас ненавидел, убил бы на месте!

— А ты свою маму спроси.

Андрейка не побежал к матери — кинулся с кулаками на обидчика.

Бился молча и яростно. До крови, до слез. Катались в пыли, душили друг друга и царапались. Пока не нагрянул учитель, он их разнял и повел обоих к директору.

Мама долго не могла выяснить, из-за чего они завелись. Пока сам Андрейка, не выдержав, не закричал на нее сердито:

— Иди к ним!.. Иди!.. Проживу и без тебя!..

И разрыдался горько и безутешно...

В тот вечер они долго сидели обнявшись. В хате медленно сгушалась темнота, было особенно уютно, они тихонько разговаривали об отце, о том, как хорошо жилось втроем и что мама никуда от него не уйдет, что вот так вдвоем и будут жить.

И, когда сосед затопал у порога и постучал в дверь, Андрейка весь внутренне сжался, а мама, разжав объятия, легонько толкнула его в спину.

— Скажи, что меня нет дома.

Еще ни одного маминого приказа он не исполнял так охотно.

— Мамы нет дома! — крикнул через закрытую дверь.

— А где же она?

— Не знаю.

— Так я позже зайду.

— И позже не будет!

— Уехала куда или что? — удивился сосед.

— Никуда не уехала! — закричал еще сильнее Андрейка. — Только для вас ее дома никогда не будет! — И уже от себя добавил: — Ищите себе жену в другом месте, а к нам дорогу забудьте!

И, гордый, повернулся к матери.

— Вижу, что с тобой, сынок, не пропадешь, — грустно улыбнулась мама. Так улыбнулась, что Андрейке стало как-то даже нехорошо.

Сосед, конечно, не поверил Андрейке, приходил еще несколько раз. Пока мама что-то такое сказала ему, что он стал обходить их двор десятой дорогой...

Вот так вдвоем и жили, Андрейка и мама. Трудно частенько бывало. Голодно и холодно. Мама никогда не жаловалась, Андрейка и подавно. Тем более что в Андрейкиной миске каким-то образом и борщ всегда был гуще, и суп наваристее. Хотя он всегда ревниво следил за тем, чтобы мама наливала поровну.

Впрочем, понемногу-понемногу и они выбились в люди. У Андрейки появились и сапожки, и шапка новая, и пальтишко магазинное. Не все, конечно, сразу, маминой зарплаты едва хватало купить что-нибудь одно, да и то не одним махом, зато каждая покупка — настоящий праздник в их хате.

Мама продолжала ходить на работу, Андрейка — в школу. Нелзя сказать, чтоб уж больно хотелось учиться, случались и двойки, а в основном, тройки, но мама не очень из-за этого переживала, мама говорила, что не всем же быть отличниками и получать высшее образование, главное, чтобы человеком рос и имел всегда совесть. И Андрейка, с горем пополам закончив седьмой класс, солидным голосом, явно подражая матери, сказал:

— Хватит протирать штаны и хлеб даром жевать! Пойду на курсы шоферов.

— Тебе, сын, виднее, — ответила, как взрослому, мама. Понимала, видимо, что, уговаривай не уговаривай, сын сделает по-своему.

Вот тут, на курсах, и показал Андрей, на что он способен. До поздней ночи просиживал над конспектами и в классе дольше всех задерживался, копаясь в моторах и трансмиссиях.

— Я, мам, должен машину как свои пять пальцев знать!

Водил потом грузовую машину на том же кирпичном заводе без единой аварии. Пока не призвали в армию.

А перед тем надумал жениться, боялся, что Люба не дожидется, выскочит замуж за другого. Люба и теперь идет, как будто дорога перед ней коврами устлана, а тогда, в неполных восемнадцать, и совсем была королевой, не один глаза пялил.

Мама и тут не отговаривала. Только спросила, где жить собираются.

— Пока что здесь,— ответил Андрей беззаботно.— А возвращусь из армии, новую хату построим. Такой дворец, мама, поставим, что и в Киеве не найдете!— У Андрея тогда крылья шевелились за плечами и назывались те крылья Любашей.

— Ну, что ж, тебе, сын, виднее. Мне лишь бы вы счастливы были!

Прожил Андрей два месяца с молодой женой — в каком-то угаре пролетели. Андрей и Любаша в комнатке, а мама, чтобы не мешать молодоженам, в сенях, хорошо, что хоть сени большие, да и лето еще стояло на улице. Отгородилась ширмой, вот и свой уголок.

Поднималась, как и раньше, чуть свет. На всю жизнь осталось воспоминание у Андрея: сон сладкий, юное рядом тело жены, а в печке дрова потрескивают. Разомкнет на миг веки — по стенам горячие вспышки и темная материнская фигура. И таким уютом повеет на Андрея, что он аж потянется сладко...

Провожали в армию. Люба утопала в слезах, из материнских глаз — ни росинки. Посмотреть со стороны, чужой человек. Один Андрей знал, что мать всю ночь век не сомкнула — пекла и варила, гладила и собирала большой «сидор». Развяжет потом «сидор» в казарме и про себя удивится, столько мама умудрилась упаковать в него. Каждая вещь в бумагу заботливо завернута. И белье, и рукавицы, и носки зимние, ею же вывязанные; когда еще будет тот призыв в армию, а мама, вишь, загодя готовилась к нему.

Ушел Андрей в армию, оставил маме, чтобы не скучала, молоденькую жену беременной. О том, что Люба забеременела, узнал уже из ее письма и в тот же вечер настроил матери аж на трех листах бумаги одно и то же: вы там, мама, присмотрите за Любой! Не давайте ей поднимать ничего тяжелого. Долго не было ответа, наконец получил. Мама, как всегда, скупко сообщала, что у них все хорошо, что на кирпичном ввели новую печь (нужен ему был тот кирпичный завод!), и лишь в конце прибавила: «О Любе не беспокойся, как-нибудь справимся». И все. И будь здоров...

О тяжелых Любиных родах узнал, когда приехал в отпуск. После года службы в армии. Бравым сержантом, в новехонькой форме. Люба как приклеилась, не оторвать! А рядом мама с куклой в белом свертке. У Андрея сердце так и екнуло — сын!

Припав к мужу, Люба ночью рассказывала шепотом, как она тяжело рожала, что, если бы не его мама, она вряд ли осталась бы живой. Всех мама на ноги подняла, профессора привезли из Киева, от родильного дома днем и ночью не отходила, все врачи в один голос говорили, что такой свекрови им еще не приходилось видеть, не нужно и родной матери, и она, Люба, вернувшись домой, целовала ей руки и плакала...

Новости... Новости... До поздней ночи пересказывала их Люба между объятиями и поцелуями.

Да самую главную приберегла под конец, когда они уже засыпали, изнуренные любовной игрой: мама, не ожидая возвращения Андрея из армии, принялась за новый дом. Уже отгородила забором подворье и вишенки посадила, и яблоньки, и кирпичей навезла полный двор, и заложила фундамент.

— День и ночь пропадает, не знаю, когда она только спит... Да

она сама тебя завтра поведет показывать... Только не признавайся, что я тебе сказала, просила молчать...

— Зачем же тогда рассказала? — обиделся Андрей за мать. Не то чтобы обиделся, как-то досадно стало.

— А кому же рассказать, как не тебе? — льнула к мужу Любаша.

«И в самом деле, кому?» — подумал Андрей. И обнял, и поцеловал в теплые податливые губы...

Утром, уже после завтрака, мама с торжественно-загадочным видом на лице сказала:

— Пошли, сын, я тебе кое-что покажу.

Повела за выселок, на взгорье, где они и сейчас живут. А тогда улица только намечалась — новыми заборами, непокрытыми коробками домов, глубокими, под фундаменты, ямами. Пошла к забору — доска к доске, даже покрашен. «Сами красили?» — «А кто же!» Открыла на калитке новенький замок.

— Вот тут, сын, и будем жить!

И деревца молоденькие, казалось, бегут навстречу: а кто это к нам пожаловал?

Двор сбегал книзу, деревья, даже когда вырастут, не будут заслонять пейзаж, видно отсюда далеко-далеко, чуть ли не до Киева, дом заложен не менее чем на четыре комнаты.

— Три комнаты и кухня, — поправила мама. И спросила ревниво: — Ну, как?

Андрей не мог скрыть восторга, он действительно о **лучшем** и мечтать не мог.

— Только зачем же вам, мама, так надрываться, ну, **что сделали**, о том уже нечего говорить, а теперь подождите, пока я **возвращусь** из армии... достаточно с вас и этого, и за это не знаю как **благодарить**...

— А для чего же я, сын, живу? — спросила с удивлением мама. — Ты лучше скажи, где сарай ставить, тут или вон там?

— Ставьте, мама, где вам виднее, только я снова говорю: подождите, пока я **возвращусь** домой, не надрывайтесь сами-то.

— А я, сын, и не очень надрываюсь, мне завод помогает. Вот **и** кирпич, видишь, завезли, и столяркой обещают помочь. Только с железом будет трудновато, железо не так легко достать, но, думаю, как-нибудь справимся...

В материнских глазах уже светился новый дом, и не было на свете силы, которая могла бы ее остановить.

Уехал Андрей заканчивать службу, а вслед ему полетели письма. Больше от Любы. Писала, что мама за этим домом и света не видит, хочет закончить до возвращения сына. Андрей просил Любу, чтобы хоть она придерживала маму, да знал наперед, что ничего из этого не выйдет. Мама уж если что возьмет себе в голову — ни упротить, ни уговорить. Так и на этот раз. Возвратился из армии, а дом уже стоит готовый: кирпичный, на три — хоть на коне гарцуй! — комнаты.

— Давно закончили?

— Три месяца назад.

— Почему же не переходите?

— Ждали, пока ты придешь из армии. Ты ведь для нее — весь свет в окне!

И впервые уловил Андрей неприязненные нотки в Любашином голосе.

Лежал рядом с женой, жалостливо думая о матери, так она за этот год сдала.

— Что с тобой?

— Со мной, сын, ничего!

А под глазами черные тени, и, когда идет, нет-нет да и за поясницу рукой хватается.

— Эта затея с домом ей боком вылезет! — сказала Люба с упреком. Андрею даже неприятно стало. «Не иначе, черная кошка между ними пробежала!» И еще, помнит, подумал: «Ну, да чего в жизни не бывает. Поссорились — помирятся!» Не хотелось в то время думать о плохом...

— Папа, сделай мне свистульку!

Самый маленький, любимчик. Те двое уже в старшие классы ходили, когда Люба снова забеременела. Хотели избавиться, мама отговорила: «Может, ждет вас самая большая радость!» Всю жизнь жалела, что он у нее один. «Растешь ты у меня, как сирота, ни сестер, ни братьев. Умру, не с кем даже погоревать будет».

— Сделай, па!..

Нужно сделать, если сын так просит. «Балуешь ты его!» — упрекала Любаша. А когда и побаловать, если не в детстве? Вырастет, не раз отца вспомнит.

Спускаются вдвоем к речке, не спеша выбирают лозину.

— Вот эту, папа?.. Эту?..

Сын забегает вперед, боится, что отец вырежет не такую, как нужно. Наконец лозина срезана, и сын торжественно несет ее впереди себя.

Заходят в сад, садятся под грушей, посаженной мамой. Листья на груше еще держатся крепко, они только побронзовели, покрылись по краям красной каемкой. Им обоим тут уютно и хорошо, осеннее солнце пригревает по-летнему.

— Помнишь бабулю? — спрашивает сына Андрей.

— Угу...

Сын не сводит глаз с лозины, с отцовских умелых рук, умеющих все на свете.

— Как мы ее вдвоем с тобой проводывали...

— Угу...

— И как она нас всегда дождалась...

Ему хочется, чтобы сын тоже все вспомнил, потосковал по бабушке.

— Хочешь пойти к бабуле на кладбище?.. Вдвоем...

— Хочу, — небрежно ответил сын. И, увидев, что отец положил на скамейку нож, быстро добавил: — Только ты сперва свистульку сделай!

— Свистулька!.. Эх ты!.. Свистулька!

Снова взял нож, стал надрезать лозину. Но, как ни старался, кора не снималась, а трескалась. Андрей отрезал испорченные куски, с досадой выбросил их, принялся за новую.

— Ой, снова треснула! — сказал, чуть не плача, сын...

Вернувшись из армии, Андрей не пошел на кирпичный завод. Хоть директор и передавал, что примут с распростертыми объятиями, даже пообещал новый «КрАЗ» и двести пятьдесят ежемесячно чистыми.

И, как ни искушали его, как ни советовала мама и ни уговаривала жена, Андрей настоял на своем: только такси!

Последний год службы в армии возил командира дивизии. Новехонькая «Волга», внутри все в коврах, мотор — точно игрушка, не слышно, как работает; а газанешь — о-го-го! — сто сорок километров, если по тревоге в штаб; печь — в самые лютые морозы не холодно, радиоприемник — какие угодно мелодии. Разбаловавшись на «Волге», Андрей и слушать не хотел о грузовой машине, тем более о «КрАЗе». Там одно колесо заменить — пуп надорвешь! Не захочешь и двухсот пятидесяти!

Пошел в таксопарк. Старшина, второй класс — оформили без лишних разговоров.

И стал Андрей крутить баранку, гоняя по улицам и площадям Киева. Смену отъездил, сходил под душ, усталость смыл и в электричку, домой. На двое суток. Работа не пыльная, и деньги веселые.

Хотя это только на первый взгляд кажется, что у таксиста работа легкая. Таксист, как тот военный летчик — в любую погоду давай вылетай! Дождь, снег, лед, машину на каждом повороте заносит, аварии, пробки, нетерпеливые сигналы — «Куда лезешь, мать-перемать!» — а ты, как иголка в сене, и каждый раз на миллиметр от катастрофы: «Фу, кажется, проскочил!» — да не сам, а с пассажирами, которые не только груз тебе доверили, но и собственную жизнь. И при этом: «Водитель, голубчик, нельзя ли побыстрее, опаздываем!..» Не будешь говорить каждому, что на тот свет торопиться нечего, на тот свет всегда успеем... Кепку на лоб, ногу на газ: эх, давай выручай!..

Да еще пассажиры. Хорошо, если попадется человек, с таким и поговорить в дороге, душу отвести, иногда расставаться жаль, а если сядет какое-нибудь мурло, все жилы вымотает из тебя! Готов ему еще доплатить, только бы вылез поскорее! И ведь не остановишь, не скажешь: «Вылезайте, потому что я больше с вами не могу!» Посадил — вези!..

Под конец так намотаешься, вылезешь из машины, шатаясь...

Недаром же говорят, что у каждого таксиста по десятку микроинфарктов ежедневно...

Поэтому хорошо, когда хоть дома спокойствие и мир, за сорок восемь часов можно как следует отдохнуть. А если и дома ад, грызня между женой и матерью? Когда ты между ними, как щепка, горишь? Не знаешь, на какую ногу ступить. Или если дети неудачные. Сын, который учиться не хочет, потому что связался с хулиганами. Или дочь, которая в четырнадцать лет невеститься начала. Какой тогда отдых, ждешь не дождешься конца тем проклятым часам. Выскочишь из дома — век не возвращался бы в него!

И за рулем с самого утра руки трясутся.

Такие чаще всего и попадают в аварии...

С детьми у Андрея было все в порядке, дети росли не хуже, чем у других: и в школу ходили, и не болели почти никогда. Старший сын весь в отца — при одном виде машины дрожит. Не иначе, будет шофером. Вера же, дочка, все взяла от бабушки. Этой не нужно под-сказывать, что к чему. За что ни возьмется, все так и горит.

Так что за детей Андрей был спокоен.

А вот с матерью и женой...

Люба дома сидит, и мама на пенсии. Люба и дня не работала после того, как родила первенца, дома работы хватало. Мама же на пенсию тоже вышла рано, по инвалидности — дал себя все-таки знать тот сырой кирпич, который столько лет впереди себя в формах к печам таскала. «Перетаскала — на пол-Крещатика хватило бы!» Да и дом кое-что прибавил. Вот и сдало сердце, стала задыхаться. За грудь то и дело хватается, лицо синеет. Потому и дали матери вторую группу в неполные пятьдесят. И пенсию. Когда почтальон впервые принес деньги, Андрей сказал:

— Вы бы, мама, себе оставили. Клали бы на книжку, что ли.

— Мне же, сын, их не солить. Да и на что они, деньги, если их не тратить?

Любе отдала до копеечки, и последующие все тоже ей. Разве что в магазине выберет подарок внукам.

Купила как-то и Андрею шапку, специально в Киев ездила.

— Ходишь в такой, что смотреть стыдно!

Андрей поблагодарил маму (шапка действительно нужна была), а Люба обиделась.

— Что я, сама тебе купить не могла? Это мама нарочно, чтобы показать, что я о тебе не забочусь!

И в слезы (Любе заплакать, что высморкаться).

— Ты что, сдурела?— удивился Андрей.

— Как же с вами не сдуреть?! Давно уже дурной сделали!..

Андрей шапку с головы (зашел похвастаться жене) и об пол.

— Да пропади она пропадом, если ты уже материнским подарком в глаза колешь!

— Вот так, бросай и меня!.. — совсем залилась Любаша. — Жена тебе уже не нужна!..

Во двор выскочил, никак сигарету из пачки достать не мог. «Ну, люди, ну, звери!»

Но между ним и Любой что: день поссорит — ночь помирит. Люба никогда долго зла не носила, и Андрей, как спичка: вспыхнет и тут же погаснет... А вот с матерью...

Мама молчала, никогда сыну на невестку не жаловалась. Носила в себе, пока перегорит. Зато Люба мужу рассказывала обо всем. И иногда нарастало у Андрея раздражение против матери: ну что ей нужно?! Накормлена, одета, живет в тепле и достатке, сидела бы в своей комнате и благодарила судьбу, что невестка приготовит и подаст, приберет и помоем... Телевизор купил: пожалуйста, смотрите сколько захотите. Так и к телевизору уже ни ногой — после того, как Люба сказала, что детям мешает уроки учить. Мать чуть глуховатой стала, как включит, стены дрожат, Люба, естественно, не выдержала. И после этого, когда собирались всей семьей у телевизора («Клуб кинопутешествий» или «Вокруг смеха»), мама не появлялась.

Несколько раз Андрей не выдерживал, звал:

— Мама, идите же, интересное показывают!

— Благодарю, сын, мне и здесь весело.

Сидит в сумерках, смотрит в темное окно. Что в нем видит, и сама, наверное, не ведает.

Пожмет плечами Андрей.

— Ну, как знаете...

Однажды решил поговорить с мамой — Люба все чаще плакалась, что мама ее ненавидит.

— Я с ней уже боюсь оставаться наедине. Как посмотрит — и ножа не нужно!..

Собрался с духом, зашел. Мама как раз что-то перебирала в ящике. Перебирает и сама себе что-то шепчет.

— Что вы тут, мама?

Посмотрела на него, смягчилось лицо. Глаза родные, с колыбели знакомые, так к нему и сверкнули.

— Вот, сын, работу себе нашла. Старому человеку что бы ни делать, лишь бы не сидеть без работы.

— А как ваше здоровье? — На руках жилы набрякли, синие, прямо черные, а лицо желтой кожей светит. Жалость в сердце кольнула. — Может быть, врача вызвать? Пусть бы посмотрел и какие-нибудь лекарства прописал от болезни.

— От моей болезни, сын, лекарства нет. Скриплю потихоньку, и на том спасибо... Ты лучше скажи, как там у тебя?

— У меня что ж... Работаю потихоньку... Жаловаться не на что... Если бы еще дома было все хорошо... — Тут бы ему остановиться. Тут бы ему и сдать чуть назад — рубашка, которую мама держала в руках, как бы окаменела сразу. Но Андрея будто нечистый в спину толкнул. — Если бы не ваши ссоры с Любой... Они у меня вот где сидят!..

— Нажаловалась?

— Не жаловалась, просто рассказала. Да и я же не слепой...

Мать остро посмотрела на него, лицо сразу замкнулось. Сидела и молчала отчужденно, что бы он ей ни говорил.

Вот и поговорили, будь оно неладно!

А на следующий день, только переступил порог, Люба испуганно:
— Мама из дому ушла!
— Как ушла? — похолодел Андрей.
— Подкатила повозочку, сложила свои вещи и убралась.
— Куда?! — закричал.
— А я знаю?.. И почему ты на меня кричишь, я твою маму не выгоняла из дома!..

Повернулся Андрей и со двора. Еще было светло, след от колес вывел его на улицу (не прямо вел — то сюда, то туда сворачивал), повернул налево, в выселок. «На старое подворье поехала!» — догадался Андрей.

Пока добежал, стало смеркаться. На фоне еще светлого заката из черной трубы печально струился дым. В единственном окошечке подслеповато брезжил свет — электричества так и не смогли про-вести, не до того было, а перебрались в новый дом, так и недавно.

И впервые пожалел Андрей, что не разрушил халупу. А ведь соби-рался. В груди у него так и кипело.

Зайдя во двор, увидел уже пустую повозочку. Пригнулся, чтобы головой не стукнуться, зашел, сердитый, в хату.

Нежилой дух, настоянный на плесени, так и ударил в лицо, хотя в печи горело и первое тепло уже разливалось по хате. Мама хлопота-ла около старой кровати, готовила себе постель.

— Ну, как вам, мама, не стыдно! — закричал с порога Андрей.— Сейчас же собирайтесь!..

Мама словно не слышала, продолжала возиться с постелью.

— Что обо мне люди подумают?

— Вот и постелила,— спокойно сказала мама.— Видишь, как хо-рошо, сын, что мы ее тогда не выбросили. Будет где спать.

Пошла к печке, где что-то булькало в горшочке.

— Прямо с работы?

— А откуда же! — все еще сердито ответил Андрей.

— Тогда вместе пообедаем.— И ни гнева, ни обиды в голосе. Будто все время здесь и жила и сын просто в гости пришел.— Режь, сын, хлеб.

Андрей — что должен был делать? — нарезал хлеб, сел к столу. Мама поставила две тарелки (по две ложки, чашки, вилки — всего захватила по паре), два блюдца с маслом и колбасой (успела, вишь, и в магазин сходить!), высыпала в миску горячую картошку.

— Огурцы забыла купить... Ну да как-нибудь на этот раз обой-демся... Вон, сын, соль...

Андрей сел напротив матери, с голода картошка казалась как никогда вкусной. И чем дольше ел, тем больше охватывало его уди-вительное чувство, будто он тоже никуда не уходил из низенькой этой хатки, просто возвратился домой с работы. В печке горел слав-ный огонь, материнское задумчивое лицо тоже было умиротворен-ным и добрым, какой-то большой мудростью веяло от каждой ее морщинки. «А может, ей и на самом деле здесь будет лучше? — подумал внезапно Андрей.— И ссоры сами по себе улягутся». А мама, словно прочитав эти его мысли, когда уже попили чай и Андрей не знал, что дальше делать, сама стала выпроваживать его домой.

— Иди, сынок, потому что там Люба переживает, ждет. А в воскресенье, если у тебя будет время, приходи. И Сашку приведи...

— А может, вместе пойдем? — сделал слабую попытку Андрей.

— Нет, иди уж сам... Поживите, побудьте без меня, может, я и в самом деле что-то не так делаю. Старому человеку тяжело свои при-вычки ломать... Иди, сын, иди, поздно уже...

— Хорошо, я вас заберу попозже,— поднялся Андрей.— Поживи-те до воскресенья, а там заберем...

Мама кивнула головой, но Андрей чувствовал, что она уже не вернется. И это чувство угнетало его.

В тот день ему как никогда везло на пассажиров: не успевал высаживать одного, как поднимал руку другой. Весело выстукивал счетчик, набивая копейки и рубли, наматывались на колеса километры. Дарница, центр, Виноградарь, Воскресенский массив. Дальние концы — длинные рубли, каждый день бы вот так ездить, горя не зная, к тому же еще и пассажиры попадались веселые, словно сговорились. И ни единой пробки, ни одного милицейского свистка вдогонку. Голубой сон, а не езда! Бывают же такие дни, почаше бы!

Под конец еще одна пассажирка. Бабуля — божий одуванчик. Размахивала рукой так, что даже слепой не проехал бы мимо.

— Бабуля, куда вам?

— К сыну, голубчик!

Вот так! К сыну — другого адреса и не нужно. Андрей, совсем повеселев, вылез из машины, помог положить в багажник тяжеловатую сумку.

— Как вы ее несли?

— А мне сын поднес. А сам на работу...

— От сына к сыну?

— Ага... Погостила у одного, теперь к другому еду. Нельзя, обидятся...

Сели, поехали. Ведет Андрей машину и все на пассажирку поглядывает. Бывают же на свете такие бабули! Чуть ли не светится! И все на ней чистенькое и аккуратное, словно только что с прилавка.

— Сыновья женатые?

— Женатые оба. И детками бог не обидел. Внуков у меня, как маку! — радостно засмеялась.

— А с невестками как, миритесь?

— А почему я должна с ними ссориться? — удивилась бабуля. — Они меня ждут не дождутся. Внуки же, говорю...

И тут Андрей подумал о своей матери. И о том, как ходил позавчера на кладбище...

Андрей сперва проводывал ее почти каждый день, потом реже и реже — то работа, а то и дома хлопот по горло. Да и Люба ревниво говорила: «Ты как в церковь... Скоро совсем дорогу домой забудешь!» Правда, и сама не раз ходила к свекрови. Испечет пирожки и тут же отложит несколько. «Вот эти маме отнести». Люба давно помирилась с мамой, хотя и говорила Андрею, когда он робко заикался, что надо бы забрать маму домой: «Не трогай ее, пусть поживет до морозов, если ей там нравится. Придет зима, тогда и заберем...» Андрею тоже казалось, что матери больше нравится жить одной (сама себе хозяйка, тихо, мирно, никаких ссор, чего еще нужно? А коль соскучится, так и наведаться можно, не за тридевять же земель!)... Андрей уже сам говорил матери, что, дескать, ладно, так тому и быть, поживите до первых холодов, а тогда мы вас заберем... Мама и не возражала, головой даже кивала, вроде бы соглашась, а однажды пришел Андрей — полные сени дров. Напилены, нарублены, под самый потолок аккуратно выложены.

— Это что такое?

— А это, сын, чтобы зимой за дровами во двор не выходить. Силы-то уже не те... Да и здоровья нет.

— Да что это вы себе надумали?! На зиму к нам перейдете!

— Да просто хорошие люди попались! — В последнее время у мамы появилась привычка не спорить с сыном, как будто она и не слышит его. — Мало того, что привезли, так еще и распилили, занесли и сложили...

Так и осталась мама на зиму. Почти не выходила на улицу. Придет Андрей — снега во дворе по колено, если бы не дым из трубы, можно подумать, что тут никто не живет. Возьмет лопату, дорожки

расчистит, сбегает в магазин за сахаром и солью. Мама ела, как мышка, неизвестно чем и жила, высохла за зиму — одни кости да кожа. Как-то не выдержала, пожаловалась, что очень сердце болит. Как прихватит ночью, спасу нет. Андрей привел врача, тот понавывписывал лекарств, а на вопрос Андрея, что с ней, только руками развел.

— Годы, молодой человек, годы... Доживем и мы...

Предлагал положить в больницу, мама наотрез отказалась:

— Тут и стены разговаривают со мной. А в больнице кому я нужна?

Каждое воскресенье, когда он проводывал маму, она дожидалась его, наверное, с самого утра. Зайдет Андрей во двор, а в окне материнское лицо темнеет. Как будто с иконы.

А захватит с собой детей, уж вовсе маме праздник. Хлопочет, не знает, где их посадить.

Миновала зима, весеннее солнце пригрело, стала мама выходить во двор. Вскопала за хатой кусок земли, посеяла укроп и петрушку, посадила чеснок и лук. Собиралась и хату белить, уже известь и мел достала, да так и не смогла. В начале лета слегла и уже почти не поднималась.

И Андрей, и Люба теперь забегали почти ежедневно, а маме становилось все хуже и хуже, и доктор, когда его позвали еще раз, сказал, что долго не протянет. Ну, неделю, ну, месяц от силы... Только не знал он маму Андрея — прошел один месяц, и второй заканчивался, а мама все боролась с болезнью, и не за горами был уже третий, когда они всей семьей собрались ехать к морю.

Андрей как раз купил «Запорожец». Не один год на машину собирали, давно с Любой вымечтали эту поездку к морю; на столе, за которым дети готовили уроки, лежала карта, они уже на память знали все пункты будущего маршрута: «Вот здесь будем обедать», «Тут заночуем», «А здесь будем ловить рыбу». Весь месяц на колесах, не прикованные ни к одному месту. Не понравилось, поехали дальше, весь берег Черного моря можно объездить за месяц, от Одессы до Кобулет... Одно название чего стоит — Кобулет! Вот только что делать с мамой, не бросать же одну на произвол судьбы... Люба предложила договориться с какой-нибудь женщиной, заплатить ей, и Андрей в конце концов согласился.

Уезжать должны были в субботу рано утром, чтобы не терять лишнего дня, и Андрей в пятницу вечером забежал попрощаться с матерью.

— Ну, как вы тут, мама?

— Ничего, сын.— Матери всегда было «ничего», всегда отвечала, что сегодня, дескать, лучше, как бы ни болело. Но Андрей особенно не допытывался.

— Может быть, мне все-таки остаться? — спросил и сам не поверил в сказанное.

— Поезжай, сынок, и не думай,— забеспокоилась мама. Голову подняла (на подушке вылежалая ямка, казалось, как ни взбивай, все равно останется), оголилась худющая, тонкая шея, острые, чуть не синие ключицы.— Я тут как у бога за пазухой. И наварят, и подадут — чего еще надо!

— Мы вам, мама, будем писать... А в случае чего телеграмму... Я вот записку оставляю, где будем останавливаться... В случае чего сразу же примчусь...— Андрей посмотрел в глаза матери, и ему показалось, что она не верит ни одному его слову. Смотрит внимательно, как не смотрела, казалось, никогда.— Так я, мама, пойду...

— Иди, сын...

Поднялся. Уходил как стреноженный. И, когда открывал уже дверь, в спину ударил вдруг болезненный голос матери:

— Сынок!

— Что, мама? — так и бросился к ней.

— Ничего... Это я так... Иди, пусть вам бог помогает!..

Он вышел во двор, и только тут до него дошло, что мама вспомнила бога. Впервые в жизни...

И в течение всей тревожной ночи (боялся проспать) между обрывками сна обжигающие глаза матери...

А когда уже сели в машину, переполненную, словно Ноев ковчег, ему так захотелось еще раз навестить маму (казалось, зовет не дозвется), что он не выдержал, попросил жену:

— Давай заедем, Люба?

— К кому?

— К матери.

— Ты же вчера был,— недовольно отозвалась Люба.— И мы все ее проводывали... Чего же еще нужно?

Он насупился, включил первую скорость. И почти весь день, пока не остановились на ночь, сердился на жену...

Мама умерла в середине августа, так и не дождавшись сына из отпуска. Когда ей стало хуже, женщина, присматривавшая за ней, хотела дать телеграмму, но мама запретила: пусть отдыхают, зачем их тревожить. Только когда уже умирала и была без сознания, то все звала сына...

Чужие люди положили ее в гроб, чужие люди проводили на кладбище. Может, потому и не похоронили ее рядом с отцом, как того хотела мама, а на другом участке. И когда Андрей возвратился... Когда Андрей прибежал на кладбище и, задышавшись, остановился, глотая жгучие слезы, он увидел маленький холмик земли — все, что осталось от матери.

Холмик этот оседал, размывался дождями. Андрей не раз подправлял его, обкладывая дерном. Сделал тумбу, выкрасил в красное, приладил фото под стеклышком. Поставил ограду и скамейку, чтобы было где сидеть. Надумал и памятник поставить, даже съездил в мастерскую. осталось только деньги отвезти — заплатить наперед, потому что иначе не принимали заказы... Были и деньги, как раз хватило бы, но тут подвернулся металлический гараж. Андрей даже в мыслях не мог допустить, чтобы новенький его «Запорожец» хлестали дожди, заметали снега. Поэтому пришлось купить гараж, а памятник матери отложить на потом.

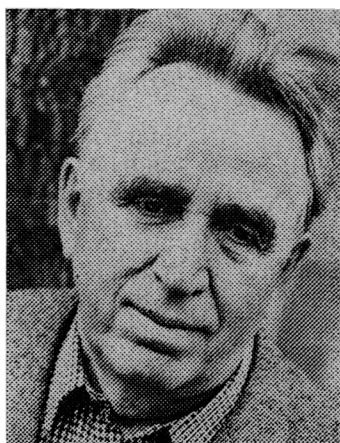
Памятник так и не удалось заказать. Заработанные деньги текли, как вода, если не в одну дырку, так в другую, и Андрей никак не мог набирать нужную сумму.

Но теперь он поставит матери памятник.

Обязательно поставит!



ВИКТОР БОКОВ



Даль прекрасна, и манит дорога!

С опоры на опору

С опоры на опору
Передается ток.
Шагают мачты в гору
На запад, на восток.

На север, где Архангельск,
На юг, где Таганрог.
Повсюду эпохально
Гудит электроток.

Нам по сердцу гуденье
Со звоном проводов.
Сойди, стихотворенье,
В былую тьму годов.

Там нищая Россия,
Там, что ни дом — беда,

Там горе голосило,
Кругом была нужда.

Там хаты и халупы,
Лучина, керосин,
Дербень, дербень, Калуга,
Нужду терпеть нет сил...

Заволновалось море,
Поднялся шторм и штурм,
И даже те, кто в поле,
Не в стороне, а тут!

Запрягаем реки,
Седлаем АТОММАШ.
И это все навеки,
И в том порядок наш!



Преклоним колени пред серым гранитом,
Положим на камень цветок полевой.
У матери в сердце надежда хранится
И вера, что сын возвратится домой.

А сын ее встал у дороги в оградке,
Глядит и глядит на родное крыльцо.
Упали волос непокорные прядки,
Украшив его молодое лицо.

Не в этом ли поле в бою рукопашном,
Поднявшись, пошел он полынью сухой,
И крикнул: «Не дам надругаться над пашней,
Которую предки пахали сохой!»

Упал он в бою и прижался к земельке,
Закрыв свои очи, навеки застыл.
Его схоронили в походной шинельке
Под клятву солдатскую: «Мы отомстим!»

Преклоним колени и тихо поплачем,
Поправим цветы, отойдем, помолчим.
И жизни бессмертной свиданье назначим,
С ней договор дружбы навек заключим!



В Домодедове жил Дедал,
Так прозвали знакомого деда.
Он сырую сорожку едал,
Деду нравилось слово — Победа.

Потому что его сыновья
Все вернулись
и сели за трактор.

Три разбойника-соловья,
Три кровинки, какая отрада!

Дед Победой назвал коня,
Чистил, холил его до обеда.
А когда он увидел меня,
То воскликнул:

«А «Виктор» — победа!»



Один от другого зависим,
Один без другого немислим,
Трава на лугах коллективна,
И это ей не противно.

А мы — человеки и люди.
Хлеб сбоку, закуска на блюде,
Налей-ка скорее, браток,
Давай-ка за общий итог!

К теории стиха

Вяжу слова, вяжу снопы,
Суслоны ставлю у дороги.
Все выражение стопы
Заключено в последнем слоге.

Тут рифма, звуковой сигнал,
Который требует огранки.
Я эту спутницу нагнал
На одиноком полустанке...



Догматики, схоласты, лжепророки,
На ваших ветках черствые плоды.
Вам ни к чему житейские уроки,
Не оживит ваш ум глоток воды.

А я напьюсь водички родниковой,
Окликну полевую эту даль
И буду обновлять словарь толковый,
Мне это поручил товарищ Даль!



На балкон садится белый снег,
Чист воротничок его крахмаленый,
Он звучит изящно, как Рахманинов,
Мы с ним дружим вот уж сколько лет.

Сто синиц на яблоне снуют,
Я для них давно открыл столовую.
У меня они не избалованы,
Что я им ни вынесу — клюют!

Ах, зима, твой заячий кожан
Землю греет, бережет озимые,
И твои снега неотразимые
Белою поземкою ползут.

Из страны медведей и моржей
Север шлет свои приветы дальние,
И мои стихи исповедальные
Чутко ловят музыку полей.



Вы не женщина — вы костер.
Вы идете со временем в ногу.
С вами хочется на простор,
На проселочную дорогу.

Хлеба черного захватить
Да картошки сырой в узелочек.
Родниковой водички попить,
Земляники набрать в туесочек.

Посидеть, разожечь костерок
На отшибе в заброшенном мире.
Чтоб огонь облизал котелок,
Чтоб картошка сварилась в мундире.

Чтоб поужинать под звездой
На опушке, у самого стога.
Чтобы утром сказать: «Друг ты мой,
Даль прекрасна, и манит дорога!»



БОРИС МЕГРЕЛИ

Без всяких полномочий

Р О М А Н

Глава 14

Пробуждение было неприятным — с ощущением, что куда-то опаздываю. Я вскочил, торопливо оделся и лишь после этого осознал, что спешить некуда. Я переоделся — натянул плавки, старые брюки, вышел на балкон и, чтобы прийти в себя после седуксена, взял в руки самые тяжелые гантели Сандро. Одно время я занимался штангой. Размявшись, я спустился во двор с полотенцем и мылом и сел под кран на корточки. Это был единственный способ принять душ. Прадед моей квартирной хозяйки не удосужился провести водопровод в дом и соорудить ванную, хотя придерживался передовых по тем временам взглядов, о чем свидетельствовала его русская ориентация: армянскую фамилию Погосян он переделал в Погосова.

Было начало двенадцатого. В ресторане «Дарьял» меня ждал Шота; а я жевал хлеб с сыром, думая, что надо воспользоваться отсутствием соседей и постирать белье, а потом уж засесть за работу. Нежданно приехал Дато и сказал, что добился свидания с Карло.

— Бедный Шота! — засмеялся я. — Сидит в ресторане и нервничает. С пятью тысячами в кармане.

Дато смутился.

— Извини, Серго. Я не знал, что ты договорился с ним.

— Я не собирался с ним договариваться. Поехали.

— Не стоит, Серго. Карло ты все равно не поможешь, а пять тысяч хорошие деньги.

— Хватит, Дато! Поехали.

Мы сели в ожидающее нас такси, и Дато сказал водителю:

— В тюрьму!

Как только за нами закрылась дверь в железных воротах, нас точно отделило от привычного мира. Чувство это усиливалось с каждым шагом, хотя я не видел ни стальных решеток, ни сеток, ни камер и не слышал ни скрежета ключа в замке, ни лязгания решет-

Окончание. Начало см. «Дружбу народов» № 10 за 1984 год.

чатых дверей, ни гулкого стука ботинок по металлическим лестницам и переходам.

Сутулый человек провел нас по тюремному двору к зданию из красного кирпича, и вскоре мы оказались в обычной казенной комнате со скамейками и столом.

Мы ждали минут пять, и все это время сутулый посматривал на меня.

— Давно здесь работаете? — спросил я его.

Ему не понравился мой вопрос, и он нехотя ответил:

— Давно.

Мне не понравился его ответ и не нравилось, что он посматривал на меня. Я сказал:

— Хорошая работа?

Он отвернулся и стал глядеть в окно.

— Оставь, — шепнул Дато.

Приземистый конвоир ввел в комнату Карло Торадзе. Несмотря на ужасающую худобу, Карло напоминал Дато. Должно быть, так выглядел Дато лет двадцать назад.

Карло, виновато улыбаясь, подтянул еле державшиеся на нем брюки. Он не двинулся с места, пока конвоир не сказал:

— Иди.

Видимо, Карло уже усвоил тюремные порядки.

— Иди, — повторил громче конвоир и отошел к сутулому.

Братья обнялись. Дато долго не выпускал Карло. Он что-то шептал ему.

Карло протянул мне руку, сел напротив нас и положил на скамейку пиджак.

— Передачу вчера получил? — спросил Дато.

— Получил, но не нужно столько присылать. Я ничего не могу есть.

— Тебе нужно есть. Посмотри, на кого ты стал похож!

— Как мама?

— Ничего. Как в камере? Больше не пристают?

— Какая разница?! Я человек конченный.

— Не говори глупостей!

— Ладно. Давай сменим тему. Как мой племянник? Результаты олимпиады известны?

— Опять первое место. Быть ему великим математиком.

— Кем угодно, лишь бы не был доверчивым ослом вроде своего дяди.

— Что произошло? Ты мне можешь сказать, что произошло?

Карло не ответил. Он опустил глаза и стал разглядывать свои грязные ногти.

— Дай спички, — сказал он.

Дато, вытаскивая из кармана коробок, толкнул меня локтем.

— Спрашивай, — шепнул он.

— Карло, кто главный? — спросил я.

Карло недоуменно поднял глаза. Он молчал.

— Почему ты не отвечаешь? — громко сказал Дато. — Что с тобой произошло? Может, тебе что-нибудь нужно?

Недоумение Карло сменилось жалкой улыбкой. Он понял нашу хитрость.

— Нужно. Еще одну клетчатую рубашку, — сказал он громко и тихо произнес: — Георгий Санадзе.

Имя было незнакомо мне, но это не имело значения.

— Больше тебе ничего не нужно? — спросил Дато.

— Куда могли увезти «Ариадну»? — спросил я.

— Сигареты. Только не «Тбилиси». У меня от них кашель. Думаю, в Марнеули.

— Что маме передать?

— Ахвледiani причастен?
— Передай, что я здоров и чтобы она ни о чем не беспокоилась.
Он несчастный человек. Все дела в руках Вашакидзе.
Сутулый настороженно повел взглядом в нашу сторону.
Мы замолчали. Карло, ломая спички, вычищал из-под ногтей грязь.
— Здесь помыться как следует нельзя,— сказал он.
— Свидание окончено,— сказал сутулый.
Карло встал и обнял брата, а потом неожиданно обнял меня.
Я растерялся.
— Держись, Карло. Все будет в порядке.
— Вытащите меня отсюда! Вытащите! Я больше не могу! Заклинаю вас всем святым на свете! Вытащите!
Конвоир потянул Карло за рукав. Карло не сопротивлялся. Сутулый взял пиджак и накинул его на плечи Карло.
— Не кричи! Иди в камеру. Иди.
— Вытащите меня отсюда! Слышишь, Дато?.. Вытащите...
Дато точно прирос к полу. Он не произнес ни звука. Он плакал.

Солнечный свет на улице ослепил нас.
Дато свирепо молчал. Я понимал его и тоже молчал.
Мы прошли метров двести. Дато сказал:
— Говоришь, он ждет в «Дарьяле»? Очень хорошо. Едем.
— Что ты задумал? — спросил я.
— Увидишь.— Он остановил такси.
— Но это глупо! Так ты не поможешь Карло.
— Знаю. Если не хочешь, не езжай.
Он влез в такси. Я сел рядом с ним.
— Ну, изобьешь его. Дальше что?
— В «Дарьял»! — сказал Дато водителю и повернул свою бычью голову ко мне.— Неправильно, что мой брат страдает там, а этот подлец наслаждается жизнью. Неправильно!
— Согласен, но дальше что? Что дальше?
— Не знаю. Я должен воздать ему за все мучения Карло. Я из этого подлеца душу вытрясу!

Я покорно сидел рядом с ним, думая о Карло. Пока я не видел его, он был для меня чем-то абстрактным, как отвлеченное понятие — справедливость, честность. Теперь он обрел плоть.

— Кто такой Санадзе? — спросил я.
— Узнаем. Через полчаса все узнаем! — ответил Дато.
— Думаешь, Шота тебе все скажет?
— Не скажет, убью!

Мы подъехали к «Дарьялу».

Я огляделся и, не увидев зеленой «Волги», с облегчением подумал, что Шоты в ресторане нет. Так и оказалось.

Дато обратился к гардеробщику:

— Дядя, Шоту, владельца зеленой «Волги», не знаешь?

— Полчаса как уехал. Очень злой был.

— Узнай, где он живет. У меня срочное дело к нему,— Дато сунул гардеробщику пятерку.

Тот куда-то убежал и через минуту вернулся с клочком бумаги, на котором был написан адрес Шоты.

Мы вышли на улицу и поймали такси. К счастью, мы не застали Шоту дома.

— Везет подлецу! — сказал Дато.— Извини, Серго, за беспокойство. Одни хлопоты со мной. Извини. Я узнаю, кто такой Санадзе. Я все узнаю. Ты больше ни о чем не беспокойся. Я сам все узнаю.

— Ладно. С соседями поговори.

— Сейчас же еду к матери.

В столовой неподалеку от «Дарьяла», запивая прескверный обед лимонадом, я думал о Карло. Жалость, сочувствие, возмущение — все смешалось во мне. Я вспомнил, как Карло сказал об Ахвледiani: «Он несчастный человек».

В его положении он еще страдал! Но что он имел в виду? Что он хотел сказать? Я рассматривал его слова в лупу, вертел, заглядывал за них и не получал ответа.

Все дела в руках Вашакидзе — еще одна фраза Карло.

Неужели он подчеркивал этим непричастность Ахвледiani? Нет, Ахвледiani, Вашакидзе, Коберидзе, Шота да еще какой-то Санадзе — все они жулики, сказал я себе. Какая разница в том, что один стал жуликом, споткнувшись, а другой по призванию? Важен результат...

Карло сказал, что похищенную ткань скорее всего увезли в Марнеули. Значит, там находился магазин, директор которого был в сговоре с преступниками. А раз так, следовало ехать в Марнеули. Поездка заняла бы день, а может быть, даже два, несмотря на то, что от Тбилиси до Марнеули рукой подать. Работа над пьесой затормозилась бы. Но иного выхода не было...

И все-таки почему Ахвледiani промолчал, когда Карло арестовали? Вопрос, который давно мучил меня и на который я не мог уверенно ответить ни дома у себя, ни позже, посетив Ахвледiani. Все возвращается на круги своя, усмехнулся я и отпил лимонаду.

Меня захлестнул столовский шум. С минуту я разглядывал посетителей — одна молодежь, точно в студенческой столовой.

Все возвращается на круги своя, повторил я мысленно, чтобы вернуться к своим раздумьям. Круг. Почему круг? Что у меня было связано с кругом? Вспомнил. Я хотел найти некую точку. Санадзе... Георгий Санадзе. Центр круга... Я налил еще лимонаду и, пораженный, застыл со стаканом в руке. С подносом в руках за свободный стол садился самый большой гурман среди моих многочисленных родственников и знакомых — Ило. Я чуть не рассмеялся. Мне не хотелось портить ему аппетит, но в следующий момент я понял, что не могу упустить возможности позлорадствовать, и перебрался за стол Ило. Он готов был бежать.

— Ты обнищал? — сказал я, ухмыляясь.

— Что за язык у тебя?! Вместо приветствия проклинаешь человека. Почему я обнищал? Проголодался. А здесь быстро кормят. — Он шумно отхлебнул жидкого харчо.

— Выходит, ты скряга.

— Дай мне поесть! — Ило перешел на шепот. — Ты лучше скажи, зачем по телефону разговоры о делах ведешь. Спятил?

— Как же мне с тобой общаться?

— Мы же договорились! Когда стемнеет. А теперь иди, иди. Кто-нибудь увидит нас вместе.

— Иду. Только скажи, темнила, почему отрицал, что над всеми — Вашакидзе, Ахвледiani, Коберидзе, Шотой и прочей шушерой стоит... Кто стоит?

Он выронил из руки необглоданную кость.

— Кто?

— Санадзе, Георгий Санадзе.

— Тише ты! Чего орешь на всю столовую?

— Знаешь, что я тебе скажу? Твоя доля будет уменьшаться с каждым добытым мною сведением. За что тебе деньги платить? Или ты сегодня же подготовишь материал со всеми данными на Санадзе, или я скину с твоих пятидесяти процентов двадцать. Нет, двадцать пять. Санадзе как-никак глава! До вечера.

Я оставил Ило в полной растерянности.

Он, конечно, жалел, что связался со мной. Но я был уверен, что любовь к деньгам возьмет в нем верх.

На проспекте Руставели меня окликнул Лаша. Он стоял под платаном, а рядом с ним — Боб и раздувшийся от самодовольства юноша.

— Элегантно выглядишь, — одобрил Лаша, когда мы обнялись. — К нам не хочешь присоединиться? Распишем пульку.

— Я же не играю в преферанс, — сказал я. — Я вообще не играю, не умею.

— Научим, — хихикнул Боб. — Начнем с двадцати одного.

— Можно сыграть и в очко, — сказал самодовольный.

— Знал бы твой отец, Бесо, куда исчезают его деньги! — сказал Лаша.

— Ничего, у него денег много, — засмеялся юнец.

— Познакомься, Серго, — сказал Лаша. — Это твой будущий коллега по журналистике, пока студент Бесо Санадзе.

Комната Лаши, где он жил с матерью, мало изменилась с тех пор, как я был там в последний раз. Разве что стала теснее, может, от того, что мы выросли, а может, от того, что в комнату затесался современный гардероб вместо старомодного фанерного шкафа. Стол покрывала все та же плюшевая скатерть. Только теперь на ней стояла хрустальная ваза.

— Где мама? — спросил я Лашу.

— Отправил отдыхать в Кобулет, — ответил он. — Сейчас кофе приготавливаю.

Банк выпало держать Бесо. Он выбросил на середину стола две пятирублевые купюры; виртуозно перетасовал карты и сдал нам по одной.

— Я не буду играть, — сказал я. — Только посмотрю.

— Раз тебе карту сдали, играй, — хихикнул Боб. — Продуешь деньги, заложишь костюм.

— Помолчи, Боб! — одернул его Лаша. — Поиграй немного, Серго.

— Ладно, бог с вами, — махнул я рукой.

Мне повезло. За десять минут я выиграл сорок рублей. На каждую минуту приходилось по четыре рубля. Так, наверно, и Шота не зарабатывал.

Через час мой выигрыш превышал сотню. Но вскоре удача отвернулась. Выигрывать стал Бесо. Куча денег перед ним росла и росла, и он с каждым разом взвинчивал ставки.

Пепельница была полна окурков. Кофейная гуща засохла в чашках.

Первым из игры вышел Боб. Потом Лаша сказал, что у него пустые карманы. Я рисковал остаться без денег, но выложил на стол последние двадцать пять рублей. Это было безрассудство. Мною владел не только азарт. Я играл против Санадзе, пусть не против Георгия Санадзе, а только его отпрыска, но ощущение было такое, будто передо мною весь клан Санадзе. Я выиграл. В следующем круге я тоже выиграл, и это окрылило меня. Вновь появилась уверенность. Я жаждал победы. Выиграть, во что бы то ни стало выиграть! Я делал прикуп к шестнадцати очкам и выигрывал. Я не знал, сколько денег лежало передо мною.

— Уже одиннадцать, — заметил Лаша.

— Заканчиваем, — сказал я.

— Так не положено! Я хочу отыграться. — Голос у Бесо стал сильным. Он нервничал.

— Даю полчаса, — сказал Лаша. — Мне вставать чуть свет.

Боб удивленно взглянул на него, но промолчал.

— Нам хватит и двадцати минут, — сказал Бесо.

Он оказался провидцем. Через двадцать минут он проигрался окончательно и ушел.

Я хотел вернуть Лаше и Бобу их выигрыш, и Боб обрадовался, но

Лаша наотрез отказался взять деньги. Я чувствовал себя так, словно обворовал их.

— Ты честно заработал эти деньги,— сказал Лаша.— Они тебе пригодятся.

Сомнительная честность, подумал я и спросил:

— Вы мне подыгрывали?

— Нет,— ответил Лаша.— Тебе просто везло.

— Фраерам в первой игре всегда везет,— сказал Боб.

— Лаша, а кто такой Георгий Санадзе? — спросил я.

— Георгий Санадзе? Скромный товаровед на базе «Грузтрансурса», но богатый.

— Деньги лопатой гребет,— хихикнул Боб.— Как ты сегодня.

— Как все богатые, он жадный и к тому же, судя по тому, что говорит Бесо, жесткий, но сыночек ухитряется доить его.

— В чем его жесткость?

— Не далее как сегодня Бесо вспомнил такой эпизод. Однажды, еще в школе, он списал у товарища контрольную. Узнав об этом, папаша избил его до полусмерти. Представляешь?! Сам жулик, а в сына кулаком вбивал честность. Ничего не поймешь в этом мире.

На улице меня поджидал Бесо. Он пошел за мной и уговаривал продолжить игру утром.

— Хочешь, верну тебе деньги? Хочешь? — я полез в карман.

— Так не положено,— сказал он.

— Плевать я хотел, положено или не положено!

— Сразу видно, что вы не игрок,— и он зашагал прочь.

На улице не было ни души. Часы показывали двенадцать. Самое время для визита к Ило, подумал я, ища глазами телефон-автомат.

К телефону подошла Цира. Она сказала, что Ило нет дома и неизвестно, когда он будет. Мне показалось, что она говорит неправду.

Такси не удалось поймать. Я поехал домой на автобусе.

У аптеки, мимо которой я ходил каждый день, стояли два парня. Одного — круглолицего и упитанного, по кличке Гочо-поросенок, я видел однажды в потасовке на Плехановском проспекте. Он дрался с остервенением, я бы сказал даже, с упоением. Другого я видел впервые. Низкий лоб, нерасчесанные курчавые волосы, перебитый нос. Дешевый перстень на смуглой руке.

Низколобый выставил ногу. Не следовало ни перешагивать через нее, ни обходить, ни раздумывать. Это я осознал слишком поздно, когда получил удар в висок. В голове загудело. От второго удара я увернулся, инстинктивно пригнувшись при виде взметнувшегося кулака. Передо мною оказался незащищенный живот низколобого. Я выбросил вперед левую руку точно в подушку. Низколобый согнулся. Апперкотом правой я выпрямил его, и он привалился к стене.

— Неплохо,— сказал Гочо. Он все еще не вмешивался.

— В чем дело? — спросил я.

— Обижаетесь хороших людей.— Он двинулся на меня.— Сейчас ты пожалеешь, что родился на свет.

Гочо сделал два ложных выпада, нагоняя на меня страх, и достал мой подбородок левой. Я удержался на ногах, ответив правым хуком. Гочо бросился вперед, нацелив голову в мое лицо. Я еле успел увернуться.

Низколобый пришел в себя и ринулся ему на помощь.

Вдруг я увидел Аполлона, любителя-цветовода с нашего двора. Он собирался перейти на противоположный тротуар, видимо, не желая вмешиваться в драку.

— Аполлон! — позвал я.

Он узнал меня и побежал к нам.

— Бессовестные! Двое на одного! — крикнул он, отшвырнул низколобого и стал оттаскивать Гочо. Я никогда не подозревал в нем столько силы.— Убирайтесь на свой Плехановский проспект, пока живы!

— Теперь нас двое на двое,— сказал Гочо и ударил Аполлона. Аполлон со всего размаху влепил ему пощечину. К нам бежал Сандро.

День выдался пасмурный. Небо, казалось, вот-вот заплачет. Собираясь на Колхозный базар, я снял с вешалки плащ, когда снизу меня позвал Дато.

— Извини, что отнимаю у тебя время,— сказал он.— Нашел соседку, которая видела в тот день Карло и Шоту.

— Поехали к ней.

— Она ждет, но можно в другой раз, если ты занят. Вот тебе адрес Санадзе.— Дато протянул листок.— Он работает товароведом...

— На базе Грузтрансурса,— закончил я.— Поехали. Позвоню только.

Телефон-автомат не работал. Я решил позвонить Нине позже.

Соседка Карло жила на первом этаже и при желании могла видеть каждого, кто входил в дом. Она и нас заприметила, когда мы шли через двор к подъезду, так как открыла дверь, не дожидаясь звонка. Это была немолодая женщина в черном со страдальческим выражением лица из-за мигрени и повязанной полотенцем головой. Голос у нее тоже оказался страдальческим.

— Дато сказал мне, что вас интересует. Бедный Карлуша... Я видела в тот день, когда случилось это несчастье, Карлушу вместе с толстым молодым человеком. Было пятнадцать минут пятого. Я готовила в кухне. Вижу, идет Карлуша, а с ним хорошо одетый молодой человек. Дубленка с пышным воротником, мохеровый шарф. Шапки на нем не было, хотя он лысый. Я еще подумала, простудится парень из-за своего форса. Прошел час. Дверь подъезда хлопнула. Смотрю, Карлуша и его товарищ уходят, друг другу улыбаются, оживленно разговаривают...

— Вы узнали бы в лицо этого товарища? — спросил я.

— Да. Симпатичный такой...

— Почему вам так хорошо запомнилось время, когда они пришли и ушли?

— Взглянула на часы. Когда увидела Карлушу, удивилась. Что это, думаю, он так рано сегодня возвращается? Карлуша всегда приходил с работы в половине седьмого. Когда они уходили, я как раз собиралась в детский сад за внучкой.

— Не видели, они ушли или уехали на машине?

— Уехали. Сели в «Волгу» и уехали. Машина на улице стояла. Я еще подумала, что это они машину на улице оставили, когда могли подъехать прямо к подъезду.

— Номер не запомнили?

— Номер — нет. Я издали машину видела. Цвет запомнила — зеленый.

— Скажите, милиция вас не опрашивала?

— Меня нет. Они говорили с другими соседями. Я милиции ничего не сказала, боясь навредить нашему Карлуше. Он ведь любимец всего дома.

Найдя у Колхозного базара исправный телефон, я позвонил Нине.

— Привет! — сказал я.

— Здравствуй, Серго,— ответила Нина. Она не сказала «Сережа», и я понял, что Нина обижена на меня.

— Ты через час будешь дома?

— Нет, я должна уйти.

— Надолго?

— Не знаю. Как получится.

Черт бы побрал мой характер, подумал я. Ведь я собирался сказать, что приглашаю ее к себе на обед, но не посмел этого сделать по той причине, что моя келья плоха даже для монахинь.

— Оставь ключ под ковриком,— попросил я.

— Хорошо.

— Нина,— начал я и замолк.

— Что? — спросила она.

— Да нет, ничего. Привет!

Купив два бумажных пакета, я направился к мясным рядам. На прилавках лежала розовая свинина и темно-красная говядина. Вырезки ни у кого не было. Я с досадой еще раз обошел прилавки и увидел между висящими на крюках огромными тушами крохотную тушку ягненка. Плотный мужчина в белом халате отказался ее разрубить. Он хотел продать тушку целиком. Я долго уговаривал его, и в конце концов он сдался, но запросил за килограмм шесть рублей.

— Вспоминать меня будешь,— сказал он, заворачивая задок ягненка.— Кушай на здоровье.

Потом я купил зелень, свежие огурцы и помидоры, перепробовал все сыры, остановил выбор на малосольном сулгуни, наполнил другой пакет алычой, абрикосами, черешней и клубникой, вспомнил о цветах и выбрал самые крупные розы, на лепестках которых висели бусинки воды, а потом по дороге к Нине заехал в магазин за вином.

Ключ лежал под ковриком.

Поставив «Цинандали» в холодильник, я закурил и прошел в комнату, чтобы немного передохнуть. На полке стояла чеканка — слившиеся в поцелуй женщина и мужчина. В углу чеканки я увидел знак Гурули — ключ. На обратной стороне — надпись красным фломастером: «Нине с любовью и уважением от автора». Ниже — подпись и дата. Во мне шевельнулось неприятное чувство. Я представил, как Гурули, сидя за низким столом в мастерской в построенном по собственному проекту и собственными руками доме с выходом во внутренний двор, как в древних грузинских домах, в мастерской, увешанной и заставленной чеканками, лучшая из которых, пожалуй, портрет царицы Тамар, берет лист латуни и, поглядывая на Нину, уверенно делает набросок. Работа не мешает ему говорить. Разговор не мешает его работе. Внук извозчика и сын таксиста из Зестафони, он говорит как потомственный оратор. Женщины смотрят на него как на волшебника, в руках которого оживает мертвый металл. Известная поэтесса из Москвы посвятила ему восторженные стихи. Она написала их в мастерской на ватмане. Я читал стихи. Рукопись висела на видном месте. Одно это может вскружить голову женщине.

Отгнав дурные мысли, я занялся хозяйством, перенес стол из кухни в комнату, нашел скатерть, расстелил ее, в середине поставил вазу с розами, а вокруг — блюда с зеленью, сулгуни, салатом из помидоров и огурцов, алычой, абрикосами, черешней и посыпанной сахаром клубникой. Для приборов не хватило места. Пришлось все переставить.

Ягненок жарился в духовке. Теперь я мог понежиться под душем и стал искать в галошнице резиновые шлепанцы. Неожиданно я наткнулся на мужские домашние туфли. Они были почти новыми, чуть поношенными. В висках застучало. Я сидел на корточках, держал в руке туфли и не понимал, как они оказались здесь.

Раздался звонок. Затолкав туфли в галошницу, я открыл дверь.

— Чем так вкусно пахнет? — спросила Нина.

— Ягненок жарится,— ответил я и быстро ушел в ванную.

Я стоял под душем, сжимая челюсти.

— Сережа! Ты стал миллионером? — крикнула Нина.

Я перекрыл горячую воду и заставил себя простоять под холодным душем до околечения.

Нина успела переодеться в легкое платье.

— Откуда вся эта роскошь, Сережа?

— С базара. Взгляну на мясо.
 Она пошла за мной в кухню.
 — Ты получил гонорар?
 — Я выиграл в карты. Ягненок готов.
 — Погоди, Сережа. Ты картежник?
 — Я не картежник. Но я выиграл в карты.
 Она недоверчиво смотрела на меня. Я достал из холодильника вино.
 — Это правда? — спросила она.
 — Разумеется, правда. Идем за стол, — сказал я.
 — Нет, Сережа. Прости, но я не могу.
 — Тебе претит, что все куплено на выигранные деньги?
 — Да.
 — Почему? Потому что твой предыдущий любовник был картежником?
 — Какой любовник? О чем ты говоришь?
 Я поставил бутылку на холодильник и схватил Нину за руку.
 — Идем!
 Я вытащил из галошницы мужские туфли.
 — А это что?
 Я ждал, что она рассмеется, ждал, что она ударит меня. Я очень хотел этого. Но ничего такого не произошло.
 — Значит, это правда, — сказал я.
 Она молчала.
 Я с остервенением швырнул туфли в стену, сдернул с вешалки пиджак и открыл дверь.
 — Сережа! — Нина бросилась ко мне. — Сережа!
 Я захлопнул дверь.
 Я не знал, куда идти, и бродил по городу. Чтобы убить время, я зашел в кинотеатр — показывали какой-то старый фильм, — потом снова бродил по городу, пока не вспомнил, что с утра ничего не ел.
 В закуской я взял сосиски и двести граммов коньяка. Коньяк подействовал на меня сразу. Мне захотелось напиться. Я заказал еще двести граммов и со стаканом коньяка вернулся к своему столику. Мои сосиски поедал жалкий человечек в кургузом пиджаке. Я отлил ему коньяку. Он кивком головы поблагодарил и выпил.
 — Случилось что? — спросил он и, не дождавшись ответа, сказал: — Все проходит. Все в этом мире меняется.
 — Быстро меняется, — сказал я.
 — Ничего не поделаешь. Главное — сохранить человеческое достоинство. Еще языческие философы считали, что в сравнении с величием души, а душа и есть человеческое достоинство, ничто не является великим.
 В голове у меня шумело, но не настолько, чтобы не поразиться.
 — Помните «Исповедь» блаженного Августина? — сказал человек, откусывая хлеб. — Там написано так: «И ходят люди, чтобы восторгаться вершинами гор, волнами моря, течениями рек, простором океана и сиянием звезд, а о душе своей забывают».
 — Да, о душе своей забывают, — сказал я и направился к выходу.

Глава 15

Когда я проснулся, в гостиной Гурама горела лампа. Я лежал на диване, хотя, помнится, заснул в кресле. Рядом с Гурамом за журнальным столом сидел Эдвин. Очевидно, он пришел, когда я спал.

Зазвонил телефон.

Гурам взял трубку. Он долго разговаривал с кем-то. Я не слушал. Я старался думать о пьесе. Это не очень удавалось. В памяти возника-

ла Нина. Ничего, скоро все забудется и войдет в старую колею, сказал я себе.

— Ты что, оглох? — крикнул Гурам. — Поднимайся! Едем в гости.

— Я останусь.

— Поднимайся, поднимайся! Тебе неплохо проветрить мозги. Только не вздумай там буяннить. Едем в приличную семью.

Мы подъехали к старому одноэтажному дому и, пройдя через двор, поднялись по каменным ступеням на деревянную веранду, в углу которой я заметил детский трехколесный велосипед. Слева у обшарпанной двери висела ручка звонка. Гурам дернул за нее. Задребезжал колокольчик.

— У них даже электричества нет, — сказал я. — Куда ты нас привел?

— К своему учителю и шефу профессору Кахиани, — отвечивал Гурам.

За дверью слышались шаги и смех. Щелкнул замок. Дверь распахнулась полноватая женщина с красивым, хотя и увядшим лицом.

— Гурамчик! Родной! — сказала она воркующим голосом и подставила щеку для поцелуя. Гурам чмокнул ее.

— Жужа, это мои друзья. Эдвин и Серго.

— Идемте, мои дорогие.

Я никогда не видел профессора Кахиани и полагал, что это сухощавый старичок с бородкой клинышком, который будет шепелявить о незнакомых мне материях. К моему изумлению, навстречу нам поднялся жизнерадостный здоровяк лет пятидесяти и приветствовал громовым голосом. Потом он представил гостей за огромным столом. Я только и слышал:

— Академик, профессор, адвокат...

И вдруг я увидел Венеру. Она противно усмехалась.

Кто-то дотронулся до моей руки.

— Серго!

Рядом стояла женщина, отдаленно напоминавшая ту, которую я любил четыре года назад.

Я сконфуженно улыбнулся. Она состарилась. Собственно, и четыре года назад она не могла быть молодой, но тогда я не замечал этого.

— Как поживаешь, Гулико? — произнес я.

— Хорошо. Вышла замуж.

— Поздравляю.

— Как ты возмужал! Женился?

— Нет.

— Идем, познакомлю тебя с мужем.

Она подвела меня к пожилому мужчине с крашеными волосами.

— Дорогой, это мой дальний родственник.

Он, конечно, не поверил ей, но протянул руку. Она хотела усадить меня рядом с собой.

— Не распоряжайся в чужом доме, — сказал ей муж.

— Серго, дорогой, идите сюда, — позвала Жужа.

Я сел между Жужей и девушкой по имени Ната. Эдвина Жужа усадила справа от себя.

Венера не сводила с меня глаз.

— Наполним бокалы, — сказал хозяин дома и произнес тост.

Я взглянул вверх головы гостей. На облупившихся стенах висели картины. Одна напоминала Пиросмани.

Кто-то спросил Эдвина, нравится ли ему Тбилиси.

— Словами не выразить, — ответил он и стал рассказывать о Тбилиси. Все вежливо слушали.

— Это Пиросмани? — спросил я Жужу.

Она проследила за моим взглядом.

— Говорят.

...На другом конце стола раздался смех.

— Мы тоже хотим смеяться! Что ты там рассказываешь, Бадур? — обратилась Ната к длинноносому мужчине.

Лицо Наты казалось знакомым. Но я даже не попытался вспомнить, где мог ее видеть. Мне это было безразлично.

...За столом беседовали о чем-то знакомом. До слуха долетали обрывки фраз.

— Художник трагической темы...

— Художник безверия...

— Профессор, вы думаете...

— Исследует больной дух...

— Я бы сказал сильнее — деформированную нравственность.

— Анатомия одиночества...

— Психология отчужденности...

— Полная атрофия социально активных чувств и просто чувств...

— Беспощадный человек, художник-хирург...

— Вскрывает язвы общества, философски осмысливает драматизм человеческого существования...

Потом, судя по фразе «Нет никакой необходимости в репрессивных мерах», тема беседы изменилась. До моего сознания дошло, что говорили о министре внутренних дел Шавгулидзе. Наверно, в каждой тбилисской семье тогда любой разговор неизменно сворачивал к обсуждению деятельности Шавгулидзе. Была пора больших надежд и грядущих перемен.

— Меня беспокоит, что наша Грузия вскоре будет у всех на устах, — сказал Бадур. — Зарубежное радио уже злословит об арестах у нас, у кого сколько миллионов нашли, за что кого арестовали...

— Я тоже не хочу, чтобы Грузию упоминали все, — сказал профессор Кахиани. — Но нужно быть правдивым во всем, даже в том, что касается родины. Каждый гражданин обязан умереть за свою родину, но никто не должен лгать во имя родины. Русские говорят, новая метла чисто метет. Очевидно, так. Но, когда я думаю о Шавгулидзе, на ум приходят слова Гюго — не потребность новизны терзает творца, а потребность правды. Правды, Бадур!

Раздались аплодисменты.

— Чудесно! Чудесно! — восторгалась Венера.

— Браво, Виктор Акакиевич! — сказал муж Гулико.

Лишь Бадур поморщился, но не стал возражать.

Профессор Кахиани предложил тост за Грузию. Я взглянул на Гурама. Он был скучен и тих. Может быть, он вспомнил о Лие, с которой, я знал, он часто бывал в доме своего учителя.

— А перемены будут, — сказал муж Гулико, — и я обеими руками голосую за Шавгулидзе.

— Сплошное лицемерие, — сказал Бадур. — Он — за Шавгулидзе, он же защищает преступников, которых Шавгулидзе сажает.

— Не преступников, а закон.

— О-о! Перестань ради бога! Я еще не видел адвоката, который защищал бы закон.

— Уймите его. Он мне слова не дает сказать. Никто не слышал о Георгии Санадзе?

У меня чуть не вырвалось: «Я слышал».

Все молчали.

— Крупный воротила. Но тихий. В отличие от большинства не любит выставлять напоказ свое богатство. Некогда я защищал его на одном процессе. И вот приходит ко мне за советом, как перевести свое имущество на имя жены или сыновей, да так, чтобы в случае экстремальной ситуации уберечь от конфискации все. Говорят, зверь предчувствует беду. У этого Санадзе чутье истинно звериное. Раз он забеспокоился, значит, действительно следует ожидать перемен.

— Ты лучше скажи, защитник богатых и обездоленных, что посоветовал этому первостатейному мерзавцу,— Бадур не хотел униматься.

— Посоветовал обратиться к адвокату по гражданским делам.

— Вы почему такой скучный? — Это сказала моя соседка по столу Ната, громко и неожиданно, привлекая общее внимание, и я сначала подумал, что сказала Гураму, но потом понял, что обращалась она ко мне.

— Ты разве не знаешь?! — подхватила Венера.— Его уволили с работы!

— Это правда, Серго? — с сочувствием спросила Гулико.

— Слух о моей смерти несколько преувеличен,— усмехнулся я.

— Кто-нибудь объяснит, в чем дело? — сказал профессор Кахиани.

— Я объясню,— сказал Гурам.— Серго написал о просмотре в Доме моделей фельетон...

— Фельетон! — фыркнула Венера.— Беспардонный пасквиль. Извините, Виктор Акакиевич, но его нельзя впускать в приличный дом!

— Венера! — рассердилась Жужа.

— Вы имеете в виду Дом моделей? — сказал я.

Ната хихикнула.

— О каком фельетоне речь? — спросил Бадур.

Выяснилось, что многие не читали фельетон.

— Жужа, у нас, кажется, сохранился номер газеты. Посмотри в кабинете,— сказал профессор Кахиани.

Жужа принесла газету. Ната потребовала публичного чтения фельетона. Венера воспротивилась. К ней подошел Бадур.

— Венера, успокойся, дорогая,— сказал он и положил руки на ее широкие плечи.— Не читая, мы не можем определить, кто из вас прав, а кто не прав. Ната, читай.

Чтение заняло много времени. Ната читала с паузами. Часто вспыхивал смех. Я вспомнил, где видел Натю — в телевизионном фильме.

Ната произнесла последнюю фразу. Взрыв смеха и аплодисменты смутили меня.

— Я остаюсь при своем мнении! — сказала Венера.— Это пасквиль. Но талантливый!

Снова раздались аплодисменты. Муж Гулико воскликнул:

— Браво, Венера!

— Выкрутилась,— шепнула мне Ната.

— Профессор, в вашем доме сегодня можно умереть от жажды! — сказал Гурам.

Кахиани засмеялся, взял со старинного буфета большой рог, наполнил вином из кувшина и произнес тост за друзей Гурама. Рог пошел по кругу. Потом профессор произнес тост за Гурама, и рог снова пошел по кругу.

Ната куда-то ушла. Она была высокой и напомнила мне Нину. Я сжал кулаки. Только не думать о ней, приказал я себе. Рядом села Гулико и что-то сказала.

— Что?

— Днем я всегда дома.

«А ночью?» — хотел спросить я, но, к счастью, промолчал. Злоба на весь мир захлестывала меня волной. Вернулась Ната. Гулико встала и ушла.

— Вы тоже днем всегда дома? — спросил я.

— Не всегда. А что? — ответила Ната.

— Ничего, я так. Не пора ли домой?

— Если вы на машине, я поеду с вами.

Я пожал плечами и поднялся.

Когда мы прощались, я спросил мужа Гулико:

— Вы защищали Санадзе в связи с каким делом?

— Вы знаете Санадзе?

— Мы могли бы встретиться?

— Конечно, Серго,— сказала Гулико.

— Приходите как-нибудь в гости. Но без намерения поговорить о Санадзе,— адвокат развел руками: — Профессиональная тайна.

А ведь он будет защищать Санадзе в «экстремальной ситуации», с неприязнью подумал я.

Гурам, Эдвин и я направились к выходу. За нами увязалась Ната. Жужа проводила нас до двери.

— Наш дом всегда открыт для вас,— сказала она Эдвину и мне.

Ната всю дорогу тараторила, обсуждая гостей профессора Кахиани.

Наконец мы подъехали к ее дому.

— Кто меня проводит? У нас темный двор,— сказала она и взяла меня за руку. Я сидел рядом с ней.

— Езжай, Гурам,— сказал я.— До моего дома два шага.

Мы пробрались через темный двор к подъезду.

— Сумеете дойти одна? — спросил я.

— Я боюсь,— сказала Ната.

Я вздохнул и открыл дверь.

Она вызвала лифт. Мы вошли в кабину. Скрипнула дверь подъезда.

— Тсс! — она нажала на кнопку пятого этажа.

— А если это муж? — сказал я.

— Тем более,— хихикнула она.

— Не хватало еще с чужими мужьями драться!

— Да чего вы боитесь? Мой муж в Москве.

— Могли бы с самого начала сказать.

Она вытаращила на меня круглые глаза.

— Вы трус?

— Немного,— сказал я, разглядывая ее. Лишь теперь я заметил, что у Наты не только глаза, но и лицо и рот круглые и вся головка словно маленький шар. И тем не менее она была красива.

— Врете вы все, чтобы меня позлить,— сказала она.— Кофе хотите?

В гостиной, обставленной тяжеловесной мебелью, пахло кожей, табачным дымом и духами. Кофе немного взбодрил меня, но от коньяка закружилась голова.

— Ваш муж живет в Москве?

— Муж? Он живет здесь, в этой квартире. В Москве он ищет пьесу!

— Какую пьесу?

— Гениальную! Ту, за которую он мог бы получить государственную премию! Так я и поверила, что в Москве живет грузин, который пишет пьесы. Ищите женщину, как говорят французы... Кажется, мне нехорошо.

— Принести воды?

— Не надо,— сказала Ната и неуверенным шагом вышла из комнаты.

Я сидел, сжимая руками прохладные подлокотники кресла. Я не понимал, что во мне происходит. Я раздвоился — один любил Нину, другой ненавидел ее. Ненависть сковывала меня, и я не хотел замечать, что идет время. Часы в гостиной пробили дважды. Я заставил себя встать.

Добравшись до темного коридора, я никак не мог найти выключатель. В глубине коридора виднелась полоска света. Я направился туда. Дверь легко ушла из-под руки.

В спящей белизне ванной я увидел перед огромным зеркалом Нату. Она вскрикнула и прикрылась полотенцем.

— Пардон,— сказал я и ткнулся в другую дверь. За ней оказалась спальня с широчайшей кроватью. Кто-то коснулся меня. Я вздрогнул. Это была Ната.

Я шагал по улице злой на весь мир. Я злился на солнце, которое пыталось сжечь меня, на прохожих, недоуменно поглядывавших на мой темный костюм, на Нату, запах духов которой, казалось, проник в мозг. Я злился на Нину. И я злился на себя, потому что меня мучила совесть.

Во дворе шумели соседи, и я хотел подняться к себе незамеченным, но Сандро крикнул:

— Привет, Серго! Иди сюда.

Тюльпаны Аполлона были вытоптаны. Земля под ними стала пятнистой, и от нее шел запах керосина. Я взглянул на Аполлона. Он растерянно покусывал губу.

— Кто это мог сделать? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Аполлон. — Не знаю, какой сукин сын сделал это.

— Ладно, Аполлон, не переживай. Все к лучшему, — сказала ему жена.

— Что к лучшему, женщина? — рассвирепел Аполлон.

— Разве это занятие для мужчины — цветы выращивать? — ответила Натела.

— Убирайся в дом, женщина! — велел ей Аполлон.

Я не хотел присутствовать при семейной ссоре и стал подниматься по лестнице.

Как всегда, взъерошенный Валериан с интересом наблюдал с балкона за Аполлоном и Нателой.

— Доброе утро, — сказал я ему.

— Доброе! Сейчас они поколотят друг друга! Пора вмешаться, — пробасил он и спустился во двор.

Я с омерзением чувствовал запах духов Наты.

— Сандро, пойдем в баню, — крикнул я вниз.

— Предпочитаю домашние ванны, — ответил Сандро.

Я пожал плечами, не понимая, где он мог пользоваться домашними ваннами.

В бане пришлось подождать, прежде чем освободился шкафчик. Я разделся и пробрался между голыми телами в душный, как преисподняя, зал. В пару я не сразу разглядел свободное место. Кто-то пел. Кто-то насвистывал. Плескалась вода.

— Молодой человек! — На гранитном ложе в ожидании банщика сидел Гурам.

— Ты один? — спросил я.

— Вон Эдвин. Не хочет лезть в бассейн, — сказал Гурам.

Эдвин возвышался над маленьким бассейном с серной водой, из которой торчали мужские головы, точно головы приговоренных к вечному стоянию в воде. Небритые лица, страдальческие взоры — вода в бассейне горячая — наводили на мысль о мучениках.

Я вспомнил бродягу-философа. «...А о душе своей забывают». Блаженный Августин был прав. Жаль, что нельзя отмочить в серной воде душу, а потом отмыть ее как следует мочалкой, подумал я.

Эдвин повернулся ко мне.

— Наваждение! Каким образом вы оказались здесь?

— Обычным, — ответил я. Меньше всего мне хотелось разговаривать с ним. Я сел рядом с Гурамом.

Эдвин сказал:

— Извините, Серго, но у меня такое впечатление, что я чем-то вас обидел. Без дураков.

— Да нет. Просто я не в себе после вчерашнего. Пойду помоюсь.

Я до боли тер мочалкой тело, долго смывал с себя грязь, потом снова намылился и полез под душ.

Эдвин распластался на гранитном ложе. Банщик, прикрытый клеенчатым передником, намылив полотняный мешок, раздул его и сбросил белоснежную пену на распаренное до красноты тело Эдвина. Я люблю смотреть, как работают банщики. У каждого из них своя манера, своя слабость. Тот, который мыл Эдвина, отличался пристрастием к массажу, был ловок и скор. Банщик вывернул Эдвину руку и хлопнул его по лопатке. Хрустнули суставы. Эдвин вскрикнул. Банщик, не обратив на это внимания, вывернул ему вторую руку и хлопнул по другой лопатке, затем взобрался на ложе и поставил ногу на спину Эдвина. Эдвин запротестовал, но поздно. Ступня банщика скользнула сверху вниз по позвоночнику застонавшего Эдвина. Потом банщик усадил Эдвина, обдал его водой из бадьи и хлопнул по спине.

— На счастье,— сказал он.— Под душ.

— Если я смогу ходить. У меня вывернуты не только руки, но и ноги. Без дураков.

Банщик снисходительно улыбнулся. Он сполоснул ложе. Его уже ждал другой клиент.

В предбаннике дежурный накинул на нас простыни и каждого слегка хлопнул по спине.

— На счастье! На счастье! На счастье!

— Колоссально! Море удовольствия! — простонал Эдвин.

Завернувшись в сухие простыни, точно в тоги, мы сидели на лавке и пили пиво из бутылок. Рядом с нами одевался волосатый парень. Он с воодушевлением поглядывал на пиво. Гурам протянул ему бутылку.

— Ваш должник,— сказал тот и зубами откупорил бутылку.

Эдвин принялся за вторую бутылку пива.

— Хорошо! — крикнул он.— Без дураков!

Волосатый опустошил бутылку, не отрываясь, и Гурам протянул ему еще одну.

— Неудобно получается,— сказал тот, но бутылку взял.

— Неудобно, когда один пьет, а другой умирает от жажды,— сказал Гурам.

— Справедливо,— сказал волосатый и отошел.

Куда-то исчез дежурный. Кто-то попытался отодрать дверь шкафчика. Раздался треск. Голые и мокрые мужчины стали шуметь и ругаться.

— Тихо вы! — сказал волосатый.— Дежурный сейчас придет.

Тут же появился дежурный. Он нес блюдо с хинкали.

Волосатый притащил табурет и поставил на него блюдо.

— Прошу,— сказал он.

— Ну, это ни к чему,— развел руками Гурам.

— Очень прошу! — взмолился волосатый.

Гурам надкусил хинкали.

— Ничего. Всем приятного аппетита.

Я густо поперчил хинкали, взял один за скользкое ушко и отправил в рот. По-настоящему ушко — собранные концы теста — надо надкусить и выбросить. Поэтому в хинкальных под каждым столом имеется корзина. Снаружи остывшие, внутри хинкали сохраняют такое горячее сочное мясо, что обжигает небо, язык и стараешься поскорее проглотить, а проглотив, чувствуешь, как пылающий комок катится вниз, обжигая нутро.

— Очень вкусно! Похоже на сибирские пельмени. Без дураков,— комментировал Эдвин.

— Похоже, но не то,— возразил Гурам.— Во-первых, хинкали в два раза крупнее, во-вторых, хинкальный фарш готовят по-другому. В-третьих, хинкали это хинкали, а пельмени...

— Это пельмени,— усмехнулся я.

— Совершенно верно,— сказал Гурам.

Внезапно мне стало тошно от всего. Я не мог больше терпеть

бездумного разглагольствования Гурама и восторженности Эдвина. Я вытер руки о простыню, скинул ее и начал одеваться. Гурам разозлился, но не произнес ни звука. Эдвин и волосатый недоуменно глядели на меня. Одевшись, я кивнул им и вышел из бани.

Часа два я бесцельно болтался по улицам, потом сидел в саду и смотрел на играющих детей. Время шло медленно. На скамье лежала свернутая в трубку газета. Я развернул ее и прочитал от первой до последней строки. Положив газету на прежнее место, я поднялся. Целый день я ничего не ел, если не считать двух хинкали, но сильного голода не испытывал, и все же решил перекусить.

В кафе «Тбилиси» меня узнал официант, который обслуживал нас с Вашакидзе. Он за несколько минут справился с моим заказом, и сначала я не понял, что происходит, но потом сообразил, что на мне лежит тень славы Вашакидзе.

В голове у меня была свалка. Но я твердо знал, чего хочу — по крайней мере, на сегодня. Я ждал ее, чтобы отправиться к Ило и вытрясти из него душу. Моя обозленность на мир распространялась и на него. В конце концов, он был частицей этого мира.

Я оставил на столе полбутылки вина и большую часть еды.

До ночи было еще далеко, и я не знал, как убить время. Телефоны-автоматы напоминали о звонках Нине. Возникло желание услышать ее голос. Нет, сказал я себе и, чтобы не думать о Нине, вспомнил Нату.

Ната ответила сразу, словно сидела и ждала звонка. Я назвал ее. Она действительно ждала моего звонка.

— Зачем? — спросил я.

Я надеялся, что Ната разразится бранью, но вместо визга я слышал в трубке молчание. Потом Ната сказала плаксиво:

— Тебе было со мной плохо?

— Нет, хорошо, — сказал я.

Она обрадовалась. Это разозлило меня. Я сказал:

— А разве было что-то?

Ната опять замолчала. Замедленная реакция, подумал я.

— Почему ты молчишь? Ната!

Я услышал короткие гудки. Она повесила трубку. Скотина, подлая скотина, сказал я себе и набрал номер Наты. Она не ответила. Я набрал ее номер еще раз.

— Алло, — сказала она.

— Ната, пожалуйста, не клади трубку. Выслушай...

— Не надо, Серго.

— Ты не поняла...

— Я все поняла. Не такая уж я дура, как тебе показалось.

— Конечно! То есть мне ничего не показалось. Ну, я хочу сказать, что ты милая и красивая женщина, а я последняя скотина. Прости меня. Я не хотел тебя обидеть...

— Прошу тебя, не звони мне больше.

Как ни странно, я почувствовал облегчение.

В кинотеатре «Руставели» все еще демонстрировали «Великолепную семерку». На этот фильм мы трижды собирались с Ниной. Толпа заполнила подходы к кассам. Я вызвал знакомого администратора, и он спросил:

— Два билета?

— Один, — ответил я.

Ило был недоволен моим ночным визитом и не скрывал этого.

— Ты бы еще под утро пришел!

Я плотно прикрыл дверь гостиной.

— Садись, — сказал я.

— Ничего, я постою, — огрызнулся Ило.

— Садись, иначе я могу стукнуть тебя!

— Ты что, с ума сошел?! Как ты разговариваешь со старшим?! Я схватил его за шиворот и бросил в кресло.

— Сиди и отвечай на мои вопросы!

— Я тебе не школьник! Не смей так разговаривать со мной в моем доме!

— Хочешь на двух стульях сидеть?

— Что тебе от меня надо?

— Он еще спрашивает! Сначала ты скрыл существование Санадзе и дал мне десятую часть информации за пятьдесят процентов доли доходов. За пятьдесят процентов! Потом, когда я от других узнал то, что должен был узнать от тебя, ты стал скрываться. Отсюда какой вывод? Ты решил обмануть меня.

— Побойся бога, Серго! Что ты такое говоришь?

— Бога ты бойся! Ты обманываешь не только меня! — Я настолько вошел в роль, что абсолютно не ощущал ложности ситуации и неправомерности своих претензий.

Мой родственник соображал быстро. Он сразу понял, что я имел в виду, и сник.

— Зачем тебе нужен Санадзе? — сказал он. — Не надо с ним связываться, поверь мне.

— Это буду решать я!

— Санадзе очень опасный человек. Он на все пойдет.

— Потом не пожалей ни о чем, родственничек. Напоминаю: ты обманул не только меня.

Я направился к двери.

— Не торопись, — сказал Ило. — Поговорим спокойно.

Теперь я знал о Санадзе то, что он тщательно скрывал, а точнее, то, что он скрывал тщательнее всего. Ибо скрывал он все и не было в его жизни ничего такого, чем он мог открыто гордиться. Его жизнь напоминала жизнь грызуна, роющего сложные подземные ходы в два яруса, чтобы поглубже упрятать свое добро. Гордиться он мог собой в душе. С того послевоенного дня, когда он возвратился из побежденной Германии, привезя в отличие от других лишь маленький чемоданчик, он потерял друзей и товарищей, но не богатство, начало которому положило то, что лежало в чемоданчике. Чутье дельца не обмануло его, когда он вез из Германии швейные иглы, как не обманывало и потом.

Он наверняка гордился собой, перебирая в памяти в нередкие бессонные ночи события своей жизни. Оглядываясь назад, он должен был видеть лица тех, кто на разных этапах присоединялся к нему. Они спотыкались, падали, их заваливало, они гибли, а он двигался вперед, порой ободранный до крови, останавливаясь лишь для того, чтобы передохнуть, переждать и идти дальше.

Три года назад в один из жарких летних вечеров, сидя на балконе, Санадзе услышал в телефонной трубке: «Ребенку плохо». Тогда он еще занимался трикотажем. Он сидел на балконе и ел виноград с хлебом. Он ел виноград с хлебом не потому, что в доме не было другой еды, а потому что в те давние времена, когда в доме редко варилось мясо, виноград с хлебом заменял ему ужин, и с тех давних времен он не мог есть виноград иначе. Он спросил: «Очень плохо ребенку?» И ему ответили: «Очень». И тогда он сказал «ладно», как говорил всегда, услышав в трубке этот примитивный пароль. Позже он понял, что не стоило говорить так спокойно и уверенно. Стоя перед младшим лейтенантом милиции и глядя в его глаза, он понял, что не просто будет все уладить. Задержанная машина с подпольным трикотажем стояла у обочины дороги, и он мог дать шоферу с поддельным путевым листом любую команду, и шофер беспрекословно подчинился бы приказу, исчез бы на месяц, на год, ровно на столько, на

сколько нужно, и тогда правосудие весь удар направило бы на него, но это была крайность, на которую Санадзе пошел бы, исчерпав все возможности. Он не только потерял бы то, что в данный момент принадлежало ему, но потерял бы и то, что позже могло принадлежать, ибо следствию не составило бы труда доказать происхождение трикотажа.

И он предложил младшему лейтенанту две тысячи рублей. Тот возмутился, и возмущение было настолько сильным, что Санадзе усомнился в его искренности и по привычке, а она глубоко сидела в нем, как привычка есть виноград с хлебом, увеличил сумму взятки. Он надеялся, что разум парня, который зарабатывает в месяц от силы сто рублей, помутнеет от его предложения. И младший лейтенант сказал: «Хорошо, согласен». Он сказал так не потому, что в самом деле согласился на взятку, а потому, что у него неожиданно возник план. Он был неопытен и в милиции работал недавно, но, как всякий начинающий, не сомневался в своих возможностях.

Младший лейтенант сказал «хорошо, согласен», и Санадзе воспринял это как должное, как нечто само собой разумеющееся. «Машину сейчас отпустите?» — спросил он. «Когда принесете деньги», — ответил младший лейтенант. «Меня знают как человека слова», — сказал Санадзе. «А я вас не знаю», — ответил тот.

Санадзе отправился домой за деньгами, а лейтенант милиции бросился звонить в управление и сделал ошибку, ибо не следовало ему звонить из автомата, стоящего рядом с задержанной машиной, хотя и не было у него другого выхода.

Санадзе заворачивал в газету тридцать сотен, когда раздался телефонный звонок. Он поднял трубку и услышал одну-единственную фразу. Он разозлился, но и тогда сказал «ладно», сказал спокойно, настолько спокойно, что шофер не понял, дошел ли смысл произнесенной им фразы до Санадзе. Он потратил минут пятнадцать на телефонные звонки и переписку номеров купюр и отправился к младшему лейтенанту. Он знал, что парень обречен, но не знал и даже не предполагал, как трагически это обернется.

Он уводил младшего лейтенанта подальше от грузовика, и тот шагал рядом с ним, уверенный, что ничто не помешает взять Санадзе. Вот-вот должны были подъехать оперативники. Младший лейтенант полагал, что Санадзе уже в ловушке, и радовался предстоящему успеху, первому крупному успеху, и радость заслонила все остальное, иначе, увидев точно такую же машину, как задержанная, он насторожился бы, а он лишь проводил грузовик взглядом — мало ли какие машины могут ездить по улицам, — и только в тот момент, когда грузовик встал вплотную к первой машине, в нем зашевелились сомнения, он побежал обратно, но поздно, шоферы успели поменяться местами, и задержанный грузовик, сорвавшись с места, скрылся из виду. Даже тогда лейтенант милиции не до конца понял, что его провели, что этот наглый и примитивный ход — начало конца в игре между ним и Санадзе. Одно он понял ясно — он упустил главный козырь, машину с подпольным трикотажем, и теперь ему даже не стоит проверять путевой лист и накладные, потому что теперь все документы у шофера были в порядке. Он бросился назад к Санадзе, боясь упустить и его, а Санадзе спокойно стоял там, где его оставил младший лейтенант, и не помышлял о побеге, и это совершенно сбило с толку парня.

Санадзе ждал и, когда младший лейтенант оказался рядом, протянул ему газетный сверток с тремя тысячами рублей. Как раз в этот момент милицмейская машина выскочила из-за угла, и ее появление оба восприняли как сигнал к действию, ибо каждый из них думал, что «Волга» с антенной мчится по его вызову. Младший лейтенант схватил Санадзе за руку. Сверток упал на тротуар...

Младший лейтенант повесился через неделю после ареста, в воскресное летнее утро, привязав скрученную рубашку к решетке одиночной камеры, куда его поместили за попытку избить следователя.

Я долго думал о Санадзе. Потом я думал об Ило и пытался разобраться в нем, понять, почему он предавал своих. Я вспомнил, как он сказал:

— За одно упоминание о несчастном милиционере Санадзе отвалит десять тысяч.

— Несчастном? Ты пожалел милиционера?

Ило рассмеялся.

— Как тебя держат в редакции? У тебя ума совсем нет. Пожалеть милиционера! Скажешь тоже!

— Извини. Я, кажется, оскорбил тебя. Половина из десяти тысяч твоя.

Конечно, Ило не без корысти шел на предательство. Но помимо корысти было что-то большее, заставляющее его злорадоваться.

— Только умно надо подойти к нему. Напугать. Сделать вид, будто в редакцию пришло письмо. Письмо его парализует. Представляю его лицо! Хотел бы одним глазом взглянуть, когда ты дашь ему письмо.

— Кто напишет письмо? Ты?

— Почему я? Сам напишешь. Это твоя профессия.

Он ограждал себя от превратностей. Мало ли каким путем написанное им письмо могло попасть в руки Санадзе. Он боялся Санадзе.

— Он разработал систему перераспределения фондовых тканей? — спросил я.

— Кто же еще? Вашакидзе или Ахвледиани, что ли? Вашакидзе силен в технике.

— А Ахвледиани?

— Он вообще ни в чем не силен, но устраивает всех как прикрытие. Заслуженный человек. Ты вот еще на что обрати внимание. В пятьдесят втором году, когда Санадзе работал директором промтоварного магазина, его осудили на три года за нарушение правил советской торговли. Спроси его, как он сумел, имея семь классов образования и судимость, устроиться товароведом. Мы-то с тобой знаем как. С судимостью дорога в торговлю закрыта.

— Ило, ты работал с Санадзе?

— Нет.

— Никогда не был с ним связан?

— Нет.

— Откуда же ты все знаешь?

— Ты меня с ума сведешь! Какое тебе дело, откуда я что знаю!

— Черт с тобой! Идем дальше. Значит, Санадзе разработал систему и договорился со знакомыми директорами магазинов о реализации дефицитных тканей. Ткани, из которых фабрики должны шить платья, костюмы, идут в магазины. В какие именно?

Ило отказался называть магазины, считая, что у меня и так достаточно материала. Это взорвало меня. Я обругал его и ушел.

— Не забудь о моей доле! Пятьдесят процентов,— сказал он вдогонку.

Ило прикрывался корыстолюбием. Он только вначале допустил ошибку, показав, что задет отношением Вашакидзе. Собственно, с Вашакидзе все и началось.

Я мысленно вернулся к рассказу Ило о Санадзе и понял, что Ило обманул меня. В тот вечер, когда Санадзе услышал в телефонной трубке «Ребенку плохо» и спросил «Очень плохо?», Ило был рядом с ним. Иначе он не знал бы ни о пароле, ни о том, что Санадзе ел виноград с хлебом. Несомненно, Ило работал с Санадзе и между ними произошла ссора, скорее всего, Санадзе отлучил моего родственника от дела. Может быть, Ило зарвался и потребовал от компаньонов большей доли, чем получал. Он ведь, как и Вашакидзе, был высокого мнения о своих способностях. Теперь Ило мстил, оставаясь в тени из страха быть замеченным. Еще бы! Санадзе всей своей жизнью доказал, что его надо бояться. Младший лейтенант, Карло То-

радзе... Жертв наверняка было больше на его длинном и извилистом пути. Кто будет следующий? На ум приходили сказки, где чудовище пожирало людей и где богатырь собирался на его поиски, чтобы мечом снести ему голову. Я немного боялся Санадзе. Но я знал, что должен пойти к нему, побороть страх и пойти...

Глава 16

Манана ждала меня в фойе театра.

— Где вы пропадали столько времени? Идемте быстрее. Быстрее.— Опасливо поглядывая в конец фойе, где располагались кабинеты директора и главного режиссера, она втащила меня в свое купе и плотно прикрыла дверь.— Таризл отстранил от пьесы Германа.

— Герман ходил к Таризлу?

— Никаких вопросов. Времени совершенно нет. Позавчера, как только Таризл возвратился...

— Разве он куда-то уезжал?

— Вы будете слушать? Первое, что он спросил, это как продвигается работа над пьесой. Я воспользовалась ситуацией и прямо заявила, что пьеса почти готова и Герман хочет взяться за ее постановку. Тут он взбрыкнул: «Хотите, чтобы Герман загубил пьесу?» Правда, быстро успокоился и потребовал рукопись, а сегодня сам зашел ко мне и велел вызвать вас. Ничего не загадываю, но, кажется, он решился. Умоляю вас быть разумным. Ни слова о Германе, будто вы ничего не знаете, и не перечьте ему. Иначе все испортите.

— Он не в духе?

— Наоборот. Поездка в Москву пошла ему на пользу. Пора идти. Он давно ждет. Что вы так ошалело смотрите на меня?

Не может быть такого совпадения, не должно быть, сказал я себе.

— Да нет, ничего,— ответил я, выходя из кабинета.— Зачем он ездил в Москву?

— Он не все рассказывает мне.

«Так я и поверила, что в Москве живет грузин, который пишет пьесы»,— услышал я голос Наты.

— А кто у него жена, актриса? — шепотом спросил я.

Манана удивленно взглянула на меня. Она, конечно, не предполагала, что за моим вопросом скрывается больше, чем простое любопытство. Манана слишком хорошо ко мне относилась.

— Актриса.

Я был готов к этому, и все же у меня перехватило дыхание. Я остановился.

— Что с вами? — спросила Манана.

— Волнуюсь.

Я не представлял, как буду смотреть в глаза Таризлу.

— Да не бойтесь вы его! — шепнула Манана.— Идемте, идемте.

И вдруг все вспомнилось — разглагольствования Таризла, его обещания, мои унижительные звонки ему, бесконечная переделка пьесы, ожидание... Я был уверен, что он до сих пор ничего не решил, и переступил порог кабинета Таризла со злорадным чувством.

Я закурил вторую сигарету.

— Почему ты ни о чем не спрашиваешь?

— И так все ясно.— Гурам отобрал у меня сигарету и погасил.

— Ясно, что все плохо?

— Почему все?

— В частности, что я написал плохую пьесу.

— Неправда, Серго. Ты это прекрасно знаешь.

— Мы с тобой оба ошибаемся. Была бы пьеса хорошей, Таризл не морочил бы мне голову столько времени. И не заставил бы переделывать дальше.

— А мне кажется, что причина его нерешительности в другом. Он боится.

— Я, конечно, могу утешить себя этим, но что изменится? Ничего. Пора бросать драматургию и устраиваться на работу.

— Все зависит от твоей душевной потребности.

— Ты-то знаешь мою душевную потребность. Но сколько можно?

— Много и долго. Литературу, как и науку, медицину, делают одержимые, а не сытые и довольные. Ты был в милиции?

— Что за странный переход от одной темы к другой?

— Ничего странного. Этот вопрос меня все время тревожит. Ты был в милиции?

— Нет, не был.

— Когда ты собираешься идти в милицию? У тебя уже много материала.

— Завтра.

— Нет, Серго. Сегодня. Сейчас же. И отвезу тебя в МВД я.

Подполковник Иванидзе лениво листал документы в папке, и я не мог отделаться от раздражающего ощущения, что он не слушает меня. Или он все знает, или ему безразлично, подумал я.

Он отогнул рукав и взглянул на часы. Я был удивлен. Массивные швейцарские часы с хромированным браслетом стоили вдвое больше, чем получал за месяц подполковник милиции. Интересно, что он делает с часами, прячет под рукав или снимает, когда его вызывает министр? Я замолк.

Иванидзе оторвал от папки воловий взгляд и тихо сказал:

— Продолжайте.

— У меня все, — сказал я.

Он внимательно посмотрел мне в глаза и, одернув левый рукав, что усилило мои подозрения, произнес:

— Запишите факты, о которых вы здесь рассказали. Выводов не надо. Выводы мы сами сделаем. Запишите и другие факты. Если вспомните.

— Какие факты вы имеете в виду?

— Те, о которых вы не рассказали.

Я не рассказал и половины того, что знал.

— Видите ли, возможно, я что-то и вспомню, но для этого необходимо подумать. Я подумаю, — сказал я и встал.

— Подумайте. Если понадобится наша помощь, позвоните по этим телефонам, — Иванидзе записал два номера на листке.

— Обязательно.

На улице я скомкал листок и щелчком забросил его в урну.

Светало, а сон все не шел. Мысли цеплялись одна за другую, и казалось, их бегу не будет конца. Я встал и принял седуксен.

Почему, спросил я себя, все так складывается? За что бы я ни взялся, ничего у меня не получается. В чем моя вина? Этот вопрос я задавал себе не впервые. Но никогда толком не мог на него ответить. Может быть, в том, что я был слишком самонадеян? Вот и с театром я сам себе морочил голову, а не Таризл мне. Я обманывал себя. Была бы пьеса талантливой, Таризл не стал бы раздумывать, ставить ее или нет. Полбеды обманывать себя. Из-за своей самонадеянности я обманывал Дато. Он предупреждал, что я не смогу помочь Карло. Что же я? Не задумываясь, ринулся вперед, размахивая картонным мечом. Помогать

надо умеючи. Что-то я не так делал, если преступники по-прежнему благоденствуют, а честный человек томится в тюрьме...

Я вспомнил, каким недобрый взглядом встретили меня на базе «Грузугольбурс» рабочие, решив, что я прихвостень Санадзе. Вспотевшие, всклокоченные, они два часа таскали к грузовику «Ариадну». Потом мы разговорились... Я опоздал на пять минут. Санадзе уехал с базы перед моим приездом. Эта база действительно служила ему перевалочным пунктом. Сюда дефицитные фондовые ткани поступали из Кутаиси, Еревана, Риги, Вильнюса, Ленинграда, Москвы и отправлялись в магазины Грузии. Рабочие о многом догадывались. Стоило Санадзе появиться, у них начинался аврал. Догадывались и молчали. Бессмысленно было идти к директору базы. Он ведь не сказал бы, что получает за посредничество комиссионные, зато сообщил бы Санадзе о моем визите. Но какая-то сила повела меня к нему. Письма, письма... Товарно-транспортные накладные... Видимость необходимой народу деятельности, честного служения долгу... Я подсчитал по накладным — только «Ариады» база отправила в магазины на 676 тысяч рублей. А были и другие дефицитные ткани — шелковые и шерстяные. Из Еревана на 220 тысяч рублей, из Вильнюса — на 530 тысяч, из Риги — на 382 тысячи... В кабинете висели грамоты. База не только выполняла план. Перевыполняла. Еще бы, если для нее организовали специальное снабжение за счет других. В течение пяти месяцев на четыре миллиона рублей, один процент от которых шел в карман директора. Да, какая-то сила повела меня к нему. А результат какой? Что изменилось? Ничего. Разве что директор, почуяв опасность, потребовал от Санадзе большую долю. Одна ошибка порождает другую... А подполковник Иванидзе? Зачем я пошел к нему? Вашакидзе не случайно дал мне телефон Иванидзе. Если уж я решился, то надо было идти к другому сотруднику МВД... Санадзе, Вашакидзе, Шота... Они как раковая опухоль — чем сильнее разрастается, тем больше областей поражает. Чудовище, пожирающее людей, их веру в справедливость и добро, в карающую силу закона, наконец. Я не чувствовал себя богатырем, способным снести голову чудовищу. Богатыри — это из сказок. Я чувствовал себя жалким и беспомощным.

Я принял еще одну таблетку седуксена.

Я потерял себя во времени. Ненадолго проснувшись, я не мог понять — день сейчас или ночь. Часы стояли.

Я поднялся и побрел на балкон.

Луна мрачно смотрела на меня. Я постоял на воздухе, силясь сбросить с себя сонливость, но она была слишком тяжелой, а жизнь казалась омерзительной, и все, что я делал в последнее время, тоже казалось омерзительным и никому не нужным.

Я знал, что необходимо пересилить себя. Случалось, седуксен чрезмерно угнетал меня, и я пребывал в состоянии полной отрешенности до тех пор, пока не пересиливал себя. Но тогда я только начинал работать над пьесой, еще не переступал порога театра и цеплялся за надежду, что пьесу примут и все изменится в моей жизни. Теперь не за что было цепляться.

Я принял еще две таблетки седуксена.

За мной гнались звери. Подобный сон, наверно, впервые видел мой дикий предок. Ничем, кроме атавизма, я не смог бы объяснить его. Я бежал, задыхаясь от страха. Звери настигали меня, и их приближение я ощущал каждой частицей тела. И вдруг Гурам подхватил меня, понес, но успокоение наступило позже, когда я лежал на чем-то очень прохладном. Я пытался спросить Гурама, как ему удалось поднять меня, но голос не повиновался. Потом все исчезло.

Проснувшись, я увидел, что лежу в спальне Гурама. На тумбе рядом с кроватью стоял поднос со стаканом молока, пузырьками, ампулами, коробкой со шприцем. Я ощупал руки и на правой обнаружил следы уколов — маленькие подкожные затвердения.

Я соображал плохо и не мог понять, почему оказался здесь. Поднявшись, я вышел в коридор. Пахло вареной курицей. Мне захотелось есть. Я направился в кухню.

За столом сидела Нина и читала книгу. Она подняла глаза.

Прислонившись к косяку, я молчал.

Она подошла ко мне и провела рукой по моему лицу.

— Как ты зарос!

Господи, какой дурак, какой дурак, подумал я и, притянув Нину к себе, уткнулся в ее волосы.

Нина усадила меня за стол и поставила передо мной тарелку с бульоном.

— Давно я здесь?

— Два дня.

— А ты?

— Тоже.

— Меня Гурам привез?

Нина кивнула.

Я ушел в ванную, сначала принял горячий душ, затем прохладный и стоял под ним до тех пор, пока не появилось желание побриться.

Я брился опасной бритвой — у Гурама были свои причуды — и сразу порезался, но не обратил на это внимания. Добиваясь, я снова порезался и выругался. Действие седуксена начинало проходить.

Нина лежала рядом со мной, и я целовал ее, но был бессилен. Я в изнеможении откинулся на подушку. Нина коснулась губами ранки на моем подбородке. Я обнял ее и вдруг вспомнил Нату. Меня передернуло.

— Тебе плохо?

Мне захотелось освободиться от воспоминаний и рассказать все, но в следующую секунду я вспомнил нашу ссору и ревность уничтожила раскаяние. Я представил, что она точно так же лежала с другим, точно так же ласкала и целовала его. Я сжал зубы и закрыл глаза, чтобы не выдать своих чувств.

— Тебе плохо, Сережа?

— Пройдет.

Гурам вернулся из клиники поздно вечером.

— Ну что, острый хандроз прошел? — спросил он.

— Разве есть такая болезнь?

Он рассмеялся.

— Только у тебя. От слова «хандра». Дети мои, я голоден.

Мы поужинали. Пока Нина мыла посуду, Гурам и я выкурили в гостиной по сигарете. Пришла Нина и села рядом со мной на диван.

— Что будем делать? — спросила она.

— Играть в карты, — сказал Гурам.

Мы играли в «дурака», и было удивительно весело. Нина все время подглядывала в мои карты, подыгрывала Гураму, и я, конечно, оставался в дураках. В одиннадцать Гурам сказал, что пора расходиться. Мы встали. Он неуклюже чмокнул Нину.

— Спасибо. Давно я так приятно не проводил вечера.

Нина смутилась.

— А рестораны? — отшутилась она.

— Рестораны? Это когда дома нет. А я, Нина, дом люблю. Ну ладно. Спать!

— Ты сможешь проводить меня? — спросила Нина.

— Конечно, — ответил я.

Провожать Нину не пришлось, потому что Гурам восстал, вы-

толкал нас в спальню, а сам остался в гостиной. Я зашел к нему минут через десять. Он лежал на диване и курил, поставив пепельницу на грудь.

— Что ты бродишь, как тень отца Гамлета? Почему ты оставил Нину?

— Она в ванной.

— Разве тебе не приятно ее ждать?

— Спокойной ночи.

— Спокойной.— Гурам погасил сигарету и щелкнул выключателем лампы. В комнате стало темно. Он что-то пробормотал.

— Что? — переспросил я.

— А то, что ты глуп.

— Наверно. Но почему?

— Он еще спрашивает! Ты полагаешь, любовь это одни эмоции, она не требует ума?

— Но любовь и есть эмоция, чувство.

Я ждал возражения Гурама. Он не отвечал.

— Ты заснул?

— Нет. Я не хочу вмешиваться в твою жизнь, но... Выбрось дурь из головы.

Омытые дождем кроны платанов на проспекте Руставели сверкали свежестью.

Вода на тротуаре не успела испариться, и в каждой луже был свой кусок солнца.

Нина держала меня под руку, и ее плечо прижималось к моему.

Мимо нас прошли две некрасивые девушки.

— О, любовь, любовь! — сокрушенно произнесла одна из них погрузински.— Ты только посмотри на них!

— Любовь, любовь... Что она еще сказала? — спросила Нина.

— Что ты прижимаешься ко мне.

Нина отстранилась. Я взял ее руку и положил на свою.

— Она просто позавидовала мне. Правда? — сказала Нина.

— Еще бы не позавидовать. Прижиматься к человеку, у которого все в будущем, зато нет ничего в настоящем.

— Не ты внушал мне, что будущее произрастает на настоящем?

Мы поравнялись с «Водами» Лагидзе.

— Пойдем, поедим хачапури.

Мы ели хачапури и запивали мятной водой. Нина была задумчива.

— О чем ты думаешь?

— О том, что ты все мог бы иметь сегодня. Захотел бы только.

Мне это не понравилось. Нина торопливо сказала:

— Сами по себе деньги, вещи для меня не имеют ценности. Ценности стоят за ними.

— Что же за ними стоит?

— Уверенность, спокойствие, настроение, наконец, благополучие.

— Я не бессребреник, Нина. Наверно, я мог бы иметь если не все, то многое. Собственно, я хочу иметь все. Но нельзя перебегать с одного пути на другой, потому что он короче к благополучию.

— А если избранный путь ведет здесь в никуда?

Я усталился на нее. Она спохватилась.

— Я просто спрашиваю.

— Никакое стремление к благополучию не заставит меня заниматься тем, что мне не нравится. Я не собираюсь приобретать благополучие за счет предательства.

— Предательства? О чем ты говоришь?!

— Почему ты удивляешься? Предают не только другого. Предают и самого себя.

— Удивляюсь потому, что ты вдруг не понимаешь меня. Я хочу только одного — твоего спокойствия. Хочу, чтобы ты писал. На твоём театре свет клином не сошелся...

С улицы стучал в стекло Эдвин. Он помахал нам рукой.

— Разве он не уехал в Армению? — спросил я.

— Отложил поездку, — ответила Нина.

— Из-за тебя?

— Он весь в каких-то делах.

Эдвин вошел в зал, прихватил свободный стул и уселся за наш стол.

— Привет вам! — сказал он.

Я предложил ему хачапури. Он отказался и стал молча глядеть на Нину. Я поднялся и принес ему хачапури, надеясь, что это отвлечет его от Нины.

— Спасибо, — Эдвин принялся за еду. — Очень вкусно!

Я терпеливо ждал, пока он покончит с хачапури. Нина с тревогой поглядывала на меня.

— Мне пора в поликлинику, — сказала она.

Мы встали, и Эдвин вызвался отвезти нас. Машину он снова одолжил у знакомого.

Пропустив вперед Нину, он шепнул:

— Надо поговорить. Без дураков.

Мы отвезли Нину и возвратились в центр.

— Слушаю, — сказал я.

— Я буду говорить жестокие вещи. Так что не сердитесь, — предупредил Эдвин.

— Постараюсь. Только Нины мы касаться не будем.

— Не получится.

— Нины мы касаться не будем!

— Тогда не стоит начинать разговора.

— А в чем, собственно, дело?

— Шота.

— Шота и Нина? — Я вспомнил домашние туфли. Голову стянуло обручем. — Этого не может быть!

— Нет, не Шота. Его друг. Вам неприятен этот разговор. Я предупреждал.

— Раз начали, продолжайте.

— Друг Шоты год назад был арестован. Из-за Нины. Он избил какого-то мужика, взглянувшего на нее не так, как у вас здесь положено.

— Дальше!

— Друг Шоты был другом Нины.

— Дальше!

— Шота говорит, что жизни у вас все равно не будет. Его друг выходит из тюрьмы через год. Шота предлагает вам уехать с Ниной. За ваши записи и фотоснимки он дает восемь тысяч.

— Почему этот подонок обратился именно к вам?

— Понравился я ему чем-то, вызвал доверие. Познакомились в одной компании и разговорились. Сукин сын, он хорошо осведомлен о вас, о нас с вами, вообще о многом. Знает даже, из-за чего я приехал сюда. Предположительно, разумеется.

— Из-за чего?

— Из-за Нины. Спокойно, Серго. У нас с Ниной ничего не было. Ничего! Только что-то затеплилось, появились вы...

Эдвин продолжал говорить, но я не слушал его. Я был в бешенстве. Мысли металась от Нины к Шоте.

Эдвин дотронулся до моего плеча.

— Что с вами, старина?

— Ничего, — сказал я. — Ничего особенного.

— Нельзя так терзаться из-за прошлого. Какое имеет значение,

что было в прошлом, до вас? Отсчет начинается с того дня, как вы встретили женщину. Вы ведь тоже не святой.

Разумом я прекрасно понимал это, но совладать с чувствами не мог и сожалел, что Эдвин заметил мои терзания.

— Вы действительно располагаете ценными сведениями? — спросил он.

— Раз предлагают восемь тысяч...

Эдвин задумался.

— Производство левых товаров? — спросил он.

— Афера с фондовыми товарами, точнее с тканями.

— Швейные фабрики отказываются от дефицитных фондовых тканей в пользу сторонних организаций, а торгово-закупочные базы направляют их в магазины?

— Вы тоже хорошо осведомлены.

— У меня есть друг в Министерстве внутренних дел СССР. Иногда кое-что рассказывает. Занимается хозяйственными преступлениями.

— И этим?

— Не знаю. Может быть, и этим. Кстати, вам кличка Князь ни о чем не говорит?

— Нет. А что?

— Ничего. Что сказать Шоте?

— Пошлите его к черту. Между прочим, Гурам так и сделал бы. Поэтому Шота и не пришел к нему. Ну ладно, я должен идти в редакцию.— Выйдя из машины, я попрощался.

— Серго, на вашем месте я все же изложил бы на бумаге известные вам факты, как просил подполковник Иванидзе.

— А об этом откуда вы знаете? Тоже от друга в Москве?

— Гурам сказал. Одно дело устное заявление, другое — письменное. Все же документ.

— Спасибо за совет.

Я не собирался воспользоваться советом Эдвина.

Глава 17

Нана куда-то торопилась, а ее статья стояла в номере, но не влезала в полосу. Нана объяснила, что мне следует сделать и что именно сократить в статье, проводила меня в типографию и умчалась.

В ожидании метранпажа я читал газеты за последние дни. Развернув воскресный номер, я изумился. На последней странице был напечатан рассказ Левана Чапидзе. Начало сразу заинтриговало: «Он не мог ходить в цирк. У него были на то свои причины. Но говорить о них внучке не стоило. Она была слишком мала». Рассказ строился на ассоциациях, и Левану удалось ювелирно соединить настоящее с прошлым. Но холодная расчетливость, с которой Леван вел повествование, трогала мозг, а не сердце. Интересно узнать впечатление Гарри, подумал я и взглянул на часы. Гарри, наверно, был уже дома.

Уладив все с метранпажем, я поднялся в редакцию, чтобы позвонить Гарри.

В отделе информации горел свет. Я взялся за ручку. Дверь оказалась запертой. Пьют, подумал я и повернулся, чтобы уйти. Дверь распахнулась. Я увидел Левана. Я ожидал, что он скажет «шпионите», но вместо этого услышал:

— Заходите.

В комнате сидели Гарри и Мераб.

— Юноша! — Гарри обнял меня, и я, к удивлению, не почувствовал запаха алкоголя.

— Гарри, не надо слез! — сказал Мераб и протянул мне руку.

— Ты нас совсем забыл, юноша, — упрекнул меня Гарри.

— Приболел немного,— объяснил я.

— Попросил бы соседей позвонить мне. Я бы хоть бульон сварил для тебя,— сказал Гарри.

— Думаете, за ним некому ухаживать? — усмехнулся Леван. Он усмехнулся доброжелательно. Весь его вид говорил, что он настроен доброжелательно, и я не понимал почему.

— Наверняка есть кому, но мне доставило бы удовольствие сварить для него бульон,— улыбнулся Гарри.

Леван защелкнул замок на двери.

— Продолжим.

Я полагаю, что на столе появится коньяк, но, к моему изумлению, Леван вытащил из ящика рукопись.

— Объясните нашему юному коллеге, что здесь происходит.

— Леван Георгиевич читает нам главы из своей повести,— сказал Гарри.

Глава, которую прочитал Леван, была скучной и торопливо написанной. Тем не менее Гарри и Мераб восторженно похвалили ее. Мы поднялись. Леван велел мне задержаться. Как только Гарри и Мераб ушли, он сказал:

— Вы знаете, что Мераб вскоре уедет на сессию в Москву? По возвращении Мераба Амиран уедет в санаторий.

Я не понимал, к чему он клонит. Еще недавно он собирался меня выгнать.

— Как у вас дела с пьесой?

Не знаю, что на меня нашло, но я откровенно рассказал ему о своих театральных мытарствах.

— Да, вам не позавидуешь.— Леван снял очки и, близоруко сощурившись, протер стекла.— Трудное это дело — творчество. И всегда неопределенность. Примут — не примут. Нет, нам не позавидуешь. Каждый вечер я пишу до часу, до двух, а нужно ли мое творчество кому-нибудь, одному богу известно.

— По-моему, оно нужно прежде всего вам.

— Тогда почему вы считаете, что ваши дела с пьесой плохи? Вы написали пьесу, выразили себя. Успокойтесь на этом.

— Пьеса требует постановки. Иначе не узнаешь, получилась она или нет.

— А проза требует чтения. Без читателей не существует писателя.

— Вы много написали?

— Почти половину.

— Не лучше ли было бы написать серию рассказов? Их охотнее берут журналы. Для повестей и романов не хватает места.

— Знаю. Слишком много времени я потерял. Мне уже сорок два. Надо наверстать упущенное. Имя я могу сделать только крупной вещью. Опубликуют повесть, вернусь к рассказам. Кстати, вы читали мой последний рассказ в воскресном номере газеты?

— Нет. Я не читал газет во время болезни.

— Я его написал на одном дыхании вот за этим столом. Любопытно услышать ваше мнение. Гарри и Мерабу я до конца не доверяю.

— Они, по-моему, хорошо к вам относятся.

— Вот поэтому и не доверяю до конца.— Леван встал и выпил воды.— Что у вас произошло на швейной фабрике?

У меня перехватило дыхание.

— Я должен знать все, раз вы будете у меня работать,— сказал Леван.

— Разве вопрос уже решен? — спросил я, гадая, каким образом Леван узнал о фабрике.

— В принципе. Так что произошло?

— Долго рассказывать.

Леван взглянул на часы.

— Отложим до другого раза. При случае плесните вином в этого борова Шоту еще раз.

Я облегченно вздохнул. Леван знал о моем столкновении с Шотой в кафе, о чем ему могли рассказать официантки. Но почему он связал конфликт с фабрикой? И почему он так резко изменил отношение ко мне? Неужели он полагал, что я могу поднять руку только на него, а таких, как Шота, испугаюсь? Прощаясь, я пожелал ему удачи.

— Идите к черту,— сказал он.

На улице меня ждал Шота. На нем был полосатый, как матрац, пиджак, из верхнего кармана которого торчал красный платок. Пижон, подумал я и сказал:

— Привет, Князь.

Я назвал его Князем без всякой задней мысли, точнее, с подспудной мыслью уязвить. Большого позволить себе я не мог, хотя было огромное желание затащить его в пустой и темный тупик, где днем парковались редакционные машины, и как следует отделать. Я помнил разговор с Эдвином, но не связывал с ним клички Князь.

Шота вздрогнул и сказал:

— Привет журналистам.— Он даже не улыбнулся.— Поехали.

Улыбнулся я.

— Куда, Князь?

— К Марье Петровне.— Он острил.

Если меня ожидает опасность, он не приехал бы один, подумал я.

— Поехали.

Шота свернул на Элбакидзе, и машина покатила под гору, набирая скорость.

— Потихе, Князь!

Он и не думал притормаживать.

— Хотите отправиться на тот свет? — сказал я.

— На тот свет я тебя отправлю. В последний раз предупреждаю — успокойся. Допрыгаешься.

— Угрозы пошли в ход?

Машина проскочила мост, повернула налево, на Плехановский проспект, затем еще раз налево, в какой-то переулок, пересекла трамвайные пути, выехала на тихую зеленую улицу и вскоре встала у массивного трехэтажного дома с изразцами.

— Приехали,— сказал Шота.

— Куда, если не секрет? — спросил я.

— До сих пор ты не боялся,— ответил он и вылез из машины.

— Я и сейчас не боюсь,— соврал я, выходя из автомобиля. Я оглядел дом. Венецианские окна. Застекленная парадная дверь с бронзовой ручкой. Очевидно, он принадлежал до революции богатому купцу. Квартиры в таких домах слишком дорогие, чтобы в них жила всякая шваль, вроде Гочо-поросенка. Нет, здесь не могли убить.— Просто я хочу знать, на что иду.

— Санадзе ждет.

Комната, в которую меня провел Шота через полутемный коридор, оказалась кабинетом. За письменным столом в вертящемся кресле восседал Георгий Санадзе. Он просматривал иллюстрированный журнал.

— Прощу,— сказал он мне и бросил Шоте: — Иди.

Шота молча повиновался и осторожно закрыл за собой дверь.

— Угрожал? — спросил Санадзе.

— Угрожал,— ответил я.

Он встал, не выпуская из рук журнала, приоткрыл дверь и позвал:

— Шота!

Шота вернулся.

— Я тебе что говорил? Сейчас же извинись!

— Извините,— сказал мне сквозь зубы Шота и вышел.

Кабинет был обставлен резной мебелью, вокруг низкого стола, на котором возвышалась полная фруктов фарфоровая ваза с амуриками, стояли мягкие кресла и диван. С потолка свисала хрустальная люстра, затянутая марлей. Легко представить, как обставлены другие комнаты, подумал я.

— Последний номер «Америки»,— сказал Санадзе и постучал пальцем по журналу.— Обманывают нас. Обманывают, но ловко, с умом. Видно, крепкие парни у них работают.— Он бросил журнал на письменный стол.

— Да уж, наверно, не дураки,— ответил я и чуть не рассмеялся. На блестящем новизной столе лежали старые бухгалтерские счета. Видимо, он проводил за ними не один час, стуча костяшками, подсчитывал расходы и доходы, не мог обходиться без счетов, раз держал под рукой и на видном месте.

Санадзе кинул на меня взгляд, взял журнал и положил его на счета. Потом он сказал:

— Вам, конечно, лучше знать, но, если вы меня спросите, они пишут хорошо. Логично пишут. Я не говорю об идеологии. Я имею в виду мастерство. У нас так не умеют писать. У них статьи как организм человека. Сначала голова, потом все остальное — тело, руки, ноги. А у нас? Возьмите любую газету. В каждой статье самое интересное, важное в конце.

Он размеренным шагом ходил по ковру и спокойно излагал свои взгляды, впрочем, не лишённые здравого смысла.

— Согласны со мной? — спросил он.

— В принципе, согласен. Но, насколько я понимаю...

Он не дал мне договорить.

— Почему мы стоим? — Властным жестом он указал на кресло и, когда мы сели, спросил: — Может, коньяку?

— Нет, благодарю.

— Я слышал, что вы мало пьете, больше работаете. Похвально. Не обижайтесь. Говорю вам, как отец. Вы ведь отца давно лишились...

— Вижу, вы собрали сведения обо мне.

Он улыбнулся.

— Вы обо мне, я о вас. Как ваши дела с театром? Может, надо помочь?

Господи, он и до театра добрался, подумал я и сказал:

— Давайте перейдем к делу.

— Разве мы говорим не о деле?

— Перейдем к делу, из-за которого вы меня вызвали.

— Эх, молодые, молодые! Нетерпеливые, горячие. Торопитесь, будто не нам, старикам, а вам мало отпущено в жизни. Мудрые люди говорят: «Торопливость гневит бога и тешит дьявола». Прислушайтесь к этим словам, сынок. Я вот обрадовался, когда вы сказали, что согласны со мной. А почему? У меня с младшим сыном вышел спор. Не то чтобы мы сильно поспорили, не может быть в порядочной семье такого, чтобы сын не чтил отца, не уважал его мнения и не прислушивался к отцовским словам, но чую, у меня нюх старого волка, не смог я убедить мальчика. А он хороший сын...

Знал бы Санадзе, что его хороший сын заядлый картежник. Но что родители знают о детях!

— Дали ему в университете практическое задание — написать статью. Написал. Я проверил. Не понравилось мне. Он написал так,

как пишут в газетах. Я сказал ему: «Мальчик мой, если ты будешь идти по проторенной дорожке, грош тебе цена в базарный день». Долго мы с ним говорили, и как будто убедил я его, а через неделю он гордо сообщает мне, что получил за свою статью самую высокую оценку в группе. Чему там учат, в вашем университете? Не нужно мне, чтобы мой сын газетным трафаретчиком стал. У него хороший язык, задатки хорошие. Его способности направить, развивать надо. К чему это я говорю? Мальчику нужен учитель. Не из университета. Нет. Из газеты. Знаете, как раньше было? Если отец хотел, чтобы его сын стал, скажем, портным, он отдавал его в ученики хорошему мастеру. Так вот я и подумал, что вы могли бы помочь мне и взять на воспитание моего мальчика.

Я не ждал такого поворота и растерялся. Он заметил мою растерянность и тут же воспользовался ею.

— Иногда, один раз в два месяца, пусть его печатают. Для стимула. Гонорар меня не интересует. Я сам буду платить гонорар. За деньгами дело не станет. Сколько надо, столько и буду платить. Вы только дайте согласие, сынок.

Как только он заговорил о деньгах, моя растерянность исчезла. Я больше не видел в нем отца, озабоченного судьбой сына.

— Для начала я предлагаю сто рублей в месяц и еще сто за каждую статью, — сказал он. — Думается, условия хорошие, сынок.

Я долго не мог понять, почему они взяты со мной. Шота оставлял меня в покое лишь на время, очевидно, на то время, когда совершал вояжи по городам нашей необъятной страны. Теперь меня увещевал его хозяин, и я понял почему. Любыми средствами вынудить человека отступиться, перетянуть его в свой стан, обратить в свою веру. Их вера — деньги. Человек слаб. Деньги — всемогущая сила. Чем больше приверженцев, тем сильнее апологеты этой веры. Проповедникам всегда было тяжело дышать. Их душили. А они хотят дышать легко и свободно. Не только сегодня, но и завтра. Они думают о будущем. Пусть сегодня я внештатный корреспондент, но завтра могу стать заведующим отделом, а послезавтра — главным редактором. Они в самом деле раковая опухоль с метастазами...

— На вашем месте я не тратил бы таких денег на студента. У него и так будет практика в газете. Бесплатно.

— Что, сынок, о моих деньгах начали беспокоиться?

— Нет. Просто честно сказал, что думаю.

— Спасибо, сынок, за честность. Я ценю твою прямоту и тоже скажу тебе честно — деньги у меня есть. Но деньги должны иметь предназначение, то есть они должны находиться в движении. Когда деньги лежат без движения, они теряют свою ценность и превращаются в мертвый капитал. Пусть мертвыми будут наши враги.

— Один из ваших врагов уже мертв.

В глазах Санадзе мелькнула тревога.

— Не один, слава богу. Я, сынок, назову десяток человек, которых бог наказал за то, что они хотели навредить мне. Бог, очевидно, не терпит тех, кто против меня. Он оберегает меня. Но сейчас речь о другом. Сейчас мы говорим о моем мальчике.

Я нетерпеливо взглянул на часы. Санадзе повелительно вскинул руку.

— Одну минуту. Я закончу свою мысль.

Меня задел его тон. Я не сомневался, что эта повелительность, жесткость выработана годами в общении с такими же, как он. Несомненно было и то, что ему не возражали, не смели возражать, и эта жесткость вошла в его кровь и плоть, стала неотделима от него, иначе не разговаривал бы он так с человеком, который мог в один день разрушить то, что строилось годами и называлось на обывательском языке домом.

— Давайте перейдем к делу. Мне некогда.

— Невежливо, сынок, перебивать старшего. О тебе говорят, как о воспитанном молодом человеке. Извини, что я так много внимания уделяю своему сыну. Когда станешь отцом, поймешь меня. Так вот, я хочу, чтобы мои сыновья выросли настоящими людьми. Я всю жизнь гнул спину, не щадил себя во имя будущего детей. Базу я создал. Теперь хочу свои деньги перевести в новое качество, в знания своих мальчиков. Я хочу и сделаю это независимо от того, захочешь ты, сынок, помочь мне или нет. Если захочешь, в выигрыше будем мы оба.

— Вы же знаете, что не захочу. Зачем время зря тратить?

Санадзе пристально смотрел на меня. Я не отвел взгляд.

— Хорошо,— наконец сказал он, пересел за письменный стол и убрал со счетов журнал.— Что у вас есть против меня? — Он щелкнул костяшкой на счетах.— Первое?

— Карло Торадзе,— сказал я.

— Второе? — он щелкнул еще раз.

— Младший лейтенант милиции.

— Третье? — еще одна костяшка.

— Разве этого недостаточно?

— Теперь я скажу. Я наслышан о судьбе Карло Торадзе. О вашем желании помочь ему — тоже. Похвально. Может быть, вам удастся ему помочь. Правда, умные люди говорили мне, что это безнадежно. Но дело ваше. Что касается меня, то я Карло Торадзе знать не знаю, в глаза никогда не видел. Это первое.— Он отбросил одну костяшку назад.

— Вы и к швейной фабрике не имеете отношения?

— Нет.

— А если я докажу?

— Тогда и приходите.

— Договорились.— Я встал.

Он жестом остановил меня.

— Мы не закончили. О каком лейтенанте речь? Поясните.

— О младшем, который три года назад повесился в воскресное летнее утро, привязав к решетке камеры скрученную рубашку.

— Вы, корреспонденты, любите придумывать всякие истории.— Санадзе резко отбросил на счетах еще одну костяшку.— Это второе. Сынок, почему ты так настроен против меня? Объясни, чтобы я понял. Разве я тебе сделал что-нибудь плохое?

Как я мог объяснить, что не имеет никакого значения, кому он сделал плохое, объяснить так, чтобы он понял?!

— Ладно,— сказал он и встал.— Велеть Шоте отвезти вас или сами доберетесь?

— Сам доберусь.

Он проводил меня до дверей.

— Ты бы мог выйти отсюда богатым человеком,— со вздохом сказал Санадзе на прощание.

Глава 18

Марнеули — самый смелый из городишек Грузии, называющих себя городами. Этот поселок так и не вырос с тех пор, как его возвеличили до районного центра.

Получив место в гостинице, пропахшей дустом, я направился в райком партии в надежде на поддержку. В чужом городе больше неоткуда было ждать помощи.

Открыв дверь кабинета, я увидел за столом Галактиона Гегешидзе, бывшего комсомольского вожака университета. Мы не виделись четыре года. Гегешидзе вскинул голову. Брови у него, как

всегда, были нахмурены. Когда он сердился, левая бровь задиралась вверх, а правая опускалась вниз, почти закрывая глаз.

Он смотрел на меня и улыбался. Его брови медленно разглаживались.

— Что вы тут делаете, товарищ Гегешидзе? — сказал я.

— Я тут, между прочим, работаю. А вы что здесь делаете, товарищ Бакурадзе?

— Да вот приехал.

— Заходи, прощающая душа!

Галактион встал. Худой и длинный, как шест, он навис надо мной. Мы обнялись.

— И давно ты здесь?

— Почти два года.

Я оглядел застекленные шкафы. На полках лежали початки кукурузы, пшеничные колосья, картофелины.

— Нравится?

— Нравится. Шавгулидзе по старой памяти зовет к себе. Говорит, ему нужны честные, принципиальные люди. А разве на партийной работе нужны другие? — усмехнулся Галактион. — Я этот район вытяну в самые передовые в республике. Здесь такое будет! Через год производство кукурузы увеличим на двести процентов, производство зерновых — на сто восемьдесят. Хочу создать животноводческий комплекс на промышленной основе. До Тбилиси рукой подать. Затопаю столицу молоком. И мясом обеспечу. Еще одна идея есть — теплицы. Круглый год будем снимать урожай огурцов и помидоров. Ты знаешь, я в Италии и во Франции был. Скажу тебе откровенно, кое-что я у них перенял. Ну, хватит о районных делах. Я могу рассказывать до утра. Слушай, а где ты остановился?

Через минуту он уже звонил в гостиницу и, несмотря на мои протесты, велел предоставить мне люкс.

— Ты приехал, чтобы написать о районе?

— Нет, Галактион. — Я коротко рассказал о цели приезда.

— Махинаторы!

— Махинаторы? Они убирают всех, кто становится им на пути. Они засадили в тюрьму ни в чем не повинного инженера Карло Торадзе, представив дело так, будто он похитил со швейной фабрики ткань на шестьдесят тысяч рублей. Парень вернулся в Тбилиси из Иваново, где работал на текстильной фабрике инженером, вернулся на свою голову. Толковый, башковитый, он быстро разобрался, что к чему, и брякнул о своих наблюдениях директору, не подозревая, что тот запутался в жизни, оступился когда-то и дельцы крепко держат того в руках. С этим директором отдельная история. Представляешь, у него грудь увешана орденами и медалями. В мирной жизни он оказался трусом. Самым настоящим трусом. Он однажды смалодушничал, и пошло. Чем дальше, тем глубже влезал в грязь. Знаешь, почему он смалодушничал? Потому что больше всего на свете боялся замарать свое честное прошлое. Опасаясь огласки, он умолчал... Воевать с фашистами ему было легче, чем с собой.

— Почему с собой?

— А как же?! Сначала надо победить в себе страх.

— Думаешь, на фронте он не побеждал в себе страх?

— В том-то и дело, что побеждал. Но то на фронте. На войне перед тобой враг и наше дело правое. А здесь вроде бы все свои... Не могу я понять психологию этого человека. Пытаюсь, но не могу. Если бы на войне ему кто-то предложил изменить родине, да он разрядил бы в того пистолет. Ну, чем внутренние враги лучше внешних? Хуже, страшнее. Пятая колонна. Разве потакать им не означает измену родине?! Ничего не могу понять. Что произошло? Как они могли народиться? Нашему народу никогда не было свойственно делячество. Коммерция всегда у нас считалась занятием низким. Че-

стность, гордость, щепетильность, может быть, чрезмерная, но зато не допускающая никаких компромиссов,— вот что нас отличало.

— И отличает! — сказал Галактион.— Отдельные личности не могут изменить лица народа.

— Знаешь, Галактион, у русских говорится: «Ложка дегтя портит бочку меда».

— А у нас говорится, что лучше зажечь маленькую свечку, чем проклинять тьму.

— Вот я и зажег ее, иначе не приехал бы сюда.

Я подробно рассказал Галактиону о Карло и о том, что с ним произошло.

— С чего начнем? С милиции.— Он схватил телефонную трубку.

— Нет, Галактион.

Он удивленно повесил трубку.

— Ну говори, не стесняйся.

— В городе есть спекулянты?

Хута Киласония, размазывая слезы по небритым щекам, сказал:

— У меня четверо детей. Пожалейте.

— А у меня трое. Ты меня тоже пожалей,— сказал Галактион.— Выкладывай все, что знаешь. Ты уже полчаса ходишь вокруг да около. Выложишь все, пойдешь домой.

— Ладно. В тот день, шестнадцатого января, ближе к вечеру, привезли «Ариадну» на шестьдесят тысяч рублей.

— Откуда вы знаете, что на шестьдесят тысяч? — спросил я.

— Слышал,— ответил Киласония.

— Где слышал? От кого слышал? — подхватил Галактион.

— В пятом магазине.

— Это около базара. Бойкое место,— объяснил мне Галактион.— Киласония, что ты там делал?

— Зашел в магазин случайно.

— Случайно зашел в магазин, случайно узнал, что привезли ткань, случайно узнал, на какую сумму! — Галактион начал сердиться.— Не заставляй меня задавать наводящие вопросы! Я тебе не следователь. Рассказывай все толком.

— Клянусь детьми, вечером я случайно зашел в магазин! Мшвениерадзе, директор, увидел меня и говорит: «Может, завтра ты мне понадобишься». И заковывал в кабинет. Я завсекцией спрашиваю, зачем это я понадобился. Тот и отвечает, что привезли «Ариадну» на шестьдесят тысяч рублей. На следующее утро Мшвениерадзе прислал за мной человека. Было около десяти часов. Я как раз завтракал.

— В десять утра? В это время приличные люди находятся на работе! — сказал Галактион.

— У меня вторая группа инвалидности.

— Знаю я твою инвалидность. Дальше?

— Дали лоток. Целый день торговал на базаре.

— Были еще лотки? — спросил я.

— Нет.

— Ткань, надо полагать, продали всю?

— Всю, конечно.

— Не хочешь ли ты сказать, Киласония, что марнеульцы купили ткани на шестьдесят тысяч рублей? — не выдержал Галактион.

— Почему марнеульцы? Часть продали, часть отправили в села.

— Где хранили ткань? — спросил я.

— Не знаю.

— Ах, не знаешь! — сказал Галактион.— Ладно, Киласония. Сейчас отправлю тебя в милицию. Там ты наверняка все вспомнишь.— Он схватил телефонную трубку.

Я взял у него трубку и положил на аппарат. Киласония посмотрел на меня как на спасителя.

— «Ариадну» привезли в Марнеули шестнадцатого января примерно в шесть вечера, за час до закрытия. Так? — сказал я. Киласония настороженно кивнул. — Торговать тканью начали семнадцатого января. Значит, целую ночь товар где-то хранился. Вы на какую сумму реализовали ткань?

— На девять тысяч с рублями.

— Если с лотка было продано столько, то магазин, должно быть, выручил вдвое больше. Допустим, общая сумма составила тридцать тысяч рублей. Это значит, что в Марнеули было оставлено около двух тысяч метров «Ариадны», то есть пятьдесят рулонов. Так где их хранили ночью?

— На складе.

— Ты хочешь сказать, что твои магазинщики круглые идиоты? — взорвался Галактион. — Только кретины будут хранить на государственном складе ворованную ткань! Не крути, Киласония. Вспомни, что у тебя трое детей.

— Четверо, уважаемый.

— Тем более.

И тут только я сообразил, что Киласония не оспаривает, что ткань ворованная.

— Держать на складе ворованный товар, согласитесь, неразумно, — сказал я ему.

Он механически кивнул. Мое спокойствие, контрастируя с горячностью Галактиона, определенно действовало на него.

— Может быть, ткань прятали у вас дома? — спросил я.

— Нет, клянусь детьми, нет!

— А-а, прятали все-таки! — обрадовался Галактион. — Где? Не хочешь говорить? Мое терпение кончилось. — Он опять взялся за телефонную трубку. — Где ваш начальник? Подошлите в райком следователя. — Галактион повесил трубку. — Что, Киласония, доигрался? В милиции тебе быстро развяжут язык. Убирайся в приемную.

Киласония замер. Он даже не утирал слез.

— Иди, иди, — брезгливо махнул рукой Галактион.

Вдруг Киласония мелко перекрестился.

— Ты что, в церкви или райкоме партии, негодяй?!

— У двоюродного брата Мшвениерадзе в сарае хранилась ткань, — выдохнул Киласония. — Теперь я могу идти домой?

— Фамилия, адрес? — быстро спросил я.

— Коберидзе, Кавалерийская, два, — сказал Киласония. — Теперь я могу идти?

Я хотел его спросить, не тбилисский ли это Коберидзе, но раздумал. Мало ли Коберидзе на свете.

— Теперь можешь, — сказал Галактион. — Пауки в банке!

Киласония в мгновение ока оказался у двери.

— Постой, Киласония, — сказал Галактион. — Как это ты до сих пор не попался? Взятки даешь?

— Даю, уважаемый. Попробуй не дай. С землей сровняют.

Галактион побелел.

— Ладно. Иди. — Минуту он сидел, нахмутив брови. — Поехали к Коберидзе.

Мы поспорили. Я пытался убедить Галактиона, что ему не следует ехать.

— Да не подобает секретарю райкома ездить к жуликам, пойми ты, в конце концов! Подумай о своем авторитете!

— У тебя ложное представление о функциях секретаря райкома. Тем более о его авторитете. Хватит, Серго, тратить время на пустые разговоры. У меня дел по горло.

— Прекрасно! Занимайся своими делами.

— Ты что здесь распоряжаешься? Не знает ни города, ни дороги, ни людей, ничего не знает, а распоряжается!

Дверь распахнулась. На пороге стоял гренадерского роста майор милиции.

— Вызывали? — спросил он Галактиона.

— Следователя. Не доверяешь подчиненным?

— На вызов секретаря предпочитаю ездить сам.

— Твои подчиненные берут взятки. Знаешь об этом?

— Знал бы, принял бы меры.

— Вот и прими. Шавгулидзе для того тебя и назначил сюда. Познакомься. Это Серго Бакурадзе. Корреспондент из Тбилиси.

Майор протянул огромную руку:

— Заал Берулава.

— Все. Пора ехать, — сказал Галактион.

— Есть, — вытянулся Заал.

Он даже не спросил, куда и зачем. Странно, что не взял под козырек, подумал я.

Кавказская овчарка гремела цепью и задыхалась от злости.

Мы стояли у невысокого забора, ожидая, что кто-нибудь выйдет из двухэтажного кирпичного дома. Справа от дома под сенью старого ореха, к которому была привязана собака, вытянулся сложенный из речного булыжника сарай с плотно пригнанными воротами и черепичной крышей. В таком сарае можно было хранить что угодно, не опасаясь сырости. Но на что мы надеялись? Верней, на что надеялись Галактион и я? Ведь прошло столько времени. Даже о следах не могло быть речи.

Заал не выразил никаких чувств, когда узнал, зачем мы едем к этому двухэтажному особняку на пригорке у окраины города, и сейчас, стоя рядом с нами на солнцепеке, равнодушно ждал, надвинув козырек фуражки, чтобы не слепило глаза. Типичный служака — ему сказали, он выполнил, раздраженно подумал я.

Дверь дома наконец приоткрылась. На крыльцо вышел лысый мужчина в рубаше и кальсонах. Это был тбилисский Коберидзе, бывший начальник швейного цеха.

Заал помахал ему рукой.

— Спускайся, спускайся.

Я с удивлением взглянул на Заала, не поняв, как он мог увидеть Коберидзе. Козырек прикрывал половину лица майора.

Коберидзе осторожно, бочком, словно не доверяя лестнице, поставил желтую, как старая слоновая кость, стопу на гранитную ступень, потом другую и так спускался к нам, пока Заал не сказал:

— Поторопись немного и уйми собаку.

— Замолкни, Отелло! — прикрикнул Коберидзе на овчарку.

Заал невозмутимо велел:

— Открой калитку.

Овчарка рычала, и Коберидзе, еще раз прикрикнув на нее, отворил калитку.

— Давно не виделись, — сказал я. — Как поживаете?

Коберидзе не ответил.

— Дома есть еще кто, или ты один? — спросил Заал.

— Один. Какое дело привело вас в такую жару?

— Отвяжи собаку и убери ее подальше от сарая. Пока я здесь, охрана сарая обеспечена.

Коберидзе медлил.

— Ты слышал, что я сказал?

Коберидзе подошел к собаке и, отвязывая ее, предупредил:

— Я могу не удержать ее.

Заал сдвинул фуражку на затылок и усмехнулся.

— Старый шутник!

Коберидзе не думал шутить. Он спустил овчарку.

Все произошло так быстро, что я не успел даже подумать, как защититься от надвигающейся на меня мохнатой громады. Возможно, овчарка летела на Галактиона, а возможно, на Заала, но мне казалось, что ее разинутая красная пасть нацелена на меня.

Заал уложил собаку одним выстрелом. Потом он подошел к Коберидзе, замахнулся, но не ударил, сунул пистолет в кобуру и крикнул:

— Убери собаку!

Коберидзе взял собаку за лапы и потащил за сарай, оставив на траве темно-красный след.

На выстрел сбежались соседи.

— Нехорошо получилось,— сказал Галактион.

Заал сердито взглянул на него.

— Какая надобность была ехать в этот проклятый дом? И так все известно.

— Что известно? — спросил Галактион.

— Все.— Заал пошел к дому.— Мне надо позвонить прокурору.

Следственно-оперативная группа обнаружила в сарае четырнадцать рулонов «Ариадны» и, закончив с сараем, перешла вместе с прокурором и понятными в дом. Я терялся в догадках, те ли это рулоны, которые грузили в машину на швейной фабрике при мне, но не решился задавать вопросы Заалу.

Он сидел на пне в тени ореха и смотрел на одиноко парящего в голубом небе коршуна.

— У тебя нет впечатления, что мы разрушили планы Заала? — спросил я Галактиона.

— Есть, Серго, есть,— ответил Галактион и горячо добавил: — Не признаю я никаких планов, если невиновный человек томится в тюрьме! К черту такие планы!

Заал встал и медленно подошел к нам.

— Не думал, что все так обернется. Как этот негодяй ухитрился завезти ткань? — сказал он.— Придется арестовать не только Коберидзе, но и Мшвениерадзе с пособниками.

— Придется?! — вскипел Галактион.

— Придется,— ответил Заал.— Я не имел права арестовывать их. Проводится крупная операция. В масштабах республики, а может быть, в масштабах Союза. Вынужден буду докладывать министру.

— Операция в масштабах республики! Что значит судьба одного человека в масштабах республики, тем более Союза?! Знаешь ли ты, Заал, что честный парень, хороший специалист, пока вы проводите свою крупную операцию, сидит в тюрьме из-за таких, как этот Коберидзе?

— Нет,— сказал Заал.

— Ты не слышал о Карло Торадзе, инженере с тбилисской швейной фабрики?

— Нет же. Я ограничен районом.

— Серго тебе все расскажет. А ты помоги ему во всем, что касается Карло Торадзе. Шавгулидзе я тоже позвоню.

Я был ошеломлен. Я даже мысли допустить не мог, что веду параллельное с милицией расследование.

На следующий день после ареста Коберидзе, Мшвениерадзе и его подручных я располагал подтверждениями невиновности Карло. Я собрался покинуть Марнеули и на прощание зашел в райком.

В кабинете Галактиона у окна, закрывая чуть ли не весь проем, стоял удрученный Заал.

— Видишь ли, Серго, какая история,— сказал Галактион.— Заал получил выговор от министра. Завтра в Марнеули приезжает представитель МВД то ли республики, то ли Союза.

— Ты не звонил Шавгулидзе? — спросил я.
— Звонил. Боюсь, что тебе не разрешат использовать материалы следствия.

— Может быть, мне дождаться представителя МВД?
— Дождись, конечно.
— Это ничего не даст, — сказал Заал.
— Какой же выход?
— А вот какой. Напечатай в газете статью о Карло Торадзе, — сказал Галактион. — Я бы так поступил.
— Я же поставлю под удар Заала.
— Придется выбирать, что важнее. Заал, ты как считаешь?

Это был запрещенный прием. Заал и без того нарушил служебную дисциплину. Не говоря о преждевременных арестах, он представил мне материалы следствия, хотя и не имел на это права. Более того, он ответил на многие мои вопросы. Обнаруженные в сарае Коберидзе рулоны «Ариадны» были завезены накануне. Налаженную систему Санадзе его компаньоны подрывали изнутри. Благодаря безнаказанности они стали заниматься и хищением. Я считал, что Заал помог мне, не желая портить отношений с первым секретарем райкома партии. Но как бы то ни было, его поступок стал проступком, за который он, несомненно, поплатился бы. Поэтому я сказал Галактиону:

— Не надо ставить Заала в неловкое положение.

Какова же была моя радость, когда Заал сказал:

— Дело сделано. Чего останавливаться на полдороге?!

Галактион собирался в колхозы. Я спросил, можно ли поехать с ним, чтобы собрать материал о колхозниках.

— Конечно, — ответил он.

Я решил остаться на день-другой.

— Когда ты приедешь? — сразу спросила Нина, когда поздно вечером я позвонил ей из гостиницы.

— Через два дня.

— Еще целых два дня! Можно я приеду к тебе?

— Об этом не может быть и речи. Объясни, что произошло?

— Мне тоскливо и одиноко.

— Как же, как же!

— Не передразнивай меня. Я давно так не говорю.

— Ладно, вернусь завтра вечером.

— Завтра так завтра.

Нина повесила трубку прежде, чем я пожелал ей спокойной ночи.

— Закончили? — спросила телефонистка.

— Закончили, — сказал я, не сомневаясь, что она подслушивала.

У меня остался неприятный осадок от разговора. Чем больше я думал о нем, тем тревожнее становилось на душе. Что-то произошло, явно что-то случилось, сказал я себе и снова заказал Тбилиси. Через десять минут телефонистка сказала:

— Номер не отвечает.

Я позвонил Галактиону. Он ответил сразу, и я обрадованно сказал:

— Ты не спал?

— Почему не спал? Спал.

— Извини.

— Ничего, ничего. Что-нибудь случилось?

— Здесь нет. Но в Тбилиси... Словом, мне надо ехать.

— Темень на улице. Хоть глаз выколи. Дождись рассвета.

— Не могу. Надо ехать сейчас.

— Ладно, подошла машину.

— Спасибо за все.

Лифт не работал. Я взбежал по лестнице и нажал на кнопку звонка. За дверью была тишина. Тревожась все больше и больше, я позвонил еще раз, а потом звонил, не отрывая пальца от кнопки.

— Кто? — раздался наконец за дверью испуганный голос Нины.

— Это я.

Нина открыла дверь и, бросившись мне на шею, зарыдала.

— Что случилось? Что произошло? Где ты была?

Она не могла говорить. Я усадил ее на диван.

Телефонный аппарат был накрыт подушкой.

— Кто тебе звонил?

— Шота...

— Что он сказал? Что он хотел? Отвечай!

— Я не могу повторить...

— Он шантажировал тебя?

Нина кивнула.

Я вскочил. Она ухватила за мой пиджак.

— Куда ты?

Я оторвал ее от себя и бросился к двери.

Выбежав на улицу, я остановил фургон, в котором перевозят хлеб.

Я нашел квартиру Шоты и позвонил. Прошло, наверно, минут пять, прежде чем женский голос спросил:

— Кто вам нужен?

— Извините за беспокойство, нужен Шота.

В ожидании я слушал собственное сердце.

За дверью раздался голос Шоты:

— Кто там?

— Серго Бакурадзе.

— Другое время не нашел? Завтра приходи.

— Открой, дело срочное. Я только что вернулся из Марнеули.

Шота открыл. Он был в шелковом халате, небрежно перехваченном поясом с кистями.

— Ты никак не успокоишься,— сказал Шота, выходя на площадку и неплотно прикрывая дверь.

— Характер такой,— сказал я, потянув на себя дверь. Щелкнул замок.

— Зачем закрыл дверь?

— Чтобы жена ничего не слышала.

Он открыл рот, но не для ответа, а для того, чтобы схватить воздух, потому что правой рукой я ударил его в поддых. От удара левой голова Шоты глухо стукнулась о стену, и он привалился к бетонной плите, стараясь удержаться на ногах. Я и не хотел, чтобы он терял сознание и падал. Я бил его не сильно, с холодным расчетом и все удивлялся не свойственному мне спокойствию. Он должен знать, за что я его бью, подумал я и схватил его за уши.

— Ты хоть знаешь, за что я тебя бью?

Он толкнул меня.

Я сильнее сжал его уши.

— Так знай, сволочь, за Нину!

Злоба захлестнула меня. Я начал звереть. Он больше не мог держаться на ногах и сполз на выщербленный цементный пол, пачкая его кровью.

Неожиданно отворилась дверь, и я увидел женщину в ночной рубашке. Рот ее был открыт, вены на шее вздулись. Она кричала, но я ничего не слышал. Все заглушал звон в ушах. Я услышал ее вопли только внизу, в подъезде.

— Убили! Люди, Шоту убили!

Я почувствовал боль в руке. Кожа на суставах была сбита. Я обмотал ладонь платком.

Из автомата я позвонил Нине.

— Сережа?

— Кто же еще? — Я подождал немного, давая ей возможность расспросить меня, но она не задала ни одного вопроса, и я понял, что она вообще не будет спрашивать о том, что было сегодня. — Я скоро буду.

Улицу посередине разделяли деревья. Под ними я разглядел тюльпаны. Нарвав охапку, я остановил «Волгу». Машина чуть не сбила меня. Водитель был пьян.

— Садись, дорогой! — радостно сказал он.

— А вдруг нам не по пути.

— Все равно садись. Вдвоем лучше, чем одному.

Я сел в машину.

— Куда тебе надо, дорогой?

Я объяснил.

— Хороший ты человек. В моем микрорайоне живешь. — И он фальшиво запел «Страну цветов». Он перестал петь лишь у дома. Прощаясь, я протянул ему несколько тюльпанов. — Не надо, дорогой. В жизни не дарил жене цветов. Не поймет. Будь счастлив!

Я поднял голову, чтобы взглянуть на окно Нины.

Окно было открыто, и Нина махала мне рукой. Я улыбнулся ей, хотя она не могла видеть моего лица.

Глава 19

Я видел сон — Нина стояла на скачущей белой лошади. Лошадь неслась, едва касаясь копытами белой, как первый снег, травы. Нина что-то счастливо кричала мне. Слов я не слышал, но ощущение было такое, что я знаю, о чем она кричит. С этим ощущением я и проснулся.

Нина задумчиво стояла у окна. Она повернулась ко мне и улыбнулась.

— Доброе утро.

— Я люблю тебя, — сказал я.

Она подошла и обхватила меня руками.

— Уехать бы... Сережа, уедем.

Да, хорошо бы увезти ее к морю, снять комнату на берегу. Морские ванны, солнце, песок были бы на пользу Нине, ее ноге. Сверкающее под солнцем море, и мы с Ниной на пляже — несбыточная мечта, с горечью подумал я. Где взять денег на такую поездку? Продам пишущую машинку, решил я и сказал:

— Уедем.

— Насовсем?

— Насовсем? Зачем?

— Действительно, зачем? — Нина встала, подошла к шкафу и выбрала платье. — Отвернись, пожалуйста.

— Пойду заварю кофе.

Я вышел на кухню, недоумевая. Почему мы должны куда-то уехать насовсем? Что за странное желание? Я думал об этом, пока заваривался кофе. Шота! Как это сразу не пришло мне в голову?!

Когда я внес в комнату кофе, Нина говорила по телефону о дрессированных собаках.

— С лошадьми покончено, — сказала она и, попрощавшись, повесила трубку.

— Скажи, чего ты боишься? — спросил я.

— Ты ничего не понимаешь?! Я пять раз падала с лошади! Я больше не могу быть уверенной в себе. Не могу, хотя все время пытаюсь

побороть себя. Раз так, Бармалей почувствует мою неуверенность, и я снова упаду.

Я вовсе не имел в виду Бармалея, но сказал:

— Ты внушила себе это.

— А ты, судя по всему, хочешь моей смерти!

Я изумленно смотрел на ее возбужденное лицо. Мне никогда не доводилось видеть Нину такой.

— Как я могу желать твоей смерти? Опомнись.

— Прости. Конечно, ты не желаешь моей смерти. Но ты с таким упорством стал говорить о Бармалее! Я не знаю, что и думать. Может быть, ты хочешь, чтобы я была калекой?

— Зачем?

— У тебя появится возможность показать, какой ты добрый и благородный. Может быть, тебе доставляет патологическое удовольствие ухаживать за больной. А может быть, ты просто извращенец? Есть же такие мужчины, которые могут только с калеками.

— Все? А теперь скажи, почему ты боишься Шоты. Чем тебя можно шантажировать?

— Я не хочу отвечать на твои вопросы! — воскликнула Нина.

— Почему?

— Потому что тебе неприятна одна мысль, что у меня кто-то был до тебя.

— Неприятна. Но я должен все знать. Рассказывай.

— Этот человек сидит. Он приятель Шоты. Но он не такой, как Шота. Он среди них белая ворона. Он год ухаживал за мной по-рыцарски. Он любил меня...

— А ты?

— Я была привязана к нему. Все из-за одиночества, Сережа! Если бы я знала, что встречу тебя!.. Я должна тебе сказать, что эту квартиру он помог мне получить...

Я слушал ее, сжав зубы.

Зазвонил телефон. Нина взяла трубку.

Разговор шел о продаже Бармалея. Во мне медленно закипала злость. Когда Нина положила трубку, я сказал:

— Как можно продавать живое существо?!

— Мне же надо работать! На что я куплю собак?

— При чем тут собаки?! Речь о Бармалее.— Все, что я пытался таить в себе, вырвалось наружу.— Впрочем, если ты могла спать с одним из этих типов, то от тебя можно ожидать чего угодно!

Слишком неожиданно это выплеснулось. Нина сжалась, как от удара, но я не пожалел ее. Жалость пришла позже, на улице. Однако я не вернулся.

Утром, наспех проглотив чашку кофе, я сел за машинку и работал до ночи. Так продолжалось несколько дней. Статья получалась очень большой. Но не это меня смущало, а то, что на многие вопросы я не мог дать ответов. В четверг статья была готова, и к вечеру я поехал в редакцию, чтобы показать ее Левану.

Выходя из лифта, я столкнулся с Наной.

— Ты что, совсем спятил? — сказала она.

— Прости, я не заметил тебя.

Нана фыркнула.

— Да не об этом речь! Приходишь в редакцию, когда вздумается! Так ты не попадешь в штат, дорогой. Не оправдывайся. Мне некогда! — Она влетела в лифт и захлопнула дверь.

Левану было не до меня. Он готовил срочный материал для очередного номера.

Мы с Гарри и Мерабом, чтобы не мешать Левану, вышли в коридор.

— Слава богу, сегодня мы изволены от чтения новой гениальной главы, — вздохнул Мераб. — У меня уже терпения не хватает! Скорее бы в Москву!

— Человек старается, пишет, перестал пить, а ты все недоволен. Нехорошо, юноша, — сказал Гарри.

— Нехорошо будет, когда он поймет, что его писанина графоманство, — сказал Мераб. — Завтра же возьму больничный, как Амиран.

— Вас к телефону, — позвал меня Леван. — Герой вашего очерка — Вахтанг Эбралидзе с швейной фабрики.

Вахтанг говорил торопливо и путанно. Я раздраженно перебил его.

— Ты можешь по-человечески объяснить, чего хочешь?

Он обиженно ответил:

— Мне ничего не надо. Я думал, вас это заинтересует.

— Что «это»?

— Приезжайте на фабрику, сами увидите.

Я подумал, что мне расставляют ловушку, и сказал:

— У тебя совесть есть?

— Не было бы совести, не звонил бы вам.

Я услышал короткие гудки.

— В чем дело? — спросил Леван.

— Да вот зовут на швейную фабрику, — ответил я, подумав: «Если со мной что случится, хоть одна живая душа будет знать, где меня искать».

— Езжайте, — сказал Леван.

Я нерешительно спросил:

— Можно поехать с Гарри?

— С Мерабом тоже. Они мне сегодня не нужны.

Рабочий день на фабрике закончился. Но около проходной стояла зеленая «Волга» Шоты. Я приготовил фотоаппарат.

Мы вошли в административный корпус. Кабинет директора был заперт.

Приоткрыв дверь кабинета главного инженера, я замер. За столом сидели Вашакидзе, Ахвледиани, Санадзе и Шота. Все молча уставились на меня. Шота побагровел и грозно встал. Неужели он не заметил Гарри и Мераба? Санадзе жестом удержал Шоту.

— Идет заседание правления фирмы? — усмехнулся я.

Вашакидзе разгладил рыжие усы.

— Фирма! Какая это фирма! — сказал он.

— Не тот размах?

Фотоаппарат был наготове. Я нажал на «спуск». Ни один из четверых не успел отвернуться.

— На память о нашей встрече.

Шота опять вскочил. Я не пошевелился. За спиной я чувствовал дыхание Гарри и Мераба.

— На место! — рявкнул Санадзе.

— Ты можешь, наконец, объяснить, что все это значит? — сказал Мераб.

Мы шли к проходной — слева от меня он, справа Гарри, и оттого, что они были рядом, я чувствовал себя богатырем. Куда-то исчезло ощущение опасности, постоянное присутствие которой я испытывал всюду — на улице, дома, даже в редакции, и я подумал, что сделал глупость, с самого начала не обратившись к Гарри и Мерабу за помощью. Конечно, человек и один может многое, но не так много, когда он не одинок. Мне хотелось рассказать им все, ничего не утаивая, а вместо этого сказал:

— Искал истину и нашел ее.

— Я где-то читал, юноша,— сказал Гарри,— что истина у каждого своя.

— Двух истин не бывает,— сказал я.— Если двое верят в противоположные истины, кто-то из них ошибается. Истина всегда одна.

— Каждый, защищая свою истину, готов драться,— сказал Гарри.— Ты дрался, юноша?

— Дрался, Гарри.

— Ты уверен, что стал обладателем истинной истины? — спросил Мераб.

— Да, и я вам расскажу как. А после этого решите, будете вы со мной или нет.

— Насколько я понимаю, юноша, мы уже с тобой,— сказал Гарри.

— Ты за меня не решай,— возразил Мераб.— Это ты без оглядки доверяешь Серго. А я сначала хочу узнать, в какую авантюру он вляпался в поисках истины.

Мы вернулись в редакцию. Леван все еще был там.

— Ну что? — спросил он.

Я положил на его стол свою статью.

Я сидел как на иголках. Я всегда тревожился, когда читали мою рукопись, а тут тревожился вдвойне. Мое волнение возрастало с каждой прочитанной Леваном страницей, которую он передавал Гарри, а тот Мерабу. Правильно ли я поступил, дав статью Левану, а не Нане?

Наконец последняя страница вернулась к Левану. Он неторопливо снял очки и стал протирать стекла. Краем глаза я заметил, что Гарри и Мераб переглянулись. Против ожидания Леван не обратился к ним с вопросом «Что скажете?».

— Мне нравится,— сказал Гарри.

— Мне тоже,— сказал Мераб.

— Не ожидал. Я, оказывается, совсем вас не знаю.— Леван надел очки и с любопытством смотрел на меня.

Ничего не понимая, я молчал.

— Только зря Серго все затеял,— сказал Мераб.— Начальство не даст согласия на публикацию статьи.

— Ну, это не наша забота,— сказал Леван и встал.— Отдам статью Главному. Он, кажется, еще у себя.

Я расстроился. Получалось, что Леван отказывался от статьи. Он должен был заявить статью на планерке, чтобы она попала в редакционный план, отредактировать, завизировать и лишь после этого показать руководству.

— Вам не понравилось? — сказал я.

— У меня двойственное ощущение,— сказал он и вышел.

— Все понятно,— сказал Мераб.— С одной стороны, нравится, с другой — не нравится. Молодой человек, прежде чем браться за такие темы, надо советоваться со старшими товарищами.

Я удрученно молчал. Конечно, Мераб был прав.

— Не унывай, юноша,— Гарри положил руку на мое плечо.

— Объясните ради бога, что он имел в виду, сказав, что совсем меня не знает. Прочитав статью, что он мог обо мне узнать? Я что, о себе писал?

— Видишь ли, юноша, за каждым сочинением стоит автор, и опытному читателю, а тем более редактору, не составляет труда узнать, каков он, этот автор, чем он дышит, что думает, что любит, что не любит.

— Ну и что?

— Ребенок ты, Серго! — сказал Гарри.— Левану могла не понравиться твоя нравственная позиция. Он у нас человек противоречивый.

Зря ты не показал статью Нане. Ее пробивная сила крайне необходима тебе сейчас.

— За такую статью должен бороться отдел. Леван бороться не станет,— сказал Мераб.— Мы тебя предупреждали по дороге в редакцию. Слушаться надо старших!

— Что же теперь делать?

— Не отчаиваться,— сказал Гарри.— Мне кажется, статья понравится Главному.

— Знаешь, Серго, нам лучше расстаться,— сказала Нина.

Мы сидели друг против друга за маленьким журнальным столом, а казалось, что между нами огромное пространство и оно все ширится и разводит нас в разные концы света.

— Пожалуй,— сказал я.

Мы говорили второй час и как будто говорить уже больше было не о чем. Однако я не мог решиться уйти.

Мы долго молчали.

— Но ты же любишь меня! — внезапно закричала Нина. За все время, пока мы говорили и молчали, она ни разу не всплакнула, а тут, закрыв лицо руками, зарыдала. Во мне что-то дрогнуло. Пространство между нами стало стремительно сокращаться. Нина старалась подавить рыдание. Я не выдержал и протянул руку.— Прости,— сказала она и ушла в ванную.

Зазвонил телефон. Я поднял трубку. Мне никто не ответил.

Через минуту телефон снова зазвонил.

— Привет,— услышал я в трубке голос Гурама.— Что вы собираетесь делать?

— Ничего. Ты звонил минуту назад?

— Нет. Слушай, Серго, мальчик... помнишь, которого я оперировал в тот день, когда мы познакомились с Дато... он умер.

— Гурам, я еду к тебе!

— Не надо, лучше я приеду к вам.

Гурам приехал не один. Он привез с собой Эдвина. Это смутило Нину, а у меня вызвало раздражение, но я ничего не сказал. Гурам деланно улыбался, но в глазах была такая тоска, что я промолчал.

— Увязался за мной,— шепнул Гурам по-грузински и громко произнес по-русски: — Нина, Эдвин приглашает нас в ресторан. Поедем?

— Да,— неожиданно согласилась Нина.— Поедем к Дато.

— Давным-давно крестьянина, приговоренного к смерти, призвал князь и спросил, был ли он когда-нибудь в таком же плачевном положении, как теперь. «Да, мой господин, когда ко мне пожаловали гости, а мне нечем было их угостить»,— ответил крестьянин.— Дато сконфуженно развел руками.— Извините меня.

— Не уезжать же нам назад. Придумай что-нибудь,— сказал Гурам.

— Придумать-то придумаю, только не обессудьте, если что не так будет.

— Оставь китайские церемонии. Делом займись,— сказал Гурам.

— Хорошо,— засмеялся Дато.— Что вы скажете о жарком из бараньего сердца?

— Давай,— охотно согласился Гурам.

Нина содрогнулась, а Эдвин осторожно спросил:

— Это вкусно?

Я не страдал предрассудками и мог съесть даже лягушку, если она хорошо приготовлена, но, обеспокоенный реакцией Нины, сказал:

— Лучше жаркое из мяса.

— Не позорь перед людьми,— сказал Дато по-грузински.— На кухне ни куска мяса.

— Дети мои,— сказал Гурам,— жаркое из бараньего сердца — деликатес, если его приготовить со знанием дела. Дато, прикажи повару, чтобы он жарил сердце на медленном огне. Жир не сторит, да и дров уйдет меньше. Пусть как следует приправит солью и перцем, зелень добавит в самом конце. А картошку пусть поджарит отдельно в кипящем масле ломтиками.

— Слушаюсь,— Дато ушел на кухню.

У каждого из нас творилось в душе невообразимое, каждый думал о своем, но делал вид, что ему весело.

— Как тебе нравится наш грузинский Лукулл? — спросил я Нину.

— Я поражена. Гурам, откуда такие познания?

— Я любознательный чревоугодник. Всегда спрашиваю, как готовится блюдо, которое мне подают.

В ожидании Дато мы курили и вели разговор о грузинской кухне. В тесном кабинете Дато стало душно. Нина распахнула окно.

В небе важно плыли огромные пузатые облака. Узкий серп зарождающегося месяца казался рядом с ними долькой лимона.

Нина поспешно достала из сумки кошелек и встряхнула его. В кошельке звякнула мелочь.

— Чтобы денег было много? — спросил Гурам.

— Да,— ответила она.

Я грустно улыбнулся ей.

— А вы не хотите иметь много денег? — обратился ко мне Эдвин.

— Хочу,— ответил я.

— Скоро получите...— сказал он.

Нина удивленно взглянула сначала на Эдвина, потом на меня.

В это время вернулся Дато и повел нас через подсобное помещение во внутренний двор.

Нину держал под руку Гурам. Я отстал от них, чтобы поговорить с Эдвином.

— Какого черта вы сказали о каких-то мифических деньгах?

— Почему мифических? Вполне реальных.

— Значит, вы считаете, что я возьму взятку? Спасибо за откровенность.

Он хотел что-то сказать, но я не стал с ним больше разговаривать.

Во дворе пылал костер и белел скатертью стол. Пахло свежим дымом.

— Не собираешься ли ты сердце на таком костре жарить? — спросил Гурам.

— Нет, начальник,— ответил Дато.

— Зачем тогда костер?

— Пусть горит. Для удовольствия.

Лишь спустя час, когда над нами нависли звезды, мы поняли, что костер предназначен для курицы, которую где-то раздобыл Ваничка.

— А говорил, для удовольствия,— фыркнул Гурам.— Нет, дорогой Дато, ты не романтик. Тебе только бы жарить, печь.

— Это тоже удовольствие, честное слово,— засмеялся Дато, насаживая курицу на вертел.

Курицу никто не стал есть, потому что жаркое из бараньего сердца оказалось очень вкусным и сытным.

— Не получается у нас застолья. Все грустные,— шепнул мне Дато.

Он был прав. Настроение у Гурама не улучшилось. Он шутил, но то и дело мысленно уходил от нас. Эдвин мрачно поглядывал на Нину и как будто порывался сказать ей что-то. Нина сникла.

Дато запел. Гурам не поддержал его, и Дато оборвал песню. Он

надумал расшевелить нас вином. Оно текло лунным светом. Но и это не помогло. Вино все больше разобщало нас. И тогда Дато сказал:

— Встретим рассвет на Джвари.

Предложение понравилось Гураму.

— Романтик не умер в тебе, Дато, а?

Мы приехали на Джвари как раз в тот момент, когда первые лучи солнца залили бледно-розовой краской серый горизонт. Небо и земля затаили дыхание.

Сияя и пылая, выкатилось огромное красное солнце, и в то же мгновение все кругом запело и зашумело.

Гурам поднял руку.

Все во вселенной полно твоей славы, о Лилео!
Слава небесным воителям, слава, о Лилео!
Защити нас могучая сила! О Лилео!
Да поможет нам утра светило, о Лилео!..
Светел твой несравненно построенный дом.
Да почует господнее благословение
На всех, сидящих... простите, стоящих кругом!

Этот древний грузинский гимн солнцу вызвал восторг у Эдвина, и он принялся записывать его под диктовку Гурама в блокнот.

Нина утомленно положила голову на мое плечо.

— Сейчас поедem,— сказал я и окликнул Дато, задумчиво смотревшего на горизонт. Он все еще не знал о моей поездке в Марнеули.

— Слушаю тебя,— сказал Дато.

— Я был в Марнеули. Документы подтверждают невинность Карло.

Я думал, Дато забросает меня вопросами. Он же лишь коснулся губами моего плеча. Так в древней Грузии мужчины выражали свои чувства.

— Марнеули хороший город?

Я обернулся на голос Эдвина. Он вопросительно смотрел на меня.

Глава 20

Я сидел в приемной главного редактора второй час. Одну из полос газеты пришлось срочно переделывать, и ответственный секретарь согласовывал ее с Главным.

Я вспомнил, как, стоя у окна и глядя на суетливую улицу, Нина сказала: «Ты не ценишь своего времени». Она сказала еще многое, но эти слова растревожили меня. Да, я бездумно тратил время на дела, которые не имели отношения к моей главной цели. Я задумался, чего же я добиваюсь.

Моя статья повергла Нину в ужас. Она стала бояться и на ночь запирала дверь на все замки, хотя раньше пользовалась лишь одним. Она была против публикации статьи.

— Неужели ты не представляешь реакции этой банды? Ты же подвергаешь себя невероятной опасности.

...Ответственный секретарь покинул наконец кабинет с подписанными полосами, и я вошел к Главному.

На столе лежала моя рукопись. Сейчас все решится, подумал я, садясь на край стула.

— Прочитал вашу статью. Мне нравится,— сказал Главный.

Я перевел дыхание.

— Хороший слог. Очень хорошие диалоги. У вас явные литературные способности.

Мне захотелось понравиться Главному, и я признался, что написал пьесу и, возможно, ее поставят в театре.

— Значит, вы тоже писатель,— огорчился он.— Редакция переполнена прозаиками, поэтами и драматургами. Я сыт этим по горло. Все страдают манией величия и на газету смотрят как на временное пристанище. А мне нужны люди без комплексов, люди, которые умели бы находить факты и излагать их более или менее сносным языком. Газета живет один день, и этим все сказано. Ваш заведующий тоже писатель. Он что, подбирает в отдел сотрудников по своему образу и подобию?

Я молчал, проклиная свое бахвальство.

Зазвонил телефон. Несколько минут Главный с кем-то обсуждал новую постановку оперы «Даиси». Потом обратился ко мне:

— Вы готовили статью, конечно, по собственной инициативе.

— Да,— сказал я.

— Естественно. От Левана такого острого материала не дождешься. Но он был в курсе?

Я догадался, к чему он клонит, и ответил:

— Видите ли, когда я начал собирать материал для статьи, у нас с Леваном Георгиевичем произошла, как бы вам сказать...

— А вы говорите как есть.

— Словом, мы поссорились, и я, зная, что серьезная статья готовится с санкции руководства, написал докладную на ваше имя.

— Почему я не видел ее?

— Не знаю. Я отдал докладную вашей секретарше.

Он открыл телефонную книжку и набрал номер.

— Элисо может подойти к телефону? — сказал он в трубку.— Элисо, здравствуй. Как ты? Ну хорошо. Элисо, тебе наш внештатник Бакурадзе передавал докладную на мое имя? Почему же ты не показала ее мне?

Он слушал объяснения Элисо. Я опасливо смотрел на него, хотя в душе ликовал.

— Какое имеет значение, что он внештатник? Ну хорошо, Элисо. Будь здорова.— Он бросил на аппарат трубку и вышел из кабинета.

Я слышал, как он возится с замком стола в приемной. Затем он с грохотом задвинул ящик и возвратился, на ходу читая мою докладную.

— Действительно, нет порядка в редакции,— сказал он сквозь зубы и швырнул докладную на стол. Закурив, он спросил: — Надеюсь, все факты в статье подтверждены документами? Эти Санадзе и Вашакидзе ни перед чем не остановятся.

Я вытащил из папки документы и положил на стол, а поверх — фотографии.

Главный с интересом стал разглядывать снимки.

— Что это за четверка?

— Санадзе, Вашакидзе, Ахвледиани и Шота Меладзе.

— Откуда у вас фотографии?

— Сам сделал.

— И они разрешили?!

— Нет, они не разрешали.

— Расскажите, как попали на след преступления.

Я рассказал.

— Вам не пришло в голову, что следует обо всем заявить в милицию?

— Я был в милиции. У подполковника Иванидзе.

— Не помните когда?

Я назвал число, и он что-то пометил на перекидном календаре. Я хотел было сказать о своих подозрениях в отношении подполковника Иванидзе, но сдержался. Мои подозрения, в общем-то, основывались на эмоциях, а Главному нужны были факты.

— Вы сделали письменное заявление или устное? — спросил он.

— Устное. Иванидзе не проявил интереса к моему сообщению.

— Он не сказал, что у вас нет полномочий? Что расследование ведут следователи, а не журналисты?

Я обескураженно смотрел на Главного. Если такова его позиция, статье не видать света, подумал я.

— Профессии журналиста и следователя смыкаются. И журналист и следователь докапываются до сути путем расследования.

— Вы неправильно меня поняли. Иванидзе говорил вам об этом?

— Нет.

— Значит, он ни о чем не предупреждал вас?

— Нет.

— Еще один вопрос. Когда вы узнали, что милиция ведет расследование?

Теперь я понял, что скрывается за вопросами Главного. Он, конечно, не решится опубликовать статью без согласования с Министерством внутренних дел. Очевидно, ему сказали, что, несмотря на предупреждения подполковника Иванидзе, я продолжал расследование, мешая операции, разработанной министерством.

— На последнем этапе. В Марнеули,— ответил я.

Вероятнее всего, Главный связался с министром и разговор получился неприятный. Шавгулидзе мог сказать, что в редакции нет порядка, раз какой-то внештатник Бакурадзе занимался расследованием без ведома Главного. Иначе Главный не интересовался бы моей докладной.

— Хорошо, идите,— сказал он.

Я встал.

— Георгий Галактионович, а статья?

— Начальство категорически против.

— До свидания.— Я направился к двери.

— Вы, наверно, сидите без денег,— сказал он мне вслед.— Я оплачу ваш труд. Частично, разумеется.

— Спасибо, но дело не в этом. Я не смог помочь Карло Торадзе.

Профессор Ломидзе принял нас по просьбе Гурама у себя дома. Он долго рассматривал рентгеновские снимки, потом ощупал ногу Нины и сказал:

— Ежедневный тренаж и массаж. Плюс цхалтубские ванны.

Нина была разочарована. Она предпочла бы морские ванны.

Я твердо решил следовать назначению профессора и увезти Нину в Цхалтубо в августе. Для этого я должен был заработать деньги, то есть исправно ходить в редакцию и пользоваться малейшей возможностью напечататься.

Неподалеку от дома профессора в кинотеатре «Амирани» на проспекте Плеханова показывали старый итальянский фильм «Нет мира под оливами». Мы взяли билеты. До начала сеанса оставалось полтора часа.

Решив перекусить, мы дошли до кафе на углу проспекта, где черноволосые юноши, присев на перилах, ограждающих тротуар от улицы, оценивающе провожали взглядом женщин.

Не успели мы войти в кафе, как столкнулись с Мерабом. Я представил его Нине, и он, поцеловав ей руку, сказал:

— В кабинете директора собралась маленькая компания. Прошу.

— Мы забежали перекусить,— сказал я.

— Нет, нет, мы идем в кино,— подхватила Нина.

Я потряс перед носом Мераба билетами.

— Очень вас прошу,— сказал он.

В конце концов Нина согласилась, но предупредила, что через час мы уйдем, и Мераб обещал не задерживать нас.

Он распахнул дверь.

Гарри и щуплый человек лет сорока сидели за письменным столом, уставленным едой и бутылками шампанского.

— Вот это сюрприз! — воскликнул Гарри.

Он попытался усадить Нину рядом с собой, но Мераб опередил его. Нина развеселилась.

— Котэ, открой шампанское! — велел Мераб и, когда шампанское было разлито по бокалам, встал, чтобы произнести десятиминутный тост в честь Нины.

— Его надо пересадить. Он монополизировал гостью, — сказал Гарри.

Мы посмеялись, а потом я спросил:

— По какому поводу сбор?

— Без всякого повода, — ответил Мераб. — Я позвонил Котэ и спросил, может ли он принять меня с другом. Он сказал, что будет счастлив, если ему окажут такую честь. Я правду говорю, Котэ?

— Истинную правду, — подтвердил Котэ.

— И вот мы здесь, отводим душу, ругаем врагов и утешаем друг друга.

Мераб наполнил бокалы и стал пересказывать легенду о любви. Это было предисловие к тосту.

Гарри не выдержал.

— Юноша, ничто так не утомляет слушателей, как ненужные подробности.

— У многословия два недостатка: оно требует много времени и оно скучно. Цитирую Гарри Шумана, — сказал я. — За что пьем?

— Неужели не понятно? — сказал Котэ. — Мераб хотел предложить тост за любовь.

Мы чокнулись и выпили.

— Вот так и живем, — пожаловался Мераб Нине. — То им нравится мое красноречие, то не нравится.

— Человек переменчив, и его вкусы тоже, — сказала **Нина**.

— Да, все мы переменчивы, — вздохнул Мераб. — Единственный, кто не меняется, это наш начальник.

— Повод все-таки есть. Из-за чего поругались? — спросил я.

— Юноша, это неинтересно Нине, — сказал Гарри.

— Почему вы так считаете? — возразила Нина. — Я с интересом слушаю.

Гарри удивленно посмотрел на нее. Я был удивлен не меньше.

— Валяй, Гарри, — махнул рукой Мераб. — Высказывайся. Только без слез и эмоций.

— Хорошо, — согласился Гарри. — Начали с Шавгулидзе.

— Он против Шавгулидзе? — спросила Нина.

— Он считает, что со злом нельзя бороться только злом.

Я где-то слышал подобное. Вспомнил. В доме профессора Кахиани. Леван был не одинок в своих взглядах.

— Начали мы не с Шавгулидзе, — сказал Мераб. — Со статьи нашего дорогого Серго.

Я наступил ему на ногу. Одно упоминание о статье портило Нине настроение. Мераб замолк, но поздно.

— Продолжайте, — велела ему Нина. — Левану не нравится статья. Это я давно поняла. Но почему не нравится?

— Сейчас поймете, — пообещал Мераб. — Леван спросил нас: «Во имя чего Серго написал статью? Что им двигало?» Гарри ответил: «Желание помочь Карло Торадзе». Знаете, что Леван сказал на это? Что, протягивая одну руку Карло, другой Серго бьет десятерых. Одно-го вытаскивает из тюрьмы, а десятерых заталкивает туда. Естественно, мы возмутились. Я спросил: «Леван Георгиевич, вы считаете, что Серго поступает неправильно?». Он ответил: «В том-то и дело, что

правильно, но, творя добро, он одновременно творит зло». Тут Гарри прочитал ему небольшую лекцию.

— Никакой лекции не было, юноша. Вот буквально мои слова: «Вы сами сказали, что Серго поступает правильно, следовательно, справедливо. А раз справедливо, то какой разговор может быть о том, что одновременно с добром Серго творит зло? Справедливость — это торжество добра над злом».

— Что он ответил? — спросила Нина.

— Он ответил: «Ну да, добро должно быть с кулаками, желательно крепкими».

— А я ответил на это так: «Крепкие кулаки у зла. У добра руки мягкие и нежные, как женские», — сказал Мераб.

— Чудесно, Мераб! — Нина улыбалась.

Я с любопытством наблюдал за ней. Она превосходно держалась, хотя на душе у нее наверняка было мутно.

Поощрение Нины подействовало на Мераба, как дождь на Куру. Его прорвало, и он затопил нас многословием, пересказывая спор с Леваном.

Мне не безразлична была позиция Левана. В другой ситуации я стал бы интересоваться каждой деталью спора. Но рядом сидела Нина. Поэтому, воспользовавшись секундной паузой в повествовании Мераба, я сказал:

— Краткость — универсальная добродетель, особенно она важна для тех, кто работает в газете. Цитирую Гарри Шумана.

— И еще: точка — самый благородный из знаков препинания. — Гарри обратился к Нине. — Прямо беда. Когда журналисты собираются, они не могут не говорить о работе.

— Это естественно, — сказала Нина. — Вы говорите о том, что вас больше всего волнует.

— Дело не в том, — возразил Гарри.

— А в чем? — спросила Нина.

— В том, что мы все живем иллюзиями. Каждый считает, что он мог бы писать лучше, если бы позволяли объективные условия. Каждый надеется, что наступит его завтра и произойдет то, что должно было произойти еще вчера. Каждый, кто имел неосторожность взяться за перо, убежден, что именно он, а не другой, сумеет писать так, как не удавалось никому. Мы одержимы этой идеей, мы больны ею, но считаем неудобным говорить о ней и потому говорим о работе вообще.

— Вы с такой горечью сказали об этом! — Нина задумчиво посмотрела на Гарри. — А иллюзия порой облегчает жизнь.

— Я никаких иллюзий не питаю, — сказал Мераб.

Котэ стало скучно.

— Пойду на кухню. Отберу шашлыки.

Я взглянул на часы.

— Нам пора. Мы опаздываем в кино.

— Не огорчай меня, юноша. Ты испортишь мне настроение, — проворчал Гарри.

— Вы идете в кино? — спросил Мераб.

— Я же показывал тебе билеты.

— Ничего ты не показывал.

Пришлось вытащить из кармана билеты. Мераб взял их и стал изучать.

Гарри поцеловал Нину руку.

— Пожалуйста, не разочаровывайте меня. Вы единственная женщина, которая захотела выслушать старого ворчуна и которой мне захотелось излить душу.

— Спокойно, Гарри, — сказал Мераб. — Их судьба в моих руках. — Он разорвал билеты. — Убытки возмещаю я.

Нина засмеялась, и я понял, что она хотела остаться.

Арчил и Мэри Дондуа, мои соседи, недавно разбогатевшие благодаря поездке за границу, садились в «Волгу», стоящую у дома. Мы не были близко знакомы, но Мэри улыбнулась мне и объявила:

— У нас такая большая радость! Завтра утром выдадут ордер на квартиру.

— Поздравляю,— сказал я.

— А вечером у нас будет компания. Обязательно приходите.— Мэри с трудом села в машину — мешала шляпа, напоминающая птичье гнездо.

Из комнаты Аполлона доносились голоса соседей и женское всхлипывание.

На балконе занималась Тата.

— Что там происходит?

— Дядю Аполлона арестовали.

— Бедняга!

Тата неприязненно взглянула на меня и прикрылась учебником.

— Вам нисколько не жалко Аполлона? — спросил я.

— Нисколько,— ответила она.— Он спекулянт.

— Да,— сказал я, растерянно потирая подбородок.— А где Ираклий?

— На товарной станции. Разгружает вагоны. А ваш друг Сандро у своей очередной любовницы. Вас еще что-нибудь интересует?

— Нет, благодарю.— Я церемонно поклонился и пошел к себе.

Глава 21

Мы собирались домой. Я складывал бумаги в папку, думая о матери. В последнее время я все чаще вспоминал мать, и решение навестить ее пришло как бы само собой.

— Задержитесь,— сказал нам Леван.

Я переглянулся с Мерабом и Гарри. Те недоуменно пожали плечами.

— Есть новости? — спросил Мераб. Он, конечно, имел в виду мою статью, хотя мы смирились с тем, что она не будет напечатана, и обходили эту тему молчанием.

— Есть,— ответил Леван.— Боюсь, Серго придется уносить ноги из города, если статья будет опубликована. Шота Меладзе готов заплатить за копию большие деньги.

— Шота?! Откуда он знает о статье? — спросил я.

— Я ему сказал.

— Он что, приходил к вам?

— Этого еще не хватало! Он мой сосед, к сожалению.

— Леван Георгиевич, вы сказали ему о статье с какой-то целью? — спросил Гарри.

— С единственной. Чтобы досадить. Сказал, что скоро буду избавлен от его соседства.

— Но вы же знали, что материал не будет опубликован,— заметил Мераб.

— Очень хотелось досадить этой свинье. Я ведь не могу, как Бакурадзе, избить его.

Он и об этом знал, но молчал.

— Знаете, сколько Шота готов заплатить? Пять тысяч.

— За копию? — спросил Мераб.

— Да, только за копию.

Господи, подумал я, сколько же у них денег, если они могут выложить за копию статьи пять тысяч рублей?! Пять тысяч! А я, чтобы заработать пять рублей, целый день торчал в редакции, забросив пьесу и забыв о театре.

— Надо отдать,— сказал Мераб.

— Не говорите глупостей! — возмутился Леван.

— Почему глупости? Многого Серго добился? Карло Торадзе по-прежнему в тюрьме, преступники — на свободе и по-прежнему предлагают взятки. Допустим, не все вопросы решаются на нашем уровне. А чего добился Главный? Ничего! Статья не будет опубликована. Пять тысяч — деньги большие. Они здоровогодились бы Серго.

— Не говорите глупостей, Мераб! — повторил Леван.

— В самом деле, юноша, прекрати, — сказал Гарри.

— У меня несколько отличное от вашего предложение, — обратился Леван к Мерабу. — Министерство внутренних дел давно ведет расследование по делу Санадзе, Вашакидзе и компании. Теперь это очевидно. У меня сложилось впечатление, что кто-то в министерстве, а может быть, в другом месте искусственно тормозит расследование. Я навел кое-какие справки. У Вашакидзе огромные связи. Надо толкнуть камень, чтобы начался обвал. Этим камнем должен стать Шота. Мое предложение сводится к следующему. Я делаю вид, что соглашаюсь продать копию статьи. Остальное дело техники. Шоту возьмут с личным. Что скажете?

— Рискованно, — покачал головой Гарри. — Узнает Главный, будет скандал.

— С работы выгонят меня, а не вас, — сказал Леван.

— Выгонят не только вас. Выгонят всех нас, — сказал Гарри. — Но я голосую за.

— Всех выгнать не могут, — возразил Леван.

— Я в этой аванюре не участвую, — Мераб пошел к выходу. — Чао! Привет!

— А вы? — спросил Леван меня, когда за Мерабом закрылась дверь.

— Участвую. Только копию Шоте должны передать не вы, а я.

— Это мы еще обсудим.

Зазвонил телефон.

— Тебя, юноша, — Гарри протянул мне трубку.

Это был Эдвин.

— Я уезжаю, — сказал он. — Хочу попрощаться.

— Гурам с вами?

— Нет. Мы с ним уже попрощались.

Я удивился этому не меньше, чем звонку Эдвина. Чтобы Гурам не проводил гостя? Это было так непохоже на него.

Эдвин ждал у подъезда.

— Где Гурам? — спросил я.

— Не знаю. Я уговорил его не провожать меня. Он что-то не в духе... Хочу поблагодарить вас за гостеприимство. Спасибо — и до встречи в Москве. Приезжайте. Без дураков. Не обещаю такого приема, какой вы мне оказали, но... Приезжайте!

Я смутился. Вряд ли я повел бы себя так, окажись на его месте. Благородство Эдвина подавило меня.

— Да, совсем забыл, — спохватился я. — Помните, вы говорили, что ваш друг интересуется человеком по кличке Князь? Этот человек — Шота.

Что-то произошло с Эдвином. Он переменялся в лице.

— Как вы узнали?

— Очень просто. Окликнул его, он отозвался.

— Фантастика! Как дела со статьей?

— Никак.

— Дайте мне копию. Я покажу в Москве компетентным людям.

Я без особой охоты поднялся за статьей и вручил ее Эдвиному.

— До встречи! — он крепко пожал мне руку и сел в ожидавшую его «Волгу». Номер принадлежал Совету Министров Грузии. Прохиндей со связями этот Эдвин, мысленно усмехнулся я.

Гурам так и не позвонил. Не найдя его ни по одному телефону, я подумал, а вдруг он заехал ко мне и оставил записку, и, обнадежив себя такой маловероятной возможностью, отправился домой.

У Дондуа были гости.

Я незаметно прошел к себе, записки не обнаружил и, бесшумно ступая по балкону, стал пробираться к лестнице.

— Что это вы крадетесь? — услышал я голос своей квартирной хозяйки.

Я ошалело глядел на нее, впервые видя Лизу не в затрапезном халате, а в платье. Передо мной стояла красивая женщина.

— Вы, кажется, онемели, — сказала она.

— Онемеешь тут, — пробормотал я и стал спускаться по лестнице, но уйти не удалось. На голос Лизы вышла Мэри Дондуа и затасила меня в крохотную комнату, где за столом теснились человек двадцать. Сандро попытался уступить мне свой стул. Он явно хотел улизнуть. Арчил Дондуа встал рядом со мной.

— Будем сидеть по очереди, — сказал он, смеясь. — В новой квартире только одна кухня размером с эту комнату. Какая квартира, друзья!

Он описывал достоинства квартиры, а я поглядывал на часы и скрипел зубами. Наконец мы выпили по бокалу вина, и я попросил Арчила выйти со мной. На балконе я признался ему, что должен найти Гурама.

— Коли это так серьезно, как вы утверждаете, отправимся вместе, — сказал он.

Я не стал возражать, и он взял ключи от машины.

Мы объездили пять ресторанов, но Гурама не нашли. Я чувствовал себя неловко. Арчила ждали гости, а он возил меня по городу в поисках незнакомого ему человека.

В шестом ресторане я увидел Лашу и Боба. Они стали усаживать меня за стол. Я еле отбился.

— Гурам не попадался вам на глаза? — спросил я.

— Может, попадался, а может, и нет, — сказал Боб. Он был пьян.

— Помолчи, Боб, — оборвал его Лаша. — Гурам ушел полчаса назад вон из той компании.

В глубине зала с двумя сдвинутыми столами сидели мужчины, и один стул рядом с очкариком был свободен.

Я подошел к ним и справился о Гураме. Очкарик настойчиво пытался сначала усадить меня за стол, а потом всунуть в мою руку бокал с вином.

— Благослови нас хотя бы, человек, — сказал он.

Я пригубил вино. Лишь после этого очкарик сказал, что Гурам, кажется, уехал на кладбище.

У ворот кладбища стояла машина Гурама.

— Он здесь. Не знаю, как вас благодарить, Арчил.

— Пустяки. Идите. Я подожду. Поедем ко мне.

— Он на могиле жены.

Мне не пришлось ничего объяснять. Арчил все понял. Прощаясь, он сказал:

— Вашему другу надо быть сейчас на людях. Приезжайте.

Кладбище напоминало о смерти и действовало на меня угнетающе. Я шел мимо мраморных и гранитных надгробий и не мог отделаться от мысли, что придет день, когда и меня не станет и мой сын, приходя на кладбище, будет мучиться точно так же, как и я, сожалеть о несбывшихся надеждах, страдать из-за своих ошибок. Я вспомнил мать. Я корил себя за черствость...

Я увидел Гурама. Он стоял на коленях, прислонившись головой

к черному мрамору памятника. Мне очень хотелось утешить его, но я не подошел, сел на скамейку и стал ждать.

Я ждал долго, курил сигарету за сигаретой и думал о Нине, думал о ней с тревогой и нежностью.

Я собирался к матери. Решение помириться с ней созрело окончательно.

— Задержитесь,— велел мне Леван.

Мы были в отделе одни. Гарри и Мераб давно ушли.

Что еще взбрело в лобастую голову Левана? Ни о временной работе, ни о Шоте он ни разу не вспомнил. Я же остерегался обращаться к нему. В последние дни он был хмурым и особенно недоступным.

— То, что мы задумали, действительно авантюра,— сказал Леван.— Есть в этом что-то неинтеллигентное.

— Пожалуй,— согласился я.

— Возьмите бумагу и напишите заявление.

— Какое?

— С просьбой принять на временную работу. С понедельника Мераб берет отпуск.

Я написал заявление.

— Не знаю, правильно ли вы поступаете. Но вам виднее,— сказал Леван.

— В отношении Шоты?

— В отношении работы.

Мне нечего было сказать.

Только выйдя из редакции, я осознал, что радуюсь. Я получил работу, пусть и временную. Это событие следовало отпраздновать. Я решил перенести визит к матери на завтра и поехать к Нине. Купив бутылку «Цинандали», я позвонил ей из автомата. Ее телефон не отвечал. У меня испортилось настроение. Я бесцельно шел по проспекту Руставели к площади Ленина. Поровнявшись с телеграфом, я остановился, чтобы выкурить сигарету и потом еще раз позвонить Нине.

На противоположной стороне белела гостиница «Тбилиси». Я вспомнил, как мы завтракали в гостиничном кафе с Вашакидзе. Странно, но воспоминание не встревожило меня. Оно выплыло словно из далекого прошлого. Вашакидзе вместе со своими парадоксами оставался за чертой, которую я перешагнул...

— Наконец-то! — сказал я Нине, дозвонившись ей.

— Это ты звонил минут десять назад? — спросила она.

— Угадала.— Я решил ничего не говорить по телефону.— Буду через полчаса.

— Нет, Сережа.

Я опешил.

— То есть как «нет»?

— Сегодня я не ждала тебя. Ты же сказал, что пойдешь к маме. Я не могу больше разговаривать. С меня краска течет.

— Какая краска?

— Краска, которой красят волосы. Господи, Сережа, ты не заметил, что я крашусь?

Я подумал, что не знаю цвета ее волос.

— Какого же цвета у тебя волосы?

— Так я тебе и сказала! — засмеялась Нина.

В маленьком кафе я купил горячих пончиков с заварным кремом. Мать их любила. На улице кто-то махнул мне рукой из переполненного такси. Машина остановилась. Из нее выскочил Лаша.

— Хорошо, что заметил тебя,— крикнул он на бегу.— Как говорится, не поминай лихом.

— Куда ты, Лаша?
— К Симе, Серге.
— Решил все-таки?
— Человек слаб, а чувства его сильны.
— Что ж, будь счастлив. Лаша.
— И ты будь счастлив, старина. Еще увидимся. Посмотришь, уговорю Симу, и мы вернемся.

Он хлопнул меня по плечу и побежал к такси.

Я с грустью глядел в сторону уехавшей машины, словно она увезла частицу моей жизни. Мне стало особенно одиноко. Было такое чувство, будто все решили покинуть меня. Наверно, оттого, что два дня назад Гурам на целый месяц улетел со своим учителем профессором Кахиани в Мексику. Там проходил международный конгресс нейрохирургов.

Прогромыхал гром. Небо заслонили тучи. Я быстрым шагом направился к дому матери.

Там, где кончается улица 1 Мая и начинается улица Кашена, меня поджидал Гочо с двумя приятелями. Как я их раньше не заметил? Они же наверняка следили за мной. Замедлив шаг, я лихорадочно соображал, что делать. Расстояние между нами сокращалось. Гочо загородил дорогу.

— Отойди, я тороплюсь к матери.

— Заботливый сынок, хороший мальчик! — Гочо потрепал меня по щеке.

Я отбросил его руку и тут же получил сзади такой удар, что шея одеревенела. Не разобравшись, кто где, я двинул справа кого-то в корпус. В левой руке у меня были папка с бутылкой «Цинандали» и пакет с пончиками. Разворачиваясь, я потерял равновесие и не сумел уклониться от кулака Гочо. Падая, я выронил папку и пакет. Я увидел перед собой Гочо, подцепил его ногой и сильно дернул. Гочо упал. Я рывком поднялся. Страх придавал телу почти невесомость. Гочо тоже вскочил на ноги.

Они втроем двинулись на меня. Я ждал, прижавшись к стене. На земле — черная папка, раздавленные пончики. Белые сгустки крема на асфальте. Ни одного предмета, которым я мог бы защититься.

Гочо замахнулся. Я встретил его прямым правым в челюсть. Он не ответил, и я собрался доконать его левым хуком, но те двое схватили меня и поволокли к серой «Волге».

Я понимал, что поездка в машине закончится, в лучшем случае, больницей. Пяткой я ударил одного по голени, головой второго в лицо, но не успел сделать и шага. Сзади на меня навалился Гочо.

Очнулся я в машине. По ветровому стеклу хлестал дождь. Гочо гнал машину, напряженно вглядываясь в дорогу.

Я сидел, зажатый с двух сторон его приятелями. Я знал, что делать, однако любое мое движение было бы сразу пресечено ими.

— Гочо, дай сигарету, — сказал я.

— Ты живой? — засмеялся один из его приятелей.

— Пока живой, — пробасил другой.

Гочо нехотя протянул пачку. Я притворился, что не могу вытащить сигарету, и приподнялся. Меня никто не держал. Я рывком подался вперед и, ухватившись за руль, вывернул его вправо.

Глава 22

Следовательно, пожилой капитан, пришел ко мне в больницу еще раз.

— Может быть, сегодня вспомните, как все произошло, — сказал он.

Минут десять он пытался выудить из меня хоть какие-нибудь сведения, но это ему не удалось. Я упорно стоял на своем — ничего не помню.

— Неразумно, — сказал следователь.

Какое-то время он сидел молча, и я спросил Нину:

— Ты звонила в редакцию?

— Еще вчера.

— Так вы не будете ничего говорить? — спросил следователь.

— Я ничего не помню. Кроме перелома руки у меня сотрясение мозга. Врач может подтвердить.

— Знаю, знаю. Те трое, с которыми вы были в машине, тоже в больнице. В другой. Тоже переломы, сотрясение. Тоже ничего не помнят. — Следователь встал. — Вас, случаем, не напугали?

— Я не из пугливых.

— Тогда тем более не понимаю вас. Молчание не всегда золото. До свидания.

Нина укоризненно смотрела на меня.

— Вышел из игры, умыл руки. Как еще говорят в таких случаях? Все! Хватит! Ты же сама настаивала, чтобы я не занимался расследованием.

— Настаивала. Но нельзя же из одной крайности бросаться в другую.

— Нельзя, согласен. Очевидно, я надорвался... Я хотел перевернуть мир. Это оказалось мне не под силу.

— Зачем переворачивать мир, Сережа? Мир прекрасен.

— Что же в нем прекрасного, если за справедливость дерешься насмерть, а правда все равно не торжествует?

— Ты озлоблен, Сережа, и в тебе говорит досада.

— Ничего подобного! Я и сейчас считаю, что оставаться в стороне, значит, быть пособником зла. Всегда и везде я во все вмешивался не задумываясь. Не мог иначе, потому что меня таким воспитала мать, школа, университет. Все на свете было моим делом. Но теперь уволь, хватит на мою голову приключений. С какой стати я должен один воевать против целого мира преступников?

— Ты сейчас похож на уставшего от борьбы героя из романа.

— Я не герой, обыкновенный человек.

— Вот именно, Сережа. До сих пор ты вел себя как герой.

— Не понимаю, к чему ты клонишь.

— Я ни к чему не клоню. Я боюсь, Сережа, что ты...

— Говори.

— Что ты снова возьмешься за старое. Сейчас у тебя настроение такое — ни во что больше не вмешиваться.

— Я и не буду вмешиваться. У меня есть ты, у меня есть цель в жизни. Ничего мне больше не надо.

Нина с сомнением покачала головой.

— Не думаю, чтобы этого тебе хватило. Ты правильно сказал, что раньше вмешивался во все, не задумываясь. Ты и в дело Карло вмешался, потому что твое чувство справедливости возмутилось. Ты ведь не думал ни о последствиях, ни о том, что за этим стоит, ни о том, как бороться. Прости, но в твоём поведении было что-то мальчишеское.

— Понимаю. Я был мальчиком, а стал мужем. Да, я стал опытнее и мудрее. Раньше я только чувствовал, теперь еще и знаю. — Я взял руку Нины в свою. — Но ты можешь не бояться. Хотя мое чувство справедливости возмущается и сейчас.

Она высвободила руку.

— К тебе пришли.

Я повернул голову и увидел Гарри с Леваном.

Меньше всего я ожидал увидеть Левана. Он снизошел до того, чтобы навестить меня, или причина его визита была иная?

— Юноша, что случилось? — спросил Гарри.

— Авария, — ответил я.

Он галантно поцеловал руку Нине и представил ей Левана.

— Банальная авария? — спросил Леван.

— Не совсем. — Мне не хотелось говорить о случившемся при Нине. Она поняла это и, взяв с тумбы графин, сказала:

— Принесу свежей воды.

— Шота? — спросил Леван, когда Нина ушла.

— Очевидно, — ответил я.

— Я же вам говорил, — сказал Леван Гарри и обратился ко мне: — Рассказывайте.

Мой короткий рассказ привел Левана в бешенство.

— Я это дело так не оставляю. — Он встал. — Идемте, Гарри.

— Не надо ничего делать, — сказал я.

— Это уже не зависит от ваших личных желаний. Идемте же, Гарри.

— Я хотел бы посидеть с юношей, — сказал Гарри.

— Вы мне нужны.

Леван решительно направился к выходу, забыв попрощаться. Гарри сокрушенно развел руками и пошел за ним.

Я ничего не мог понять. Движения души Левана были непостижимы для меня. Он же фактически отказался от моей статьи, потом от идеи покарать Шоту... Может быть, я был несправедлив к нему, но мне казалось, что он разгневался поздно.

Пришла Нина и поставила графин на тумбу.

— Рассказал?

И напрасно, подумал я, кивнув.

Мать появилась в дверях и на секунду задержалась на пороге, окидывая взглядом палату.

— Мама! — произнес я сдавленным от волнения голосом.

Она бросилась ко мне, стала целовать, как маленького, плакала и приговаривала:

— Бессовестный! Бессовестный! Разве так можно?

Я был весь мокрый. Она вытерла мне лицо полотенцем.

— Боже праведный, как ты исхудал! Сегодня же заберу тебя домой.

Я погладил ее руку.

— А ты прекрасно выглядишь.

Мать разрыдалась.

— Если бы ты знал, что я пережила! — Она достала из сумки носовой платок, надушенный «Красной Москвой», и промокнула глаза. — Что за девушка сидела с тобой?

Нина стояла поодаль, у окна. Я махнул ей рукой. Она подошла и робко произнесла:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответила мать, внимательно изучая ее.

Я ждал, затаив дыхание. Нина все больше робела под взглядом матери. Изучение затягивалось, вызывая у меня раздражение. Я собрался было взять Нину за руку и усадить на кровать, чтобы все поставить на свои места, когда мать, взглянув мне в глаза, сказала Нине:

— Идите сюда. — Она пересела со стула на кровать. — Садитесь.

Ну, конечно, каждому свое место, подумал я, усмехаясь. Мать заметила усмешку, но ничего не сказала, хотя — это я понял по выражению ее лица — многое могла бы сказать.

— Спасибо, что вы присматриваете за моим сыном,— обратилась она к Нине.

— Мама, Нина не присматривает за мной.

— А что она делает?

— Навещает меня.

— Почему, сынок, ты придираешься к моим словам?

— Действительно, Сережа, не цепляйся к словам,— сказала Нина.

— Женская солидарность! — ухмыльнулся я.— Извини, мама.

Но мать словно не слышала меня.

— Ты, значит, теперь Сережа?

Нина встала.

— Я, пожалуй, пойду.— Она наклонилась и холодной ладонью провела по моему лбу. Этот жест был скорее демонстрацией, чем проявлением нежности, и предназначался для матери, как и то, что она сказала дальше.— Не волнуйся, милый. Все будет хорошо. Я приду завтра. Как всегда, в четыре. До свидания.

Она кивнула матери и, прихрамывая, пошла к выходу, закинув на плечо сумку, в которой приносила продукты.

— Ты не меняешься, мама,— сказал я.— К кому теперь ты побежишь, чтобы разлучить меня с ней?

Мать повернула ко мне лицо. В ее глазах стояли слезы.

— Я многое слышала, но не знала, что к тому же она и калека. В кого ты такой?

— В тебя, дорогая.

— Не можешь простить мне отчима?

— Давно простил. Когда я стал взрослым, я попытался не осуждать тебя, а понять и, представь, понял. Просто нам не пришлось говорить об этом. Почему ты никогда не пытаешься понять меня?

— Не говори так, сынок. Я не только пыталась. Я старалась. Что делать, если матери кажется, что ее сын заслуживает самой лучшей участи? Ты собираешься жениться на этой циркачке?

— У меня с этой циркачкой разговора о женитьбе не было. Хватит о ней. Иначе мы поссоримся, а я, видит бог, не желаю ссоры.

— Хорошо, сынок. Поедем домой.

— Кто меня отпустит?

— Я знаю главного врача. Он разрешит. Я тебя быстро выхожу. Я сразу представил себе комнату, в которой прошло двадцать три года моей жизни, свою кровать, застеленную хрустящим белоснежным бельем. Соблазн был велик, но, решительно натянув на себя серый мятый пододеяльник, я сказал:

— Нет, мама.

Наконец мне удалось убедить врача, что я здоров. Меня выписали из больницы.

День был ярок, а улицы полны народом, и от всего этого немного кружилась голова.

Я поехал к старичку, добротой которого пользовался с того дня, когда хотел оборвать в его маленьком саду сирень. Он по-детски радовался конфетам, и я вез ему плитку молочного шоколада.

Выскочив из автобуса, я еще издали увидел, что штaketник, ограждающий сад, сломан.

Домика не было. На развалинах стоял бульдозер, накрытый тенью соседнего двенадцатизэтажного здания...

Я с горечью бродил по изрезанной гусеничными траками земле, между покореженными кустами. В них еще теплилась жизнь. Я отбросил деревянную балку, из-под которой тянулся полураспу-

стившийся бутон чайной розы. Его стебель отчаянно изогнулся. Я срезал цветок.

Кто-то наступил на штaketник. Я оглянулся. К бульдозеру шагал парень в кирзовых сапогах. Не обращая на меня внимания, он влез в кабину.

— Слушай, парень, ты не знаешь, где найти хозяина дома? — спросил я.

— Говорят, здесь жил какой-то божий одуванчик. Умер, наверно. Или его переселили. Не знаю, врать не хочу. Меня прислали снести эту хибару, я и снес.

Я вспомнил, как сказал старичку: «Прямо бог послал мне вас, дедушка», — а он ответил: «Бог ничего не посылает. Он отбирает».

Парень завел двигатель.

— На этом месте будет двенадцатизэтажка, — крикнул он и, с треском давя доски, развернул бульдозер.

Нина тормошила меня. Я силился открыть глаза, но не мог. Она скинула с меня одеяло и стала целовать.

— Вставай, соня. Пора ужинать.

Я нащупал одеяло и натянул на себя.

— Ах, так! Ну хорошо!

Что-то холодное и мокрое упало на меня. Я вздрогнул и открыл глаза. Надо мной стояла Нина с кувшином в руке. Я инстинктивно отпрянул к стене. Нина захохотала и, запустив руку в кувшин, снова брызнула в меня водой.

— Перестань! Я же проснулся.

Она не унималась. Я вскочил. Смеясь, Нина гонялась за мной по квартире с кувшином в руке. Я укрывшись в ванной.

— Где мое белье? — крикнул я.

Нина засмеялась.

— Перед твоим носом.

На леске над ванной висели постиранные трусы, майка, рубашка и носки. Я обмотался полотенцем и открыл дверь. Нина встретила меня смехом.

За ужином я спросил Нину:

— Тебе не кажется странным, что от Гурама до сих пор нет вестей?

— Уверю тебя, с ним все в порядке, — ответила она.

Я удивленно посмотрел на нее.

— Разве я сомневаюсь в этом?

— Да нет. Я хотела сказать, что нет причин для беспокойства.

Мы продолжали ужинать. Мне показалось, что Нина старается не встречаться со мной взглядом.

— Ты что-то от меня скрываешь, — сказал я.

— Абсолютно ничего, — уверила она.

Чай мы пили в комнате, включив телевизор.

Мысль о Гураме не давала мне покоя. Он должен был вернуться из Мексики неделю назад. Если он задерживается, его мать наверняка знает об этом, подумал я и взял телефонную трубку.

— Кому ты звонишь? — спросила Нина.

— Матери Гурама, — ответил я, набирая номер.

— Не надо, Сережа, — она нажала на рычаг. — Уже поздно.

— Только четверть одиннадцатого.

— Позвонишь завтра. Ну пожалуйста.

— Раз ты просишь. — Я положил трубку и обнял Нину. Она прижалась ко мне и не шевелилась, пока диктор не пожелал нам спокойной ночи.

Мы лежали молча.

— Сережа, — прошептала Нина.

— Да?

— Я очень тебя люблю,— сказала она.
Я погладил ее по голове.

— Сережа.

— Да?

— Ты только не сердись, ладно? Я не хотела говорить сегодня. Понимаешь, ты вернулся. Сегодня наш день. Но... Я не могу дальше скрывать. Гурам...

— Что с ним?! Да говори же быстрее, что с ним!

— Он жив. Ты только не волнуйся. Он жив.
Я включил свет.

— Что произошло? Почему ты молчала?

Нина испуганно смотрела на меня.

— Ты был болен. Врач запретил.

— Ты можешь сказать, в конце концов, что произошло?

— Самолет упал в океан в километре от берега. Профессор Кахиани погиб. Гурам сумел доплыть до берега.

— Он же не умеет плавать!

Я вскочил с дивана.

— Куда ты?

— К матери Гурама.— Я спохватился.— Мне же нечего надеть!

Ах, Нина, Нина! Почему ты раньше ничего не сказала?!

Она опустила глаза.

— Я сама казнюсь. Я стала жуткой эгоисткой. Прости меня.

— Скажи честно, Гурам жив?

— Жив.

Я сел на диван.

— От кого ты все узнала?

— От твоего лечащего врача. Он знаком с Гурамом. Они учились вместе.

— Как же Гураму удалось доплыть до берега?

— На нем был спасательный жилет. Честное слово, он жив. Я разговаривала с его матерью. Не смотри на меня так.

— Ты же не знала даже ее имени!

— Маргарита Абесаломовна. Она дважды звонила мне, чтобы сообщить новости и справиться о тебе.

Гурам ухитрился позвонить из Мексики матери.

— Он довольно бодр. Во всяком случае, голос бодрый,— сказала мне по телефону Маргарита Абесаломовна.— Даже шутил по поводу того, что проплыл целый километр, не умея плавать. А ведь его госпитализировали в шоковом состоянии. От него скрывают гибель профессора. Это очень печально, что Кахиани погиб. Очень, Серго. Обязательно позвони завтра и заходи. Я тебе не видела сто лет, мой мальчик. Да, кто эта милая девушка, которая так беспокоилась и о Гураме, и о тебе? Она твоя знакомая или Гурама?

— Знакомая общая.

— Как так? У вас одна девушка на двоих? Это современно?

— Девушка она моя.

— Очень интересно. Ты все расскажешь мне при встрече.

Сделав небольшую передышку и закулив сигарету, я позвонил Манане.

— Где вас носит столько времени? — закричала она.— Таризл оборвал мой телефон. Каждый день звонит из Киева и требует пьесу.

Если Таризл звонит из Киева, где гастролировал театр, значит, еще не все потеряно, подумал я.

У Мананы, как всегда, возникла новая идея переделки уже переделанных сцен в пьесе.

— Немедленно принимайтесь за работу! — сказала она.

Нина обхватила мою шею руками.

— Сережа! Я так рада! А ты хотел устроиться в штат. Не надо было соглашаться даже на временную работу.

Тогда мы не смогли бы поехать в Цхалтубо, подумал я, но промолчал. Зачем ей было знать об этом?

— Ты не можешь работать у меня? Я не стану тебе мешать.

Зазвонил телефон. Нина взяла трубку. Ей никто не ответил.

— Молчат,— сказала она.

— Ошиблись, наверно.

— Наверно.

Я думал о том, как ей объяснить, что для работы над пьесой мне нужна привычная обстановка.

— Знаешь, я, пожалуй, не смогу сейчас. Пришлось бы психологически перестраиваться, а это долго. Но я буду у тебя работать. Над новой пьесой. После Цхалтубо. Если, конечно, ты не передумаешь.

— Не передумаю,— улыбнулась Нина.

Моя перевязанная рука у сотрудников редакции вызвала сочувственные расспросы. Я всем отвечал одно и то же — ехал в такси и попал в аварию. Гарри встретил меня радостно. А Леван буркнул что-то невразумительное в ответ на мое приветствие и тут же протянул кипу материалов для редактирования. Я лишний раз убеждался, что понять Левана мне не дано.

— Зашиваемся с Леваном Георгиевичем,— попытался оправдать Левана Гарри.

В десять, когда мы остались вдвоем, я спросил его:

— Какие новости?

— Мераб шлет тебе привет из Москвы. Амиран собирается закрывать больничный.

— А что с Леваном? Почему он встретил меня так недружелюбно?

— Юноша, Леван недружелюбен не лично к тебе. После нашего визита в больницу он помчался к Главному. Вернулся в отдел прямо невменяемым. С тех пор и пребывает в таком состоянии.

Зазвонил телефон.

— Тебя,— сказал Гарри.— Этот человек звонит не впервые.

В трубке раздался голос Дато.

— Ты меня совсем забыл, Серго. Куда ты пропал? Что случилось?

— Уезжал в командировку.

— Ну, слава богу. Я уже стал беспокоиться. Серго, у меня большая радость. Нашел все-таки шофера грузовика. Помнишь, ты мне говорил, что, если найти шофера грузовика, на котором увезли похищенные рулоны ткани, обвинение против Карло тут же развалится? Нашел я, Серго, нашел! Я тебе должен все рассказать. Когда увидимся?

— Не знаю, Дато.— У меня не хватило мужества сказать, что сделано все возможное, но ничего не получилось и я больше ничем помочь ему не могу.— Позвони на следующей неделе.

— Хорошо. Извини за беспокойство.

Меня мучила совесть. Обидеть такого человека! Но я дал зарок и не хотел его нарушать.

— Так о чем говорил Леван с Главным?

— О тебе, юноша, и о твоей статье.

— Леван воспыал желанием способствовать публикации статьи?

— Эх, юноша! Ты самого главного не знаешь. Леван и я ответили на кое-какие вопросы в твоей статье.

— Каким образом?

— У криминалистов, юноша, это называется дополнительным расследованием. Мы раскопали интересные факты. Например, у Вашакидзе две дачи — одна в Манглиси, другая в Цхнети. Ты бы видел трехэтажную дачу в Манглиси! Бассейн с черными лебедями. В саду павлины. Естественно, обе дачи записаны на родственников Вашакидзе. Но он промахнулся. Родственники-то бедные. В буквальном смысле слова. Юридический владелец дачи в Манглиси, в частности, школьный учитель. Чему может научить такой учитель?!

— Ты полагаешь, он учит детей укрывать нечестно нажитое? Нет, Гарри. В том-то и дело, что он призывает их к честности, справедливости, добру... Бич нашего времени — думать одно, а говорить другое.

— Может быть, и так. В прошлом году Вашакидзе выдал дочь замуж. Свадьба на шестьсот человек состоялась в ресторане. Она обошлась ему в двадцать тысяч рублей. У нас есть копии счетов. С Санадзе он связан последние два года. До Санадзе работал с другими партнерами. Как тебе это нравится?

— Мне это совсем не нравится.

— Еще бы, юноша! Теперь послушай, что мы узнали от директора фабрики Ахвледiani.

— От Ахвледiani? Он с вами говорил?

— Мы вызвали его сюда после работы и устроили под видом беседы небольшой, всего трехчасовой перекрестный допрос. Нас занимало два главных вопроса, те два вопроса, которые ставила твоя статья. Первое — когда и при каких обстоятельствах произошло его падение? Второе — знал ли он, что Карло Торадзе невиновен? Мы начали со второго вопроса. Он довольно ретиво доказывал, что Карло жулик, и мы поняли, что он искренен. Знаешь, почему мы это поняли?

— Потому, что он сам жулик?

— Потому, что он с ненавистью говорил о Карло как о жулике. Понимаешь, он вроде бы обманулся в нем. Мы ему показали ту часть статьи, где доказывается невинность Карло. Ты бы, юноша, видел, что с ним было. Он плакал пуще ребенка. Потом уже говорил не останавливаясь. Мы записали на магнитофон. Можешь гордиться. Твои предположения, в общем-то, оправдались.

— Ты хочешь сказать, что все эти годы Ахвледiani молчал, боясь позора?

— Именно так. Он оказался слабым руководителем, и на помощь ему прислали прекрасного специалиста и организатора, то бишь Вашакидзе. Ахвледiani сразу ему доверился. Всеми делами фабрики стал заправлять Вашакидзе. Шестого января пятьдесят четвертого года Вашакидзе небрежно бросил на стол Ахвледiani пачку денег и сказал: «Так будет каждый месяц, но в меньших размерах. Здесь сумма за шесть месяцев». Уже полгода фабрика была в руках дельцов. Ахвледiani даже не заметил этого. Кто поверил бы, что директор ничего не знал? Да ты не слушаешь меня, юноша!

— Слушаю, Гарри. А Карло Торадзе он приблизил к себе, надеясь с его помощью выбраться из дерьма, в которое попал?

— Именно.

— Почему же он доложил Вашакидзе о подозрениях Карло? Карло ведь поделился своими наблюдениями с Ахвледiani и ни с кем больше.

— Он утверждает, что сказал о подозрениях Карло главному инженеру в надежде, что тот испугается и наконец свернет дело. Вашакидзе и сделал вид, что испугался. Более того, он обещал порвать с Санадзе и компанией.

— Детский сад! Врет Ахвледiani. Выгораживает себя. Письма-то о перераспределении фондовых тканей он продолжал подписывать.

Зазвонил телефон. Гарри взял трубку.

— Легко на помине,— шепнул он мне.— Тебя просит.

Я взял трубку.

— Нам надо поговорить,— сказал Ахвледiani.— Приезжайте.

— Вы опоздали. Теперь со всеми разговорами идите в милицию,— ответил я.

— Я настаиваю, чтобы вы приехали.

Я рассвирепел.

— Сначала выгоняете меня из дома, потом участвуете в покушении...

— Меня обманули! Меня обманули эти негодяи!

— Ах, теперь они негодяи!

— Что вы написали в статье? Что я жулик, делец? У меня дочери, внуки! Как они будут жить с таким позором?!

— Да не кричите вы! Об этом следовало раньше подумать. Что теперь вы от меня хотите?

— Хотел поговорить,— неожиданно спокойно сказал Ахвледiani.— Сегодня утром Вашакидзе улетел в Москву искать покровителей. Я остался один. Совершенно один.

— Ну и что?

В трубке раздались короткие гудки.

— Может быть, надо было поехать к нему, юноша? — сказал Гарри.

— Нет,— ответил я.

— Ты потом прослушай магнитофонную запись. Магнитофон с пленкой в сейфе у Левана. Там же папка с материалами, которые мы с ним собрали. Теперь ты понимаешь, юноша, почему я не навещал тебя?

— Чья инициатива дополнительного расследования — твоя?

— Левана.

Я ничего не успел сказать. Меня вызвали к Главному.

Главный знал обо мне куда больше, чем Леван. Это я понял по тому, что он спросил:

— Почему следователю ничего не рассказали?

Я промолчал. Не хотелось объяснять причины, побудившие меня не давать показаний следователю.

— Вы ничего не сказали следователю? — удивился Леван, который тоже был в кабинете.— Правильно сделали!

— Чему ты учишь молодого человека, Леван?! — Главный возмущался.

— Правильно он сделал!

— Спокойно, Леван.

— Я не могу быть спокойным, когда наши сотрудники подвергаются насилию!

— Ты уже выразил цеховую солидарность.— Главный обратился ко мне: — Как вы себя чувствуете, в состоянии интенсивно поработать?

Я кивнул.

Главный достал из сейфа мою статью. Я заметил, что ее первая страница испещрена красным карандашом. Легко было представить, что делалось на остальных страницах.

— На основе этого, а здесь материала в избытке, напишите очерк о Карло Торадзе на «подвал». Четыре «подвала» ужмите в один. Постановка вопроса — за что арестовали Карло Торадзе? Справитесь?

— Постараюсь,— ответил я без энтузиазма.

Мы с Леваном вернулись в отдел.

— Ну что? — спросил Гарри.

— Очерк о Карло Торадзе на «подвал»,— ответил Леван и вытащил из сейфа магнитофон, кассеты, папку.— Все это вам, Серго.— Он впервые назвал меня по имени.— Садитесь и работайте.— Забрав с моего стола неотредактированные материалы, он поделил их между собой и Гарри.— А вас, Гарри, я попрошу не отвлекать Серго.

Глава 23

Мать настаивала, чтобы я переехал к ней, но я не согласился, и мы расстались холодно.

Сидя в своем склепе над пьесой, я мысленно возвращался к разговору с матерью. Я жалел мать, но понимал, что ее неприятие Нины приведет к новому разрыву.

Я вышел на балкон, чтобы набрать воды.

Во дворе пылал костер, на котором жарился ягненок. Аполлон и Натела тащили из комнаты стол. Аполлона освободили, и он готовился отметить это событие.

Через час во дворе поднялся такой гвалт, что пришлось закрыть дверь. Обливаясь потом, я работал до изнеможения.

Кто-то постучался. Я открыл дверь. Передо мной стоял Аполлон.

— Уважьте, спуститесь к нашему столу,— сказал он.

За столом сидели все соседи, кроме Сандро. Бидзина спросил Аполлона:

— Ты мне так и не ответил. Идешь работать к нам в парк?

— Куда деваться? Я подписку дал,— сказал Аполлон.— Ты по соседски подыщи чистенькое место.

— Подыскал, Аполлон. Будешь мойщиком. Выпьем за новую жизнь нашего дорогого соседа Аполлона Калистратовича!

В воротах появился подвыпивший Сандро в белом костюме.

— Красавец наш пришел! — всплеснула руками Бабушка.

— Сын, ну что? — спросил Валериан.

— Что что? — хмуро отозвался Сандро.

— Ясно,— сказал Валериан.— Вырезали, значит.

— Что ты, человек, говоришь? Что за язык у тебя?! — сказала Бабушка.— Как могли его вырезать?!

— Ножницами чик, и готово, Бабушка,— сказал Сандро.

— Откуда вырезали? Вы можете по-человечески объяснить? — спросила Натела.

— Из фильма беднягу вырезали,— сказал Аполлон.

— Моего красавца вырезать, а других, уродов, оставить! — запричитала Бабушка и набросилась на Валериана.— Ты отец или маэстро? Поговори с этим режиссером, чтобы страдал он язвой!

— Об этом не может быть и речи! Искусство не признает окольных путей!

— Иногда объехать не мешает,— сказал Бидзина.— По опыту знаю. Прямая дорога не всегда самая короткая.

— У вас, у таксистов,— сказал Валериан.— В искусстве только один путь — прямой!

Я встал, бросив взгляд на Тату и Ираклия. Они переговаривались глазами.

— Пойдем наверх, выпьем по чашке кофе,— сказал я Сандро.

Мы поднялись на балкон.

Отхлебывая кофе из глубокой чашки, Сандро изливал душу. Чаша, которую предстояло мне испить, была значительно глубже, и я, готовый к этому, смиренно слушал Сандро.

— Ты не одобряешь, что я согласился переделать статью в очерк? Нина стояла у станка и, пока я говорил, не прерывала занятий.

— Но я же ничего не собираюсь предпринимать! Я отказался

поехать на фабрику к Ахвледиани. Я отказал во встрече даже Дато!

— Надо было отказаться и от очерка. Очерк ведь все о тех же бандитах, которые хотели убить тебя!

— Очерк посвящен Карло Торадзе!

— Господи, Сережа! По-русски это называется: что в лоб, что по лбу.

— Не мог я отказаться от редакционного задания, особенно если оно исходит от Главного. Не забывай, я всего-навсего внештатник, оформленный на временную работу.

— И не надо тебе работать в газете.

Зазвонил телефон. Нина взяла трубку.

— Алло! Слушаю! Алло! Молчат.— Она повесила трубку.— Вот так без конца с тех пор, как ты вышел из больницы. Сережа, я получила предложение из Сочи. Можно уехать.

— Отдыхать? Мы же собирались в Цхалтубо.

— Навсегда.

Я опешил. Она заметила это и сказала:

— Есть и другой вариант. Передвижной цирк.

— Ты хочешь уехать?

Нина кивнула.

— Куда же?

— Куда угодно, лишь бы поскорее и подальше. Я не желаю больше жить в страхе. Я устала засыпать с мыслью, что завтра тебя может не быть. Я как сумасшедшая вздрагиваю от каждого звонка. Я боюсь открывать дверь, боюсь подходить к телефону. Я все время в ожидании дурных вестей и беды. Не могу я больше так жить. Не могу!

Я подошел к Нине и обнял ее.

— Ничего со мной не случится. Не надо бояться.

Она прижалась ко мне.

— Уедем, Сережа. Уедем отсюда.

Мне вдруг тоже захотелось уехать, разъезжать, кочевать из города в город. Почему, подумал я, не уехать? Почему не посмотреть мир? Что я видел в жизни? Я поддался минутной слабости.

— Может, действительно уехать?— сказал я и тут же пожалел об этом. Как я могу бросить все, что связывает меня с Тбилиси? Бросить землю, в которую глубокими корнями ушло мое прошлое?..

— Поедем в Сочи,— сказала Нина.— Тепло, море...

— И толпы курортников. Проходной двор.

— Есть еще одна возможность — Москва. У мамы двухкомнатная квартира.

— Ты говорила, что у нее тяжелый характер.

— Тогда будем гастролировать.

— Будем? Что я буду делать, чем заниматься?

— Работа в цирке всегда найдется. Было бы желание.

— Я не для того учился пятнадцать лет, чтобы щелкать шамбарьером.

— Сережа, какое это имеет значение, если ты действительно намерен всерьез заниматься драматургией? У тебя целые дни будут свободными. Будешь писать сколько хочешь. Тебя никто и ничто не отвлечет от пьес. Пожалуйста, можешь вообще не работать. Моей зарплаты нам вполне хватит.

— И все во имя того, чтобы я писал пьесы? А стоят они таких жертв?

— Я не могу этого знать. Я знаю одно — хочу, чтобы тебе было хорошо, хочу, чтобы ты был со мной, живой и невредимый.— В ее глазах появились слезы.

Я взял руки Нины в свои.

— Я тебя очень люблю.

Она отрицательно покачала головой.

— Я очень тебя люблю,— повторил я.

— Не так, как я тебя.

— Я очень тебя люблю.

— Нет, Сережа.

Внезапно я подумал, что Нина не может уехать на гастроли с Бармалеем.

— А с каким номером ты собираешься выступать?

— С собаками.

— Понятно.

— Ничего ты не понимаешь. Ничего! Иначе после того, что произошло, ты сам бы увез меня отсюда. Ради бога, не надо ничего говорить. Не надо обманывать себя. Я же вижу, никакая сила не оторвет тебя от этого проклятого города. Ты словно врос в него. Я ненавижу, ненавижу этот город вместе с его людьми...

Она плакала, отвернувшись от меня.

— Как же так? Ты ведь любила и город, и людей...

— Ненавижу! — Нина повернула ко мне заплаканное лицо. — Ненавижу. Понимаешь? Иди. Я хочу остаться одна.

Таризл прилетел из Киева, с гастролей, внезапно, и Манана сказала по телефону, чтобы я немедленно приехал в театр.

— Леван Георгиевич, не возражаете, если отлучусь на час?

— Не возражаю, но лучше на полчаса.

Мераб не вернулся после сессии из Москвы. Он прислал телеграмму с просьбой предоставить ему очередной отпуск и перевести деньги. Амиран вышел на работу в подавленном настроении. Бедняге мерещилось приближение смерти. Он потерял голову и все время считал пульс. Ему было не до работы, и мы выполняли ее вдвоем — Леван, Гарри и я.

Косясь на мою перевязанную руку, Таризл говорил складно и красиво, но не конкретно. Наконец он сказал:

— Время не ждет. Пора начинать репетиции. Я хотел бы поставить пьесу к Октябрьской годовщине.

— Мою пьесу?

— Разумеется, вашу. Я прочитал последний вариант. Сильно. Возможно, кое-что придется смягчить, но это от нас с вами уже не зависит. Сможете приехать к нам в Киев, когда начнутся репетиции?

— Смогу.

— Прекрасно. Я Манане высказал свои замечания относительно некоторых сцен. Она все вам расскажет. Необходимо напрячься и, пока я здесь, доработать эти сцены. Я тем временем заручусь поддержкой в Министерстве культуры. У вас есть экземпляр, которым я могу располагать?

— Конечно. Может быть, в министерстве лучше показать пьесу после переделки, доработанный вариант?

— Время! Время! Идея пьесы ясна и в ее нынешнем виде. Пьеса в целом готова, а драматургический и сценический ряд там не обсуждается. Только главное направление. Детали — наше с вами дело.

— Хорошо,— сказал я и встал.— Извините, должен бежать в редакцию.

— А что с вашей рукой? — спросил Таризл.

— Автомобильная авария. Ехал в такси,— механически ответил я.

Леван и Гарри мрачно сидели за своими столами. Амира́на не было.

— Что-нибудь с Амираном? — встревожился я.

— Нет,— сказал Гарри.— Ахвледiani покончил с собой. В кабинете. На фабрике.

Я опустил на стул. Тысяча мыслей пронеслась в голове. Если бы... если бы... Если бы я поехал к нему... Если бы я разговаривал с ним по-другому... Он запутался. Ему нужна была помощь. Что же я наделал?!

— Не знаю, как вы, а я испытываю чувство вины,— сказал Леван.— Надо действовать. Под лежащий камень вода не течет.

— Но ведь очерк о Карло Торадзе будет опубликован,— сказал Гарри.— Он набран, гранки подписаны.

— Опубликован? Не уверен. На свой страх и риск Главный не станет публиковать очерк.

Я встал и направился к выходу.

— Куда вы, Серго? — спросил Леван.

— К Шоте.

Шота выжидающе уставился на меня.

— Ну, говори, зачем вызывал. Чего ты хочешь?

Я заставил себя заговорить.

— Хочу денег.

Он засмеялся.

— Ты что смеешься? — Я сжал кулаки.

— Радуюсь. Наконец ты заговорил как мужчина. Молодец! — Он хлопнул меня по плечу. Я терпеливо снес это.— Поздно. Поезд ушел.

Я растерялся. И здесь неудача. А Шота, понаслаждавшись моей растерянностью, повернулся, чтобы уйти.

— Послушай, Князь, ты же хотел купить копию моей статьи.

— Когда это было!

— Тебя уже не интересует, что мне удалось узнать обо всех вас? О тебе, например? Князем тебя называют в Москве, Вильнюсе, Риге... Продолжать?

— Сколько ты хочешь?

— Пять тысяч, как ты предлагал.

— Две.

— Пошел к чертовой матери! — Я сделал вид, что ухожу. Он должен был поверить в искренность моих намерений.

— Постой. Три, и ни копейки больше.

— Пять, и ни копейки меньше.

Шота подумал и сказал:

— Ладно, черт с тобой, вымогатель. Деньги сам возьмешь или через посредника?

— Обойдемся без посредников. Завтра в девять вечера жду в редакции, в шестнадцатой комнате.

— Почему в редакции? Другого места не нашел?

— Потому что не собираюсь таскать по городу свою статью, чтобы не было у тебя соблазна завладеть ею бесплатно. Понял? Все.

— Постой. Раз мы помирились, скажи, зачем вызывал тебя Ахведиани перед смертью?

— Он сказал, что Вашакидзе сбежал и оставил его одного козлом отпущения.

— Вашакидзе сбежал! Ты в своем уме? Ты знаешь, какие у него связи? Ты вообще знаешь, кто такой Вашакидзе?! Не мог Ахведиани подобную чушь сболтнуть!

Преодолев отвращение, я сказал:

— Даю тебе слово.

Шота задумался.

Я осторожно спросил:

— Он оставил предсмертную записку?

— Нет.

Впрочем, зачем? Его предсмертная записка была у нас на магни-

тофонной ленте. А откуда Шота узнал, что Ахвледiani звонил мне? От секретарши, конечно.

— Ладно, я пошел, Шота.

— Выходит, страх свел старика с ума. Страх не каждый выносит.

Манана и Таризл о чем-то спорили. Увидев меня, оба смолкли.

Я протянул Таризлу экземпляр рукописи. Он равнодушно положил ее на стол.

— Когда собираетесь показать пьесу в министерстве? — спросил я его.

— Сегодня, — ответил он. — Звоните Манане.

— Да, звоните мне, — сказала Манана.

Вернувшись в редакцию, я тут же перезвонил Манане, надеясь, что она одна в кабинете и сможет объяснить холодность Таризла.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего, ровным счетом ничего, — уверила меня она.

Самолет приземлился. К нему подогнали трап. Пассажиры гуськом направились к выходу. Щурясь от солнца, мы высматривали среди них Гурама. Маргарита Абесаломовна нервничала.

— Где же он? Обычно первым выскакивал из самолета. Почему его не видно?

Гурам вышел из самолета последним. Он шагал, глядя себе под ноги. Лишь приблизившись к нам, он поднял глаза, странно улыбнулся и вяло махнул рукой. Мы бросились к нему.

— Ну, голубчик, заставил ты меня понервничать! — сказала Маргарита Абесаломовна, сдерживая слезы.

Гурам обнял мать.

— Плачь, мама, плачь, — сказал он.

— Почему я должна плакать? Я должна радоваться, — сказала Маргарита Абесаломовна и зарыдала.

Суতোлка аэропорта вызвала у Гурама раздражение, и он попросил меня получить чемодан, а сам с матерью и Ниной пошел к машине.

В гостиной у Маргариты Абесаломовны был накрыт стол.

— Я же предупреждал, — сказал Гурам матери.

— Голубчик, никто не приглашен. Я на всякий случай накрыла стол, — смутилась Маргарита Абесаломовна. — Сядем, выпьем за твое воскрешение.

— Помянем профессора Кахиани, — сказал Гурам.

Дух профессора Кахиани витал над нами, и то, что мы сидели за столом, накрытым на двадцать человек, вчетвером, действовало угнетающе. Ни пить, ни есть мы не могли.

— Идемте, милочка, приготовим кофе, — сказала Маргарита Абесаломовна Нине.

Женщины вышли.

— Как твои дела? — спросил Гурам.

— Нормально.

Он встал и принес три скульптурки из черного обсидиана.

— Это ацтекские боги — солнца, луны и дождя. Я привез их тебе и Нине. Говорят, когда они вместе, то приносят счастье. А сейчас, не сердись, я должен поехать к семье профессора Кахиани.

Нина спала, положив голову на мое плечо.

Часы показывали восемь вечера.

Я мог лежать еще минут десять.

На полке рядом с будильником стояли ацтекские божки. Они

должны были принести нам счастье. Справятся ли они с этим? Посильно ли такое бремя для маленьких божков? В полумраке комнаты они казались совсем крохотными. Но кто знал, какой силой ацтеки наделяли своих богов.

Маленьким божкам следует помогать выполнять их предназначение, подумал я, осторожно высвободил затекшую руку и поднялся. Одеваясь, я почувствовал, что Нина смотрит на меня.

— Ты уходишь?

— Да, дела,— ответил я, отвернувшись. Мне казалось, что на моем лице написаны все мои мысли.

Нина встала.

— Сережа, ты ничего не скрываешь?

— Конечно, нет,— поспешно ответил я.

— Почему же ты не говоришь, куда идешь?

— В редакцию.

Она не поверила.

— Честное слово, в редакцию.

— Господи, как ты меня всегда пугаешь!

Я поцеловал ее.

— Будь здорова.

— Ты вернешься?

— Позвоню.

Я знал, что сегодня не вернусь. Я не смог бы смотреть ей в глаза, не выдав себя. А завтра? Я быстро открыл дверь. Только не думать, об этом не думать, приказал я себе.

Он ввалился в отдел с улыбкой.

— Свидетелей нигде не спрятал?

— Они в ящиках стола.

Он похлопал меня по плечу.

— Люблю, когда ты в хорошем настроении. Закончим дело?

— Конечно. Статья на столе.

Он вытащил из кармана полосатого пиджака плотный газетный сверток и протянул мне.

— Давай статью.

Я отстранился.

— Номера сам списывал или Санадзе помогал?

— Шутник! Давай статью и бери деньги.

— Ах, да! Кто сейчас списывает номера?! Деньги обрабатывают специальным составом в милиции. Не правда ли, паршивый ублюдок?

Дверь распахнулась. Я увидел подполковника Иванидзе и двух оперативников. Одного из них, сутулого, я сразу узнал. Он присутствовал на нашем свидании с Карло в тюрьме.

Больше всего меня интересовало, как поведет себя Иванидзе.

Он взял со стола статью и пролистал ее.

— И не стыдно тебе, Серго Бакурадзе? — сказал Иванидзе.

— Прошу разговаривать со мной на «вы».

— Взять его! — приказал он оперативникам.

Я знал, что произойдет дальше, но все же взволновался.

— Отставить!

Начальник следственного управления Министерства внутренних дел республики полковник Гонгладзе вошел в комнату в сопровождении Левана и Гарри. За ними цепочкой шли люди полковника.

Утром мы, не сговариваясь, встретились у лифта задолго до начала рабочего дня. Леван сказал:

— И вам не спится?

Я кивнул. Гарри не ответил. Собственно, Леван и не ждал ответа.

В отделе Гарри сказал:

— Все думаю, неужели нельзя было обойтись без вчерашнего?

— В доме повешенного не говорят о веревке,— возмутился Леван.— Думайте лучше о том, что Карло Торадзе освободят.

— А что будет с подполковником Иванидзе? — поинтересовался я.

— Спросите что-нибудь полегче,— ответил Леван.— Надеюсь, посадят. Сначала будет служебное расследование.— Он взял со стола свежий номер газеты. Каждое утро курьер разносил только что вышедшую газету по отделам до прихода заведующих.— У Главного держаться, как договорились.

— Я не согласен с вами,— сказал я.

— То есть как не согласны?! — Леван даже отложил газету.

— Почему вы должны брать ответственность целиком на себя?

Он саркастически рассмеялся.

— Не вам же отвечать за то, что происходит в отделе! Вы вообще рта не раскрывайте. Иначе Главный выгонит вас с треском, что нарушит ваши планы.— Он взял газету и развернул ее. Несколько секунд он усмехался. Потом сказал: — Идите-ка сюда. Оба идите, оба.

Гарри и я подошли к Левану.

На второй странице газеты был напечатан очерк о Карло. Я глазам своим не верил, читая заголовок «За что арестовали Карло Торадзе?».

— Видите,— сказал Гарри.— Главный все-таки получил «добро».

— Нет,— сказал Леван.— Не получал он добра. Это я точно знаю.

Как ни странно, я не испытывал гордости и не чувствовал себя героем дня. Очерк о Карло был признан редколлегией лучшим материалом месяца. Не умолкали телефонные звонки. Незнакомые люди одобряли выступление газеты и выражали редакции благодарность. Один даже обещал прислать разоблачительные материалы на директора медицинского института. Это было начало. Оно предвещало, что в ближайшие дни в редакцию пойдет поток читательских писем.

— Поздравляю, юноша,— сказал Гарри.— Ты теперь популярный человек в республике.

— Поздравлять надо Главного,— сказал я.

Передо мною лежала куча материалов, которые Леван велел редактировать. Я не притрагивался ни к одному из них. Я с нетерпением ждал часа, когда можно будет позвонить в театр Манане. Она явно что-то скрывала — слишком неумело делала вид, что ничего не случилось. Накануне я еще раз звонил ей, чтобы узнать, был ли Таризл в Министерстве культуры. Она сказала, что не знает. Может быть. Манана щадила меня, не хотела огорчать...

— Вернется Леван, пойдем пить кофе,— сказал Гарри.

Амиран считал пульс.

— Я больше кофе не пью,— объявил он.

В отдел заглянула Нана и вызвала меня в коридор.

— Тебе поручение от партийного бюро,— сказала она.— Собери деньги для Амирана.

— Сколько с человека? — спросил я.

— Не меньше десяти рублей. Но никого не заставляй. Только скажи, что путевка в санаторий стоит двести рублей. Составь список. Напротив каждой фамилии укажешь внесенную сумму.— Она протянула двадцатипятирублевую купюру.— Мой взнос. Деньги и список сдашь мне. Между прочим, Серго, ты, оказывается, порядочная свинья.

— Почему?

— Он еще спрашивает! Ты скрыл от меня, что встречаешься с этой рыжей девушкой из цирка. Я же тебя познакомила с ней!

Я развел руками.

— Извини, не знал, что следовало отчитаться.

— Напрасно! Я все-таки играю определенную роль в твоей жизни. Она все хромает?

— Уже почти не хромает.

— Я думаю! Она не хромать, порхать должна!

— Ты преувеличиваешь мои достоинства.

— Несомненно. Черт с тобой, приходи с ней в гости.

— С удовольствием,— сказал я и с рвением принялся выполнять поручение. Оно отвлекало от дурных мыслей.

Настал час, когда я мог позвонить Манане.

— Таризл задерживается в Тбилиси еще на неделю. В министерстве он пока не был. Вы не должны расстраиваться. Вы обязаны относиться ко всему спокойно и мужественно. Слышите? Спокойно и мужественно.

— Да, спокойно и мужественно.

— У меня возникли кое-какие идеи. Когда освободитесь, приезжайте. До семи я в театре.

Вошел Леван. Его лицо было в красных пятнах, но он улыбался.

— Со щитом? — спросил Гарри.

— С выговором! — ответил он.

Зазвонил телефон.

— Юноша, тебя,— сказал Гарри.— По-моему, брат Карло Торадзе. Гарри не ошибся. Это действительно был Дато.

Манана держала рукопись на коленях и, куря сигарету за сигаретой, снова высказывала замечания чуть ли не по каждой странице.

— Я хочу, чтобы Таризлу не к чему было придраться. Одна неправильно построенная фраза может отвлечь его от всей пьесы. Надо знать Таризла!

— Я больше не в состоянии притрагиваться к пьесе. У меня оскомины от нее.— Я взглянул на часы.

— Вы торопитесь?

— Да.

Меня ждала Нина. Мы собирались к Элисо. Она родила сына.

— Идемте. Немного провожу вас. Поговорим по дороге.

Мы шли через сад. Манана предложила на минуту присесть на скамейку. Казалось, она намеревается поведать мне о чем-то очень важном.

— У меня возникла идея,— сказала она.— Давайте уберем сына. Он появляется только в финале. Мне всегда жалко актеров, которые ждут своего выхода весь спектакль.

Я отказался. Мы стали спорить.

— Вас сегодня невозможно ни в чем убедить,— сказала Манана.— В чем дело? Загордились? Не смотрите на меня невинными глазами. Будто не знаете, что все только и говорят о вашем очерке. Кстати, принесите газету. Я еще не читала.— Она взглянула на часы.— Бог ты мой! Я помчалась.

Мать открыла дверь и сказала:

— Наконец-то! Я схожу с ума.

— Почему ты впустила его?

— Он все же родственник.

Я взбежал по лестнице и распахнул дверь в комнату матери. Ставни были закрыты. В полууме на кровати, с руками забравшись под одеяло, вытянулся Ило и таращил на меня испуганные глаза.

— Ты только поосторожнее с ним, он невменяем,— сказала мать.

— Уйди, мама,— я закрыл за собой дверь и включил свет.— Вставай, Ило!

Он с головой ушел под одеяло.

— Не валяй дурака! Вставай!

Я сорвал с него одеяло. Он лежал в кальсонах и рубашке, не смотря на невыносимую духоту. От него разило густым потом. Преодолевая брезгливость, я протянул к нему руку. Он отпрянул к спинке кровати и замахал руками.

— Уйди, хвостатый! Уйди! Уйди, я тебе говорю!

— Хватит прикидываться! Иначе вышвырну тебя на улицу в этих вонючих кальсонах!

Он снова замахал руками и зашипел:

— Кшш... Уйди, хвостатый! Уйди немедленно! Не пойду с тобой! Не пойду!

Я схватил его за рубашку. Он вырвался с тихим воем.

— Ангелы, где же вы?! Ангелы, спешите!

Мать приоткрыла дверь.

— Уйди, мама! — Я набросил на дверь крючок.

Ило продолжал выть. Вытаращенные глаза, расширенные зрачки, призывы к ангелам могли ввести в заблуждение мою мать, но не меня. Я был убежден, что Ило симулирует сумасшествие.

— Репетиция окончена, Ило. Получается неплохо. Детали отрабotaешь в другом месте. Слышишь?

— Уйди, хвостатый! Кшш...

Я снял с себя ремень. Ило не шелохнулся. Он с ненавистью смотрел на меня.

— Убери ремень! — тихо сказал он.

— Одумался?

— Не ори! Зачем ты опубликовал статью? Зачем? Разве мы так договаривались? Десять человек уже забрали! — Он говорил шепотом.— А если они покажут на меня? Я же с ними был раньше связан. Понимаешь, какой опасности я подвергаюсь из-за тебя?

— Почему из-за меня? — сказал я, подавляя угрызения совести.— Сам виноват. Попытался всех обмануть. Своих, меня. Наврал же ты мне, что не работал ни с Санадзе, ни с Вашакидзе!

— Раньше это было, раньше! Я с ними давно порвал.

— Порвал! Да они дали тебе под зад. Ты и решил свести с ними счеты моими руками и заодно погреть свои.— Я бросил ему брюки.— Одевайся!

— Нет! Здесь меня искать не станут. Им в голову не придет, что я прячусь у твоей матери.

— Одевайся. Прячься у кого угодно, только не у матери!

— Я буду давать деньги.

— Убирайся ты со своими деньгами!..

— Тогда пусть твоя мамаша вызовет «скорую».

— Ты в самом деле спятил! Любой психиатр обнаружит симуляцию за две минуты.

— За деньги не обнаружит. Не могу поверить, что у твоей мамашы за столько лет работы в медицине нет знакомого психиатра, которому можно довериться.

Ило вызывал у меня омерзение, но я постарался объяснить:

— Сумасшедший дом не самое безопасное место, Ило. Тебе, нормальному, будут вводить в больших дозах аминазин. Представляешь, что будет с твоей психикой? Лучше уехать куда-нибудь. Например, в Сухуми.

В Сухуми жили родственники его жены. Поразмыслив, он согласился со мной и стал одеваться, предварительно обвязавшись марлевым поясом с деньгами.

— Поможешь выбраться из города,— сказал он.

Я проклинал Ило. Из-за него у меня пропадал вечер. Я дорожил каждым часом, торопясь переделать пьесу до отъезда Таризла, а тут вынужден был в ожидании ночи распивать с Ило чай.

Мать сидела за столом утомленная. Она чувствовала себя плохо.

Ило вытаскивал из сахарницы куски рафинада и бросал их обратно. Чтобы не раздражаться, я перевел взгляд на его двубортный пиджак с пуговицами, по моде обтянутыми тканью.

Мать ушла в кухню.

Из любопытства потрогав одну из пуговиц, я прощупал под тканью металл.

Ило отстранил мою руку.

— Не трогай!

Меня осенила догадка и, не обращая внимания на сопротивление Ило, я оторвал пуговицу. Он бросился на меня с кулаками. Я оттолкнул его.

— Что внутри? Золотая десятка?

В конце концов Ило признался, что к пиджаку пришиты золотые монеты.

В двенадцать я вышел на улицу и довольно быстро нанял для него машину. Вернувшись, я почувствовал запах валокордина.

— Мама, тебе плохо?

— Неважно, сынок.

Она собиралась мыть посуду.

— Обожди, мама. Я сейчас все помою. Ило, машина ждет.— Я высыпал весь рафинад из сахарницы ему в карман.— Полезно для укрепления памяти.

— Причитающуюся мне долю от суммы, которую получишь у Дато Торадзе, дашь моей жене. Смотри, не обмани бедную женщину.

В дверях он поднял воротник пиджака и быстро нырнул в автомобиль.

Глава 24

Я видел все тот же сон — Нина на белой лошади, летящей над белой травой. Я не был суеверным, но в этот сон я верил. Жизнь все-таки оставляет нам надежды. Часы показывали шесть утра. Я вскочил с кровати и, быстро умывшись, даже не сварив кофе, сел за пьесу. До начала работы в редакции в моем распоряжении было два часа. Каждое утро я вставал чуть свет, а вечером, навестив мать, мчался домой, чтобы засесть за пьесу, несмотря на то, что работа в газете выматывала.

В одиннадцать меня ждала в театре Манана. Таризл собрался в Киев и хотел забрать последний вариант пьесы с собой. В Министерство культуры он идти передумал. «Решил обойтись без поддержки», — сообщила мне Манана.

Я пришел в редакцию в приподнятом настроении — пьеса была готова.

— Зайдите в отдел писем.

Этим словами меня встречали каждое утро. Отклики на очерк о Карло приходили со всех концов республики.

Я принес пачку писем и, прочитав, стал сортировать их. Леван поручил мне подготовить обзор.

В десять Леван ушел на планерку. Я позвонил Нине. Присутствие Гарри не смущало меня. А отрешенный от мира Амиран не прислушивался к чужим разговорам.

— Чем занимаешься?

— Собой. А ты?

— Письмами. Их много.

Она относилась к публикации очерка с той же тревогой, какую проявляла задолго до его появления в газете. Она по-прежнему боялась, а я всячески старался приучить ее к мысли, что никаких дурных последствий быть не может. О переезде из Тбилиси Нина больше не говорила, зато считала дни, оставшиеся до поездки в Цхалтубо. Я понимал, что дело совсем не в Цхалтубо. Не такой это курорт, чтобы мечтать о нем.

— Ты сказал Левану о Цхалтубо?

— Нет еще. Ловлю момент.

— А если он тебя не отпустит?

— Не тревожся, отпустит.

Я не слышал, как зазвонил внутренний телефон на столе Левана.

— Юноша, тебя требует Леван,— сказал Гарри, держа в руке трубку.

— Все. Меня зовут к внутреннему телефону. Позвоню позже.— Я взял у Гарри трубку.— Слушаю, Леван Георгиевич.

— В одиннадцать мы должны быть в Министерстве внутренних дел у Шавгулидзе. Соберите все материалы. Не забудьте магнитофонные записи.

В одиннадцать я должен быть в театре, подумал я, но сказал:

— Хорошо.

К министру был вызван только Главный. Все сорок минут беседы за закрытыми дверями мы с Леваном просидели в приемной.

— Зачем он взял нас с собой?! — Леван волновался и злился.

Я тоже волновался, но злости во мне не было. Я понимал, что Главный взял нас с собой как подмогу на случай, если возникнут вопросы, на которые он не в состоянии ответить. В конце концов, я был автором очерка, а не он.

Видимо, подмога не понадобилась. Открылась дверь кабинета, и мы увидели, что Главный по-дружески прощается с министром. Я не видел Шавгулидзе лет шесть. Он постарел и осунулся. Волосы поредели и стали совершенно белыми. Весь его облик, несмотря на генеральский мундир, который, казалось бы, должен был придать ему, сухощавому и подтянутому, молодцеватость, выражал усталость.

Шавгулидзе почувствовал мой пристальный взгляд и поднял глаза. Узнает или не узнает? Он не узнал меня.

— Заставили вы меня поволноваться,— сказал Леван в коридоре Главному.

Я шел за ними.

— Обсудим это у министра. Без дураков,— услышал я позади. Голос был знакомым. Я обернулся.

В приемную входил Эдвин, и полковник Гонгладзе вежливо придерживал дверь.

Придя в себя, я догнал Главного и Левана на лестнице. Они беседовали. До моего слуха долетали отдельные фразы.

— Поднять общественность... общественное мнение... совпадение позиций... в конце концов, делаем одно дело... необходима поддержка печати...

Обо мне они забыли. Я надеялся, что они забудут обо мне и на улице. Тогда я мог успеть в театр. Но у машины Леван вспомнил, что пришел в министерство не только с Главным.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Гарри, когда я вошел в отдел. Левана увел к себе Главный.

— Вроде все обошлось. Мне не звонили?

— Нет. Юноша, тебя нельзя обвинить в многословии.

— Я ничего не знаю, Гарри. Леван тебе все расскажет.— Я позвонил Манане.— Извините, что задержался. Непредвиденные обстоятельства. Таризл рвет и мечет?

— Нет,— сказала Манана.
— Еду.— Повесив трубку, я схватил папку.— Гарри, я в театр. Буду через час.:

Манана листала рукопись, а я поглядывал на дверь, ожидая Таризла.

— Даже сына убрали! Вы просто молодчина, Серго. За эти два месяца вы здорово научились работать.

— Это вы хорошо сказали — «научились работать». Именно научился. Я и раньше не ленился, работал много, но бессистемно. По-настоящему я научился работать благодаря вам, Манана, и, знаете, я стал любить работать.

— Вот и обменялись комплиментами.

— Правда, Манана. Я вам очень благодарен за все. Если бы не вы...

— Перестаньте. Сейчас же перестаньте! Иначе я заплачу.

На глаза Мананы действительно навернулись слезы.

— Все. Молчу.— Я взглянул на часы.— Таризл улетел, забыв о пьесе.

— Не мог он улететь, даже не позвонив мне. Газету принесли? Я вытащил из папки газету, она прочитала очерк и сокрушенно сказала:

— Зачем вы только связались с такими мерзавцами?!

— Кто-то же должен...

— Должен! Конечно, должен! Но для общества ваша пьеса сто- крат важнее, чем ваши деяния. Для подобных деяний, в конце концов, есть милиция.

— Знаете, Манана, всегда при желании найдется объективная причина, чтобы отступить. Вспомните Германа. Как он горячился вначале. У него и режиссерские решения были. А потом? Казалось бы, в чем его можно обвинить? Его отстранили. С моей точки зрения, отстранился он сам. Смалодушничал. И вообще исчез.

— Ему стыдно было встречаться с вами.

— Слава богу, что он еще может стыдиться своих поступков. Но это ничего не меняет. Во всяком случае, для меня. Если бы он сегодня при моем плачевном положении сказал, что нашел театр и будет ставить мою пьесу, я бы отказал ему. Я перестал уважать его. Нельзя отступать ни в большом, ни в малом.

— Ах, Серго, трудно вам придется в жизни. Санадзе с приспешниками арестован?

— Арестован.— Я поднялся.

— Все равно, будьте осторожны, Серго. Санадзе не исчезают и после смерти. Они пытаются владеть миром даже с того света. И про- шу вас, Серго, не отчаивайтесь. Таризл не мог улететь. Вот увидите, он возьмет пьесу в Киев. Позвоните мне вечером.

Вернувшись в редакцию, я узнал через справочную номер до- машнего телефона Таризла. Хотя я и звонил однажды Нате, номер позабылся.

— Алло! — услышал я ее голос.

— Здравствуй, Ната. Это Серго Бакурадзе.

— Серго? — удивилась она.

От волнения у меня пересохло в горле. А что я скажу, если Таризл дома?

— Звоню по поручению редакции. Мы хотели взять интервью у твоего супруга о планах театра.

— Очень жаль, но час назад он улетел в Киев.

— Действительно, очень жаль. Извини за беспокойство.

Я повесил трубку, не испытывая ничего. Я разом лишился всех ощущений.

— Юноша, ты хотел сделать материал для отдела культуры? — поинтересовался Гарри.

— Пойдем-ка лучше выпьем кофе, — сказал я.

Был душный вечер. Гурам предложил подняться на Святую гору. Нина сразу согласилась в надежде развеять мое дурное настроение. Через час мы сидели на веранде ресторана «Мтацминда».

— Что ты теперь собираешься делать? — спросил Гурам.

Внизу, в котловане, словно громадная карта электрификации, раскинулся Тбилиси. Повыше, справа от нас, в черном воздухе повисла белая церковь Мамадавити. В церкви светилось одно окно.

Я смотрел на черную стену за балюстрадой и молчал.

— Что ты там увидел, Сережа? — спросила Нина.

— Черную стену, — ответил я.

— Не валяй дурака! Какая еще черная стена? Что ты хочешь этим сказать? — Гурам даже привстал.

Может быть, я и хотел что-то сказать, но не знал, что именно. В голове была путаница.

— Сережа, нельзя же так. — Нина положила свою руку на мою.

— Ладно. — Я улыбнулся ей. — Гурам, Эдвин не звонил?

— Звонил.

— Теперь ты знаешь, где он работает?

— Какое это имеет значение?

— Наверняка он тогда искал Шоту, а Шота у него под носом ходил.

— Так что ты собираешься делать?

— Не знаю, еще не решил.

— Уехать бы тебе надо на время.

— Вы что, сговорились?

— Мы с Ниной об этом вообще не говорили. Нина может подтвердить.

— Я уеду, в Цхалтубо.

И тут в церкви ударили в колокол. Звон был неожиданным и тревожным. Нина вздрогнула. Колокольный звон судьбы... Где это я слышал или читал? Не мог вспомнить.

Мы ждали второго удара. Он не последовал.

— Ложная тревога, — сказал Гурам. — Священник напился и решил разбудить господа, чтобы поговорить с ним по душам. Но более трезвые коллеги не позволили нарушить покой всевышнего и...

— Гурам, перестань, — укорила его Нина.

Гурам смутился.

— Что с тобой? — спросил я Нину.

Она сама была смущена.

— Ничего. Извини, Гурам.

— Я хотел быть веселым, — сказал он.

— Давайте веселиться, — подхватила Нина. — Сережа, налей мне вина.

Веселья у нас не получалось.

— А я недавно была в церкви, — сказала Нина.

— Ты? Это еще зачем?

— Ставила свечку. Просила бога, чтобы он помог нам с пьесой.

У меня все оборвалось внутри. Что она испытывала, какие душевные муки ее терзали, если тайком ходила в церковь и за помощью обращалась к мифическому богу?! Я молча поднес ее руку к губам.

— Все будет хорошо, — еле слышно произнесла она.

Я очень сомневался в этом, но не возразил.

Мне опять снилась Нина на белом коне. Этот повторяющийся сон стал несъёмлемой частью моей жизни, и когда я не видел его

или видел что-то другое, то просыпался с таким чувством, будто меня обманули.

Два часа я приводил в порядок свою комнату. Рукописи пьесы, черновики, наброски были собраны и перевязаны бечевкой. Теперь они будут пылиться на шкафу. Протертая пишущая машинка, несмотря на старость, блестела черным лаком. Я положил ее в футляр. Щелкнул замок.

Я оставил машинку в парикмахерской у Ашота, а в десять, когда Леван ушел на планерку, забрал и отвез в комиссионный магазин. Мне повезло. Какой-то рыжий мужчина в парусиновой куртке умолил меня продать ее немедленно, и мы на глазах приемщика совершили сделку. Рыжий радостно унес машинку. Точно так же вынес ее я из этого магазина четыре года назад. Я с грустью проводил машинку взглядом. Она терпеливо служила мне, стала продолжением моих пальцев, доверенной моих мыслей и чувств... Машинку поставили на тротуар. Подошел троллейбус. Машинку оторвали от земли, подняли по ступенькам. Сомкнулись двери, и троллейбус навсегда увез ее от меня...

Прежде чем подняться в отдел, я зашел к Ашоту.

— Постричь и помыть голову,— сказал я.

— И все бесплатно?— сказал Ашот.

— Все за деньги!

— Извини. Я не знал, что ты не в духе. Думал, перекинемся шутками,— сказал Ашот и принялся за работу.— Серго-джан, этого бедолагу Карло освободили?

— Пока нет.

— Почему, Серго-джан?

— Не знаю.

— Да-а! Осудить человека куда легче, чем оправдать.

Около зеркала висел отрывной календарь. Было второе августа. Со времени публикации очерка и откликов, выражавших общественное мнение, прошло достаточно времени, чтобы пересмотрели дело.

— Есть надежда, Серго-джан?

— Надежда всегда есть.

Поднявшись в отдел, я сказал Левану, что уезжаю на три недели.

— Куда?— удивился он. Амиран был в санатории, Мераб еще не возвратился. С моим отъездом всю работу в отделе пришлось бы выполнять Левану и Гарри.

— В Цхалтубо.

Леван о многом догадывался и не стал ни о чем спрашивать.

— Хорошо, езжайте.

Лишь позже он спросил:

— Что с пьесой?

Я коротко рассказал.

— Что вы собираетесь делать?

В который раз мне задавали этот вопрос за последние дни!

— Еще не знаю.

Мы были в отделе вдвоем. Гарри интервьюировал каких-то иностранцев в Обществе дружбы с зарубежными странами.

— Я тоже не знаю, что вам посоветовать. Все мы прошли через это и живем, как видите.— Он горько усмехнулся.— Живем.— Он подошел к окну, в которое ярко светило солнце, и задернул штору.— И вы будете жить...

Да, но как? Терзая себя и своих близких? Срывая злость неудачника на других? Мне не хотелось говорить об этом с Леваном, и я спросил:

— А что со статьей?

— Лежит в сейфе Главного.

— Выходит, она не будет опубликована?

В письмах читатели просили напечатать подробности о Санадзе и его компании.

— Вы многого хотите.
— Да, наверно. Я всегда многого хотел.
Зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал голос Дато.
— Как поживаешь, Серго?
— Твоими молитвами.
— В таком случае ты должен быть счастливейшим человеком. Я день и ночь молюсь...
Я перебил его:
— Извини, Дато, у меня полно дел. Завтра уезжаю в Цхалтубо. У тебя что-нибудь срочное?
— Неужели я стал бы беспокоить тебя иначе? Очень срочное. Через минуту буду у редакции. Поедем в тюрьму.
— В тюрьму? Зачем?
— Как зачем, Серго! Карло освобождают!
Я онемел от радости.
— Серго, слышишь? Карло освобождают!— крикнул Дато и засмеялся как безумный.— Ты сегодня должен быть с нами.
— Карло Торадзе освобождают,— сказал я Левану.
— Серго, ты слышишь меня? Ты должен быть с нами!
— Нет, Дато. Не буду вам мешать,— наотрез отказался я.

Получив гонорар, я поехал на вокзал за билетами, но по дороге велел шоферу такси развернуться.

— Сначала подъедем к тюрьме.

Метрах в двадцати от тюрьмы я попросил остановить машину. В тени зеленых ворот я увидел Дато с родней. Он поддерживал под руку пожилую женщину в черном, видимо, мать.

Не знаю почему, но я волновался и нетерпеливо глядел из такси на дверь в воротах.

Солнце жгло, и шофер вышел из такси. Пот струился по мне. Но я оставался в машине, опасаясь, что Дато ненароком заметит меня.

Наконец дверь в воротах приоткрылась и выпустила Карло Торадзе. К нему бросились родные.

— Поехали,— сказал я шоферу.

Нина перешивала платье. На стуле лежал раскрытый, наполовину уложенный чемодан.

— Ты был у матери?— спросила Нина.

— Нет, не успел. Забегу завтра перед поездом.

— Меня совесть мучает.

— Почему?

— Увожу тебя, когда она больна. Не говоря уж об остальном.

— Вчера она чувствовала себя гораздо лучше. Об остальном не думай. В Цхалтубо у нас будет достаточно времени и подумать, и обсудить, как жить дальше.

Она оставила шитье, подошла ко мне и, опустившись, положила голову на мои колени.

— Ты даже не представляешь мою радость. Я так рада, что мы едем, понимаешь, едем вместе и будем вместе, что у меня есть ты.— Нина запнулась и виновато произнесла:— Слов не хватает... Может быть, там, вдали от Тбилиси, сумею сказать то, что хочу тебе сказать сейчас. Я должна. Я сумею. Вот увидишь...

— Нина!

Она подняла голову. Я поцеловал ее в мокрые от слез глаза.

— Я люблю тебя. Очень люблю.

Она улыбнулась.

— Это я очень люблю тебя.

Зазвонил телефон.

— Насчет собак,— сказала мне Нина, прикрыв трубку рукой.— Что ей ответить?

— Что ты не будешь покупать собак, поскольку это противозаконно и вообще живых существ не продают.

— Сережа, ты убежден, что я должна отказать ей?

Я был против собак, против иллюзиона. Я надеялся, что мой сон сбудется и Нина встанет на Бармалея. А там посмотрим...

— Скажи, что уезжаешь и позвонишь по возвращении.

Повесив трубку, Нина поставила на проигрыватель пластинку и принялась за шитье.

— Вчера я видел Карло Торадзе...

Накануне я сообщил ей только об освобождении Карло. В большем и не было необходимости. Но я не мог ничего от Нины скрывать. Мне казалось, что я обманываю ее.

Нина промолчала.

— Издали,— сказал я.— Подъехал к тюрьме.

— Не удержался?— спросила она, не поднимая головы.

— Не удержался,— признался я.— Дато собирается приехать вместе с ним в Цхалтубо. Ты не возражаешь?

— Что с тобой поделать? Пусть приезжает, только ненадолго.

— Конечно, ненадолго,— засмеялся я.

— Ты когда-нибудь был в Цхалтубо?

— Заезжал на час. Это рядом с Кутаиси. Красивое место, но скучное.

— Зачем же ты едешь?

— Лечиться.

— Лечить меня.— Нина снова подошла ко мне.— Я знаю, я все знаю...

— Начало двенадцатого. Ты не успеешь закончить платье.

— Черт с ним, с платьем! Я мечтала о нашей поездке, все равно куда, но не верила... А вдруг теперь, с сегодняшнего дня все мои мечты будут сбываться? Что тогда?

— Тогда ты станешь самым счастливым человеком в мире.

— Стану. Вот увидишь, стану!

— Почему ты так уверена?

— Потому что я очень хочу этого.

Зазвонил телефон.

— Просят тебя,— сказала Нина, протягивая трубку.

— Меня? Не может быть!— я взял трубку.— Слушаю!

— Вы Серго Бакурадзе?— спросил взволнованный женский голос.

— Я.

— Вашей маме очень плохо. Немедленно приезжайте.

— Еду!— Я бросил трубку и схватил пиджак.

— Сережа! Приди в себя! Я третий раз спрашиваю — что случилось?

— Маме плохо!

— А кто звонил?

— Не знаю. Соседка, наверно.

— Как же так? Ты даже не спросил, кто она.

— Какое это имеет значение?! О чем ты говоришь?!

— Сережа, ты никуда не пойдешь. Здесь что-то не так.

— Нина!— Не знаю почему, но я выложил из бумажника на стол железнодорожные билеты и отложенные для поездки деньги.— Скоро вернусь. Или позвоню.

Я выбежал на улицу. Было темно. Глядя под ноги, чтобы не споткнуться, я быстро шагал по выщербленным бетонным плитам.

Хлопнула подъездная дверь. Застучали каблуки. Я обернулся. За мной бежала Нина.

— Я с тобой.— Она взяла меня под руку.— Боюсь оставаться одна.

— Ты боишься совсем другого.

— Да, боюсь. Разве мама знает номер моего телефона?

— Нет.

— Тем более его не может знать соседка.

Я задумался.

— Ты права. Но я должен убедиться, что с мамой все в порядке.

— Сережа, вернемся. Подозрительно все это.

— Не бойся. Идем.

Она вздохнула.

— Как скажешь.

Фонари уже не горели. Улица была темной и пустынной. Лишь в десяти шагах от нас у обочины под раскидистым деревом стоял грузовик. Он закрывал от меня улицу. Выпустив руку Нины, я перешел с тротуара на мостовую.

— Ни одного такси,— сказал я.

В этот момент заработал двигатель грузовика, и я, удивленный тем, что не вижу в кабине водителя, пытался разглядеть его. Внезапно машина сорвалась с места. Вспыхнули фары. Свет проник в мой мозг, в каждую частицу моего тела. Я потонул в нем и стал захлебываться.

— Сережа! — услышал я крик Нины, и в следующее мгновение ее руки с силой вытолкнули меня из света.

Снова стало темно.

Грузовик стремительно уносился.

— Нина,— позвал я.— Нина!

Я не услышал ее голоса. Я увидел Нину. Она лежала на мостовой.

— Нина! — крикнул я и бросился к ней.— Нина! Нина!

Она не отвечала.

Я стоял на коленях, плакал и умолял ее отозваться. Я не верил, что она может умереть.

Нина молчала.

Обезумев от горя, я стал кричать.

Свет. Какие-то люди. Кто-то укрывает Нину чем-то белым. Я смотрю на ее лицо. Жду, что она откроет глаза.

Чья-то рука натягивает белое покрывало на лицо Нины.

— Нет! — кричу я и срываю покрывало.— Нет!

Я жду, что она откроет глаза и позовет меня. Я жду.



ОЛЕГ САЛТУК

Моя земля

С БЕЛОРУССКОГО.

Перевод

ИОСИФА ВАСИЛЕВСКОГО

Сединой слетает пыль веков,
В небе звезды делаются пылью.
Возвращаюсь к сущности основ —
За спиною вырастают крылья.

Здесь, у этих селищ, близ озер,
Расчищая заросли под пашню,
Кривичи селились с давних пор —
Прадеды, предшественники наши.

Полыхал в пожарах оком,
Их враги жестокие теснили,
Чтоб они на языке своем,
Боже сохрани, не говорили.

Гибли и в боях, и под замком.
Тут и мой бы час до срока пробил.
Сколько полегло тут чужаков,
Сколько наших памятных надгробий!

Рожь дымится спелою пылью,
Марево зависло над поляной.
Тишина... Торжественный покой
Над рекой, над нивой, над курганом.

Тут стоял когда-то дедов дом,
Тут мой корень и моя основа.
Тут моя Непрядва,
Тут мой Дон.
Тут мое и поле Куликово!



А. М. ЛЕОНТЬЕВ,
секретарь Чувашского обкома КПСС,

А. В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель правления
Союза писателей Чувашии

КАДРЫ

А. Леонтьев. Недавно я перелистывал подшивку «Советской России» за 1983 год и снова перечитал статью С. А. Лукина «За спиной соседа».

А. Емельянов. Лукин? В Урмарском районе который работает? Председателем колхоза имени Мичурина? Знаю его хорошо...

А. Леонтьев. Потомственный хлебороб, землю, труд крестьянский любит истово. Герой Социалистического Труда... В статье он поднимал важные проблемы, касающиеся сельской экономики, а заключил ее такими словами: «Нам же, коммунистам на местах, предстоит крепко подумать о том, как «сиять заставить заново» такие высокие понятия, как обязанность, долг, честь, труд...» Действительно, как? Мы принимаем грандиозную Продовольственную программу. Она дает импульс всей нашей жизни. Обязанность, долг, честь, труд — эти слова сегодня обретают плоть. Мы намечаем новые планы, уже добились значительных успехов. В 1990 году Чувашия планирует собрать не менее 1090 тысяч тонн зерна, сделать рубеж в 26 центнеров с гектара нормой для каждого хозяйства при любых погодных условиях. И так будет, я уверен, ведь в иные годы республика добывалась урожая в 24—26 центнеров с каждого гектара... Но это с одной стороны. А с другой? Численность сельского населения Чувашии сокращается. Молодежь уходит работать в города. Сегодня горожан стало больше, чем сельчан. Деревня «стареет», и это доказывает статистика: средний возраст сельского жителя республики в 1979, скажем, году был около 34 лет, а сегодняшний крестьянин стал гораздо старше. Процесс миграции молодежи из сельской местности в города и на стройки продолжается. И это настораживает...

А. Емельянов. Молодежь, она на месте не сидит. Одни ищут, «где лучше»...

А. Леонтьев. А вы разве искали? Ну, «где лучше»?

А. Емельянов. Так ведь некогда было, Анатолий Михайлович! Военные годы вспомнить... В двенадцать лет я уже и пахал, и бороновал, и сено косил. Война началась, отец на фронт ушел, а в 1942-м погиб он под Орлом. Вот и остался я за хозяина. Матери помогал, а потом и в колхоз пошел работать. Мужики все на войне; женщины да дети в селе остались. А фронту хлебушек был нужен! Тут на возраст не глядели, все, от мала до велика, на победу работали...

А. Леонтьев. У нас с вами одинаковые судьбы. Мы в войну две «похоронки» получили — на отца и брата. Брат погиб под Сталинградом, отец — под Курском. И после войны жилось трудно. Голодали, холодали, работали в поле наравне со взрослыми. И тоже не искали, «где лучше». А разве на целине легко было? Но ехали мы туда, между прочим, с песнями. А я так четыре раза на целину ездил. В 1956—1957 годах, будучи студентом, убирал целинный хлеб. Работал на комбайне «Сталинец-6», допотопной, неповоротливой машине. В 1960 году возглавлял целинный отряд в 1800 человек. Тоже хлеб убирали. А в 1961 году послали меня в Павлодарскую область создавать подшефный совхоз Чувашского комсомола. Помню, ехали мы, ехали, а степи конца и края нет. Счет дням стали терять. Наконец нам говорят: все, приехали! Здесь вам жить, располагайтесь... А вокруг, кроме ковыля да клубочков пере-

кати-поля, ничегошеньки нет на сотни верст вокруг. Мы не роптали, натянули солдатские палатки, пояса затянули потуже и пошли целину поднимать. Теперь там совхоз крупный... О славе мы думали, о почете помышляли? В нас энтузиазм кипел, задор юношеский, желание проявить себя. Но всему этому цена небольшая, когда нет цели значительной. А она была! Стране был нужен хлеб, мы это знали. И мы ехали туда, чтобы стране нашей помочь.

А. Емельянов. А я вот на целине не был. В райкоме комсомола работал в Вурнарском районе, отправлял добровольцев на целину. Напутствовал: «До встречи на целине!» — а самого не отпускали. В нашем районе целины хватает, говорили мне, имея в виду нерешенные наши проблемы. Работы действительно много было, каждый день сверху требовали: давай, давай! Чего-чего, а неразберихи организационной на селе хватало. То, глядишь, колхоз укрупняют, до 40 деревень под одну крышу сводят. Но чуть поработало хозяйство, новая реорганизация прыдет — разукрупняют. А что в итоге? Отстающих больше становилось. Опека над селом лишила руководителей инициативы. Чистые пары — нельзя, нарушение агротехники. Кормовой клин хотят увеличить — не давать, ибо это чревато сокращением посевов зерновых. Кормов была нехватка, а поголовье держи. Привесов почти не было, зато рогов и копыт хватало — для отчета.

А. Леонтьев. Сегодня на селе много изменений. Более 1 миллиарда 210 миллионов рублей капиталовложений направлено в сельское хозяйство Чувашии за девятую пятилетку и два года одиннадцатой. В два раза увеличились производственные фонды хозяйств. На 91 процент выросла их энерговооруженность. Сегодня мы говорим: сельское хозяйство республики стало на индустриальные рельсы. Что это значит? Это и крупные механизированные животноводческие фермы, и межхозяйственные комплексы по откорму скота, и современные птицефабрики. Практически все производство яиц и птичьего мяса республика ведет на промышленной основе. И в такой традиционно «неудобной» отрасли, как овощеводство, произошли большие изменения. Уже работают тепличные комбинаты по производству овощей на закрытом грунте, созданы специализированные овощеводческие совхозы. Заметно улучшилось снабжение населения республики овощами и фруктами. Укрепилась экономика хозяйств, итоги 1983 года это доказывают: рентабельность колхозов и совхозов республики в целом составила 37 процентов. Хозяйства Чувашии, в основном, завершили год с прибылью (убыточным было лишь одно хозяйство). Но мы не имеем права успокоиться. Есть у нас и резервы, и нерешенные проблемы. Не все хозяйства используют в полной мере помощь, оказанную государством. Это одно. Мала отдача и собственной, достаточно высокой материально-технической базы. В ряде колхозов и совхозов и урожайность, и продуктивность остаются пока на низком уровне. Конечно, на отстающие хозяйства рукой можно махнуть, переспективные, мол. И просто-напросто соединить их с теми, что покрепче да посильнее. И вопрос решен. Но выход ли это? Поэтому мы и помогаем тем хозяйствам, что послабее. Для отстающих закупочные цены повышены. Только это даст им до конца пятилетки 51 миллион рублей. Немало. Кроме того, 66,4 миллиона рублей — долги перед государством — списано с их счетов безвозмездно, а 90,1 миллиона рублей, что задолжали по ссудам, отсрочено. Помощь, как говорится, не на словах, а на деле. Однако мне думается, что не только дополнительная экономическая помощь «дотянет» отстающих до средних и передовых. В первую очередь надо укрепить слабые хозяйства кадрами специалистов, руководителями на всех уровнях. И нужен очень тщательный контроль за работой хозяйств отстающих. В каждом из них уже разработаны конкретные меры повышения уровня хозяйствования, укрепления экономики. Райкомы партии и вновь созданные РАПО уделяют им внимание неослабное. 35 из них взял под контроль отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности обкома КПСС. Ежеквартально рассматривается ход разработанных мероприятий, проводятся семинары и совещания с руководителями и специалистами этих хозяйств.

А. Емельянов. Я вспоминаю шестидесятые годы. После мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС отстающие хозяйства получили большую помощь. И некоторым это помогло не только отставание преодолеть, но и вырваться далеко вперед. Например, известный на всю республику колхоз имени космонавта А. Г. Николеева был тогда отстающим. Нынешний передовой откормсовхоз «Вурнарский» создавался, между прочим, на базе самых отстающих хозяйств. Зерна помощи пали на благодатную почву. Я, Анатолий Михайлович, уверен, что и сегодня те меры, что

принимает наша партия по подъему сельского хозяйства страны, в корне изменяет положение дел.

А. Леонтьев. А иначе и быть не может! Все хозяйства обязаны жить за свой собственный счет, а не сидеть на шее государства, не прозябать в долгах! Чтобы они давали прибыль, чтобы строили за свои деньги не только фермы, но и школы, дороги, детсады. Такая задача стоит перед каждым хозяйством...

А. Емельянов. Был я недавно в Вурнарском районе. Заехал к председателю знакомому. Заговорили мы как раз об этих проблемах, о помощи отстающим хозяйствам. А он и говорит: боюсь, что эта помощь породит иждивенчество... Такое было и в шестидесятые годы, помните ведь, Анатолий Михайлович. Нерадивый хозяйственник, чей колхоз на ладан дышит, только и ждет помощи со стороны. Задарма кое-кто не прочь проехаться, прикрыть, благо есть чем, бесхозяйственность свою. А у него убытки из-за нерадения, беспечности, из-за того, что он привык разбазаривать безнаказанно. Ему трактор новый дай, комбайн дай. Удобрения он возьмет, да и еще попросит, мало ему. Комплекс для скота, цена которому миллион, а то и полтора, он строить не откажется, только предложи. Деньги-то дают, он не дурак, он их возьмет. Назавтра он комплекс «заморозит», удобрения под дождем стубит, а комбайн и трактор так «уходит» на своем бездорожье, что и не узнать будет. Я помню, мы трактора и комбайны оберегали, ставили их под крышу, техосмотр делали вовремя. Грузовики у нас по 25 лет бежали.

А. Леонтьев. Да, к сожалению, с иждивенчеством еще не везде покончено. В статье «За спиной соседа» С. А. Лукян с горечью писал, что тот, кто хорошо работал, остался как бы внакладе, а плохие хозяйства получили «поощрения» в виде надбавок за... низкорентабельное ведение хозяйства. А их наказывать впору. Но дух иждивенчества — в первую очередь порождение гарантированной оплаты труда, которая порой не связана с результатом конечным. Люди получают деньги независимо от урожая, произведенного молока, мяса. Как тут быть? Партия показала нам выход из такого положения — внедрение метода коллективного подряда! Вот ключ к решению этой проблемы, вот заслон иждивенчеству. А иначе мы разоримся просто-напросто... На встрече с избирателями товарищ К. У. Черненко говорил, что мы еще не всегда строги в наказании рублем нерадивых и, напротив, бываем недостаточно щедры в материальном поощрении добросовестных работников. Мы станем строже! Станем, чтобы рубль не пропал из тех денег, что партия направляет на подъем сельской экономики. Станем, чтобы копейка не была дармовой для нерадивого хозяйственника. Помощь эта не за красивые глаза и не от щедрот государства. Отстающие получают ее потому, что мы придаем огромное значение выполнению Продовольственной программы. Помощь эта — прежде всего кредит доверия. А доверие, как известно, оправдывать надо честным и добросовестным трудом. Мы не скрываем, у нас на селе есть еще нерешенные проблемы. Их немало. Ни для кого не секрет перебои со снабжением продуктами первой необходимости. А кто будет кормить страну, если не деревня? Пусть об этом задумаются хозяйственники на местах, получая от государства и крупные надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукты, и дотации.

А. Емельянов. А если они возьмут как должное очередную дотацию, технику возьмут, удобрения и опять за старое примутся? Снова будут гробить хозяйства свои? Есть же и такой тип хозяина, что стремится взять побольше, а дать поменьше норовит.

А. Леонтьев. Не для него руководящая должность. Освобождать его надо с высокого поста. Уверяю вас, что это порой полезнее, чем годами воспитывать такого вот «акселерата», наставляя его ежечасно, как младенца. И получая при этом минимум отдачи. Какой смысл? Руководить — талант нужен немалый. А талант, он от матери. Если таланта нет, его ты нигде и не займешь...

А. Емельянов. Но каждый ведь не может быть талантливым!

А. Леонтьев. Каждый не может, это верно, но грош нам цена, если мы проглядим талант в руководителе. Хотя, я считаю, талант, если он есть, всегда себя проявит. Не сегодня, так завтра. Вот вы Горшкова знаете?

А. Емельянов. Василия Андреевича? Знаю, бывал у него в Яльчикском районе не раз.

А. Леонтьев. Горшков — человек талантливый! Работал 10 лет заведующим организационным отделом Яльчикского РК КПСС. Потом его «сосватали» в отстающий

колхоз имени Ленина. Сперва он за голову схватился: на кой черт согласился сюда пойти? А тут бы любой за голову схватился, между прочим. На фермах антисанитария, дисциплины никакой, кое-кто спиртным злоупотребляет прямо на работе. Я в том хозяйстве был до Горшкова еще. Что сказать? Конечно, развал в хозяйстве был полный. А про ферму я и не говорю. Доярки едва не каждую неделю менялись. Надои, и без того мизерные, падали с каждым днем... Ну, а Горшков так решил: раз пришел я сюда, то буду работать. Прошло несколько лет, все изменилось! Построил он современную ферму, деньги ему хмель дал, тут его 28 гектаров всего, зато каждый из них дает урожай в 17,2 центнера. Дела, короче говоря, пошли. Если раньше тут едва-едва по 2000 литров надаивали от коровы, то теперь — 3000. В 1979 году на 100 гектаров сельхозугодий произвели 239 центнеров молока, а уже за прошлый год — 364 центнера и мяса на 100 га сельхозугодий более 120 центнеров. Зарботки у доярок до 300 рублей поднялись. На ферме механизация, чистота. Но Горшков на этом не остановился, он дальше пошел. На территории фермы открыл он Дом животноводства. Тут тебе и физиотерапевтический кабинет, и профилакторий, и душевая. И швейная мастерская. Ни много ни мало, платья тут шьют по заказам доярок! На ту ферму теперь рвутся работать, отбоя нет от желающих. Но Горшков сюда лучших берет... Василий Андреевич как считает: план не выполнять стыдно. Как потом людям в глаза глядеть будешь?

А. Емельянов. Вот и рассуждай после этого, что совесть — категория не экономическая...

А. Леонтьев. А Иван Яковлевич Денисов из того же Яльчикского района? Его колхоз «Слава» на 100 гектаров сельхозугодий 110 центнеров мяса производит да 461 центнер молока. По 3566 килограммов молока от одной коровы надаивают. Зерновых получают по 30—35 центнеров с гектара, а картофеля — аж за 200! Без никаких тебе дотаций. И. Я. Денисов добился рентабельности колхоза в 56,7 процента. В 1983 году каждый гектар его полей дал 344 рубля чистого дохода. А ведь когда-то был этот колхоз в числе неперспективных. Вот что такое талант руководителя. У нас в республике 288 хозяйств. Соответственно столько же директоров и председателей. Я как-то прикинул: обладая хотя бы половина из них талантами И. Я. Денисова, А. Е. Евтихеева, А. П. Айдака, В. А. Горшкова, А. П. Сироткина, А. Ф. Иванова, М. Г. Алеева — всех-то я перечислять не буду, — сельское хозяйство Чувашии шагнуло бы далеко вперед. Уже сегодня мы стали бы получать по 28—30 центнеров зерновых с гектара, 180—200 центнеров картофеля. А на 100 гектаров сельхозугодий — производить по 120—140 центнеров мяса, 500—550 центнеров молока...

А. Емельянов. Извините, Анатолий Михайлович, я вас перебыю... Вот вы о Горшкове рассказывали: на 100 гектаров он произвел 364 центнера молока и 120 центнеров мяса. А ведь сегодня все реже и реже оперируют таким показателем, как выход продукции на 100 гектаров земли, мало об этом пишут и в печати. Почему? О хозяйствах обычно так говорят: урожайность зерновых тут такая-то, мяса и молока произведено столько-то. И все. А мне, к примеру, неясно бывает: все ли резервы хозяйство исчерпало или показатели эти легко дались и можно было бы их перекрыть? Ведь выразительнее всего об уровне производства говорит другой показатель. Сколько ты дал мяса и молока на 100 гектаров земли. Нам, хозяйственникам старшего поколения, более привычен такой подход к делу.

А. Леонтьев. Интенсивность использования каждого гектара земли — вот, на мой взгляд, главный критерий экономической деятельности любого хозяйства. Каждого гектара! К сожалению, этим показателям и плановики, и сами хозяйственники порой не уделяют внимания. Для них главная оценка — процент выполнения плана. Не спорю, план — закон, и наш первейший долг его непреклонно выполнять. Мы без устали повторяем: плановая дисциплина требует всемерного ее укрепления и неукоснительного соблюдения. Это дело государственной важности. Но, если честно, план плану рознь. Вот пример. Колхозу «Победа» Яльчикского района, чтобы план выполнить, надо получить урожай зерновых в 33—35 центнеров с гектара, продать на 100 гектаров сельхозугодий, ни много ни мало, 150—160 центнеров мяса, 550—560 центнеров молока. А колхоз «Урожай» того же Яльчикского района (а это значит, что у него те же климатические и экономические условия) для выполнения «своего» плана довольствуется урожаем в 25—26 центнеров зерновых с гектара, а мяса и молока он продает почти в два раза меньше, чем сосед — колхоз «Победа». Справедливо? Нет. И с таким планированием согласиться нельзя. Своевременно и справедливо тре-

бование ЦК КПСС всемерно совершенствовать систему планирования объема и производства заготовок сельхозпродукции. А это значит, что во всех хозяйствах будет обеспечен не только равный напряженный труд, но и равная отдача каждого гектара земли, закрепленной за хозяйством. План должен быть (и будет!) одним из важнейших инструментов экономического воспитания кадров руководителей и специалистов. Хвалы и чести достойны те, кто в равных со всеми условиях получит с гектара сельхозугодий больше мяса, молока, зерна.

А. Емельянов. Но пестрота в показателях хозяйств возникает, вероятно, не только из-за издержек в планировании? Был я в одном отстающем хозяйстве, хотел разобраться в его бедах. А что тут, Анатолий Михайлович, разбираться, если хозяйству пятый год всего-навсего, а тут уже третий по счету руководитель, четвертый главный инженер, пятый главный зоотехник, второй главный агроном, второй главный бухгалтер. Бригадиры тут менее года работают, заведующие фермами — менее трех! Если нет стабильности кадров, о какой успешной работе можно вести речь?

А. Леонтьев. Да, вы правы. Дальнейший подъем сельского хозяйства будет невозможен, если мы не решим в кратчайшие сроки проблемы подбора и воспитания кадров. А особенно кадров руководящих. К сожалению, руководителями не рождаются. Чтобы стать талантливым вожаком, завоевать доверие людей, их уважение, признательность, нужно время. Вот интересный пример. Стаж работы председателей и директоров 20 передовых хозяйств республики составляет 18 лет. А руководителей 20 самых отстающих хозяйств всего-навсего 2,2 года! О чем это говорит? На мой взгляд, о многом. И о том, в частности, что на местах еще слабо работают с кадрами. Выдвинули молодого руководителя, дайте ему оглядеться хотя бы! А от него сразу же ждут отдачи, больших перемен, вынь их да положь! Но не бывает так. Сельскохозяйственное производство само по себе настолько сложно, что за год человек не в силах разобраться-то в нем, не то что все изменить. Опыт, мудрость приходят к руководителю с годами. И не надо по первым же результатам работы молодого председателя или директора вывод делать, на своем он месте или же нет. За год-другой он, в лучшем случае, проблемы хозяйства изучит, людей более-менее узнает. Ну, наметит программу укрепления экономики хозяйства своего... А уж решать трудные экономические задачи он будет потом. Не все сразу...

А. Емельянов. А ведь некоторые горе-руководители ждут от новичка рекордов даже. По наивности ли, по глупости, но ждут. И, если он рекорда не дал, дают ему от ворот поворот, мол, не оправдал наших надежд! Может, я и преувеличиваю, но факт остается фактом и вы, Анатолий Михайлович, это подтвердили, текучесть кадров руководителей хозяйств в Чувашии пока еще велика. Получается порой, как в той шутке: «Председателя в первый год назначают, на второй критикуют, на третий снимают...»

А. Леонтьев. Тут, Анатолий Викторович, дело нешуточное: с начала одиннадцатой пятилетки у нас в республике сменилась почти треть всех руководителей колхозов и совхозов! Ситуация эта не может нас не волновать.

А. Емельянов. А куда же смотрят райкомы? С них спрос за это должен быть! С нас ведь спрашивали, когда мы «районщиками» были. Вы в Козловском райкоме партии первым секретарем работали, а я в Вурнарах. И тогда остро стояла кадровая проблема. И мы над нею бились. Как зато радовались, когда удавалось выдвинуть человека достойного, который оправдывал наши надежды! Помню Василия Игнатьевича Романова. В 23 года выдвинули мы его в председатели отстающего колхоза «Янгорчино». Кто-то скептически это воспринял: молод, мол, не «потянет» Романов колхоз, А он взял и «потянул!» Не сразу, конечно, райком ему помогал, да я и сам к нему часто приезжал, советом, делом, но всегда его поддерживал. Он вывел колхоз в передовые, сумел. О хозяйстве вся республика заговорила. Начали там республиканские семинары проводить. А сегодня Василий Игнатьевич район возглавляет... Нынешний председатель колхоза имени Карла Маркса Вурнарского района Михаил Афанасьев работал в райкоме комсомола, мы его заметили, выдвинули, был он потом инструктором райкома партии, проявил себя. Теперь передовой колхоз возглавляет, крупное, многоотраслевое хозяйство.

А. Леонтьев. Товарищ К. У. Черненко говорит, что для партийных комитетов заниматься хозяйством — значит, прежде всего заниматься людьми, ведущими хозяйство. Долг райкомов партии воспитывать кадры руководителей. От них ведь за-

висит результат сельскохозяйственного труда. Грамотный руководитель даже от неблагоприятных погодных условий меньше ущерба терпит, чем руководитель нерадивый. Ему ни дождь, ни жара не помеха, он всегда урожай вырастит, как бы сложно ни было. В республике накоплен немалый опыт работы с кадрами. Так, например, в Чебоксарском районе из 17 руководителей хозяйств 16 имеют высшее образование. 121 главный специалист в районе, а из них 96 окончили вузы. 83 специалиста учатся нынче заочно. Ежегодно 35—40 стипендиатов хозяйств райком направляет в вузы и техникумы Чувашии. На базе передовых хозяйств тут проводят семинары по вопросам управления, экономической работы. Район из года в год выполняет планы продажи зерна, молока, мяса, хмеля, яиц, шерсти. Рентабельность экономической работы района только по итогам 1983 года составила 28 процентов. И это без надбавок к закупочным ценам. Беды отстающих хозяйств начинаются одинаково — с нерешенной проблемы кадров. Оттого-то и пестрота в показателях хозяйств. В колхозах «Мир» и «Заря» Алатырского района велика текучесть кадров. Урожайность мала, всего 11—14 центнеров с гектара собирают. В колхозе «Победа» Яльчикского района или в колхозе имени космонавта А. Г. Николаева Мариинско-Посадского района, где нет проблем с кадрами, собирают урожай в 30—35 центнеров с гектара, в 2—2,5 раза выше. Уходят люди из совхоза «Яндоушский» Канашского района, а дела стоят. На 100 гектаров сельхозугодий лишь 50—55 центнеров производят мяса, 150—200 молока... А колхоз «Ленинец» Батыревского района и соседний с ним «Гвардеец» с той же площадью по 120—170 центнеров мяса получают, 400—600 центнеров молока да еще планируют эти показатели увеличить. У них люди в город не уходят, им и на селе интересно жить и работать.

А. Емельянов. Кое-кто считает, что, дай молодому человеку квартиру, и проблема кадров решена, мол, из деревни он от своей квартиры никуда не уйдет...

А. Леонтьев. Вопрос закрепления кадров не так-то прост, как кажется. Я лично убежден, что строительством квартир проблему закрепления людей на земле невозможно решить. Квартиру дать — полдела. Давайте с вами порассуждаем. Молодой механизатор от отца-матери отсоединился. Чтоб он не ушел из села, надо дать ему квартиру. Так ведь? Вот построили мы дом, молодежь наша вселилась в благоустроенные квартиры. Получили они их и бесплатно, и бесхлопотно. А назавтра, глядишь, все равно из деревни ушли. И квартиры бросили. Дедушку какого-нибудь из той же деревни калачом не выманить, а молодежь уходит. Почему? Да потому, что дед свой дом сам строил, своими руками. А молодым квартиры задарма достались. Что человека к селу привяжет сильнее, как не свой дом с хозяйстройками, где он каждый уголок знает? Тут у него корова, овцы, там куры, тут он картошку посадил, здесь хмель... Дом личный, сельская усадьба — это глубокие корни. Я за строительство. Но за личное. Ты дай молодому человеку материал для строительства, помоги ему чем можешь, но только дом свой пусть он своими руками строит. А средства государственные, колхозные прежде всего на строительство детских садов, дорог, школ. Не знаю, как у других, у нас в Чувашии народ с удовольствием ведет индивидуальное строительство. Только за 1976—1983 годы сельские жители построили около 20 тысяч домов, в среднем почти по 70 домов на каждое хозяйство республики. По 40—50 усадеб строят ежегодно в колхозе «Победа» Яльчикского и в «Гвардейце» Батыревского районов.

А. Емельянов. Наверняка строили бы еще больше, обеспечить всех желающих стройматериалами.

А. Леонтьев. Верно. На мой взгляд, стоит подумать и о том, чтобы строителям собственных домов отпускали те же материалы по сниженным ценам. Но добавлю, что само по себе наличие жилья, пусть даже очень хорошего жилья, еще не решает проблему закрепления людей на земле. Вопрос намного сложнее. Можно иметь прекрасную квартиру, удобную и благоустроенную, но если в колхозе нет ни дорог, ни детских садов, если труд на ферме не механизирован и работают тут от зари до зари, да еще и без выходов, то при этих условиях удержать людей на селе, а особенно молодежь, очень и очень трудно.

А. Емельянов. Я писал много раз, говорил и не перестану повторять: с дома, а не с квартиры вся жизнь на селе начинается. Тут тебе и навыки труда крестьянского прививаются, и уважение к нему. Я сам из села, своими руками два дома строил, знаю ему цену. Квартира и квартирант — слова одного корня. Поэтому и мо-

лодежь себя чувствует в деревне как не в своей тарелке. Ты ему дай дом строить, молодому-то! Чтоб он с хозяйством мог возиться, чтоб корова была под боком и хлев, и банька своя, и огород. И чтоб не где-нибудь за околицей села, там, где тебе участок выделяют, а под боком, рядом. Чтоб он себя хозяином ощутил, вот как! А подсобное хозяйство рядом с домом — не прихоть. Так на селе испокон веку заведено, потому что экономично, удобно. А когда все под рукой, тогда и дело спорится. Сколько продуктов давало подсобное хозяйство! А сколько еще даст, если к этому с умом подойти.

А. Леонтьев. Вспоминается случай с одним бывшим руководителем хозяйства. Тридцатитысячник, он по призыву партии ушел работать в деревню. Был директором совхоза и председателем колхоза. Успел многое. И два ордена трудовых получил, и болезней кучу. Годы напряженного труда даром не проходят, сами небось знаете. Получил инфаркт. Ушел на пенсию и решил было переселиться в город. Здоровье уже не то, чтобы в деревне жить. Тут и за домом пригляд нужен, и за огородом, и дрова, опять же, заготавливать надо. А сколько ухода требует скотина! Тем более он раньше в городе на заводе работал, город для него не в новинку. Дошло дело до переезда... И тут все застопорилось. Переезжать он раздумал. Почему, спрашиваю я его? А потому, отвечает, что в строительство своего дома вложил я столько сил да здоровья, да труда собственного, что вообще никакими деньгами не измерить. Короче, не стал он дом продавать, раздумал. И никуда он из села не уехал. Живет там же, у него хозяйство свое, корова, свиньи, овцы, птицы разной полный двор.

А. Емельянов. А я недавно был в деревне своей, Сендимиркино. Много там изменилось. По соседству с нами жила семья бывшего колхозного председателя Семена Васильевича Лапташкина. Дочери его замуж повыходили, сыновья тоже разъехались кто куда. Умер Семен Васильевич нынче, в августе, жена его одна осталась и, как говорится, вот-вот богу душу отдаст. И что? Неужели потухнет дыма над домом Лапташкина? Кому же теперь хозяйство-то вести? Младшему сыну Валерию? Но он инженер, у него в Вурнарах благоустроенная квартира. Приедет ли он в деревню? Или заколотят в доме окна и жизнь в нем прервется? Кто знает. Труд в деревне с городским не сравнишь, нелегко он. Валера с деревней порвал давно, он стопроцентный горожанин теперь, на что ему деревня? Я был в одной из областей Нечерноземья. Ехал мимо села заброшенного, остановился. И такая тоска щемящая меня взяла... Знаете, Анатолий Михайлович, что поразило? Тишина звенящая и дорога, под бурьяном заглохшая. Стоят добротные дома, а окна в них крест-накрест заколочены, жить тут некому. Две старушки на всю деревню да две буренки, да пес слепой — вот и все живое. Ушла из деревни молодежь. Я бабок спрашиваю: отчего это произошло? Отчего внуки их ушли-то? А оттого ушли, что труд сельский тяжел, а заработки карман не тянули. Будут искать, где получше...

А. Леонтьев. Молодежь в первую очередь ищет работу современную. Обком КПСС постоянно поднимает вопрос профориентации школьников. Хотим, чтобы во всех школах выпускники не только аттестат зрелости получали, но и права механизаторов, операторов-животноводов.

А. Емельянов. Помню, в детстве мы смеялись над теми ребятами, кто не умел лошадьми править, позор, мол. Сейчас мальчишки технику современную осваивают прямо в школе.

А. Леонтьев. За три года более 700 выпускников Алатырского района получили современную сельскую профессию, работают в деревне. Опыт района взят на вооружение республикой. Я заметил: дела там ладятся, где на молодежь делают ставку, где о ней заботятся. В совхозе имени XXV партсъезда Урмарского района две трети выпускников школ остаются работать на селе. Хозяйство крепкое. За последние годы тут ввели в эксплуатацию 2400 квадратных метров жняль, пять километров водопровода, два детсада. Фермы тут современные, механизированные, работа в них организована в две смены и с выходными днями. Есть служба быта, магазины, Дом культуры. Но самое главное — молодежь тут на особом счету. Молодой механизатор, вернувшийся из рядов Советской Армии, получает «подъемные» — 400 рублей. И это безвозмездно. Но даже этого мало для закрепления кадров. Молодежь остается там, где отношение к ней самое доброе, где создан прекрасный микроклимат, где она чувствует к себе постоянное внимание старших, а особенно доверие. Если село живет полнокровной, интересной жизнью, то проблем с закреплением смены тут нет.

А. Емельянов. У нас в Вурнарском районе молодежь в города не уходила. А почему? На День урожая или праздник первой борозды, скажем, парней и девчат звали в первую очередь! Молодежь была непременным участником всех собраний, совещаний, планерок. Приглашали с дальним прицелом: чтобы ближе свое хозяйство знали, чтобы с ранних лет его судьбой интересовались, болели бы им. Технику новую, комбайны, машины, тракторы мощные давали ребятам в первую очередь и безбоязненно. А уж заработки у них всегда «взрослые» были, ведь работали они наравне со всеми. Доверие во всем — вот по какому принципу надо строить отношения к смене. Так пусть же молодые и будут настоящими помощниками! Большие доверия им, больше самостоятельности, а это, уверен, даст буйные всходы! Кое-кто еще беспокоится, мол, как бы молодежь не переработала. Я считаю, что труд никого и никогда не испортит, труд формирует характер, волю. Прямое деревце и к старости кривым не будет.

А. Леонтьев. Перед сельским хозяйством партия ставит задачи огромной экономической, политической и социальной важности. Нам всем их выполнять. Решение Продовольственной программы в конечном счете упирается в решение проблемы кадровой. Добавлю: на всех уровнях сельскохозяйственного производства. От сознательности, трудовой активности, деловой квалификации, компетентности и рядового работника, и руководителя хозяйства, от партийной и государственной зрелости всех специалистов зависит успех наших планов. И я твердо убежден, что мы никогда не пожалеем ни времени, ни усилий, что затрачены на воспитание трудолюбивых, преданных земле и нелегкому крестьянскому труду людей.

А. Емельянов. О хорошем руководителе говорят: человек на своем месте. Коротко и ясно. Но ведь бывает, что тот или иной деятель и не на «свое место» попал, и освобождать его не очень-то спешит. Бывает. Мне вспоминается случай, бывший с одним председателем колхоза много лет назад. Растрюбил он по своему району о положительном опыте в кормопроизводстве. Поехал я туда. Огромное поле, засеяно оно горохом. Всходы густые, ну, думаю, не иначе, как двойную норму сеяли. Мне отвечают: нет, норма обыкновенная, уход, мол, дали гороху, и все тут. А что на деле оказалось? Халтура чистойшей воды! В ту пору шли частые дожди, горох осыпался... Поле председатель убрал кое-как, правда, горох на силос пустил. Перепахали то поле под зябь, и вот тут-то все и началось! Осыпавшийся горох дал буйные всходы! Председатель сперва перепугался: позор ведь, недоработка. А потом смекнул, как ему из положения щекотливого выйти — ценный, мол, опыт в кормопроизводстве! Разве такому очковитрателю доверишь дело? Нет. Думаю, вы со мной согласитесь...

А. Леонтьев. Партийные органы должны усилить внимание к кадрам! Необходимо совершенствовать систему их подбора, воспитания, закрепления. Кто будет завтра работать на селе? Кто заступит на смену? Ни руководитель хозяйства, ни партийный работник не должны упускать из вида этот вопрос! Мы не решим Продовольственную программу, не решив проблемы закрепления кадров. Не надо себя обманывать. Но, повторяю, эта проблема не упирается только в жилье. Если труд в тягость, если доярки на фермах по 14—16 часов надрываются, да еще и без выходных, если механизатор свой трактор под снегом и дождем ремонтирует, если в деревне нет детсада, а школа стоит без ремонта долгие годы, если бездорожье заедает и низкие заработки, если в деревне нет магазинов, а служба быта работает из рук вон плохо, то людей, а особенно молодых, тут ничем, даже бесплатной квартирой не удержишь...

А. Емельянов. А я, Анатолий Михайлович, скажу так. Прав старейший чувашский председатель колхоза С. Л. Лукин: сегодня надо «сиять заставить заново» величественные понятия — обязанность, долг, честь, груд. В этом ключ не только к решению проблем современной деревни, но и к дальнейшим успехам чувашского села, всего нашего Нечерноземья.

А. Леонтьев. Что ж, Анатолий Викторович, с такой формулировкой не согласиться трудно...

Беседу записал АЛЕКСАНДР НИКИШИН

ВЛАДИМИР ГРУДСКИЙ

БАЙПАЗИНСКАЯ СТУПЕНЬ

РАБОЧАЯ ХРОНИКА ОДНОЙ СТРОЙПЛОЩАДКИ

Теперь это уже город. Город у голубой воды — такой голубой, какой она бывает разве что на рекламных проспектах и обложках иллюстрированных изданий, — но натяжки нет, нет рекламы: она действительно такая, эта вода. И этот голубой, высочайшей оптической чистоты воздух. И горы, синие, строгие, обступившие этот несравненный мир — Нурек.

Ибо Нурек — это ГЭС плюс Плотина плюс Водохранилище плюс Город. Целый мир, возникший, воздвигнутый в каменном поднебесье Таджикистана.

Двадцать лет строился этот впечатляющий, уникальный комплекс.

В четвертый раз приезжаю я сюда — «раз в квартал, как по графику», заметил один из моих нурекских друзей. Год 1983, когда я впервые приехал, был особенный, памятный, хотя никем, кажется, не отмечен такой юбилей: пятьдесят лет назад здесь высадилась первая изыскательская партия.

Год нынешний, 1984, действительно юбилейный — его торжественно отмечает вся республика. 60-летие Советского Таджикистана, 60-летие Компартии республики.

Величественная панорама, можно представить себе, открылась перед участниками той далекой экспедиции: могучие хребты, зубья вершин, зеркала рек, орлы, царственно парящие над ущельями, ласточкины гнезда кишлаков, прилепившиеся к склонам, райские уголки тесным хребтами зеленых цветущих долин...

Но еще грандиознее была другая панорама. Социальная. Не кишлаки — города. Многолюдные, с просторными площадями, прямыми улицами, с театрами и стадионами. Города, залитые электрическим светом...

Конечно, они были мечтатели, первопроходцы таджикских высокогорий, изыскатели тридцатых годов. Но за ними уже тогда стояли расчеты. Молодая среднеазиатская республика невелика, говорили они, девяносто процентов ее территории — горы, горы и горы. Есть и долины, но многие из них безводны, а значит, безжизненны. Есть реки, много рек, но они петляют в горах, сбегая, срываясь вниз головокружительными перепадами, набирая в пути шайтанскую силу и споря мощью с самим камнем этих вечных гор...

Но это и было основой расчетов и планов. «Энергия» — вот слово, которое, казалось, пронизывало все: и фантазии, и рабочие задания. Географическое, если можно так сказать, достоинство Вахша, Пянджа, Сырдарьи относилось эти реки в скромную середину сравнительных таблиц. Но гидроэнергетическое ставило их в один ряд с великими Волгой, Енисеем, Ангарой — по самым прикидочным тогдашним расчетам, Таджикистан был второй после России республикой гидроресурсов. А по отношению «голубых энергозапасов» к единице площади — первой.

Теперь расчеты и изыскания расставили все по местам: да, из 143,1 тысячи квадратных километров территории Таджикистана 90 процентов — горы; да, длина Вахша, например, 524 километра, но воды его падают чуть ли не с километровой высоты (для точности: «падение» Вахша, есть такой термин, 835 метров). Напорная мощность вахшских вод вместе с другими главными реками таджикских гор обещает (в среднем) 285,6 (!) миллиарда киловатт электроэнергии.

Включить эту «сеть» — и мечта воплощается в действительность, минуя чудо. На месте кишлаков белые города, залитые электрическим светом. Мощная индустрия, выросшая на базе электроэнергетики. Цветущее сельское хозяйство, развившееся на базе ирригации. Надежная и удобная дорожная сеть в неприступном некогда высокогорье. Это стало бы возможным при современной технике и, опять же, энергооборуженности... Все это в целом получили бы республика и страна с включением Энерго-Ирригационной Системы. Всдвинутой «на базе» этих красивых, но безжизненных, надменных гор и норовистых, неукротимых рек...

И вот прошло пятьдесят лет. В 30-е годы и сразу после войны были построены называемые теперь старотаджикскими гидростанциями: Верхневарзобская, Нижневарзобская, Варзобская...

Можно сказать, что это была проба сил. Потому что с завершением Варзобского каскада пришел черед Вахша.

Восемь ГЭС «выстроятся» в цепочку на всем пути Вахша. Первые — Перепадная, Головная, Центральная — были построены как бы в продолжение начального этапа и в то же время «закрывали» его: этап строительства малых объектов гидроэнергетики.

Затем был Нурек. Грандиозная стройка, ставшая всемирной, гидрообъект единичной мощности 2,7 миллиона киловатт, о котором не то что очеркисты — поэты сложили 2,7 миллиона строк, полных удивления, восхищения и гордости... Теперь это ГЭС, все девять агрегатов которой поставлены под промышленную нагрузку. Плотины, высотой своей составившая пару Эйфелевой башне: 300 метров... Водохранилище, голубизной и прозрачностью воды изумляющее даже тех, кто все это строил. И, наконец, город, голубой в световых рефlekсах гор, залитый электрическим светом, когда на горы падает вечер...

В четвертый раз приезжаю я сюда, в Нурек. Но теперь это «развилка», пересадочный узел — приезжаю-то я в Байпазу.

Байпаза, Байпазинская ГЭС — пятая жемчужина в ожерелье Вахшского каскада гидроэлектростанций... Она будет средней по мощности — «каких-нибудь» 600 тысяч киловатт. Но значение ее велико. После Байпазы, благодаря Байпазе объекты гидроэнергетики будут строить иначе. Лучше и быстрее. Потому что Байпаза, Байпазинская ГЭС первой в отрасли осваивает метод — принцип — строительства «под ключ».

И об этом необходимо рассказать.

Сегодня Байпаза еще строится. Но уже 22 декабря 1984 года, в День энергетики, Байпазинская ГЭС даст первый ток. Это будет отдача, как говорят плановики, первая, конкретная, потребительская ценность новой стройки на Вахше. Но это будет еще и экзамен — первый, конкретный, комплексный смотр новым экономическим и организационным решениям, примененным в строительстве. И, конечно же, это будет победа — трудовая и нравственная, вырванная у гор, у неизвестности, всегда окутывающей эксперимент, у неумолимого времени, у косности и безалаберности, встающих иной раз перед нами скалой крепче естественных, «натуральных». Победа молодых, энергичных людей в строительных касках.

И об этих людях — байпазинцах — тоже необходимо рассказать.

1. Январь, 1983. СТУПЕНЬ ПЯТАЯ

Больше всего Мусафир Махмудов боялся не успеть.

Ему было тринадцать, вот что плохо, всего лишь тринадцать лет. И уже начали строить Нурек. А ему ходить и ходить в школу, четыре года, и, когда наконец-то выдадут ему аттестат зрелости, Нурек, его Нурек будет построен, все будет сделано без Мусафира Махмудова.

Забегая вперед, скажу, что Мусафир сроки и объемы великой стройки представлял себе неясно, на строительство он успел, стал нурекчанином, как называли они себя, урожденные москвичи и харьковчане, ташкентцы и настоящие нурекчане — парни из Норака, из родного Мусафиру кишлака Дагана, других кишлаков и городов Таджикистана. Мусафир успел. Хоть и не к самому началу, конечно. Но случилось другое. 15 ноября 1972 года. Пуск первой турбины, первые нурекские киловатты — такой день, такой праздник!.. А 2 ноября Мусафира призвали в армию.

Нет, о Нуреке у него самые добрые воспоминания, хотя, согласитесь, не везет человеку, если он опаздывает к началу большого дела и не успевает увидеть своими

глазами венец всех трудов. Может быть, если бы такое событие было последним в его жизни, Мусафир очень бы переживал, поверил бы в свою невезучесть. Но еще в нурекские времена знал он, что жизнь впереди, что на очереди — и совсем скоро — Байпаза. Байпазинская ГЭС.

Вот она и будет его стройкой, от начала и до конца его!..

О ней уже поговаривали, о Байпазе. Со значением. С уважением. С подчеркиванием некоей красивой новизны, как бы соперничающей с размахом и трудностями Нурека.

Шел уже 1980-й. Первые из первых будущих байпазинцев с техникой, с новенькими розовыми «синьками» ближайших и будущих объектов перебазировались за 33 километра от Нурека, если считать так, «погонно», и в новое десятилетие, в завтрашний день, если держаться сути, если чуть-чуть помечтать...

Я приехал сюда в 1983-м. Январь. Месяц пестрой погоды в здешних местах. Два дня сыплет снег. Два дня по-весеннему, даже по-летнему «шпарит» солнце. Вдруг снова снег... Но к этому здесь привыкли. «На настроянии, конечно, сказывается», — сказал мне Валерий Низамович Мухамедиев, главный инженер «Нурекгэстроя». — Кому же приятно работать, скажем, на дне котлована по колено в грязи?.. Но ведь это работа. Это строитель. Такая профессия.

Первые встречи, первые впечатления, первые новости. Первые слова. На всех стройках они одинаковы, кажется, и все-таки на каждой свои. «Строительный туннель», «концевое сооружение», «ловушка»... Смысл последнего даже строителю, если он не гидростроитель и объект свой строит не в горах, будет закрыт. Ловушка — это сеть из стальных тросов, принимающая и сдерживающая каменные осыпи, защищающая от коварства гор стройку и строителей. Крепят эту сеть люди обычной здесь, но редкой и отважной профессии — скалолазы... «Служба горной безопасности». Это не метафора. Так официально, по штатному расписанию.

Первые впечатления разрозненны, сбиты, смешанны. Но если окинуть взглядом панораму стройки, то на сегодня она из котлована, опорных столбов, кружева колеи, накатанного «БелАЗами». И бетонная точка.

Действительно: на строительстве Байпазы только-только завершены земляные работы и началось бетонирование. Об этом говорили серьезно, значительно. «Пошел бетон...»

И готов новый Вахш-Яванский водоприемник, говорили с удовлетворением. Витало слово «переключение». Но это был уже особый круг вопросов, мы вернемся к нему...

Хотелось как-то преодолеть эту «разобранную», распаханную, намеченную Байпазу. Увидеть — или хотя бы представить себе — ее в целостности, в сборе. Ее портрет. Ее пейзаж. Ее, если хотите, индивидуальность. Гидростанция — объект единичный, у них есть лицо...

В Москве, в Минэнерго, «генштаб» этих работ. Оперативные планы и стратегия стройки начинаются, очевидно, здесь и сходятся сюда.

Заместитель министра Георгий Иванович Тихонов (ныне начальник Всесоюзного объединения «Союзгидроэнергострой») рассказывает подробно, аргументированно, с таким живым интересом, словно это главный и единственный у него объект. Впрочем, до министерства Георгий Иванович работал в Таджикистане, руководил трестом «Таджикгидроэнергострой», но это ровно ничего не значит: в своих пояснениях, оценках, деликатных дополнениях «если, на мой взгляд...» Георгий Иванович неизменно подчеркивал государственный интерес.

— Строительство «под ключ» — дело, в принципе, не новое. Оно в общесоюзном масштабе признано, выверено на разных объектах в ряде отраслей. Но строительства гидростанции таким методом еще не было. Первый объект — Байпазинская ГЭС.

В чем преимущества метода? — как бы еще раз взвешивая аргументы, спросил Георгий Иванович. — Прежде всего в том, что он позволяет заинтересовать строителя «дешевле» строить. Как это ни парадоксально, сложившаяся на сегодня схема, практическая, так сказать, методология строительства заключается в том, что строителю выгодно строить объект дорогой. И невыгодно дешевый. Поэтому объекты часто «делаются» более дорогами, чем они должны быть. Ну, для примера: строим, скажем, плотину. Из бетона, конечно, с большим количеством арматуры. Так строителю выгоднее. Выполненные объемы работ, если взять среднюю калькуляцию затрат материалов на строительство плотины электростанции, составят процентов тридцать.

Чем больше вы «запроцентовали» материалов в составе работ, тем больше вам пошло и на зарплату!..

Поэтому и стараются строить дороже. И поэтому вся наша борьба за удешевление строительства — пока что... только борьба. И решения у этой задачи не будет, пока мы не найдем экономический рычаг. Таким рычагом в нашей отрасли и будет строительство «под ключ».

— Но ведь существует разработанное «Положение» о строительстве «под ключ», — сказал я.

— Нас, энергетиков, оно не совсем устраивало. Мы предложили свой вариант. Расширили это «Положение». И наш вариант утвержден в Госплане СССР, в Минфине, в Стройбанке Союза. В чем его отличие? В том, что строитель принимает на себя все функции заказчика целиком. И получает право самостоятельно распоряжаться сметой, по своему усмотрению на протяжении всего срока строительства. Таким образом, строитель, говоря точнее, генподрядчик, заинтересован не только в том, чтобы строить дешевле, но и построить быстро. И временную эксплуатацию объекта — до полного завершения работ — он тоже берет на себя.

— Вопрос не главный, но важный: почему вы остановились именно на гидростанции, а не на тепловой, скажем?

— Потому что на эксплуатации, временной или постоянной, гидростанции численность персонала на порядок ниже, чем на тепловой или на атомной. То есть если объект типа Байпазы строит коллектив, допустим, в три тысячи человек, то, чтобы эксплуатировать его, достаточно ста пятидесяти человек...

Чтобы сэкономить и построить быстро, эффективно, — продолжает Георгий Иванович, — надо материально стимулировать строителей. В нашем варианте материальное стимулирование — это сэкономленная часть сметы. Строителю дано право не строить некоторые временные сооружения, вспомогательные линии, если он может без них обойтись. То есть он потратит, разумеется, некие дополнительные ресурсы, средства, но не будет делать те объекты, которые в конечном счете снижают экономический выигрыш.

Значит, объект уже обходится дешевле. Если же построить его быстрее срока, то и первые агрегаты во временную эксплуатацию генподрядчик введет досрочно. Реализация первой электроэнергии Байпазы, практическая прибыль — опять на счету строителей. Это второй стимул.

Все сэкономленные материальные ресурсы, в данном случае сэкономленная часть сметы, делятся пополам. Половина идет в госбюджет, а вторая остается в строительной организации. Пятьдесят процентов пойдет на премии. Сорок — на соцкультбыт, на развитие производства и так далее. А десять процентов будут идти проектировщикам и заводам-поставщикам.

Почему мы пришли именно там, в тресте «Таджикгидроэнергострой», к этой системе? Во-первых, исторически сложилось, что в этом таджикском тресте комплектацию оборудования на строящейся Нурекской ГЭС, например, строители уже приняли на себя. Заказчик получал наряды на оборудование, и всю остальную работу практически проводили сами строители: получали оборудование, складировали, перевозили, монтировали, сдавали в монтаж... И временную эксплуатацию — пока, правда, в режиме 72 часов — до сдачи заказчику, энергетикам, на Нурекской ГЭС (и даже на строящейся тепловой станции — Яванской ТЭЦ) вели кадры строителей-монтажников. Были созданы специальные пуско-наладочные группы. С скромные «временные» 72 часа, но уже с выдачей электроэнергии в систему силами самих строителей — уже были, по сути, ступенью к работе «под ключ». На Байпазе мы этот цикл просто удлиннили на всю временную эксплуатацию — до сдачи последнего агрегата. Если на Байпазе по плану первый агрегат вводится в 1984-м, а последний в 1986-м, то с 1984 по 1986 год эксплуатацию станции ведут сами строители. Ну, а когда закончат все, включая недоделки, — улыбнулся Георгий Иванович, — то весь этот объект целиком, с четырьмя агрегатами на ходу, сдают в постоянную эксплуатацию «Таджикглавэнерго».

Опыт «Рабочей эстафеты» тоже вел нас к этому методу. Потому что само движение это, как вы помните, возникло, когда строители сами взялись за реализацию оборудования по Нуреку. Это был как бы следующий шаг к строительству «под ключ». Сначала генподрядчик взял на себя поставку оборудования — функцию заказчика. Потом заключил рабочие договоры — связь с заводами. Это тоже функции за-

казчика, но большинство их мы переложили на строителей. Потом взяли на себя функции пуско-наладочной организации. То есть мы поэтапно и последовательно подходили к новому для нас методу строительства. Что в итоге и дало нам моральное право взяться строить «под ключ» весь объект — Байпазинскую ГЭС.

Я вот говорю: «первый шаг», «второй шаг», — сказал Г. И. Тихонов. — «Перешли к строительству «под ключ»...» Но чьи же это шаги? Кто «перешел»? Прошу не упустить одно обстоятельство, может быть, самое важное. Не кубы бетона или рубли стройбанка, а люди, строители, нурекский коллектив треста «Таджикгидроэнергострой» сделала этот первый шаг и последующие. Это он «перешел» к эксперименту. Не просто опытный, прошедший, как я сказал, поэтапную подготовку коллектив. Коллектив людей думающих, характером своим надежных. Было очевидно, такому коллективу можно доверить самое ответственное дело, и он справится...

...Это интервью с Г. И. Тихоновым, моим, если можно так сказать, генеральным консультантом по байпазинской стройке, не раз вспоминалось мне здесь, на месте, в хаосе развороченной экскаваторами земли и свежееуложенного бетона. И живым, естественным подтверждением слов заместителя министра о решающем факторе эксперимента — о людях Байпазы, гидростроителях Таджикистана — была судьба Мусафира Махмудова.

Ветераны таджикских строек, в частности, Нурека, а теперь Байпазы — и бригадир Геннадий Трегубов, и сменный мастер Володя Лусинин, и начальник участка Анатолий Антипов, — словно сговорившись, отзывались о Махмудове так: капитальный. У строителей этим не бросаются. «Капитальный» — значит, «без недоделок»...

Трегубов и устроил мне встречу с Махмудовым. Сказал мимоходом, что договорился с Мусафиром: завтра тот придет на площадку за два часа до смены.

— Успеем? — усомнился я. — Два часа...

— Еще останется, — усмехнулся Трегубов.

Я пришел пораньше, пристроился возле блока, который бригада готовила к бетонированию. Где же Мусафир? Никто ко мне не подошел, да и Трегубова нигде не видеть... Я наблюдал, как работала бригада. Неспешно, но сосредоточенно, как-то наглядно, по-хозяйски: каждый не просто знал, что ему делать, лично ему, но это личное, сольное словно отставил в сторону, между людьми не было «завора». Работали стык в стык, молча, без балагурства, перепалки, поторапливания. И в то же время — это также было наглядно — бригада бригадой, а каждый точно вел свою партию, вовремя, без лишних слов вступая, когда надо, в «дуэты» и «трио», и общая мелодия шла без сбоя...

Одни, держа в руках резиновые шланги, привязанные к узкой доске, сгоняли с днища блока воду.

Другие осушали днище сжатым воздухом.

Третьи заканчивали сварку арматурных стыков.

Я спросил у рабочего, направившегося к каптерке, нет ли здесь Махмудова. «Да вот он!» — кивнул он на парня, которым я особенно любовался. Крепкий, рослый, обнаженный до пояса, роскошная пшавелюра. Черные волосы красиво обрамляют мужественное, с огромными выразительными глазами восточное лицо.

Познакомился. Пошли — от шума стройки — в «прорабку». По пути встретили Трегубова. Бригадир строго сказал мне, чтобы не задерживал Махмудова надолго. «Не больше, чем на полчаса», — уточнил он. «Гена, — удивился я. — Смена ведь только в пять?» — «Вот пусть и поработает. Поможет первой смене, раз уж пришел», — отрезал Трегубов. Словно это и не он, причем по собственному почину, устроил эту встречу.

...В вагончике неопрятно, неуютно. На грязном столе куски хлеба, витают шумные полчища мух. Всюду набросаны и висят на гвоздях спецовки, каски...

Поначалу я был просто обескуражен. Мусафир вовсе не выглядел тем «капитальным» парнем, как о нем говорили. Но мало-помалу он разговорился, стал держаться свободнее. А рассказ его все больше и больше увлекал меня, потому что то был и открытый, доверительный рассказ человека о себе, и штрихи к портрету сегодняшнего гидростроителя.

Родом Мусафир из кишлака Дагана, неподалеку от Нурека. Закончил десятилетку. Сосед Одина Саидов уже работал на строительстве Нурекской ГЭС. Скалолазом. Рассказы о стройке, песни, гордость человека, который строит, создает... Саидов и привел Мусафира на стройку.

Взяли его к себе геодезисты. «Кем же?» — спросил я. «Как кем? — усмехнулся Мусафир. — На почетную должность, другой не заслуживал. Инженером-речечником взяли!»

С год он таскал рейку, числясь рабочим первого разряда. И томился. Здоровый парень, а стройка такая — голова крутом идет. А он с речечкой! Хотелось настоящего, достойного. В знаменитую бригаду Трегубова хотелось. И ему повезло, говорит он, вспоминая сейчас те времена. Трегубов взял его. «Подходит. Будет сварщиком».

В первый день Мусафир грузил стальные листы. Ему казалось, что они и веса-то не имеют — так, фанера... Но нет, они были стальными, эти «фанерки». А рукавицы Мусафир взять постеснялся. И порезал пальцы в кровь. Но никто так и не узнал, чем закончилось его боевое крещение.

Профессии его учили замечательные люди. Котов Михаил Семенович («Огонь, воду прошел, — говорит Махмудов. — Самый опытный сварщик!»). Ахмед Лутфуроев («Объяснял многое. «Автоген», «электрод», «кислород», «пропан», «порошковая проволока»...). Многие помогали. Но главное — сам Трегубов. («Мы с ним дружны, — не без гордости сказал Мусафир.)

— Начальником участка был Валерий Низамович. Мухамедиев. Он же и экзамен на разряд принимал. Переживал я, волновался. А Валерий Низамович доказал мне, что сварщик я хороший. Квалифицированный. И я стал спокоен...

Бригада работала тогда на очень ответственном участке — ядре плотины. Тогда бригада была монтажной. Варили арматуру, и сварщик Мусафир Махмудов был на передовой. Но такая досада! На пятнадцатое ноября, как было сказано выше, назначен пуск первой турбины, первой турбины Нурекской ГЭС, а второго ноября Мусафира Махмудова призывали в армию. Он готов был отслужить потом сверх срока, только бы своими глазами увидеть пуск...

После армии Мусафир вернулся в Нурек не сразу. Несколько лет работал в Душанбе сварщиком. Строил дома. А потом то ли утолен оказался интерес «мир по-видать, людей посмотреть», то ли в родные места потянуло, но Мусафир Махмудов опять оказался в Нуреке. Опять в бригаде Трегубова. И вместе со своими товарищами готовит к пуску первую турбину новой гидростанции Вахшского каскада — Байпазинской...

— Работать, правда, стало труднее, — говорит Мусафир. — Бригада комплексной стала. Раньше занимались только монтажом. Теперь мы на все руки мастера. Вяжем арматуру, ставим опалубку, металлическую и деревянную. Подготовка блоков, укладка бетона... Научился я и этому. Теперь меня опытным считают. И радостно мне, что бригада наша — как бетон. Есть и новенькие, конечно. Не все закрепляются. Тяжелая работа. Любить ее надо. И понимать, для чего мы, гидростроители, работаем, — серьезно сказал Мусафир, и это не прозвучало вычитанным из газеты. — Вот недавно пришел к нам один парень. Две недели поработал, три дня прогулял и рассчитался. Бывают и такие. Ну, а уж кто остается... Вот тот настоящий строитель.

Мы вышли из вагончика. Кажется, уложившись в полчаса, отведенные бригадиром.

— Женья, братуха, это ты?! — закричал вдруг Мусафир с энтузиазмом, как мне показалось, ироническим.

У входа в вагончик на ящике сидел, подставив солнцу голую спину, долговязый парень с красивым и безучастным лицом. Он никак не отреагировал на приветствие Мусафира.

— Практикант, — сказал мне Мусафир, когда мы отошли. — В следующем году кончает институт. Не хотел бы я работать у такого мастера. Да он и не пойдет на стройку. Два месяца у нас пробыл, а вчера вот ребята узнали, что он не знает даже, какая мощность будет у Байпазы!..

Нельзя сказать, что строителей Байпазинской ГЭС, когда они пришли сюда впервые, встретили дикие берега. Двадцать лет назад в монотонный гул Вахша уже врывались эти звуки: раскаты взрывов, лязг экскаваторов, тарыхтение «БелАЗов»... Потом опять наступила тишина. Но выглядеть тесное ущелье стало по-другому. Поперек реки встала плотина, разлилось водохранилище, накрыв бывший кишлак Байпаза. У Вахша появилось еще одно русло — подземное. Хозяйство республики пополнилось новым объектом — Байпазинским гидроузлом. Благодаря искусственному руслу — се-

микилометровому туннелю, пробитому в толще хребта, свершилось чудо: соседняя Яванская долина из безводной, а значит, безжизненной превратилась в цветущий оазис; возник город Яван с его электрохимическим заводом, крупнейшим в Средней Азии...

На базе существующего гидроузла и должна быть воздвигнута по замыслу проектировщиков Байпазинская ГЭС. В неслыханно короткие для станций подобной мощности сроки — в пределах одной пятилетки. И при куда меньших, чем обычно, когда начинают на голом месте, затратах: 170 миллионов рублей.

Правда, плотину предстояло нарастить на 15 метров, чтобы увеличить напор воды. И зеркало водохранилища станет значительно больше. Для забора воды тоже будет использован — правда, после значительной реконструкции — уже существующий водоприемник. А Вахш-Яванский туннель получит новые «входные ворота» — гидростроители соорудят их чуть выше по течению... Все же остальные объекты Байпазы предстояло возвести «от нуля». Подземные сооружения, например, правый и левый подводящие туннели. Они подводят вахшскую воду к зданию ГЭС, причем перед выходом на поверхность каждый из туннелей разветвляется на два рукава — турбинные водоводы... Здание гидростанции, которое приткнется к тому же скалистому берегу, в котором пробиты туннели... Корпус управления. ОРУ-220 — открытое распределительное устройство на 220 киловольт... Строительный туннель, временно он и станет главным руслом Вахша, пока будут вестись работы в котловане здания ГЭС. По этому туннелю отведут Вахш, чтобы не мешал людям сооружать котлован и «дом света» — здание ГЭС...

Таков, конечно, упрощенно, в самых главных чертах, был замысел проектировщиков.

2. Июль, 1983. КОНТУРЫ БАЙПАЗЫ

Лето на стройплощадке даже в жаркой среднеазиатской республике — горячее время.

Второй мой приезд на Байпазу напоминал командировку не на учения и маневры, воспользуемся военной терминологией, а в действующую армию, больше того — на передовую, более того — в месиво боя.

Невольно вспомнилось, каким унылым, пустынным выглядел тогда, в январе, огромный котлован, словно арена стадиона, предназначенная для борьбы, для борения страстей на поле и кипения их на трибунах, но сезон закончился, все игры сыграны, забыта она, арена, только маленькая команда служителей, как всегда, при ней, готова покрывать к новым играм, новым страстям... Тогда, в январе, в огромном пространстве котлована работала маленькая бригада, а скорее всего, звено. Проваливаясь в январскую грязь грунта, лопатами, неспешно, как мне казалось, труженики этого звена расчищали дно котлована, готовили его под фундаментную плиту.

Теперь все изменилось. Там, внизу, в котловане под будущее здание ГЭС, и под землей, в скалах, где пробивались в каменной тверди подземные сооружения, и на всех ярусах байпазинских дорог, а точнее, дороги, ибо она петлями спадала с одного уступа на другой и снова тянулась вверх, на входе, так сказать, всей этой сложной системы, на водоприемнике, и на выходе, где хитроумное «концевое сооружение» будет возвращать Вахшу его воды, — всюду, по всему причудливо изломанному периметру Байпазы и на всех этажах этой горной стройки кипела работа.

На планерках возрос темп, поднялось в цене каждое слово. Все соседствовало, все смешалось, все стало равнозначным для графика, для стройки. Вахш-Яван, например, ирригационный туннель, с которым у гидростроителей сложилась долгая, так сказать, большая любовь. Масштабное сооружение, завязанное, как здесь говорят, на республику, на хлопок, на разные министерства. Вахш-Яван — и какая-то труба, введенная смежниками из «Гидроспецстроя» для своих нужд. Теперь все было масштабным, все личным.

Вел планерку Мухамедиев. Обычно выдержанный, спокойный, на этот раз Валерий Низамович, чувствовалось, с трудом владеет собой. В голосе его зазвучали «арматурные» нотки.

— Вопрос к бетонному заводу. Пятые сутки кашляем бетоном. Выдаете в час по чайной ложке. Что предпринимаете, чтобы наладить перевозку цемента из Душанбе?

И, перебив объяснения представителя бетонного завода:

— Запишите в протокол: бетонный завод работает неудовлетворительно. На тридцать процентов мощности. Положение должно быть исправлено без промедления.

И представителю автотранспортного предприятия:

— Я хотел бы выслушать от вас заверение, что уже сегодня, начиная со второй смены, экскаваторы по вашей вине стоять не будут.

...Но Байпаза поднималась, переходила из плоскости проектных чертежей в трехмерность реального мира — в не очень понятное пока что, скелетное, пунктирное, если черточками этого пункта считать огромные бетонные плиты, а точками вспышки сварочных молний... Вполне оформилось маленькое «плато»: отсыпана и разровнена площадка ОРУ-220, тянулась ее свежая бетонная стенка. «Бетонная прелюдия» к тому, что десятью минутами позже я увидел в котловане — теперь «арена» была заселена людьми, техникой, бетонными конструкциями разных форм и величин.

Словно сравнительные «столбики» на диаграмме, по росту выстроились «бычки» — капитальный элемент здания ГЭС. Это мощные стены, которые потом свяжут перекрытия (а снизу эту П-образную конструкцию подопрет днище, фундаментная плита здания), и в целом это будет квадратного сечения «труба отсыпывающая», как наречена она в теории гидростроительства и соответственно на чертежах... Каждому из четырех агрегатов Байпазы своя такая труба. На сегодня «бычки» первого агрегата были почти готовы, четвертого — едва возвышались...

Впечатляюще выглядел фронт проходчиков.

Огромные разинутые рты турбинных водоводов зияли в скале, уходя вглубь, в пещерный сумрак, в котором, правда, уже мерцали электрические огоньки. Здесь тоже можно было зрительно постичь последовательность работ. Первый водовод обогнал трех своих братьев, он уже одевался в обечайки. Это металлические кольца, сваренные одно с другим. Собранные вместе, они составят металлическую облицовку турбинного водовода...

Строительный туннель. Это он, как актер, временно «поцарствует» в роли Вахша, приняв воду бурной таджикской реки, став ее руслом, чтобы осушилось, обнажилось для стройки русло естественное, подлинное... Сегодня и здесь в полном разгаре бетонные работы. Фронт везде, но особенно жаркий участок — концевое сооружение. Здесь поток вахшской воды, пройдя через туннель, прыгнет на своеобразный трамплин — «лоток», сооружение сложной кривизны и под особым, точно рассчитанным углом повернутое к Вахшу. И уже отсюда, погасив о лоток опасный избыток силы, чтобы не размывать берег и дно, поток вернется в родное русло, в продолжающий свой бег Вахш... Конфигурация блоков этого сооружения сложна, точность в исполнении работ требуется почти такая же, как в вычислениях проектировщиков, и, сохранится ли эта точность «в натуре», зависит от того, как справится с заданием бригада Мухабата Шарифова, которая сейчас сооружает стенки и сливной лоток концевое сооружение...

Они были уже реальны, контуры Байпазы.

Разумеется, это радовало.

Но еще более важным было другое: уже сложилось, причем не в контурах, а в полном объеме то, что зовем мы словом «коллектив». Люди Байпазы. Коллектив именно этой стройки, строители, для которых Байпаза стала судьбой.

...Пуск турбины он видел только в кино и на фотографиях.

— Очень бы хотелось увидеть это в натуре. Такая ведь страница в жизни будет!..

Когда Володя Лусинин приехал в Нурек после института — Горьковский инженерно-строительный, гидротехнический факультет, — ему сказали: «Нужен молодой специалист на Байпазу. Ты человек новый, новичку надо начинать на новом месте». Распределен он был на Саяно-Шушенскую. Рвался сюда, в Таджикистан, на Нурек. Здесь проходил преддипломную практику и «заболел» Нуреком, великой стройкой на Вахше.

Но определили его сюда, в Байпазу. Которой, собственно, еще не было.

Так что начал Володя Лусинин «с земли»: глина, песок, гравий, карьеры, экскаваторы... Проза, короче говоря. Правда, сам Володя оценивает такое начало высоко:

— Это помогло мне гораздо проще, ну, естественнее, что ли, чем, допустим, ребятам, которые приехали спустя полгода, год, вработаться в дело. Постепенно врастаешь, вникаешь в обстановку, что к чему и почему. Это очень здорово, что мое начало как специалиста совпало с началом стройки.

Он поработал в карьерах. Потом, с расширением фронта работ на Байпазе, его поставили мастером на сооружение подпорной стенки в котловане. («На карьере полу-

чил первую школу. Тут уж все под личную ответственность: работы я сам сдавал, наряды закрывал сам, сам давал задания, пробивал механизмы, в общем, все сам...»)

В июле восемьдесят второго, вспоминает Володя, мы спустились в котлован. Первый куб на ЗМП, закрытой монтажной площадке, клали красиво, официально, как говорится: при митинге, на Ленинском субботнике, в апреле восемьдесят первого... А наш первый куб — в котловане, на нижний ярус — положили в самую вот эту воду, в эту грязь, без музыки. Но все равно было очень здорово. Лично принимал участие. Первый куб все-таки...

Володя Лусинин, волжанин в Таджикистане, молодой инженер, но уже осознавший, что, «строая объекты, строишь-то себя», счел бы ниже своего достоинства рисоваться, «выглядеть», умалчивать промахи, быть «не тем» и «не таким».

— «Земля»? Карьеры, экскаваторы... Нет, она мне ничего не дала в смысле технологическом. Земля и есть земля. Там «допуска» свободные — метр сюда, метр туда... Чтобы бульдозер был вовремя. Чтобы «БелАЗы» подошли и чтобы не простаивали. Чтобы у экскаватора был забой. Чтобы, если он тонет, были слани... У, сколько я их перетопил! Раз пять экскаватор топил... ДЭТы,— засмеялся он,— дизель-электротракторы, так по уши залазили!.. Ил, ну, или пловуны их еще называют. Старое русло Вахша. Поэтому приходилось работать экскаватором на металлических таких листах — на сланях. Где что не досмотрел — рраз! — он у тебя и сел набок. И пошел погружаться...

Но это все вопросы организации, сказал он серьезно. А в техническом плане «земля» — ничего нового и сложного. Вот когда я пришел на бетон, тут уж пошла техническая сторона. Там я работал, управляя, главным образом, механизмами. А тут работа с людьми. Тут один механизм всего — кран. Опускает, поднимает... А работают люди. Человек двадцать работают у тебя под началом, не шутка, говорит этот двадцатипятилетний сменный мастер. В институте нам этих навыков не давали: работа с людьми. Умение работать с чертежами. Не за столом экзаменатора в сессию, а в натуре, на стройплощадке.

Авторитет молодого специалиста создается постепенно и непросто.

— Были ошибки,— говорит Лусинин.— Серьезные. Такие, например, что блок поставлен, сдавать его, а вдруг стоп — не тот размер, не то стоит. И дело передвигается, откладывается — на две-три смены! — из-за переделок... Арматура не та поставлена. Яма в бетоне. Стенка — надо ее так поставить, а я ее сдвинула вот сюда, не оттуда отмерял... Серьезные очень были промахи. Рабочие возмущались: «Куда ты смотришь?!», «Эх, молодой ты еще!» — и прочие такие дела... Сейчас, конечно, этого нет. Схватываешь на лету, есть опыт, хватка...

Было отрадно слушать его живую, искреннюю речь. Невольно думалось: как же он вырос, возмужал здесь, на Байпазе. «Опыт», «хватка» — да, все это к нему пришло.

Первые наряды закрывал, чуть не заплакал. Это на стенке, подпорная стенка у скалы, где будет первый агрегат... Я закрыл по три рубля. По трешнику в день? Что же это за зарплата, думаю, девяносто в месяц? А бетона вроде много положили... Не знаю, что и написать. Отнес к Суржику, прорабу. Вася, говорю, завтра уже наряды сдавать. А я ну ничего не понимаю. Он: ну что у тебя, мастер, объем, сколько чего?.. Я объяснил. А он: иди, спи, все.

Утром прихожу. «Ну как?» — «По десять пятьдесят. Все нормально». Я: «Откуда? Чего? Как это?!» Он объяснил. И все четко, все правильно. Никакой фальши, никакой «лажи». Не учел я, оказывается, потому что не знал толком, коэффициенты всевозможные. Не все работы полностью выбрал. Тарифные работы — сигнальные, например. Кран работает, а рабочий внизу сигнализирует. С рейкой геодезической ходит. Я и не знал, что все это нужно оплачивать!.. Все это тихо-тихо накрутилось — по мелочам, по копейкам,— получилось по червонцу...

Ну сейчас-то, конечно, все это ушло в прошлое, подчеркивает он. Сейчас я прекрасно знаю все это. Теперь сам стараюсь помочь молодым мастерам. Березкину, например... Не нравится мне, что он полтора годка отработал, а наряды — еще ни разу. Не весь же век будет работать в «Нурекгэстрое»! Пойдет в другую строительную организацию. Столкнется: ну, давай закрывай наряд... И скажут: да чем ты на прежнем месте занимался? А еще говоришь, Байпазу строил...

Его не просто уважают здесь, на стройке, его любят. Любо-дорого, скажем, когда схватывается он в часы отдыха в строительском вагончике или в своей комнате в общежитии со столь же уважаемым и любимым на стройке Геннадием Трегубовым, прославленным еще с Нурека бригадиром. Схватываются физически, так сказать, про-

буя силушку в веселом товарищеском поединке «борцов вольного стиля». И в поединке словесном, где Володе от Трофимыча, так Трегубова по отчеству, скажем честно, достаётся.

Ходит молва, что, отправляясь в очередной отпуск к себе на родину, в Горький, он говорит друзьям, что собирается жениться и вернется с женой. Но возвращается по-прежнему холостым. Зато итэзровский штат Байпазы пополняется новыми молодыми специалистами. Которых вместо жены высватал стройке во время отпуска Лусинин.

— Так уж три раза было... Все вроде в порядке, хорошая девчонка, нравится. А как только дело до женитьбы, все. Разонравливается. Никакого желания жениться и в помине не остается. Это уже просто такая моя дурная натура. Конечно, это не причина, не критерий. Надо с этим как-то бороться. В конце концов, всё-таки взрослый человек уже... Девушки ни при чем. Моя несерьезность в этом плане... Тут уже не на кого валить.

Ну, а то, что земляков моих все больше прибывает в Байпазу... Во-первых, это бывшие студенты, которые здесь проходили практику. У меня уже человек тридцать их было. У кого прорезался интерес к тому, чтобы после диплома ехать сюда, с теми я переписываюсь. И в Горьком, когда бываю в отпуске, встречаюсь. Володя Грехов, например, уже год здесь работает. И хорошим становится мастером. А в этом году придет еще дружок. С нашего факультета. Я двоих хотел приглашать, но одного распределили на Камчатку и открепления ему министерство не дало. Потому что он не сообразил, не в Минэнерго, а в Министерстве мелиорации поторопился взять распределение...

За что Лусинин уже сейчас благодарен Байпазе и чем она останется ему навсегда дорога, он говорит убежденно:

— Мне ее, Байпазу, пока что не с чем сравнить. Она первое. А первое, оно же всегда особенное: первая любовь, первый снег, первый дождь... Первая стройка. Ну, я не знаю, работаем мы, конечно, очень интенсивно, и вот иной раз, когда проработаешь по две, по три смены и возвращаешься домой, то, несмотря на усталость, получаешь удовлетворение оттого, что провел эти смены...

Поеду в отпуск,— сказал он,— обязательно побываю на Горьковской ГЭС. Хочется посмотреть. Представить себе, как она сооружалась. Теперь я буду себе все конкретно представлять, как и что. Получается, что в Таджикистане я научился видеть то, что есть у меня на родине... В общем, Байпаза для меня — очень нужный этап, необходимый. Если придется поработать на Сангтуде, то уже с багажом приду туда...

Но Сангтуда — это будущее, последующая ступень Вахшского каскада. А пока что строится Байпаза.

И уже очевидны ее контуры.

И ее пульс.

Не всегда ровный...

Типичная, одна из многих и многих планерка этого лета. Проводит ее Мухамедиев, главный инженер «Нурекгэсстроя». Проводит жестко, попадая, как говорится, не целясь. Вопрос-выпад к Анатолию Антипову, начальнику Байпазинского участка:

— У вас нет ощущения, что мы катимся в пропасть?

— Как только ГСС (это «Гидроспецстрой», они ведут работы в туннелях) уберет трубу, в три дня положим основание.

— Мне не нравится это «если». Нужно так: пусть будет грязь, вода, пусть вырубят электроэнергию, сломается экскаватор. А все равно нужно делать. Рассчитывать на последовательность мы уже не можем — слишком много потеряно времени.

Как это понимать? Как своеобразный, давно известный прием: держать дело строго, нагнетая тревогу, поскольку это лучше, чем посеять безмятежность, сознательно нажимая на трудности, огрехи, сбой, без которых ведь не было и нет ни одной даже внутригородской стройки?

Ведь известно — и рабочим, и главному инженеру, и в тресте, и в министерстве,— что на Байпазе дело поставлено. Больше того, поставлено творчески. Кое-что из новаторских, нетривиальных решений было заложено уже в проект. Многое искалось — и найдено — здесь, непосредственно на стройплощадке.

Стратегия стройки. Успешная операция здесь имеет общегосударственное значение. На строительстве гидростанции можно обойтись так называемой цизовой пере-

мычкой при манипуляции с временным отводом реки в искусственное русло — строительный туннель. Но на Байпазинской ГЭС решили иначе. Возвели сначала временную — продольную по отношению к течению реки — перемычку. «Оттородившись» от Вахша и получив на этом огромный выигрыш во времени. И в рублях, которые поступят от эксплуатации досрочно пущенной ГЭС, от ее реальной, коммерческой уже электроэнергии. Если затраты на эту продольную перемычку составят 1 миллион рублей, то выигрыш будет не менее 5 миллионов.

Тактика стройки. Здесь тоже Байпазе есть чем гордиться. Дороги... Банально, но факт: они сдерживают стройку. Чем быстрее они начали функционировать (и чем надежнее, конечно), тем ближе пуск. Здесь, в горных условиях, строителям пришлось бы прыгать с берега на берег. Имелся мост, но старый и подобный горной тропе: как двум барашкам на ней не разойтись, согласно сказкам и шуткам, так и двум груженным «БелАЗам» не разойтись было на этом мосту. Строить новый? Нет. Решение нашли смелое и четкое: пробить в скалах транспортный туннель. Он будет наикратчайшим путем, экономические расчеты были полностью «за», а стройка получала ускоренный подвоз материалов и оборудования, особенно крупногабаритного...

Арсенал стройки. Он уже есть, разумеется, в широком ассортименте, как говорится. Но здесь, на Байпазе, есть то, чего нет, что только войдет в практику. Для ускоренного бетонирования туннелей была создана круговая опалубка уникального диаметра: 13,5 метра.

Список творческих решений можно было бы продолжать. Внести в него частности, которыми и отличается инициативное, творческое отношение к делу. Например, решили отказаться от строительства временной линии ЛЭП, но ускорить сооружение постоянной. «Большую» технику не тащить тягачами в Нурек, ремонтировать здесь же, дома... Еще от старой стройки, когда возводили гидроузел, на базе которого растет сейчас Байпаза, остался бетонный узел. Замечательно, решили байпазинцы, можно его реконструировать, будет наш цех ЖБК. И есть цех.

Почему же главный инженер «рубит» на планерках:

— Слишком много потеряно времени.

Куда же делись, в таком случае, те выигрыши, которые явно приносило каждое из творческих решений?!

3. Октябрь, 1983. ЗОЛОТО БАЙПАЗЫ

Вновь на планерках поминают недобрым словом Вахш-Яван, историю с переключением ирригационного туннеля на новое русло.

— Эта история отбросила нас на год, — сурово сказал Мухамедиев. — По графику мы должны были «переключить» осенью 81-го. То есть даже не на год, на все полтора отбросила нас эта межхозяйственная, — так Мухамедиев иронически объединил «межведомственная» и «бесхозяйственная», — заминка.

Не пропустив воду по новому руслу, — сухо рассказывает главный инженер, — мы не могли начать работы по водоприемнику — постоянному — и по отводящему каналу. Нам не давали «добро» на переключение. И в результате мы попали в страшнейший цейтнот. И, по существу, сейчас заняты изобретательством: откуда бы взять, где найти время... Какой должна быть схема, которая дала бы возможность не сорвать пуск. Я затрудняюсь сказать, кто в этом конкретно виноват. Проще всего — и хуже всего — навесить ярлык. Такие сложные вопросы должны решаться коллегиально. То есть и Госпланом республики, и Совмином республики, и другими организациями. Во всяком случае, Байпаза оказалась поставлена перед фактом: переключения Вахш-Явана нам не давали. Основной причиной выставляли то, что не был еще подключен водопровод из Кафирнигана. Поскольку переключение связано с прекращением доступа воды из Вахша в Яванскую долину, на это время должна была подаваться вода из Кафирнигана. Но эта система не была готова и нам не давали «добро». Но лично я все-таки убежден, что можно было и без кафирниганского водопровода переключить. Были и раньше случаи, когда Минводхоз республики самостоятельно отключал на месяц Вахш-Яванский туннель без всяких водопроводов — для осмотра, для ремонта туннеля. А за месяц мы вполне могли бы уложиться. У нас были различные варианты. И они предлагались — через трест — в республиканские организации.

В итоге все разрешилось, — сказал Мухамедиев. — Но из графика было вырвано, выброшено целых полтора года.

Да, Вахш-Яван был крупнейшей, видимо, заминкой, осложнившей работы в Байпазе по объективным, но едва ли уважительным причинам.

Заминки малых, неуважительных причин местного значения, так сказать, было куда больше, взять хотя бы историю со злополучной трубой. «Башмаковской трубой» — мы надеемся, что не обидятся на нас Вячеслав Михайлович Башмаков, руководитель коллектива гидроспецстроевцев на Байпазе, за то, что мы предали гласности этот факт, воспользовавшись к тому же именованием, данным этой трубе строителями...

По идее — да и по технологии, культурной и товарищеской по отношению к смежникам, — гидроспецстроевцы должны были шлам, который образуется при работах под землей, улавливать и собирать в отстойники. А сбрасывать только чистую воду. А чистая вода не страшна. Ее круглосуточными кубометрами откачивают насосы на котловане... ГСС решил проще: вывести из туннеля трубу и сбрасывать по ней шлам. На свежий бетон, на человеческий труд.

Конечно, с ГСС, с их «выполнения» — по завершении строймонтажных работ — можно взять штраф. Вычесть средства, даже в пятикратном размере, компенсирующие затраты по уборке этой шламовой грязи из котлована. Причем санкции учтут не только эти «исправительные» работы, но и сбой графика. Факт задержки работ по бетонированию торowego основания первого агрегата ГЭС. А это уже, нетрудно догадаться, не просто неряшливость в работе. Это, если хотите, своеобразный вклад субподрядчика в пуск первого агрегата Байпазы...

И строитель, рабочий человек, не может быть снисходителен к такому на первый взгляд, может быть, и заурядному факту.

Во всяком случае, именно в разгар истории с этой трубой познакомился я с Трегубовым, и прославленный бригадир был так мрачен, так резок, что благоразумнее было до разрешения этой ситуации и близко к Геннадию Трофимовичу не подходить.

Заслуженный строитель Таджикской ССР, бригадир Трегубов болезненно, физически переживал, что вот так — незаслуженно — страдают репутация строителя и дело: культура исполнения и сроки.

Трегубов эпизод этот, конечно же, пережил, снова стал «доступен», не раз мы потом подолгу и со всей откровенностью беседовали — о стройке, о его, Трегубова, Трофимыча, как зовут его товарищи, профессиональном и человеческом «багаже», — и хотелось бы еще раз подчеркнуть, что и Трофимыч, и люди его бригады, и вообще все те, чьими руками строится это творение техники и экономики, не могут, не должны оказываться в полосе мрачной недоступности...

...Котлован был еще в тени, солнце золотило лишь самые верхние ярусы обступивших Байпазу гор.

В каньоне, как Трегубов называет котлован, было свежо, даже прохладно. Не верилось, что через час-другой металлические прутья арматуры, за которые хватаешься, чтобы перейти от одного блока к другому, будут разогреты солнцем...

Бригада Трегубова заканчивала подготовку блока донной плиты.

Разгрузив с подмогой крана машину с арматурными каркасами, Трегубов спустился в котлован по крутой железной лестнице. Вприпрыжку, через ступеньку, проскользывая на руках по перильцам, ну, мальчишка и мальчишка... Хотя «мальчишке» было за пятьдесят.

Я спустился вслед за ним.

Но работа прервалась, едва начавшись. Завыла сирена. И все потянулись к дальней от скалы стороне котлована. Работы прерваны на полчаса. Наверху скалолазы. Необходима срочная «оборка» скалы.

Это значит, что нужно оторвать от скалы и сбросить вниз плохо державшиеся камни. И набросить на скалу дополнительные сети «ловушки»...

Мы присели с Трегубовым у строительской каптерки. Наверху, на «берегу» котлована, у нас за спиной, застыли девушки-сигнальщицы, неотступно следя за работой скалолазов. Строители тоже завороченно следили за маленькими фигурками на скале. Фигурки то застывали, и тогда там начинали мерцать вспышки сварки, то карабкались выше или в сторону — огромными прыжками, словно кузнечики. К поясам смельчаков привязана веревка, почти невидимая отсюда, с расстояния метров в триста...

Прозвучал отбой. Скалолазы свое сделали. Стоило лишь взглянуть на Трегубова, и сразу становилось ясно: бетонирование началось.

Дело преобразало этого человека: делалось — он был добр, стояло — он «темнел».

..После армии выбрал Геннадий Трегубов Братскую ГЭС. Под Новый год поехали

оня с другом в отпуск, рассказывает Трофимыч. На родину друга, в Таджикистан. Как раз в это время начинали строить Нурек. Требовались специалисты, гидростроители и прочие. Трегубов долго не раздумывает. Даже в Братск не стал возвращаться, написал Асе, жене, она взяла за него расчет и приехала...

Да, благословенным показался ему этот край. Тогда. А сейчас? «Ох, и жара, невозможная!..» — «Ген,— говорят ему,— а мы думали, ты уже привык. Двадцать лет все-таки...»

«Примирился, а не привык»,— говорит он строго.

Он способен примириться со многим. С изматывающей жарой. С отсутствием «капитального» жилья. С отсутствием ее, «капитальности», в чем угодно, только не в работе. Все «туфта», лишь бы была работа. Чем больше ее, тем лучше. А чем ответственнее, тем капитальнее она, работа. Вероятно, именно поэтому, хорошо зная Трегубова, Юрий Константинович Севенард, начальник строительства Нурекской ГЭС, который теперь возглавляет красивую «северную» стройку — возведение дамбы в Финском заливе, которая навсегда должна защитить Ленинград от наводнений,— сам Севенард прислал ему недавно письмо. «Приезжай. Геннадий Трофимович. Стройка рассчитана на десять лет, а с тобой мы бы управились и за семь. А потом вернемся в Таджикистан. Будем строить новый каскад — на Пяндже».

Трегубов не уехал в Ленинград. Работы много и здесь, на Вахше. Дамба — это, конечно, замечательно, но пока есть Байпаза. «Всю жизнь мечтал о Таджикистане. Хотя жизни моей тогда было всего ничего, молодой был. О деньгах не думал. Главное — чтобы интересно. Молодые сейчас приходят устраиваться: «Сколько платить будешь?» Я говорю такому: ты сначала научись работать, а потом деньгу считай...»

Лусинян ему: «Это ты очень правильно говоришь, Трофимыч!» И, обращаясь ко мне: «Преклоняюсь перед Трофимычем. Да не только я. У нас на Байпазе можно часто услышать: без бригады Трегубова станцию не построить. На Нуреке были монтажниками, а здесь как бетон освоили, а? Да ты Расскажи, чего ты?!»

Трегубов смущен. «Да какие мы бетонщики...»

Когда квалифицированной бригаде поручают работу неквалифицированную, люди нередко считают, что задето их рабочее достоинство. В Байпазе помнят, как в Нуреке в шестьдесят девятом, когда велась работы на бетонной пробке плотины, «прозевали» инклинометр!.. Есть такой прибор. Должен показывать просадки. От самого основания плотины. Вовремя его не «нарастили», а с отсыпкой плотины ушли наверх. Инклинометр оказался затоплен. Но рано или поздно его надо наращивать. Откачать воду практически уже не было никакой возможности. Мало того, инклинометр засыпало грунтом, теперь его еще нужно было искать и откапывать в этой воде. Мухамедиев, в то время начальник участка, перепробовал много вариантов. Как найти прибор, восстановить его? Очень серьезная работа. «Мы упустили время, ошибка превращается в проблему»,— говорил Мухамедиев. А глубина была метра два с половиной... Дело, кстати, было зимой. Зимы, правда, не морозные, но все равно неприятно... «Запросил я помощи у Трегубова»,— вспоминает Мухамедиев. Из звена, которое в ту смену работало, трое отказались наотрез. Это, мол, ниже достоинства монтажников. Отошли в сторону и стояли. А остальные шесть человек во главе с Трегубовым полезли в воду... Прибор нашли, откапали и там же, под водой, смонтировали, вывели на поверхность. Отважная работа.

То его, Трегубова, и его парней, естественно, просят сделать гидроизоляцию, что не по профилю бригады. Или вычистить блоки перед бетонированием. Не отказывался. «То есть сначала, разумеется,— улыбается Мухамедиев,— масса претензий. Или бурчит что-то под нос. Потом, когда работа сделана, спрашивают: ты чего там ворчал? Он опять претензии. «А зачем же ты тогда взялся?» А кто, говорит, пойдет за меня, вон те «сачки», что ли? Все равно же нужно сделать...»

— Но особо я хотел бы отметить,— подчеркивает главный инженер,— профессионализм Трегубова. Это монтажник очень высокой квалификации. И бригада соответственно профессионалы. Асы.

Кстати, именно это обстоятельство объективно осложняет обычно переход на комплексный метод. Бригады менее квалифицированные совершают этот переход легче. Ведь комплексный метод подразумевает включение и «нехитрых» операций. Значит, нужно брать в бригаду рабочих с более низкими разрядами. А от этого в какой-то мере страдает зарплата бригады. И не каждый с восторгом отнесется к такой перспективе — потерять часть заработка. Так что и это нужно поставить в заслугу Трегубову:

сумел убедить своих людей в целесообразности, даже необходимости такого перехода. Ведь благодаря комплексности, разъяснял он бригаде все тонкости дела, устраняются всякого рода сложности, задержки. Которые неизбежны, если бригада узкоспециализированная... Убыстряется строительный процесс. Да и качество работы выигрывает, когда одна комплексная бригада отвечает за всю работу. От начала и до конца. Ведь как, скажем, раньше, убеждал Трегубов. Допустим, готовится бетонный блок. Арматуру и металлоконструкции — монтажники. Опалубку — плотники. А бетон — бетонщики. И вот, скажем, бетонирование, а развалилась опалубка. Блок не получился. А бетонщики: мы-то тут при чем? Не мы же опалубку вашу ввязали! И «монтаж» свою работу сделал нормально... Да, виноваты здесь плотники. Но, раз блок в целом не сдан, наказание рублем несут и невинные. Мало того, начинаются нездоровые отношения между людьми. Не лучше ли по-человечески, по-рабочему: все несут ответственность, вся бригада? От начала и до конца. Это справедливо, примерно так аргументировал бригадир. Работать комплексно и отвечать за результат тоже так — комплексно...

Таджикистан Геннадий Трофимович полюбил, прижился здесь прочно, во всяком случае, до выхода на пенсию. Нурек стал для бригадира Трегубова не то чтобы самым ярким, но особо дорогим ему «блоком» жизни. Блоком, если можно так сказать, основания — под будущее, личное и профессиональное, под Байпазу.

На Нуреке, собственно, и пришла к нему слава. Не столько, может быть, в титулах и наградах, сколько во мнении товарищей, руководства стройки, треста — всего контингента строителей в республике. «Наверняка получил бы Героя за Нурек! — говорит о нем близко его знающий руководитель республиканского уровня, тоже нурекчанин. — Да ведь это же Трегубов — от Звезды своей Трофимых сбегал!..»

Действительно, однажды Трегубов уезжал из Нурека. Думалось, навсегда. Строительство Нурекской ГЭС завершалось, работы свертывались.. А в городе по-прежнему остро стоял вопрос с жильем. «Нурекгэсстрой» принял решение: использовать в жилищном строительстве метод Злобина, бригадный подряд.

Первая проба была предложена Трегубову с его бригадой. (Трегубов: «Севернард хитрый. Нурек к финишу — и он хотел сохранить мою бригаду».)

За новое дело Трегубов взялся с энтузиазмом. Но, чтобы успешно работать по методу Злобина, необходимо бесперебойное, технологичное снабжение. Чтобы на каждом этапе работ поступали именно те материалы и оборудование, которые нужны в данный момент. «Тогда бы мы, — говорит Трегубов, — за две недели построили эту четырехэтажку». Но «если бы» не состоялось. Первые два этажа подняли быстро. А потом стали привозить панели вразброс: то для третьего этажа, то для четвертого. Пришлось строить как бы ступеньками, вопреки технологии, вопреки методу, да и просто вопреки здравому смыслу. В итоге дело растянулось на восемь месяцев.

Трегубов довел его до конца, а потом взял расчет и уехал.

Поездил по стране, присматривая себе новый Нурек. Нигде не понравилось. Через месяц вернулся. Севернард был счастлив. «Геннадий Трофимович, — сказал он. — Потерпи немного, скоро возобновим работу на водоприемнике. Дел много, хорошая, очень сложная будет работа. Без тебя не обойтись...»

Большая часть бригады Трегубова тоже разъехалась. Но он связи с ребятами не терял. Разослал им письма. И почти все вернулись. Какое-то время работали на отделке жилых домов, а потом, как и говорил начальник стройки, перешли они на водоприемник Нурекской ГЭС.

«Там я все основные сооружения строил. Ядро плотины. Водоприемник. Он там очень сложный, сто метров высоты! Уникальный...»

Почему же он уезжал, что было главной, решающей для него причиной?

Первые во всем Нуреке по методу Злобина — это его очень увлекло. И уехал не из ялости, что работа шла с горем пополам, — от стыда. Перед бригадой — за ничтожные заработки. А главное, перед безаистами, для которых и строился «злобинский» дом. Так и сказал мне Трегубов: «Перед безаистами было стыдно...»

Настоящий сегодняшний советский рабочий — сказал о нем Семен Яковлевич Лащенко, главный инженер треста. И добавил, как бы конкретизируя «родовую» характеристику личностной, именно: «Горластый, грубоватый, агрессивный в своей принципиальности. Но умный, компетентный, справедливый и деятельный».

Случись у нас с С. Я. Лащенковым разговор о Мухамедеде, главный инженер треста сказал бы о главном инженере «Нурекгэсстроя» в точности то же, что и о Тре-

губове. С той только разницей, что в первом случае был «настоящий рабочий», а во втором — «настоящий инженер».

..Вернувшись из отпуска, Мухамедиев был ошеломлен положением дел. До того запустили вопрос с автотранспортом, допрыгались до того, что из четырех экскаваторов, работавших на водоприемнике, во вторую и третью смены работает только один!.. И это на основном объекте, с которым связано все! К тому, что благодаря Вахш-Явану упущено полтора года!.. Нужно было в данном случае «раздеть» второстепенные объекты. Сконцентрировать силы на основном. Не примириться с положением, когда грунтовозный карьерный автотранспорт работает на перевозке какого-то щебня. Когда экскаваторы стоят.

Мухамедиев был возмущен: инертные материалы перевозить любым другим транспортом. «МАЗами», «КамАЗами». А «БелАЗы» все отдать под экскаваторы!

Хотя после той же планерки, на которой Мухамедиев разнес «перевозчиков щебня», он сказал мне спокойно: «В целом у нас работа идет, как планировали. Мы прекрасно отдаем себе отчет, каким темпом идем. Где и насколько отстаем, где и насколько опережаем».

На первый взгляд, это было тактикой, одним из способов не дать людям и делу расслабиться. Крепкий инженер, опытный нурекчанин держал байпазинскую стройку в узде. Но суть была как раз в другом, в обратном: никакой «тактики», просто желание приложить к Байпазе бесценный опыт Нурека и дать людям и делу возможность «усилиться», подняться еще на ступень в их личной и профессиональной культуре.

Именно так оценивал опыт Нурека Валерий Низамович Мухамедиев.

Там, в Нуреке, ему посчастливилось поработать почти на всех объектах. С 64-го по 70-й — в управлении земельно-скальных работ (там же работал и Трегубов). Дороги, мосты — на левый берег... Входные порталы первого и второго строительных туннелей. И самый серьезный объект того времени — бетонное основание плотины.

Мухамедиев последовательно, как военный человек, если возможно такое сравнение, проходил должности мастера, прораба, старшего прораба, начальника участка... Участок был чрезвычайно большой. Основание плотины. То есть элемент, который связывает скальную опору плотины с сутлинистым ядром. Сооружение чрезвычайно ответственное.

Потом его перевели главным инженером в управление по строительству здания ГЭС. Здесь начинался «разворот». И здесь он и работал до пуска первой очереди.

Нурекский гидроузел, рассказывал он, сконцентрировал научную мысль, организаторскую, производственную — одним словом, все лучшее, чем располагали в Союзе, здесь применялось. Справедливости ради, нужно сказать, что гидроузлы сравнивать нельзя. Рогунский гидроузел, например, гигант, с Байпазой его трудно соизмерять. И мы все связывали свое будущее, конечно, с Рогуном. Я полагал, что после Нурека буду переведен в Рогун. Но меня оставили здесь. Кто-то должен был оставаться здесь, на Байпазе. Маленькая рядом с Рогуном, Байпаза — очень интересный и чрезвычайно сложный гидроузел!

Строить Байпазинскую ГЭС начали в 80-м, а пускать наметили уже через четыре года. Сроки предельно сжатые. Это специфика Байпазы. Каков же наш ответ этому жесткому условию? Мы совместили подготовительный и основной периоды.

И, если бы раньше начали строительство, думаю, Байпазу мы построили бы даже быстрее, чем намечено сейчас. Мы бы легче вписались в заданный этим объектом ритм, быстрее провели бы все подготовительные работы. Меньше бы испытывали нужду в том, в чем сейчас испытываем. В людях, в технике (часть ее в «паузе затишья» была перебросена на другие стройки; кроме того, тогда она была еще не так изношена). Естественно, сворачивалась такая большая стройка, Нурекская, уменьшался объем работ — и людьми, и технике нечего было делать, какой смысл было держать их в сборе и не у дел?!

Кто знает, может быть, завтра в его памяти Байпаза займет еще более почетное место, чем «дорогой Нурек». Пока что в соотношении опыта Нурека и неотстоявшегося еще опыта Байпазы счет ничейный. Хотя все на стройке отмечают, что «главный» тут, на байпазинских бетонах, «покрепчал»...

— За собой перемены как-то не замечаешь, — сказал он. — Объективно рассуждая, человек с годами, видимо, все-таки развивается. Появляются какие-то положительные и кое-какие отрицательные черты. Я часто себя ловлю на том, что сообразно опыту,

какой я приобрел, сейчас справляюсь с такими вопросами, которые раньше мог бы и не решить. С другой стороны, часто замечаю — и стараюсь пресекать, — что не так себя веду, как должен бы вести. Когда действую, например, силой данных мне полномочий, а нужно было бы силой логики: убедить или согласиться...

Замечаю вот за собой, стал выходить из себя. Повышать тон... Приходится пресекать. Когда продиктовано необходимостью, еще полбеды. А когда начинаешь понимать, что это типичная невыдержанность? Ведь прекрасно отдаешь себе отчет, что для собеседника наш срыв бесследно не проходит.

Но, конечно, с годами приходит опыт работы с людьми. Чрезвычайно серьезный фактор в профессии строителя. Потому что строители — это коллектив сложный, специфический, потому что «нестационарный». Как, скажем, заводской цех, где у рабочего определенное место, у командиров производства — определенный контингент... Я как-то не обращал на это внимания. Но, когда столкнулся с молодыми руководителями и поставил себя на их место, понял цену специфике, опыту...

...Как и Трегубова, я вспоминаю его разным, в разное время наших встреч, бесед, споров. Симпатичное, интеллигентное лицо. Серьезное, вдумчивое. Густые, черные с сильной проседью волосы. На макушке вихор. Взрослый, серьезный, всеми уважаемый — до почитания — мальчишка...

Начинает разговор всегда очень тихим голосом, с «западаниями», так что приходится переспрашивать. Но по мере того, как он увлекается, входит в стихию беседы, голос крепнет, речь убыстряется, глаза блестят. «Если Мухамедиев играет желваками, — говорят, — значит, злится». Но он не злой. Он очень добрый человек. Но «разнести» умеет. Именно умеет — не обидев, не выходя за пределы ошибки и выговора за нее...

Он перенес предынфарктное состояние. Была и язва, угодил в больницу под Новый год, на следующий день после того, как в Нуреке был пущен третий агрегат. Чем же будет «отмечен» первый агрегат здесь, на Байпазе?

Но было бы грубой ошибкой полагать, что Мухамедиев из тех, кто, не щадя живота, «тратит себя, тратит». Стиль его работы экономичен, себя он не тратит, а вкладывает, так сказать, как капитал, как взнос, под очень высокие проценты рабочего уважения.

— Байпаза — это, в сущности, сокровище, — говорит он. — Голубое золото. Как нефть, уголь, мазут — черное... Одним из серьезнейших обоснований срочного ввода в строй Байпазинской ГЭС был дефицит электроэнергии, который на 1984—1985 годы ожидался в Таджикской энергосистеме. Форсируется строительство корпусов Таджикского алюминиевого завода, Яванского электрохимического завода и других энергоемких объектов. Второй довод — качественно улучшить эксплуатацию Нурекской ГЭС. Для покрытия «пиков» она уже работает в Единой энергосистеме республик Средней Азии. И третье: 3 миллиарда киловатт-часов в год. А это огромная экономия горючего. Если их не будет, этих трех миллиардов, дефицит придется покрывать другими станциями, в том числе тепловыми. Вот и посчитайте, — сказал Мухамедиев. — Каждый киловатт-час — это примерно пятьсот граммов топлива. Условного, естественно. Вот и помножьте. Получается полтора миллиона тонн топлива. Если бы мы не построили Байпазу, мы должны были бы сжигать в топках полтора миллиона тонн мазута. Значит, задержка на год с пуском первого агрегата означает потери в... полтора миллиона поде-
лать на четыре?..

Отсюда его реакция на известные «алогизмы стройки». Ей нужны цемент, бетон, блоки, железо, арматуры разных марок — не логично ли, ведь это хлеб стройки: бетон и металлоконструкции. Но нет, на практике логика бывает и такой: цемент (почти весь) из Душанбе, бетон и конструкции из него — из Нурека, с филиала душанбинского ЖБК, а раствор можно готовить и здесь, в цехе. Сложная цепочка, дающая «разрывы»...

Дает «разрывы» и транспорт.

Как зимой ездить на работу бортовыми машинами? Резко возрастает число больных. Многим эти сложности с перевозкой на работу и с работы подсказывают эмоциональное, безотчетное решение — увольняться.

Имеющийся автобусный парк — старый. А с нарастанием темпа пусковых работ нарастает необходимость в большем числе автобусов. В самый напряженный, пусковой период на Байпазе будут работать 2500 человек. А мы, говорит главный инженер, словно ко всему прочему он отвечает и за транспорт, еле-еле перевозим полторы тысячи. Республика (так в обиходе называют уровень — республиканский) передала нам два ав-

тобуса из капитального ремонта. А нужно минимум пятнадцать. Плюс наше объединение, «Союзгидроэнергострой», передало три автобуса. Но и они старые, ни один не ездит на Байпазу. Правда, они несколько разряжают обстановку — с их помощью осуществляем перевозку здесь, внутри нашей промзоны. Тем не менее решающей роли они не сыграли.

Цифры, цифры, цифры... Одним главным инженер представляет Байпазу, другими защищает ее, третьими спорит, требует, идет на грозу...

И все-таки все эти цифры как-то разом отбрасываются в сторону, когда Мухамедиев говорит коротко, жестко: «Люди. Люди же, они должны в точности знать, что делается и как, и какова перспектива».

— Легко ли согласилась бригада Трегубова перейти на Байпазу? — спросил я главного инженера.

— На Байпазу все рвались. Потому что видели перспективу. Продолжение Нурека. Все знали, что в Байпазе пока неудобно, трудно, все только начинается, обустраивается. Но шли туда, потому что знали: перспектива, следующая ступень.

А теперь, усмехнулся он, Байпазе не хватает людей. Квалифицированных особенно. Сейчас не хватает около четырехсот человек. Да еще у «Гидроспецстроя» «минус» — человек двести пятьдесят...

Сколько себя помню, никогда не было такого положения. В общем, и в Нуреке квалифицированных рабочих не хватало. Объемы были гораздо больше, и не хватало людей в больших масштабах, чем сейчас. Но надо сказать, что после окончания строительства Нурекской ГЭС, даже после пуска первого агрегата очень много людей уехало на Рогун, на другие стройки. Очень много людей уехало.

— Может быть, слишком длинным был «зазор» между окончанием Нурека и началом Байпазы?

— Я думаю, что не столь важен вопрос о том, какой длинный был разрыв, хотя он действительно был. Гораздо серьезнее то, что такому вопросу не уделили должного внимания. Это касается непосредственно и нас, «Нурекгэсстроя», ведь мы должны быть зачинщиками в этом деле.

— Что вы могли бы сделать?

— Ну, во-первых, объяснить людям перспективу. Создавать условия, чтобы люди здесь закреплялись. Я, допустим, не уверен, что многие уехали убежденными, что они правильно поступают. Боялись, что вот кончится Нурек, а чем дальше заниматься? Мы должны были объяснять, что разворачиваем Байпазу.

— Ведь о строительстве Байпазы было известно заранее?

— Я бы не сказал... Технический проект был утвержден в 79-м. Даже в 80-м: выполнен был в 79-м, а утвержден в 80-м... «Пик» численности будет у нас в 1984—1985-м. Потом, после 85-го, начнется спад. С одной стороны, строить ГЭС в короткие сроки выгодно и необходимо. Крайне необходимо. А с другой, в этом случае мы не успеваем обеспечить «жилищную базу». Никакого противоречия здесь нет. Нужен лишь хорошо сбалансированный переход коллектива с одной стройки на другую. Чтобы не создавать кризисных ситуаций. С набором людей и с увольнениями.

Важно хорошо подготовить подготовительные работы, — улыбнулся он. — Я думаю, мы могли бы начать и до завершения технического проекта. А для этого нужно решить вопросы финансирования, проектно-изыскательской работы. А это зависит от треста, от министерства. Правительства республики. Может быть, я что-то не совсем точно здесь себе представляю. Но, с точки зрения здравой логики, я убежден: допускать, чтобы «распылялся» коллектив, ни в коем случае нельзя. Коллектив должен планомерно переходить с одной стройки на другую. Этим и определяются перспективы... Придет время, и, наверное, все объекты в отрасли будут строить «под ключ». И эксперимент станет нормой...

Но пока что «идет эксперимент».

Начинает, например, пробуждаться интерес к сохранению и экономии сметы. Вот, скажем, заменили материал для отсыпки экрана. Взяли его из карьера, который находится в несколько раз ближе, чем тот, что был предусмотрен по проекту. Для прорабов, начальников участков — для младшего звена — эта сторона эксперимента имеет меньшее значение, для них это неосознаемо. Для рабочих тем более. Но именно «осознанность» эксперимента, личная роль в новом деле абсолютно необходима для достижения цели. Вспомним, как изменила весь ход Нурека «Рабочая эстафета»!..

— Я технарь,— сказал он смущенно;— и довольно долго считал, что успех дела в решении технических вопросов. Организационных, деловых. Нурек убедил меня в том, что мы то там, то здесь ломаем копыя, решаем сложнейшие проблемы, а оказывается, что на стыке «производственного» и «человеческого» лежат огромные возможности. кратчайшие решения!..

Когда мы начали строить Байпазу и вошли в контакт с харьковчанами, нашими турбинщиками, они за голову схватились: никто, оказывается, и не думал разрабатывать технический проект на турбины для нашей ГЭС. А ведь это задача не менее чем на полтора года. И лишь после этого завод может начать натурные испытания, после чего можно приступить к изготовлению турбин для ГЭС... Невозможно короткие сроки.

И мы здесь, встретившись с харьковчанами, поговорив, как старые друзья — они ведь сюда регулярно приезжают, по многим вопросам,— договорились о замене металла рабочего колеса. Договорились, как сделать новую спиральную камеру. Как переделать (частично) здание станции. За три месяца был готов технический проект!..

В прошлом году приезжал Брызгалов — бригадир карусельщиков с «Уралэлектротяжмаша». Он сказал: «Ребята, сделайте только строительную часть, я вам генератор в портфеле привезу!» То есть, несмотря на всю загруженность завода, бригада берется найти время, чтобы без ущерба для нас, вовремя доставить генератор. И я уверен, что они это сделают!..

...Что же он считает началом начал в своей работе, в работе вообще, что его более всего огорчает, радует, волнует?

— Квалификация строителей падает, вот что тревожит. Мне трудно найти этому объяснение, но это факт. Люди с меньшей охотой идут в строительство. Хотя, если сравнить отношения к делу у строителей Нурека и у тех, кто сейчас строит Байпазу, большой разницы я не вижу. Если кто-то уходит, его не устраивает отношение к его делу! Настоящий строитель не будет ездить каждый день за тридцать километров и работать спуска рукава!

Для тех, кто строит Байпазу, престиж этой стройки не меньший, чем был у Нурека. Но вот для тех, кто приходит...

Прошел ровно год — был январь, начался нынешний, пусковой для Байпазы, 1984-й. 22 декабря, в День энергетика, первый агрегат даст ток.

...Чаша водоприемника обрела четкие геометрические формы. Там, где в октябре еще громоздились развороченные экскаваторами зеленоватые илстые грунты, теперь было ровное плотное дно. Подводящий канал... Красивой дугой его пересекала дорога, устремленная к скале, к таинственным «черным дырам» Правого и Левого туннелей... Одна за другой сюда подходили машины: бетоновозы, бортовые, груженные армокаркасами. «БелАЗов» — чудо-богатырей периода земляных работ — теперь что-то не видать...

Вагончиков поубавилось. Откочевали строители... Зато прибыло гидромонтажников, монтажников-энергетиков, электриков. Их домики на колесах расположились поодаль, словно робя перед созданным строителями, но это новое поселение означает, что уже начался новый этап строительства: подготовка к монтажу энергетического оборудования!

Вот-вот будет закончен транспортный туннель. По нему повезут рабочее колесо турбины...

Но самое главное — уже стояло, пусть пока что «пустое», здание ГЭС. Пусть это пока что лишь «коробка». Пусть оно не поражает размерами. Но даже тех, кто построил его, оно радует некоей особой красотой — красотой добротности, надежности.

...Как было бы хорошо, невольно думалось мне, если бы эта красивая печать надежности лежала бы решительно на всем, что делается и будет сделано в Байпазе, на эксперименте: впервые в отрасли построить объект «под ключ». Но увы... Для этого нужно было бы как-то развязать весь узел проблем, и сегодня сопровождающих стройку. Часть из них уже названа: снабжение, транспорт. Можно копнуть еще глубже: смета, «деньги Байпазы». Да, по условиям эксперимента половина сэкономленных средств достанется строителям. Но когда, вот в чем вопрос. Через пять лет. По завершению строительства! А это, как и ряд других нормативных положений, регулирующих сегодняшние отношения Стройбанка и строителей и вполне разумных при обычных расчетах, но в условиях эксперимента устаревающих, ибо «идет эксперимент», все это

делает финансовую самостоятельность генподрядчика в методе «под ключ» пока что относительной...

Но и это, видимо, не главное. Все подобные вопросы можно было бы решить. Доукомплектовать штатное расписание — прежде всего специалистами по эксплуатации ГЭС. Пустить в регулярные рейсы новенькие автобусы. Включить на всю мощность «Рабочую эстафету». Договориться с эксплуатационниками о том, кто же будет обслуживать готовые агрегаты, пока остальные «подрастают». Обеспечить кадровых, настоящих строителей жильем. Выйти к людям с конкретным, ответственным разговором: такие-то перспективы, товарищи, не расходитесь, не разъезжайтесь, начинается Сангтуда...

Все это, наверное, можно было бы решить, будь у Байпазы — эксперимента на Вахше — еще одно рабочее звено. Почему-то отсутствующее. Координационное, объединяющее представителей всех заинтересованных сторон: строителей, транспортников, финансистов, эксплуатационников ГЭС. Этот штаб — или, точнее, штабы, потому что такой координационный орган должен быть создан на всех уровнях, от стройплощадки до союзного министерства, — этот Диспетчер строительства, наделенный полномочиями и ответственный за стройку, за сроки, за эксперимент, в корне изменил бы, на наш взгляд, положение дел.

Об этом говорили мне многие байпазинцы. Люди хотели, искали, требовали одного: внимания. Пристального и заинтересованного, каким и должен быть окружен эксперимент...



ЭРНСТ ГЕНРИ

КТО ВООРУЖАЕТ ЯПОНИЮ

1

Угроза третьей мировой войны движется в наши дни, как черная тень, над всем земным шаром, не обходя ни одного континента, ни одного океана, фактически ни одной страны. После 1945 года считалось, что только одно из крупнейших капиталистических государств, Япония, не живет под этой тенью. Многие наблюдатели на Западе были уверены, что японского милитаризма, который столько лет безжалостно терзал соседние страны в Азии и в декабре 1941 года за одну ночь уничтожил стоявший у Гавайских островов мощный американский флот, на карте мира больше нет и не будет. Теперь ясно, что это было иллюзией.

9-я статья принятой в октябре 1946 года японским парламентом конституции гласила: «...японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров... Право на ведение государством войны не признается».

Это звучало как клятва, и многие рядовые японцы, потрясенные тем, что с ними произошло годом раньше, в нее поверили. Прошло почти четыре десятилетия, и сегодня все знают, что эта клятва правящих японских политиков была неправдой.

Оказалось, что все делалось как раз наоборот. В Токио только выжидали. Теперь Япония считается одной из шести главных военных держав капиталистического мира, притом державой, явно вынашивающей весьма рискованные планы. От 9-й статьи ее конституции на деле не осталось и следа.

Газеты полны сообщениями о непрерывной, лихорадочной милитаризации Страны Восходящего Солнца. Численность личного состава японских вооруженных сил уже достигает четверти миллиона человек. По всей стране разворачивается грубая шовинистическая антисоветская пропаганда.

Не стоит дело и с оснащением японских вооруженных сил современным оружием. Уже с 1976 по 1982 годы на 40 процентов обновился танковый парк, на 50 процентов — авиационная техника и корабельный состав флота, началось оснащение всех видов вооруженных сил ракетным оружием. Расходы на приобретение основных видов оружия и военной техники с того времени удвоились, и это, судя по всему, только начало. В Токио даже подчеркивают, что по темпам наращивания военного бюджета Япония теперь опережает западноевропейские страны НАТО.

В ходе маневров совместно с эмиссарами Пентагона отрабатывается наступательная тактика с применением обычного и атомного оружия. Проектируется блокада международных проливов Лаперуза, Цугару и Корейского. Южной Корее предоставлен японский «стратегический заем» на сумму 4 миллиарда долларов. Планируется расширить арсенал средств японской военной разведки. Создан «резервный полицейский корпус». В июле 1984 года сообщается, что специальный комитет правящей либерально-демократической партии (ЛДП) высказался за «коренной пересмотр» военной политики Японии. В общем и целом предусматривается повысить боевую мощь Японии до уровня, позволяющего вооруженным силам вести «продолжительную войну».

Если не говорить о США, то из глубин прошлого вспоминается только один пример такой спешки с милитаризацией страны: то, что в 30-е годы в фашистской Германии делал Гитлер. Новая японская армия строится с почти такой же стремительностью. Подтверждается, что капитализм современной крупной державы без накопления смертоносных вооружений дышать не может.

Но для чего конкретно строятся эти вооруженные силы?

По данным зарубежной прессы, японскому военно-морскому флоту, уже ставшему самым большим среди флотов капиталистических государств в зоне Тихого океана, предписывается выполнять в числе прочих следующие задачи на отдалении до тысячи миль от берегов страны: вести блокаду проливных зон Охотского, Японского и Восточно-Китайского морей, производить десантные операции, оказывать поддержку действующим сухопутным войскам и, наконец, выполнять союзнические обязательства, предусмотренные японо-американским договором о взаимном сотрудничестве и безопасности.

Это официальная программа общего характера. Но из нее уже довольно определено явствует одно. Заново формируемые вооруженные силы Японии готовятся прежде всего для того, чтобы вместе с действующим на Тихом океане американским 7-м флотом угрожать социалистическим, а если понадобится, и неприсоединившимся странам в континентальной Азии.

Только на содержание американских военных баз на своей территории Япония тратит теперь около миллиарда долларов в год. Ожидается, что на севере японского острова Хонсю вскоре появятся американские истребители-бомбардировщики «F-16», способные долетать с ядерным оружием до территории СССР. Уже в текущем году в Японию заходят американские военные корабли, несущие на себе ядерное оружие, крылатые ракеты «Томагавк». В июне 1984 года помощник министра обороны США Р. Армитидж, выступая в конгрессе, признал, что «Япония продолжает оставаться краеугольным камнем американской стратегии передовой обороны в азиатско-тихоокеанском регионе».

В то же время в Токио явно стремятся втянуть и Пекин в американо-японо-южнокорейский военный альянс, столь напоминающий в иной географической форме довоенную ось «Берлин—Рим—Токио». Создается «японо-китайский комитет дружбы XXI века». В марте 1984 года японский премьер-министр Я. Накасонэ прибывает в Пекин и ведет с китайскими руководителями переговоры о предоставлении Китаю второго за последние пять лет японского займа в размере более двух миллиардов долларов. Япония превращается в крупнейшего кредитора КНР. Обсуждаются и перспективы сотрудничества стран в ядерной области. В июле 1984 года Японию, в свою очередь, посещает министр обороны КНР Чжан Айпин с целью «дальнейшего развития контактов в военной области».

Сообщая об этих контактах, японская пресса неустанно ведет пропаганду за «движение в будущее по чисто азиатскому пути», причем на основе «японского опыта». Что это значит, понять нетрудно. Тем не менее премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян, встречаясь с японским премьер-министром Накасонэ, заявляет: «Мы сейчас не считаем, что правительство Накасонэ проводит политику милитаризма». Все это время вооружение Японии продолжается лихорадочными темпами.

Кто же теперь практически вооружает Японию? Надо учесть, что речь идет об огромных заказах, выполнить которые могут только крупнейшие промышленные системы.

Считать, что все это дело в Токио полностью передано Америке, было бы ошибочно. Американские монополии играют в вооружении Японии очень важную роль, торгуя лицензиями, предоставляя кредиты, договариваясь с японскими фирмами о создании совместных предприятий. Но многие крупные заказы все же выполняют японские монополистические гиганты — прямые наследники тех, кого до войны называли дзайбацу и кто несет немалую часть вины за постигшую Японию катастрофу.

Факты говорят, что эти новые монополии намного крупнее, сильнее и — в долгосрочном порядке — агрессивнее старых. Вместе с реакционной военщиной они и составляют ядро японского милитаризма нынешнего, второго призыва. В их состав входит ряд семейств миллиардеров из довоенных дзайбацу. Нет сомнения, что Японией сегодня управляет старательно засекреченный военно-промышленный комплекс, контролирующий верхушку правящей либерально-демократической партии и тесней-

шим образом связанный с американским военно-промышленным комплексом, в особенности с ведущими калифорнийскими корпорациями.

Во главе этого комплекса стоит концерн, который в кругах японской буржуазии окружен чуть ли не мистическим ореолом, а в токийских политиков, как говорят, вселяет подлинный страх: он может поднять их на крайнюю высоту, но может с такой же легкостью сбросить вниз. Это основанная свыше ста лет назад фирма Мицубиси, объединяющая теперь свыше 40 различных, якобы самостоятельных компаний, в частности, в области тяжелого машиностроения, электроники, нефтехимической промышленности, а в последние годы и в области производства вооружений.

Владельцы концерна Мицубиси сегодня, по существу, подлинные хозяева страны. В японской промышленности едва ли найдется такая отрасль, где бы прямо или косвенно не действовали их предприятия. Монополия выпускает более 20 тысяч видов продукции. Только с 1963 по 1973 годы активы основных компаний этой группы выросли с 3,5 триллиона иен до более чем 20 триллионов. В состав группы входит недавно построенный, крупнейший в мире судостроительный завод «Кояги» в Нагасаки с пятью верфями, имеющий важнейшее значение для роста японского военно-морского флота. Чрезвычайно важна для военных целей также созданная в начале 70-х годов огромная машиностроительная фирма «Мицубиси дзюнкогё». Руководит всем делом банк Мицубиси.

Когда-то без финансовой династии баронов Ивасаки, основавшей этот концерн, нельзя было представить себе императорскую Японию и ее генеральный штаб. Теперь в одном лишь банке Мицубиси участвуют около 70 тысяч акционеров из среды крупной и средней японской буржуазии, рассчитывающей обогатиться на милитаризации страны. «Мицубиси дзюнкогё» насчитывает 269 тысяч акционеров.

Второе место в японской финансовой олигархии занимает концерн Сумитомо, тоже выросший из торгового дома еще в прошлом столетии, объединивший недавно свыше 30 компаний и также непосредственно заинтересованный в военном производстве. На третьем месте концерн Мицуи, основанный свыше 300 лет назад и контролирующей большую автомобильную монополию «Тоёта» и завод, строящий истребители-бомбардировщики. Число акционеров этой фирмы превышает сто тысяч человек.

Быстро растет созданный тоже сто лет назад ростовщиком Ясуда концерн Фудзи, стоявший за спиной токийского правительства еще во время русско-японской войны 1904—1905 годов. Позднее правительство Японии поручило этому концерну фактически владеть захваченной ею Маньчжурией. Накануне краха Японии в 1945 году в состав группы Ясуда-Фудзи входило 57 различных компаний. В настоящее время банк Фудзи по объему активов стоит на втором месте среди всех японских банков. Стремление этой монополии к экспансии в континентальной Азии, по-видимому, остается в силе, хотя методы экспансии монополистам теперь волей-неволей приходится менять. Можно не сомневаться, что японский генералитет и ныне оказывает группе Фудзи такое же особое покровительство, как она ему.

Стоит упомянуть и о промышленной группе Кавасаки, вложившей свои капиталы в металлургическую промышленность, машиностроение и производство вертолетов. Отсюда также тянутся нити к военному управлению в Токио.

Некоторое время назад было подсчитано, что только три крупнейших японских концерна, ставших после войны на место старых дзайбацу, владели капиталом свыше 10,7 триллиона иен. С участием компаний, где шести ведущим промышленно-финансовым группам принадлежит от 10 до 50 процентов капитала, на рубеже 60-х — 70-х годов на них приходился 41 процент всей суммы акционерного капитала и 30 процентов всего актива японских нефинансовых корпораций. Чему теперь в первую очередь служит эта огромная масса капитала?

Не подлежит сомнению, что все ведущие японские концерны теперь, как правило, уже готовы при первой возможности взяться за производство ядерного оружия, а не только, как до сих пор, самолетов, вертолетов, подводных лодок, танков, ракет и «мирной» атомной энергии. В Токио, видимо, ждут только подходящего момента для сговора с США по этому вопросу. Летом 1984 года становится известно, что в Вашингтоне принято решение поставить Японии 189 кг плутония — готового материала для производства ядерного оружия. Не начало ли это?

Группа Мицубиси еще в 1955 году создала Комитет по атомной энергии, основавший специальную компанию «Мицубиси гэнспирёку когё». В следующем году группа Мицуи организовала Японский производственный совет по атомной энергии, осно-

вавший другую компанию в той же области. Мицубиси уже изготавливают корпуса ракет и ракетные двигатели.

Производственная основа для военно-атомной промышленности на Японских островах, таким образом, уже заложена. Сейчас производить, размещать и ввозить ядерное оружие Японии официально все еще не разрешается. Но как долго продлится этот запрет? Судя по всему, японские монополии не считают его вечным и, по всей вероятности, рано или поздно, в политически подходящий момент могут потребовать от американских союзников снятия всех ограничений. В каком положении окажутся в этом случае когда-нибудь в будущем Соединенные Штаты?

2

По данным начала 80-х годов, в производстве вооружений в Японии уже участвовало свыше двух тысяч компаний. Это, бесспорно, отражается на внутреннем политическом положении в стране, и отражается совершенно определенно.

Прежде всего происходит ускоренный процесс сращивания монополий с сохранившейся в Японии и не утратившей своего влияния военной кастой. Процесс этот имеет немаловажные последствия.

Офицерский корпус в Японии всегда, еще со времен господства феодальных самураев, был по традиции ультраконсервативным и ультрашовинистическим. В этом отношении сравнима с ним только старая прусская военщина. После второй мировой войны националистические настроения в рядах этой касты еще более усилились. Фанатичный реваншизм стал нормой не только у уволенных в отставку высших военных чинов, но, как правило, и у среднего офицерского состава. Многие офицеры после капитуляции к тому же не могли устроиться. Отсюда тяготение этой касты к восстановившимся крупным концернам, которые предоставляли работу.

Вплоть до конца 70-х годов во главе японских вооруженных сил все еще стояли опекаемые американцами старые генералы и офицеры императорской армии. С того времени многие из них, в том числе бывшие начальники штабов сухопутных и военно-морских сил, перешли на службу к ведущим военным фирмам, как это произошло и в США. Каждый из этих концернов имеет своиходы к так называемому Управлению национальной обороны, то есть к военному министерству. Мицубиси, например, еще задолго до войны поддерживали тесные отношения с руководителями военно-морского флота, Мицуи и Ясуда — с руководителями сухопутных сил.

Мост между монополиями и военщиной, таким образом, уже построен, и это, в частности, показывает, каким влиянием в Токио пользуется новый военно-промышленный комплекс. Его политическим инструментом и стала правящая либерально-демократическая партия (ЛДП).

В том, что это так, что либерально-демократическая партия полностью подчинена военно-промышленным кругам, нет ни малейших сомнений. Средства в ее кассу текут оттуда. Важнейшие дела решали и решают не ее официальные лидеры, а такие руководители ведущих монополий, как Т. Накамура, Б. Танака, М. Учида, В. Тадзигу, Г. Моридза, С. Хотжа и другие. В дни парламентских кризисов даже созываются закрытые совещания лидеров ЛДП с деятелями концернов.

Так было, например, после неудачи ЛДП на выборах в декабре 1983 года, когда было решено оставить на посту премьер-министра Я. Накасонэ, прямого эмиссара военно-промышленного комплекса, бывшего морского офицера и начальника военного ведомства. Другой уполномоченный тех же кругов — бывший премьер-министр К. Танака, в 1983 году осужденный на четыре года тюремного заключения за получение взятки в два миллиона долларов от американской военной монополии «Локхид», но тем не менее оставшийся во главе сильнейшей фракции внутри ЛДП. Именно он сыграл главную роль в избрании нынешнего премьер-министра Накасонэ. О таких вещах в Японии всем известно, замять скандалы не удастся, но магнаты большого бизнеса упорно продолжают держать подобных лиц у власти.

Если вначале, сразу после капитуляции, у либерально-демократической партии особенно четко обозначилось ее проамериканское лицо, то теперь на нем стали очень приметны и другие черты — черты японского военно-промышленного комплекса.

Деятели этого комплекса все же приходится учитывать, что их единовластие непрочно. Японские трудящиеся после войны укрепили свои позиции, и их организа-

ция стремятся приблизиться к власти. В японском парламенте 112 депутатов от социалистической партии, Коммунистическая партия Японии насчитывает почти полмиллиона членов. Это пугает господствующий класс. В состоявшихся в последние годы антивоенных манифестациях в Токио, Осаке, Хиросиме и других городах приняли участие многие сотни тысяч человек. Летом 1984 года массовые демонстрации состоялись у пристанища американского 7-го флота в Йокосукэ и у базы ВВС США Ивакуни. Народ страны против милитаризации в угоду Соединенным Штатам. И отсюда наблюдающийся сейчас рост ультрареакционных групп, стоящих справа от либерально-демократической партии. Есть основания считать, что и тут, прячась за кулисами, немалую роль играют те же военно-промышленные круги.

Военные монополии по самому характеру своего производства склоняются к секретным сговорам с ультраправыми кругами, в том числе и с фашистскими организациями. Так обстоит дело во всех капиталистических странах, и Япония не составляет исключения. Фашисты и профашисты неизменно горой стоят за предельно агрессивную внешнюю политику, тем самым и за максимальные вооружения, что в точности сходится с устремлениями военно-промышленного комплекса. В Японии их взаимотяготение было наглядно доказано еще перед второй мировой войной. В середине 30-х годов к дзайбачу добавились новые военные концерны — Кухара, Накадзима и другие, — которые были особенно тесно связаны с ультрамилитаристским «молодым офицерством». Эти фирмы также существуют по сей день.

Мицубиси, Мицуй, Ясуда и прочие военные концерны официально поддерживали обе парламентские партии — «Сейюкай» и «Минсейто». Но чем острее становилась международная обстановка и чем агрессивнее японская политика, тем больше правил сам военно-промышленный комплекс.

В его интересах и опять-таки на его средства стали действовать террористические банды, сравнимые только с гитлеровскими головорезами. Главной из них перед первой мировой войной была основанная профессиональными политическими убийцами организация, именовавшая себя обществом «Черного дракона» («Кокурюкай»). Ее название и ее кровавые дела вошли в историю Японии.

Это была своего рода секретная частная инквизиция. Имена ее руководителей были известны всем, в том числе и правительству, но все сходило им с рук. Услугами общества «Черный дракон» пользовались высокопоставленные генералы, организовавшие захват Китая, начальники разведки, покрывавшие Дальний Восток своей агентурной сетью, крупные дельцы, заинтересованные в ограблении оккупированной Маньчжурии. Организуя террористические акты через подставных лиц, главари «Черного дракона» Тояма и Уида действовали в обстановке полной безнаказанности. Упомянутая о Тояме, тогдашний английский посол в Японии Р. Крэги писал после войны в книге своих воспоминаний в главе «Убийства как инструмент политики»: «Большую часть своей жизни он посвятил задаче обострения внешней политики Японии, пользуясь собственными своеобразными методами. Этот вдохновитель фанатиков и убийц гордился ролью, которую играл при развязывании большей части японских войн... Выступая за то или иное шовинистическое мероприятие, он тут же намекал на возможность устранения какого-либо лица с дороги японской экспансии, улыбаясь при этом так добродушно и приятно, как если бы он предлагал вам чашку чая».

На протяжении двадцати лет «Черный дракон» выполнял для японских империалистов роль палача. Большинство крайне правых и националистических организаций в стране находилось под его прямым или косвенным контролем. Тояма и Уида помогли японской военщине подготовить войну с царской Россией, создать подрывную сеть в странах континентальной Азии, запугать отечественных либералов. Средства для «Черного дракона» поступали частично от военного ведомства, частично же от мощной финансовой группы Ясуда, вложившей большие капиталы в захваченной квантунской армии Маньчжурии.

Разбогатевшее во время русско-японской войны 1904—1905 годов на сделках с правительством семейство Ясуда было вместе с императорским двором крупнейшим акционером компании «Южно-Маньчжурская железная дорога», превратившей эту часть Китая в свое королевство.

Террористический «Черный дракон» и был с момента своего создания орудием колониалистского крыла японской финансовой олигархии, в частности, концерна Ясуда. Такие известные в те годы японские милитаристы, как генералы Тераути, Танака, Араки, как политики Хирота и Инукай, действовали заодно с этой группой, кое-кто

из них, как обнаружилось впоследствии, даже по ее прямым указаниям. Председатель правления компании «Южно-Маньчжурская железная дорога» Мацуока, ставший в 1940 году японским министром иностранных дел, однажды заявил: «С самой ранней моей молодости Тояма был учителем моей души. Во всех случаях, когда мне приходилось решать важные государственные дела... я сначала шел к нему и просил его совета».

В первые десятилетия существования «Черного дракона» рабочее движение не входило в сферу его операций, нацеленных тогда на злобещие авантюры за рубежом. Но как только после первой мировой войны власть имущие в Японии, и прежде всего военно-промышленный комплекс, почувствовали приближение революционной бури сначала в Китае, потом и у себя дома, «Черный дракон» немедленно открыл для себя новый фронт, вывесив флаг боевого антикоммунизма.

Метод был все тот же — убийства и погромные налеты. Но теперь Тояма и Уцида особенно ненавидели коммунистов. В организации кровавых расправ с «красными» едва ли кто-либо во всем капиталистическом мире за исключением врангелевских белогвардейцев и гитлеровцев мог сравниться с японскими ультра.

Еще в октябре 1922 года, спустя три месяца после создания Коммунистической партии Японии, под эгидой «Черного дракона» была основана так называемая Дружина для борьбы с большевизацией великой Японии («Дайнихон сэкика хасидан»). В уставе организации говорилось: «Социализм прельщает рабочих. Наш союз будет стремиться к отрыву рабочих от социализма». Отрыв намечался в виде поголовного истребления коммунистов. Примерно половина членов «дружины» состояла на жаловании у полиции или у предпринимателей. Во главе организации стоял вожак «Черного дракона» Уцида, соединивший в себе ненависть к коммунизму с фанатичной враждой к России (еще в 1903 году он выпустил книгу под названием «О гибели России»).

Хотя попытки дружины «Черного дракона» вырезать японских коммунистов к цели не привели, погромные банды, сменяясь одна за другой, продолжали действовать. В 1926 году в Токио под названием «Союз государственного строительства» («Кэнкокукай») возникла новая организация, объявившая своей задачей «уничтожение коммунизма, русского большевизма, левых партий и рабочих союзов». Почетным председателем стал сам Тояма, его заместителем — бывший начальник департамента полиции министерства внутренних дел Нагата. При союзе были созданы «летучие отряды», и один из них впоследствии бросил бомбу в здание посольства СССР в Токио. При любых сменах правительств полиция продолжала укрывать убийц и громил.

Примечательно, что головорез по имени Акао, один из фактических руководителей «Черного дракона», оказался уже после второй мировой войны главой основанной тогда неонацистской партии.

Получают ли крайне правые и теперь субсидии и указания от военного концерна Ясуда-Фудзи и его соучастников в большом бизнесе? И как поведут себя эти монополии, если рабочее движение и демократические силы в стране начнут всерьез оттеснять либерально-демократическую партию от власти, что вполне мыслимо уже в 80-х годах?

Банда «Черного дракона» еще в 1961 году была воссоздана под названием «Клуб черного дракона» («Кокурю курабу»). В последнее время неонацисты свободно разъезжают по улицам Токио на синезеленых грузовиках, требуя покончить с мирной конституцией и коммунизмом и отнять у СССР «северные территории». За это они получают определенную плату. В рядах их организаций состоят около 30 тысяч человек, в значительной части из числа люмпенов. Количество членов милитаристских реваншистских организаций, по официальным данным, к февралю 1984 года в несколько раз больше.

Похоже на то, что военно-промышленный комплекс видит в ультраправых террористических организациях свой политический резерв.

3

Не менее ощутимо влияние этого комплекса на внешнюю политику Токио. Это бросается в глаза, особенно в самые последние годы.

Нельзя упускать из виду, что сам нынешний японский военно-промышленный комплекс, по сути дела, рожден другим комплексом — американским, в частности, калифорнийскими монополиями, держащими его и теперь под своей опекой.

Без их участия, как политического, так и производственно-технического, Мицубиси, Мицуи, Сумитомо, Фудзи и другие огромные японские концерны едва ли смогли бы войти в такую силу и приступить к строительству основ милитаризма.

Каждый из этих концернов был после войны фактически восстановлен с благожелательного разрешения американских оккупационных властей. Почти каждый из них пользуется для производства вооружений теми или иными секретными американскими лицензиями. Достаточно привести пример главного из них — Мицубиси.

На его заводах выпускаются противолодочные самолеты по американской лицензии. Там же с 1982 года строятся по американскому образцу истребители «F-16», управляемые ракеты «AIM-7F», «Спарроу» класса «воздух — воздух», ведется сборка управляемых ракет «Сайдундер» «MIM-91» того же класса и поставляются военно-морскому ведомству ракеты «воздух — корабль». Ценой 700 миллионов долларов осуществляется программа по созданию ракеты-носителя для запуска тяжелых спутников. Крупный американский концерн «Макдоннелл Дуглас» поставляет Мицубиси основные узлы и детали для сборки самолетов.

Многие другие японские фирмы следуют тому же примеру. Не лишен интереса факт, что в этих делах участвует и калифорнийская корпорация «Локхид» (годовой оборот свыше 8 миллиардов долларов), близкая к стоящему за кулисами Белого дома банку «Бэнк оф Америка» (та самая, которая некоторое время назад дала крупную взятку японскому премьер-министру Танаке). Эта же корпорация продает Японии противолодочные самолеты «Р-3С Орион».

Иначе говоря, японская военная промышленность становится производной от американской. Здесь повторяется то разделение обязанностей между США и Японией, которое уже установлено между ними в военно-стратегической области. На встрече начальника управления национальной обороны Японии Таникавы с министром обороны США Уайнбергером в августе 1983 года было, как известно, объявлено, что если японские военно-морские и военно-воздушные силы возьмут на себя часть боевых задач 7-го флота США в западной части Тихого океана, то США смогут благодаря этому укрепить свои военные позиции в других районах Азии. Известно и то, что расположенные на американской базе на острове Хонсю бомбардировщики-истребители «F-16» считаются способными нанести удар по Владивостоку, отстоящему от острова всего на 800 километров.

В мае 1984 года в городе Кагосима на южном берегу Японии с участием «сил самообороны» проводились двухдневные торжества в честь «великой победы японского императорского флота в войне с Россией». Устроителем торжества было «Общество по увековечению памяти адмирала Того», 9 февраля 1904 года командовавшего внезапным нападением японского флота на русскую эскадру на рейде Порт-Артура.

Так оба военно-промышленных комплекса, американский и японский, действуют в настоящее время рука об руку. Но значит ли это, что японская военно-промышленная олигархия раз и навсегда согласилась играть в пространствах Тихого океана вторую, подсобную роль?

Все говорит о том, что это отнюдь не так. В долгосрочном порядке японский милитаризм, несомненно, вынашивает иные планы.

В прошлом он считал собственно всю Азию своим потенциальным владением. Каковы были задуманные им до войны и во время войны размеры экспансии на этом материке, можно судить хотя бы по тому, что в течение первых шести месяцев второй мировой войны Японией были захвачены три страны Индокитая, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Малайя и Бирма. Вместе с оккупированными еще раньше районами Китая это составляло почти 7 миллионов квадратных километров, почти в 20 раз больше самой Японии. На этих территориях проживало около 500 миллионов человек. В дальнейшем были намечены захват Китая, нападение на Индию и на азиатскую часть СССР. Все это сделало бы Японию самой гигантской империей, когда-либо существовавшей на земле.

Сейчас мечтать об образовании такой империи японские милитаристы, конечно, не могут. До поры до времени в Токио ограничиваются планами создания некой «мирной» экономической системы в Азии под японским руководством. Но едва ли можно сомневаться и в другом. Самые крупные из милитаристов, участвующие в токийском военно-промышленном комплексе, по-видимому, рассчитывают, что Соединенные Штаты в виде платы за союз с ними рано или поздно предложат им гегемонию в некоторых районах континентальной Азии, в частности, на ее юго-востоке и

востоке. Условие — их соучастие в агрессивных планах, направленных против Советского Союза.

Именно такие замыслы, а не одни претензии на острова южной части Курильской гряды будоражат их воображение. Чувство политического реализма, судя по всему, так же чуждо им сегодня, как было чуждо их предшественникам.

Все как будто повторяется. У фактической власти в Токио те же торгующие вооружениями монополии, которые привели народ к национальной катастрофе. В парламенте те же партийные группы, занимающиеся фракционными склоками и неудержимой коррупцией. В военных ведомствах преемники тех же зарвавшихся генералов, которые в 1945 году в течение нескольких дней были наголову разбиты советскими войсками.

На бирже те же спекулянты, раздувающие сообща с их партнерами из Сан-Франциско горячку вокруг акций военных концернов. В закоулках те же фашистские террористы, готовые наброситься на сторонников рабочих партий и противников войны, как только обозначится реальная возможность приближения к власти прогрессивных сил.

И, хотя японская экономика продолжает расти и Япония по объему промышленной продукции выдвинулась на второе место в капиталистическом мире, в стране усиливается беспокойство и распространяется уныние. Население ощущает, что вновь готовится что-то смертельно опасное. Когда в январе 1984 года газета «Асахи» предложила читателям охарактеризовать одним словом общество, в котором они живут, большинство ответило такими словами: «несправедливость», «хаос», «эгоизм», «одиночество».

Заслужил ли талантливый, трудолюбивый японский народ, так много страдавший в нашу эпоху, такую жизнь? Что важнее: цифры экономической статистики или настроение, чувства народа? Одно связано с другим, но решает последнее.

И все-таки вопрос о будущем Японии еще далеко не решен. Состязание между военно-промышленным комплексом и рядовыми людьми в этой стране продолжается. Мицубиси и их компаньоны владеют триллионами иен, но не могут заменить собой народ, большинство которого решительно отвергает политику сговора с США с целью развязывания ядерной войны в пространствах Тихого океана. В конечном счете народ в наше время всегда оказывается сильнее.

Встает еще один вопрос, касающийся самих Соединенных Штатов, толкающих Японию к новой беде. Продумали ли там всерьез и до конца свою политику поощрения нового японского милитаризма?

Помнят ли там о прошлом, не только о 1945 годе, годе Хиросимы и Нагасаки, но и о 1941-м, о Пёрл-Харборе? Уверены ли в Вашингтоне в том, что наследникам Тодзио и Араки можно в будущем верить? Что японская карта в какой-то момент не окажется разыгранной вблизи Калифорнии? Можно ли вычислять будущее в выплачиваемых сегодня долларах, в выдаваемых сегодня лицензиях? И что может произойти, если в руках японской военщины окажется ядерное оружие?

Известно, что руки японских милитаристов десятилетиями тянулись к западному берегу США. По планам токийского генерального штаба, вслед за операцией «Пёрл-Харбор» через какое-то время намечалась другая операция в этом же направлении. Видимо, ее остановила только мысль о существовании Советского Союза.

Сейчас подобные стремления выглядят, разумеется, дикой фантазией. Но японские милитаристы отнюдь не забыли о Хиросиме и Нагасаки. И, что столь же важно, в отличие от американских империалистов они умеют выжидать.

Японский военно-промышленный комплекс давно доказал, что он слишком легко играет судьбами своей страны. В наши дни то же можно сказать об американском военно-промышленном комплексе.

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ

...И СНОВА В ПУТИ

«Д

вое в пути» назвал я когда-то свои заметки о художниках Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко; писал легко, потому что представлял, как мне казалось, будущее их творчество, будущие картины.

Я вновь пишу о них, но как трудно писать. Как тяжело вместить в то свое представление реальное творчество А. Рыбачук и В. Мельниченко — настолько богаче оказалось оно в действительности.

Я знаю их работы и радуюсь им вот уже больше двадцати лет. Слова, рисунки, скульптуры Рыбачук и Мельниченко соединяются в убедительнейший рассказ о том, что именно они любят и чему готовы без остатка посвятить все свои силы.

...На досках длинного скобленного стола стоят бумажные конусы — чумы и ненецкие сани, точь-в-точь как настоящие на острове Колгуев. Вдоль стен — листы монотипий, на них изображены лица северян, а в самой мастерской вот уже вторую неделю гостят островитянки, ненецкие женщины. Украина. Киев. 1983 год...

Между художниками и теми, кого они рисуют, добрые отношения, как правило, устанавливаются надолго и перерастают в дружбу. Рядом с ними начинают творить и другие — так было на острове Колгуев, так в Киеве, так будет всегда, потому что настоящее искусство заразительно, вдохновляюще.

Выставка «Рисуют дети острова Колгуев» была организована Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко еще

в шестидесятых годах, а дети приехали через двадцать лет к ним в гости, потому что соскучились, и доверительно рассказывают: о традициях, о письменных-узорах, о национальной свадьбе. Народы глядят в глаза друг другу. Интернационализм А. Рыбачук и В. Мельниченко глубоко естествен. Перед нами доказательство высокой истины, что нет народов больших и малых. Люди, которые живут и работают на своей земле, одинаково значительны — смысл существования определяется лишь добрым трудом.

Художники радуются каждому прикосновению к жизни и своей возможности делать эту жизнь лучше.

...Двое студентов Киевского художественного института по собственной инициативе, почти ни у кого не вызвавшей восторга, уехали к северным берегам и полюбили людей Крайнего Севера навсегда. С тех пор они снова и снова возвращаются на остров Колгуев. В нарьянмарском



Охотничья песня.



На берегу океана.

музее сто картин, которые они подарили Ненецкому национальному округу. Эти картины любимы и выставлены в специальной экспозиции.

Я не профессионал-искусствовед, для меня важнее рассказать о взаимном уважении художников и тех, кого они рисуют. Владимир Мельниченко и Ада Рыбачук всегда жили с героями своих картин в одном чуме и трудились вместе с ними. Вряд ли это легко для них, родившихся в теплом украинском климате, в ином цвете трав и неба. А. Рыбачук и В. Мельниченко ищут и находят те точки, где личный и исторический опыт их народа соединяется с опытом других народов.

Они вдумчивы и всякий раз совершают огромную подгото-

вительную работу, прежде чем приступить к работе собственно художественной.

Так, начав трудиться над оформлением республиканского Дворца пионеров, Рыбачук и Мельниченко пропутешествовали сотни километров по дорогам нашей республики, после чего создали рельефы и мозаики на основе народных традиций и одновременно новые по содержанию. Верные себе, художники становятся на строительные леса вместе с рабочими.

Немало книг проиллюстрировали А. Рыбачук и В. Мельниченко. Они создали и создают картины, скульптуры, архитектурные проекты. Разнообразны их замыслы: от памятника ненцу, боровшемуся и погибшему за Советскую власть, проекта памятника пионерам-героям до красочной, прихотливой модели флюгера.

Путь в настоящее искусство никогда не был легок. Но мне кажется, что они счастливы, Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко, потому что делают именно то, что хотят, и людям от их работы становится лучше.





Памяти Ивана Выучейского, первого члена ВЦИКа.

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УКРАИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
А. РЫБАЧУК И В. МЕЛЬНИЧЕНКО



Эскиз росписи «Бой в Голосеевском лесу».



А. ОВЧАРЕНКО

Из аила во Вселенную

О ТВОРЧЕСТВЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Каждый раз, когда видишь этого рослого, широкоплечего человека с мужественным лицом и прямым до дерзости взглядом, вспоминаются слова, сказанные о нем корреспондентом испанской газеты «Пуэбло»: «Писатель, жесткий крестьянский облик которого контрастирует с изяществом и интеллигентностью его ответов, свидетельствующих о незаурядной душевной тонкости и культуре, он — живое воплощение нового советского человека»¹. И еще приходят на память слова итальянского критика Марио Миччинеци: «Что бы ни рассказывал этот автор, ему всегда удастся создать на редкость прочную и в то же время необыкновенно многоцветную повествовательную ткань, и для этого он использует, в основном, один инструмент — простоту»².

Бытует мнение, что подобно автору «Марсельезы» Чингиз Айтматов стал знаменит наутро после завершения работы над первым же своим произведением. На самом деле открывающий творческую биографию писателя рассказ «Газетчик Дзюйю» появился в печати в 1952 году, когда автору было двадцать четыре года. Написанию его предшествовала журналистская деятельность. Юноша из аила Шекер, расположенного в Таласской долине, работал после окончания Киргизского сельскохозяйственного института по своей специальности, писал заметки, статьи, а потом и очерки. Но и после публикации первого рассказа Чингиз Айтматов провел немало лет в напряженном труде, прежде чем к нему пришел настоящий успех. Так же, как повествователь в повестях «Джамиля» и «Первый

учитель», принесших писателю всемирную известность, он мог бы сказать о созданных им за это почти семилетнее «межсезонье» произведениях: «Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори».

Писатель упорно искал свои темы, героев, собственную манеру повествования. И уже в 1962 году один из литературных критиков растерянно признавался: нелегко назвать лучшую книгу Чингиза Айтматова. Повесть «Джамиля» за короткий срок обошла весь мир, была переведена на десятки языков и везде вызвала восторженные отзывы... Увлеченно и страстно писала о ней пресса Франции, Бельгии, Польши, Чехословакии. Ее сравнивали с «Ромео и Джульеттой» и «Страданиями молодого Вертера». Андре Вюрмсер, французский журналист и критик, оценил ее как шедевр, который никогда не забудешь. Известный польский киноактер Мечислав Войт в анкете одного журнала называет Джамилю своей любимой литературной героиней «Тысячи благодарных читателей разделяют это чувство», — говорит он. В 1963 году Чингиз Айтматов за книгу «Повести гор и степей» был удостоен Ленинской премии.

Герои книги «Повести гор и степей» — рядовые советские труженики, твердо верящие в светлые, добрые начала создаваемой при их непосредственном участии жизни, люди чистые и честные, открытые всему хорошему в мире, безотказные в деле, во взаимоотношениях с людьми прямые и откровенные. В повестях «Джамиля» (1958), «Тополек мой в красной косынке» (1961),

¹ «Pueblo», 7.XII. 1973.

² «Uomini e libre», 1980, VI—VII. p. 20.

«Первый учитель» (1962) чистоту и красоту души и помыслов героев символизируют «певучие» тополя, весенние белые лебеди на озере Иссык-Куль и само это синее озеро в желто-белом ожерелье песчаных берегов и горных вершин.

Найденные писателем характеры подсказали ему и саму манеру повествования, взволнованную, чуть приподнятую, напряженно-исповедальную — от первого лица. «Его герои, — говорит профессор Ливерпульского университета Арнольд Б. Макмиллин, — простые люди, занимающиеся нелегким трудом... Айтматов изображает их с сочувствием и пониманием, не пытаясь скрывать трудности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. И что еще более важно — он исследует психологию своих героев, тонко выявляя скрытые мотивировки. Хотя его герои не интеллектуалы, они склонны к рефлексии и размышляют о прошлом и смысле своей жизни»¹.

С первых произведений, с того же «Верблужьего глаза» (1961) Чингиз Айтматов заявил себя писателем, бесстрашно поднимающим трудные проблемы нашей жизни, воссоздающим непростые, драматические конфликты и ситуации, в которых оказываются люди сильные, чистые и честные. Но они сталкиваются с не менее сильными блюстителями старых нравов и обычаев, шкурниками, властолюбивыми деспотами, свинцовыми бюрократами с психологией баев, как Сегизбаев в повести «Прощай, Гультсары!», и просто самодурами и подлецами вроде Орозкула в «Белом пароходе».

Прекрасной, возвышающей любви посвящены повести: «Джамия», «Первый учитель» и «Материнское поле» (1963).

Предшествующие эпохи оставили человечеству такие произведения, такие художественные образы, после которых, казалось бы, обращаться к этой вечной теме необычайно трудно. Паоло и Франческа, Ромео и Джульетта, любовная лирика Пушкина, Анна Каренина... Но вот приходит в литературу Михаил Шолохов и рассказывает нам о любви Григория Мелехова и Аксиньи так, что мы готовы забыть обо всем прочитанном ранее.

«Самая прекрасная на свете повесть о любви» — так озаглавил Луи Арагон предисловие к собственному переводу «Джамии» на французский язык. «Поразительная удача «Джамии» в том, — писал он, — что, узнавая неведомую нам страну, жизнь ее мужчин и женщин, еще тесно связанных с патриархальными традициями кочевни-

ков, но уже безболезненно перешедших к советской эпохе и ее учреждениям, мы узнаем об этом, так сказать, изнутри, от людей, для которых все тут — родное и не нуждается ни в каких пояснениях, и повествование течет удивительно непринужденно, чего так не хватает новейшим литературам, тяготеющим к репортажу, где все словно заранее разложено по полочкам».

В «Джамии» европейский читатель увидел и нечто для себя еще более неожиданное: удивительную глубину и тонкость простого человека, и эти черты души постоянны в самых трудных, драматических обстоятельствах. Даже нечеловеческий труд военных лет не орубляет и не обедняет чувств Данияра и Джамии. Дочь табунщика из горного аила Бакаир остается такой же независимой и гордой. И также говорит каждому правду в глаза хлебнувший горюшка, адоволю познавший сиротскую долю Данияр с его обостренным чувством красоты и любви к родной земле и ее людям, в души которых он так пристально всматривается, а в речи так сосредоточенно вслушивается. Таков Данияр, человек, по определению Сеита, душой богаче, чем все другие люди в аиле. Потому-то и потянулась к нему Джамия, до встречи с ним не верившая, что есть мужчины, способные понимать чужую, да еще женскую душу. Во всяком случае, ни ее муж Садык, ни его друг Осмон не были такими. «Разве это человек?... — Джамия умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца...» Тут сталкиваются два начала, позволившие Луи Арагону утверждать: «...По сути все здесь — борьба нового со старым. Только борьба эта нам показана — и в том значительность рассказа — прежде всего через души людей, в самих этих душах...» «Это был человек глубоко влюбленный, — говорит о Данияре рассказчик. — И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь — к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он ни обладал голо-сом...»

Отмечая яркую колоритность произведений Айтматова, его умение передать целомудренно и психологически тонко зарождение и красоту человеческих чувств во всей их сложности, зарубежные критики неизменно указывали на связь творчества писателя с лучшими традициями мировой литературы и одновременно видели в нем ярчайшее отражение духа нашей эпохи. Причину необычайного успеха «Джамии»

¹ Modern Encyclopaedia of Russian and Soviet Literature. New York, 1979. p. 59.

у французского читателя Андре Вюрмсер видел в органическом слиянии любви со своим временем. И, как бы подтверждая это, рядовая француженка Жюльетта Драль назвала киргизского писателя «олицетворением величия любви для тех волнующих времен, в которые мы живем». «Лишь одна жизнь дана человеку», — писал Луи Арагон в своем предисловии. — Свою жизнь Чингиз Айтматов только начинает. Но он уже предстает как писатель, в сердце и руках которого — огромный опыт человечества. Ибо этот молодой человек говорит о любви так, как никто другой. О, Мюссе, друг мой, ты можешь завидовать этой августовской ночи в киргизских краях!» Интересно сопоставить эти слова Арагона с напутственным словом, которым сопроводил выход «Джамили» выдающийся казахский писатель Мухтар Ауэзов: «Повесть Чингиза Айтматова психологична, естественна, изящна и проста. Она приятна правдивостью душевных состояний, тонко подмеченных и сдержанно, выразительно... обрисованных... Это явление, новое на почве киргизской прозы, обнаруживает хорошую профессиональную культуру автора и, конечно, тонкое верное знание жизни народа, характеров людей и условий их труда». Как одновременно Арагон и Ауэзов почувствовали в авторе этой первой повести будущего большого писателя.

В «Первом учителе» автор рассказывает о большом неразделенном чувстве — через всю жизнь пронесит Дюйшен любовь к своей юной ученице Алтынай.

Личная судьба Дюйшена и Алтынай сложилась драматически, но сколько было в их жизни поэзии и... счастья. Люди цельные, стойкие, убежденные, они прокладывают дорогу в мир, мир счастья для других прежде всего. Как символ их высокой жизни воспринимаются в самом начале повести два тополя, когда-то посаженные Дюйшеном на бутре над самым аилом.

Автор настоящей статьи сам родился и жил в селе на берегу Иссык-Куля, так точно и так поэтично описанном Чингизом Айтматовым в другой повести — «Тополек мой в красной косынке», о незадавшейся семейной жизни Ильеса и Асель; и первые учителя мои были такими же, как Дюйшен. Никогда не забудется то вдохновение, с каким делились эти скромные до самоотречения, влюбленные в дело революции люди своими знаниями, восполняя недостаток их энтузиазмом и почти фантастической верой в «счастье ученья». Чингиз Айтматов называет это подвигом. Да, то был подвиг людей, смело взявших на свои плечи

великое дело. Подвиг тем более великий, что совершался он изо дня в день во всех областях жизни, во всех частях страны; бывшие солдаты становились во главе сформированных ими воинских отрядов, рабочие, едва умевшие разбираться в чертежах, восстанавливали и пускали в ход заводы. В один ряд с ними Чингиз Айтматов ставит первых борцов за ленинскую идею культурной революции. Все это позволило крупному сирийскому писателю Саиду Хурания назвать «Первого учителя» балладой о непоколебимой, бескомпромиссной вере в дело революции.

Чингиз Айтматов писал: «Да, в «Первом учителе» я хотел утвердить наше понимание положительного героя в литературе, я сознательно идеализировал образ коммуниста, безаветно преданного делу революции... Я хотел напомнить теперешней молодежи о ее бессмертных отцах». Видный турецкий писатель Орхан Кемаль назвал повесть «Первый учитель» «прекрасным примером... метода «активного реализма». Айтматов, — пояснял он, — с успехом решает проблему положительного героя. Он мастерски показал борьбу старого и нового, передового и отсталого, темного и светлого...»¹.

Кстати, только до 1976 года в Турции вышло восемь изданий и переизданий книг Чингиза Айтматова, и его имя стало там столь же популярным, как имена Яшара Кемала, Азиза Несина, Бакира Ялдыза.

Николай Тихонов отмечал в «Первом учителе» «высокое человеческое понимание подвига жизни «простых людей», считая это главной особенностью творчества Чингиза Айтматова. Словом «подвиг» здесь обозначено все то подлинно человеческое, что пробуждали в раскрепощаемых народах первые энтузиасты революции и что потом, в годы Великой Отечественной войны, проявилось как сила неодолимая.

Когда потомки вновь будут исследовать истоки нашей победы и неизбежность поражения международного фашизма, они, надо полагать, не пройдут и мимо факта, приведенного на страницах западногерманской газеты «Цайт» Людвигом Харигом. Он сопоставил повесть «Первый учитель» с книгой «Отец убийцы» Альфреда Андерша, вышедшей в Цюрихе в 1980 году. Немецкий писатель рассказывал тоже об учителе — отце Генриха Гиммлера. Будучи директором школы, отец Гиммлера отуплял, растлевал души детей. Это был садист, стремившийся все до предела огрубить, упростить. Пря-

¹ «Forum», 30.III.1970.

мым порождением его педагогики, по мнению писателя, и явился будущий рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. А. Хариг подчеркивал, что человек другого мира — комсомолец Дюйшен не знал ни латыни, ни греческого, не знал элементарной педагогики, но умел пробудить в учениках прекрасное стремление к знанию, ставшее для них «сказочным ключом, открывающим путь к познанию, разбивающим все оковы»¹.

Плч силе своего художественного воздействия на читателя повесть «Первый учитель», на мой взгляд, не уступает «Джамиле». Она приоткрывает те душевные грани, те мощные эмоциональные глубины, что обнаружались в советском человеке благодаря внутреннему его высвобождению. Она учит по-настоящему, по-ленински уважать и ценить рядового человека, скромного в своем подвиге, великого в своей верности революционным идеалам.

Повествование в «Джамиле» ведет «кичине бала», обостренно воспринимающий все, о чем идет речь. Его рассказ насыщен множеством деталей, мимо которых не может пройти именно ребенок. Это киргизский мальчик, поэтому в повествовании очень много чисто местных, национальных деталей: «Я горячо любил Джамилю. И она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамилей. Но я называл ее «Джене», как жену старшего брата, а она меня — «кичине бала» — маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким, и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уж заведено в аилах: невестки называют младших братьев мужа «кичине бала» или «мой кайни».

За спиной рассказчика стоит автор, отлично знакомый с собственной, киргизской прозой, существующей со времен К. Баялинова. Этот ее опыт он и использует, но опыт, уже смело обогащенный достижениями русской литературы, уроками Пушкина, Толстого, Горького, Шолохова.

Помнится, один крупный киргизский писатель сказал мне о героях молодого прозаика: «Вы долго жили в нашей республике, неужели не замечаете того, что Джамилей, Данияр, Дюйшен — это русские люди в киргизских одеждах?» Я тогда решительно не согласился и сослался на Тургенев, на его удивительную способность «предчувствовать» возникновение в России «новых людей», кристаллизовать явления, еще толь-

ко образующиеся в обществе, в ярких художественных образах, благодаря которым чуть ли не каждая девушка мнила себя Еленой из «Накануне» и целое поколение молодых людей захотело стать Базаровыми! Льву Толстому приписывали фразу, что таких женщин, каких изображал Тургенев, не было в русской действительности, но после того, как он их изобразил, они появились. Так случилось на первых порах и с героями Чингиза Айтматова. Прав был М. Байджиев, когда утверждал, что «он «перепрыгнул» десятилетия поступательного развития нашей прозы. И перед нами встал вопрос не столько, о чем писать, сколько, как писать».

По точному наблюдению немецкого ученого Р. Ваймана, Айтматов сумел «внести киргизский вклад в мировую литературу потому, что он освоил всемирно-литературное наследие Шекспира, Толстого и Хемингуэя под особым углом зрения, присущим его народу»¹. Здесь упомянуты три учителя киргизского писателя. Сам же он называет прежде всего русские имена. «Я... питаю к русской литературе особую любовь,— писал он в статье «Признание в любви».— К этому много причин. В необъятном море русской литературы, берега которой не окинешь взглядом, люблю я толстовскую мудрость и психологическую сложность его образов, люблю потрясающий шолоховский драматизм и яркость шолоховских характеров, люблю революционную романтику Горького и Маяковского, люблю бесконечное чеховское человеколюбие и бунинскую тонкость мировосприятия, люблю фадеевскую коммунистичность и дали твардовской поэзии, леоновскую интеллектуальность. Но это еще не все... Для меня русская литература входит в понятие Родины. Это большая часть моей Родины. Люблю ее, как Родину! И горжусь этой любовью!»

Сегодня мало кто сомневается, что люди, подобные Джамиле, встречаются в Киргизии не так редко, как казалось четверть века назад. Национальное своеобразие героев Чингиза Айтматова — в самой природе их мыслей, чувств, наблюдений. Писатель сознательно избегает «национальной экзотики», но очень искусно использует все, что выражает своеобразные национальные оттенки в характерах, восприятии мира. У него ветер не замечает сутробы, а «завивает гривы» сутробо, не срывает, а «выносит из арыков» бездомное перекати-поле; вдали виднеются не заборы, а «обве-

¹ «Die Zeit», 10.X.1980.

¹ «Sinn und Form». 1975. №5, S. 1083.

тренные дувалы и голые сады айла»; зима не кончилась, а «откочевала за перевал», весна не наступает, а «гонит свои табуны»; Сеит видит не гряды плывущих облаков, а «кочевье облаков». «Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков, то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток...» Чингиз Айтматов дает нам не просто пейзаж. Одновременно он показывает «родной мир» киргиза, его видение окружающего, национальный образ мыслей и чувств героев. Это из «Джамили».

А вот пример из повести «Тополек мой в красной косынке»: «Струны звенели вполголоса, как вода на укатанных, светлых камнях в арыке. Комуз пел о том, что скоро солнце скроется за холмами, синяя прохлада бесшумно побежит по земле, тихо закачаются, осыпая пылью, сизая полынь и желтый ковыль у бурой дороги. Степь будет слушать всадника и думать и напевать вместе с ним...»

Повествование от первого лица — то от имени киргизского мальчика, то от имени шофера Ильяса или дорожного мастера Байтемира — дает писателю возможность свободно и естественно вводить в их речь киргизские слова и многочисленные «разъяснения», вроде того, что «...по старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя отпустить на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца» («Джамиля»). Или: «Лебеди бьются на Иссык-Куле только осенью и зимой. Весной они залетают очень редко. Говорят, это южные лебеди, летящие на север. Говорят, это к счастью...» («Тополек мой в красной косынке»). Как видим, все это органические черты естественной жизни. Очень точно уловил это словацкий исследователь айтматовского творчества Ондрей Марушиак: «Айтматов не злоупотребляет национальным своеобразием киргизского быта, но и не избегает его, понимая или же просто чувствуя, что все эти пословицы и поговорки, обороты речи, сравнения, исторически отстоявшиеся формы поведения людей нельзя даже в теории изолировать от самого национального характера. В них и через них выражается способность по-своему видеть и понимать

мир, отражается характер современного киргиза»¹.

В «Джамиле» и «Первом учителе», несмотря на пронизывающий эти повести внутренний драматизм, автору удалось запечатлеть очень яркие картины жизни, светящиеся радостью и красотой. За это иные критики называли их романтическими, как бы не замечая крепкую реалистическую основу.

Писатель все шире и глубже захватывает жизнь, не обходя острейших конфликтов, порожденных двадцатым столетием. Вызвавшее острые споры «Материнское поле» знаменовало собой переход писателя к самому суровому реализму, достигнутому зрелости в повестях «Прощай, Гульсары!» (1966), «Белый пароход» (1970), «Ранние журавли» (1975) и в романе «Буранный полустанок» («И дольше века длится день», 1980). Уже не отдельные пласты действительности, а вся наша жизнь, а потом и весь мир, не ограниченный даже Землей, начинает видиться в образах, создаваемых писателем. Его творчество исполнено трагических мотивов. Романтическая окрашенность, до тех пор отличавшая произведения Айтматова, сменяется суровым изображением жизни народа в годы войны и в послевоенный период.

В повести «Материнское поле» рассказывается о трагедии матери, потерявшей в пламени войны детей и мужа, повесть исполнена страстного протеста против бедствий войны. Создавая глубоко реалистический образ матери, показывая ее невероятное мужество, писатель стремится поднять этот образ до реалистического символа, олицетворяющего собой человечность и творческое начало жизни. Повесть написана в форме монолога-исповеди Толгонай. Но монолог часто перерастает в диалог, в котором Толгонай и мать-земля как бы сливаются воедино. Прав сирийский писатель Саид Хурания: «Чингиз Айтматов, как и Сент-Экзюпери, постоянно ищет в человеке героическое начало».

Можно спорить, насколько удалось Чингизу Айтматову придать широкий, обобщающий смысл центральному образу повести. Но уже само стремление к этому весьма знаменательно. Писатель отвергает войну как источник неоправданных страданий людей, как уничтожение творческих сил мира, как истребление красоты человеческой

¹ Ондрей Марушиак. Многообразие и единство литературы социалистического реализма. Кандидатская диссертация. М. 1966.

и красы земной, как разрушение самих основ жизни.

Философское наполнение образа матери сочетается в повести с совершенно конкретной, реалистически прописанной жизненностью ее облика — перед нами женщина военного лихолетья, проводившая одного за другим на фронт мужа и троих сыновей, принимающая на свои плечи их трудовые обязанности, потом теряющая и мужа и сыновей, но остающаяся после всего этого человеком, способным еще «крепко держаться в седле» и «служить народу».

В 1973 году один испанский журналист задал Чингизу Айтматову вопрос: «А не видите ли вы все в розовом свете?» Незамедлительно последовал ответ: «Я не смотрю на мир сквозь розовые очки... Литература такого рода не имеет ничего общего с подлинной литературой». Тогда же он назвал трагедию «самой всеобъемлющей и высокой литературной категорией»¹. Трагедия Толгонай не вмещается в эпитет «оптимистическая», что не мешает писателю раскрывать любовь матери как любовь ко всему лучшему в человеке, в людях. И именно потому, что сама Толгонай верит в человека, в его непобедимость, она всей жизнью своей протестует против войны, против бессмысленного убийства тружеников земли, повторяя: «Могут люди, должны люди преградить путь войне».

«Материнское поле» было в творчестве Чингиза Айтматова началом нового этапа, получившего позднее название сурового реализма, так сильно выразившегося в повестях «Прощай, Гульсары!» и «Белый пароход». «Здорово написано. Молодец Айтматов! Талантлив и смел...» — воскликнул Валентин Овечкин, прочитав «Прощай, Гульсары!». Сирийский писатель Ахмед Юсуф Дауд писал в журнале «Джейш-ал-Шааб»: «Самые блестящие образы в творчестве Айтматова — Танабай и его конь Гульсары в замечательной повести «Прощай, Гульсары!» Это произведение — целая эпопея из жизни киргизского пастуха»².

В 1968 году, во время моего пребывания в Токио профессор Тацуо Курода, редактор журнала «Советская литература» (на японском языке), перевел мне письмо одного из читателей. Автор его сообщал, что случайно наткнулся на номер журнала с повестью «Прощай, Гульсары!». Его поразили правда, нравственная чистота и величие идеалов. «Мне, — признавался читатель, — надоели произведения с пошлым муссиро-

ванием секса, воспевающие вино и прожигание жизни; теперь я с нетерпением буду ждать каждый номер вашего журнала». Заканчивалось письмо так: «Почти не верится, что существует страна, где люди стремятся к действительно высокой цели, делают великое дело и сами чисты, честны, красивы». Иракский исследователь М. ат-Талля в статье, озаглавленной «В ознаменование социалистического реализма», назвал «Прощай, Гульсары!» самым глубоким и самым лучшим по широте охвата явлений жизни произведением Айтматова.

Многая мудрость рождает печаль — говорили древние. Относится это и к Чингизу Айтматову. Начиная с повести «Прощай, Гульсары!» при всем, я бы сказал, воинственно-утверждающем пафосе его творчества оно потрясает острым драматизмом жизненных коллизий, ошеломляющими поворотами в судьбах героев, порой трагических судьбах в самом высоком значении этих слов, когда и сама гибель возвышает человека, утверждает скрытые в нем силы добра.

Усложняются и принципы повествования, рассказ от автора пластически сочетается с несобственно прямой речью героев, с их исповедью, нередко переходящей во внутренний монолог, а потом вновь становящейся авторской речью. Действительность воссоздается в единстве ее настоящего и прошлого, ее корней. Резко усиливается роль фольклорного начала. Автор все шире и свободнее вводит в ткань произведения народные легенды, реминисценции из «Манаса» и других эпических сказаний киргизского и казахского народов. Реальная текущая действительность, естественно сливаясь с народными преданиями, обретает многомерность и глубину. В этих произведениях, пишет на страницах кубинского еженедельника Марсесед С. Морай, «мы встречаемся с героем, пришедшим к нам из глубин истории, обогащенным богатой традицией устного народного творчества»¹.

«Меня часто спрашивают, — рассказывал писатель в 1972 году корреспонденту газеты «Книжное обозрение», — что послужило «первоначальным толчком» для той или иной повести. Скажу о двух последних. «Прощай, Гульсары!» в большой степени автобиографична. Многие из героев — действительные, близкие мне люди. И Гульсары был: знаменитый на всю округу иноходец, и кличка такая у него была. Бывает такое — будто блеснет яркая вспышка и озарит память... Как-то осенью я ездил в Сан-Таш-

¹ «La Vanguardia española» 28 XI.1973.

² «Geish al-Shaab», 1978. № 12.

¹ «Bohemia», 7.XI.1980.

мя вооруженным всеми художественными завоеваниями — от «Манаса» до «Тихого Дона». Главный герой Чингиза Айтматова лично ответствен за все, что было, есть и будет, что может случиться с людьми, Землей, Вселенной. Он, человек дела, человек напряженной мысли и неуспокоенной совести, пристально вглядывается в свое прошлое, чтобы извлечь урок и не допустить просчета на пути, пролагаемом всему человечеству. Таков масштаб писательского отношения и к современному миру, и к своему герою — масштаб их осмысления во всей многозначности и перспективе.

С выходом в свет романа «Буранный полустанок» в галерею образов советского человека, созданных Чингизом Айтматовым, прибавился очень крупный — образ простого рабочего, вечного труженика и мыслителя Едигея Жангельдина по прозвищу Буранный. Через его судьбу видится наша жизнь со всеми ее радостями и горестями, трудовыми успехами и лишениями, видится почти за полвека. Более того, через судьбу Едигея отчетливо ощущается биение пульса всей планеты, участие его, вызванное выходом человека в космос.

Об этом романе было немало написано. Приведу высказывание немецкого профессора Гарри Юнгера: «...в романе Айтматова «И дольше века длится день» наиболее ярко выражается историко-философское и морально-философское углубление литературы. Сохраняя привлекательную непосред-

ственную образность, Айтматов посредством символизирующего изображения показывает более выпукло общее и общезначимое и превращает рассказ о судьбе человека в раздумье о судьбах человечества. Обновляется древний эпос. Создан современный роман-эпопея социалистического реализма»¹.

Кажется, ни одного драматического узла в нашем бытии не опустил писатель (драма Казангапа в годы коллективизации, трагедия Абуталипа Куттыбаева в 1952 году и т. д.) и о каждом сказал с гражданской откровенностью и по-своему, хотя до него некоторых из этих узлов касались и другие писатели. Острым драматизмом насыщены у Чингиза Айтматова и незабываемые картины бесконечно тяжелого и героического труда советских людей в военные и первые послевоенные годы, когда Едигей и Казангап были молоды и им «приходилось, ни с чем не считаясь, делать по разъезду всю работу, в какой только возникала необходимость».

Показав этих героев как беспримерных тружеников, заинтересованных во всем, что происходит на земле, Чингиз Айтматов сумел, не замалчивая сложностей нашего движения вперед, создать подлинную художественную апологию нового Человека, строящего новый мир и отвечающего за судьбы всего мира, Земли, Вселенной.

¹ Сб. «IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений». М. Изд-во «Наука». 1983.

«Сто тысяч слов»...

...ИЛИ ДИАЛЕКТИКА ОБНОВЛЕНИЯ

Вопрос о новом и традиционном поэтическом слове, об их сложных связях в современной многонациональной поэзии мне бы хотелось рассмотреть под углом соотношения фольклорного слова, которое ушло из актуального настоящего, и слова индивидуального, поэтического.

Когда я говорю, что сейчас нет фольклора, народной словесности в их традиционном понимании, мне кажется, я не преувеличиваю (по крайней мере, это верно для финно-угорских и тюркских народов Среднего Поволжья). Есть ностальгия по всеохватности и этической наполненности народного слова, есть поэты, которым хотелось бы пойти «путем зерна», упасть в «землю черную». Но, в общем и целом, народная словесность в ряде национальных культур стала восприниматься едва ли не как античность. Тем более что генетически и типологически во многих случаях тюркские и финно-угорские фольклорные мотивы, пантеон языческих богов не моложе эллинского...

Весьма характерным является, например, отрывок из путевого очерка 30-х годов, написанного русским литератором Н. Одоевым во время поездки в Чувашию: «...и мы пошли на гулянье, где шли танцы при кострах. Сотни парней и девушек танцевали вокруг ярких костров чувашские танцы и водили хороводы... Зрелище было увлекательное, и веселье звучало непосредственностью счастливой юности. Было во всем этом ночном веселье, среди костров, темного леса и ярких звезд, ощущение какой-то первобытной свежести. Танцы девушек в белом отличались плавностью и грацией античных времен, несмотря на то, что они были обуты в аккуратные лапти, и ногу портила

традиционная суконная обертка. Но стиль даже в этих грубоватых вещах сказывался целиком». Правда, надо учитывать и то, что такая точка зрения на чувашское «вѣйя» возможна только для стороннего наблюдателя. Изнутри все это воспринималось иначе. Но разве мы не находимся в положении наблюдателей относительно нашего фольклорного прошлого, которого уже не вернуть?

Однако нельзя не признать и того, что в литературах с недавней письменной и издательской традицией особенно жива память фольклорных жанров, пронизанных устойчивыми, специфически национальными словесными образами. Например, татарские роза, соловей, ветер-вестник, тополь; чувашские дуб, ветла, ласточка, метафоры, связанные с лесом; разного рода статичные эпитеты, обозначающие тот или иной цвет и т. д. Все это представляет собой, так сказать, «почву» поэтической культуры, ее корни. Без корневой системы национального опыта не может появиться мягкая свежая зелень весенней травки, которая, следуя своему сроку и естественному закону, прорастает сквозь былое, забирает живительные соки из почвы. Конечно, это только метафора для выражения идеального соотношения традиционного и новаторского, которое видится критику. В реальности, в самой поэзии иначе. Тут резкость линий, излом, зигзаг.

«В процессе развития каждой национальной литературы постоянно происходит процесс поляризации и внутренней полемики: одни бегут от запутанных шифров поэтического языка к первозданной ясности и простоте, другие, напротив, ласкательному тону и гармоническим созвучиям предпочитают сложные структуры и драматическую на-

пряженность изображения», — отмечал в одной из своих статей литовский критик В. Кубилюс. Я буду говорить об отражении этого процесса в многонациональной поэзии страны. Говорить о некоторых его аспектах и только о некоторых поэтических личностях, которые, на мой взгляд, более ярко и решительнее других явили себя. Придется говорить об индивидуальных поэтических характерах таких поэтов, как чуваш Геннадий Айги, бурят Дондок Улзытуев, татарин Равиль Файзуллин, и других, более молодых, менее известных, чтобы потом из этой серии моментальных фотографий попытаться сложить групповой портрет, отметить координаты, прочертить линии движения. Заранее сознаю ограниченность собственных возможностей. Ибо сама тема и проблема требуют артельной работы критиков, каждый из которых изнутри знает поэзию своего народа и ее авторов.

Сначала небольшое отступление в прошлое... Шестнадцать лет тому назад, в 1968 году была проведена анкета «Дня поэзии» на тему: народность поэзии (о возросшем интересе к национальным и классическим традициям). Материалом для высказываний служила русская поэзия того периода. Лаконизмом отличался ответ Л. Аннинского, суть которого сводилась к следующему: «Тяга к корням и простоте, к добру и дому — это попытка уйти от стандартов и стереотипов». Аналогичная реакция, тяга к корням и простоте имела место и в поэзии других народов нашей страны, может быть, лишь с небольшим запозданием во времени. Примечательным является то, что обновление поэтики (например, заметное распространение свободного стиха, вытеснение сюжетного стиха открытым лирическим высказыванием, ассоциативное сцепление образов и др.) не сопровождалось радикальным отрицанием начал народного творчества и потерей национального лица. Наоборот, поиск новых форм, пожалуй, более остро поставил вопрос о существовании национального, которое стало пониматься не как этнографическая реальность или характерный «местный» пейзаж, а переместилось в плоскость мышления. От стиха стали требовать прежде всего мысли.

Если мы обратимся к чувашской поэзии середины 60-х годов, то заметим, что именно тогда среди молодых происходило активное освоение опыта культуры, манили их в первую очередь, конечно, вершины. Тогда молодые были энергичны, они спешили познать мир не только близкий, но и дальний. Движение как мотив, пожалуй, в некоторой степени определяло тогдашний по-

этический пафос. Восклицание Геннадия Айги «О, тоска по железу железных дорог!» отразило стремление открыть для себя мир, страну. Или та же тема в другом его стихотворении, в ином преломлении:

Вымолвлю — Русь! Начинает светиться
Музыка далей и горизонтов...

Перевод В. Тура

Впрочем, некоторыми чувашскими поэтами младшего поколения мотив движения был понят как простое перемещение в пространстве, поездка — в духе романтики тех лет. Тогда как для самого Айги «железнодорожный прощальный горизонт» был драгоценен потому, что в прощании, отъезде, броске в неизвестную реальность содержится мгновение подлинности чувства.

Очень скоро движение в стихах Айги перестает быть способом фиксации быстротекущих впечатлений бытия. Движение уходит внутрь и тянет за собой цепочку сложных ассоциаций и метафорических иносказаний. Меняется синтаксис и весь строй поэтического языка. Слово Айги — это действительно новое слово в чувашской поэзии. Такого смыслового напряжения не было раньше, не было подобного сцепления слов между собой, их кружения, взаимного притяжения. Словно поднялась метель и все закружилось, полетело.

Я где-то увидел
Эту кружащуюся пургу.
И закрыл глаза, и сомкнул
ресницы,
А белые искры
Продолжают кружиться,
И остановить их
Я не могу.

Перевод Д. Самойлова

Если представить историю поэзии в виде длинной цепи, которая включает в себя жизнь поколений, многие судьбы, то каждый современный поэт должен ощущать себя звеном этой цепи. Он должен чувствовать живое дыхание традиции. Именно ж и в о е. Потому что народное сознание творит историю поэзии несколько иначе, чем дотошный филолог, который, кроме всего прочего, интересуется и второстепенным литературным фоном. Народ же в пантеон любимых, избранных включает далеко не всех существовавших поэтов, а только тех, кто был наиболее ярким, наиболее чистым в своих помыслах, кто болел за судьбу народную, кто являлся голосом народной совести в драматические моменты истории. Такие поэты всегда есть. Их творчество живо в самом прямом смысле слова. В татарской поэзии таковы Тукай, Такташ, Туфан. В чувашской — Иванов, Сеспель, Митта. Их поэзия на устах, на слуху, и поэтому влияние традиции, богатой

и разнообразной, на каждого современно-го автора бесспорно и неотменимо; эти поэ-ты носят высокое звание народных, они представляют лицо литературы, ее самобыт-ность; их стиль является образцом, нацио-нальной нормой. Это вершина, а «корни» поэтических судеб уходят вглубь, к безы-мянному народному сказителю, его слову, живущему в песне, сказке, мифе. Так что начала нашего сегодня лежат очень глу-боко.

Есть поэты, которые поначалу выступают как поэты разрыва цепи. Их сло-во при первом впечатлении кажется на-столько новым, что читатель и критика от-казывают им в преемственной связи с ве-ликими тенями и часто тем самым отказы-вают и в национальной самобытности. Для поэтов «разрыва» характерно резкое обнов-ление выразительных средств, изменение са-мих принципов поэтического мышления. Их стихи отмечены ярким личностным самовы-ражением автора, открыто заявленной по-зицией. Для Айги, например, важной сту-пенью в творческом развитии было нащу-пывание путей к самососредоточенному слову, обнажающему глубину и сложность сознания современного человека. Немалую роль играет и то обстоятельство, что поэты «разрыва» часто ищут опоры в других, не-типичных для данной литературы традици-ях, в культурах, достаточно далеких. Для чувашского автора такой традицией в оп-ределенный период стала французская поэ-зия: антология французской поэзии была полностью подготовлена и переведена на чувашский Айги. В антологии представле-но семьдесят семь поэтов.

Сейчас, после более чем десятилетнего промежутка, который отделяет нас от вы-хода книги, можно сказать, что эта переса-дка «чужеземного саженца» на чувашскую почву удалась: переводчик открыл новые возможности в рамках нашей национальной поэтики и, как отмечалось в откликах на антологию, старая чувашская силлабика, синтаксис архаических заговоров были весь-ма органичны при воссоздании стиха фран-цузских поэтов XVII века, современного французского верлибра и стихотворений в прозе. Такое органичное слияние субъектив-ной, прихотливой, отточенной до стального блеска техники письма с устоявшимися, ста-ринными манерами чувашского сказывания в работе переводчика любопытно само по себе и дает пищу для размышлений. Впро-чем, еще в 1895 году Н. И. Ашмарин, изве-стный знаток поволжских тюркских и фин-но-угорских языков, в любопытной статье «Декаденты Запада и поэзия волжских ино-

родцев» сближал между собой стихи Вер-лена, Метерлинка и образцы народных пе-сен мордвы, чувашей, татар. Разумеется, близость здесь не текстуальная. Исследо-ватель обнаруживал некоторое сходство самих принципов в подходе, например, к звуко-вой организации стиха (слово-тема окружа-ется сходными по звучанию словами, хотя в своих значениях они различны), отмечал некоторую общую затемненность смысла. Правда, истолкование этих наблюдений бы-ло несколько фантастичным. Западноевро-пейской поэзии конца XIX века приписыва-лось «воскрешение в самых ярких очагах культурного мира старинного мирозозерца-ния, которое еще до сих пор не исчезло у наших инородцев».

Важным следствием переводческого тру-да Айги было то, что чувашская поэзия уз-нала более гибкий интеллектуальный язык, приспособленный к ритмам и информаци-онным нагрузкам нашего времени.

Через некоторое время появилась еще од-на антология в переводах на чувашский: «Поэты Венгрии». На этот раз плод коллек-тивных усилий, хотя основным переводчи-ком и составителем по-прежнему являлся Айги. Здесь было легче работать, потому что сама венгерская поэзия, хотя и прошла не менее длительный и сложный путь раз-вития, чем французская, более интенсивно выражала «корневое» — чувство народно-сти, чувство любви к этому клочку земли, к этому посаженному твоим дедом или отцом дереву, к этому облаку над головой... Такие чувства всегда присутствовали и в чу-вашской поэзии, в ее лучших образцах.

Вообще, определяя роль Айги в современ-ной чувашской поэзии, можно сказать, что он в той или иной степени был катализато-ром разных процессов, являлся центром притяжения или, наоборот, отталкивания для многих нынешних молодых. Конечно, поэтический язык Айги сложен, семантиче-ски многослоен, допускает разные интерпре-тации. Его слово по своей направленности прямо противоположно фольклорному, по-тому что оно имеет адресат, очень кон-кретное «ты». Фольклор же — это речь, об-ращенная ко всем.

Ныне Айги пытается выйти к простоте, ясности.

Все ныне — с в е т. Ты суть всего:
гармония, краса...
Пусть об э т о м. друг мой, скажут
знаньи пути, что пройден был душой.

Подстрочный перевод

Стремление к простоте, так до конца и не реализованное у Айги, интересно вопло-щается в 70-е годы у более молодого по-

коления чувашских поэтов (о чем будет сказано ниже).

Прорыв к новому также отмечен рубежом 60-х годов и в татарской поэзии. О процессах ее развития, о вызревании нового поколения интересно пишет Мустай Карим в предисловии к книге Равиля Файзуллина «Мой звездный час»: «В татарской советской поэзии, на мой взгляд, было два ощутимых взрыва не только в смысле обновления формы, но и в отстаивании новых эстетических норм и расширении арсенала художественных средств, сообразно голосу, ритму, нравственных и идейных запросов времени. В середине 20-х годов тот взрыв являлся собой дерзкие по форме и содержанию стихи и поэмы молодого Хасана Туфана и не менее молодого Хади Такташа. «Беззаконие» — с точки зрения канонической поэзии — в рифме, ритме, в целом стиле они возвели в степень закона и утвердили его надолго...

В начале 60-х годов мы слышали второй взрыв, возможно, не столь громкий, но весьма значительный по своему внутреннему наполнению. Это и понятно. Теперь уже не было необходимости, да и возможности, перепрыгнуть Время, теперь надобно стало внимательно и очень активно слушать его. Очень активно. И спорить с ним нужно страстно, защищать его отважно. Ибо Время — это мы сами. Вот с этой, мне кажется, миссией вошли в поэзию тогда Радиф Гатауллин, Ренат Харисов, Гарай Рахим, Зульфат, Мударрис Агьямов. Чуть раньше их пришел Равиль Файзуллин.

Да, в современной татарской поэзии интеллектуальный пафос и жажда нового связывается с этими именами. Возьмем, например, стихи Равиля Файзуллина. Его лирика — сжатая энергия, острая мысль равновелика поступку-действию. Поэт очень требователен к жизни, к людям, и если он ставит вопрос, то ответ должен быть дан тут же, немедленно. Равиль Файзуллин стремится к гармонии чувства с окружающим миром. Мир в его душе должен присутствовать весь, в своей огромности и малости. При этом его стихи погружены в мягкую, интимную атмосферу. Но, кроме того, в поэзии Файзуллина в полной мере ощутимы мятежный порыв юношества, чисто мужское волевое начало. В названии одной из книг автора — «Суровая нежность» («Кырыс наз») — хорошо выражена эта «гармоническая противоречивость» психологического облика лирического героя. В такой противоречивости много притягательного, молодого, творческого отношения к миру. Отрадно, что Равиль Файзуллин,

остро и живо откликающийся на самую злободневную современность, хранит в памяти и такое:

Теряем великих. Уходят они незаметно
в дали веков... Окликай, не окликай,
отзовется их боль тихим словом завета.
самая свежая рана — Тукай.

Перевод Р. Кутуя

В одном из стихотворений душа лирического героя испробовала разные возможности воплощения: стать яблоком, голубым васильком, землею черной, камнем... Но:

Человеком я стал.
Новый тоненький звук,
словно ласточка, взмыл над распятым
антенн.
пробиваясь сквозь взрывы и вопли
сирен.

Перевод В. Кузнецова

И далее поэт задумывается, как человеку, который брошен в сложнейшую гущу бытия, «сохранить в себе человека». Такого рода сосредоточенность на «вечных» вопросах, обращение к серьезному размышлению, к национальным традициям философской лирики характерны и для других поэтов этого поколения. Их поэзия становится более мудрой, более зрелой, так сказать, более терпимой к самой жизни.

Не последнюю роль в процессе обретения зрелости сыграло и обращение к фольклору. Татарский поэт Гарай Рахим признается, что «от безъязычия — к словам лишь та дорога приведет, что через дом родной пройдет». Ренат Харис пристально вглядывается в разноцветный спектр мира, но цветовые эпитеты поэта осмыслены этически, в духе народной традиции.

«Зеленая цепочка» — это у поэта связь всего живого, природный круговорот, но и человек тоже его составная часть. Стихотворение Рената Хариса часто осуществляется так: плавное песенное развитие образа, который все ширится и ширится, а затем резко, пронзительно, словно шемаящая боль в левой стороне груди:

Горечь родного ветра
щиплет глаза еще.
Отчизна — до каждого метра —
вмещается в сердце еще.

Перевод В. Кузнецова

Вот в каком тесном и одновременно безграничном пространстве рождается поэзия.

В пространстве Сердце — Отчизна. Звенит гонкая струна стиха: тут и степная ширь, и время, протекающее сквозь душу лирического героя, и, как мера часов, дней, лет, шум волжских волн, рост молодой травы, рождение ребенка.

Почему так целостен и органичен облик татарской поэзии в своем живом, нынешнем воплощении? Потому что она в движе-

нии. Перед молодыми поэтами открыты разные пути, и многие из них понимают, что восхождение к высотам подлинного искусства — это путь к себе. Путь же этот в последнее время не только для Рената Хариса, но, например, и для более молодых — Мударриса Аглямова, Зульфата — проходит через усвоение народного опыта, народного мировоззрения. Идя по такому пути, нельзя не поклониться святыням, нельзя не поцеловать землю в знак верности. Аглямов, например, так обращается к своей родословной:

Я возник из земли моей черной,
от Волги-воды, от песен народных,
взращен натруженными руками
старухи татарки в белом платке.

Подстрочный перевод

Молодой поэт понимает свою миссию как поддержание связи между будущим и поколением предков. Для этого он должен «разгадывать загадки», которые поставил перед ним тот Старец, безвестный сказитель, воплощение гласа народного...

Подобные мотивы характерны для многих поэтов, представителей многонациональной поэзии страны.

Каждый в определенный момент чувствует потребность объясниться в любви к своему народу, языку, отчизне. Это тоже говорит о зрелости. В четкой афористичной форме выразил свое отношение к национальному и одновременно общему достоянию башкирский поэт Равиль Бикбаев:

Урал — широкий лук тугой.
А я — его стрела прямая.
Лечу я —
Купол голубой
Собой все выше поднимая.

И солнце светится в воде.
И тень скользит по нивам сжатым.
И нет предела землям — где
Зовут башкира кровным братом.

Перевод В. Казанцева

Связь между индивидуальной авторской позицией и коллективным народным опытом — один из критериев народности поэзии. Ведь поэт как личность входит в мир, который существовал тысячи лет до него и без него. Мир этот не безмолвен, нет. В нем живут свои звуки, отзвуки. Здесь лепечет родник, шумит лес, слышны теплые людские голоса... И вот появляется кто-то, считающий себя поэтом, и властно заявляет: «А в этом мире есть и я!..» Поэт чутко улавливает голоса сущего, что и дает ему право на открытое самоутверждение. Острота слуха не позволяет ему замкнуться только на собственном жизненном опыте.

Гражданская и нравственная насыщенность стихов Равиля Бикбаева придает тра-

диционным мотивам и образам новое звучание и смысл. Для жителя степи открытое пространство, бездонность голубой чаши неба, быстрое движение — неотъемлемые и привычные условия жизни, они формируют, с самого детства определяют мироощущение. В поэзии молодого башкирского поэта чувствуется скорость нашего времени, наш ломаный ритм эмоций. И хотя «в движении — мира суть простая», как определяет сам поэт, он все же находит время для того, чтобы остановиться, перевести дух, напиться из родника. Просто и сдержанно говорит об ответственности поэтического слова:

Хлеб и чашу — найду я.
Руки есть у меня.
И костер разведу я.
Руки есть у меня.

Но коль ты,
Моя песня,
Не осветишь простор.
Чаша полная —
треснет,
И погаснет — костер.

Перевод В. Казанцева

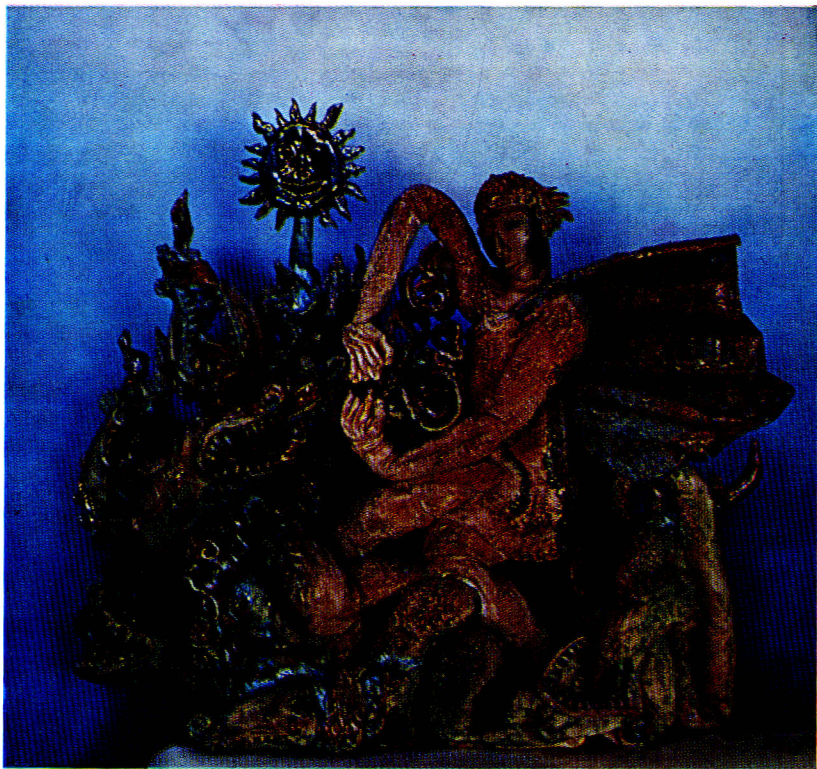
Истинный поэт всегда высказывается не только от своего имени. Если воспользоваться старинным оборотом речи, он должен слышать «музыку сфер», которая порой бывает громкой, величавой, а может быть и будничной, приглушенной. Лучшие представители поэтического поколения, вступившие в литературу в 60-е годы, все явственней и четче слышат эту музыку и голоса, вопрошающие их о сложности, о будущем мире. С таким мироощущением связано и стремление ряда молодых поэтов к определенной трансформации лирического «я».

Прекрасны своей светлой мудростью слова Н. Заболоцкого: «Я разве только я? Я — только краткий миг чужих существований». По-своему реализуется в сегодняшней многонациональной поэзии эта открытость «я», которая позволяет включить в себя и «чужие существования». Местоимение «я» становится не только знаком личности, «заменой» имени. Скорее это центр обобщения в стихе, вокруг которого стягиваются силовые линии лирического напряжения; здесь «я» не конкретно, а внелично: каждый читатель может отождествить себя с этим «я». Это тоже своеобразный способ использования фольклорного принципа обобщенного героя. Вот как эту диалектику отношения «я» — «мы» представляет себе татарский поэт Рашид Гатауллин:

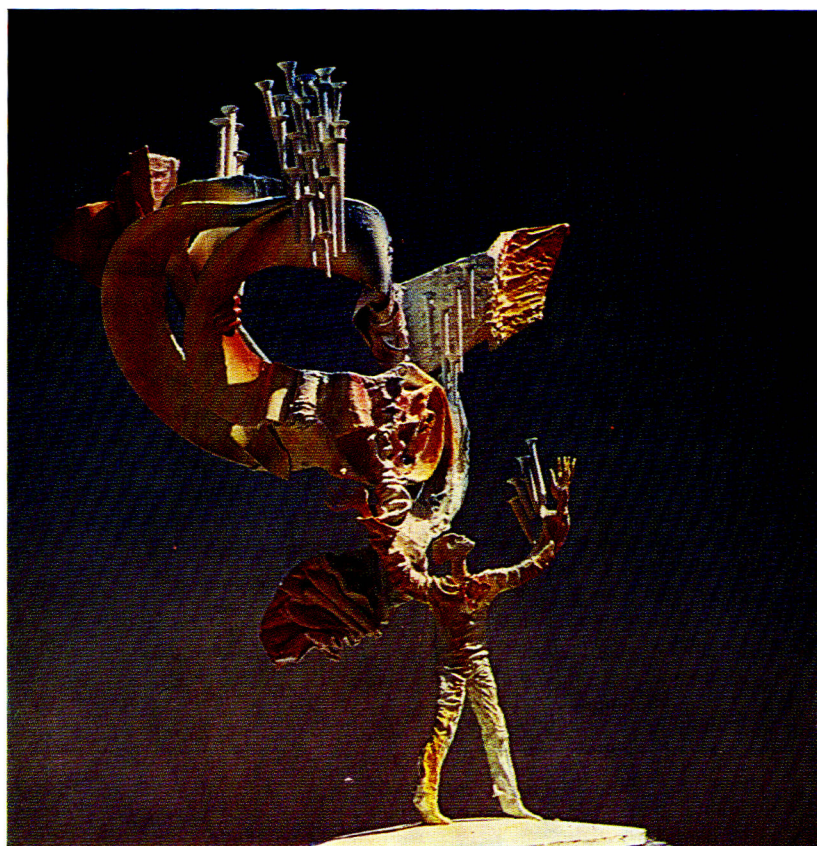
Вглядишь в недалекие дали,
и выступишь четко из тьмы.
как «Я»
ручейками стекали
в великое множество —

«Мы».

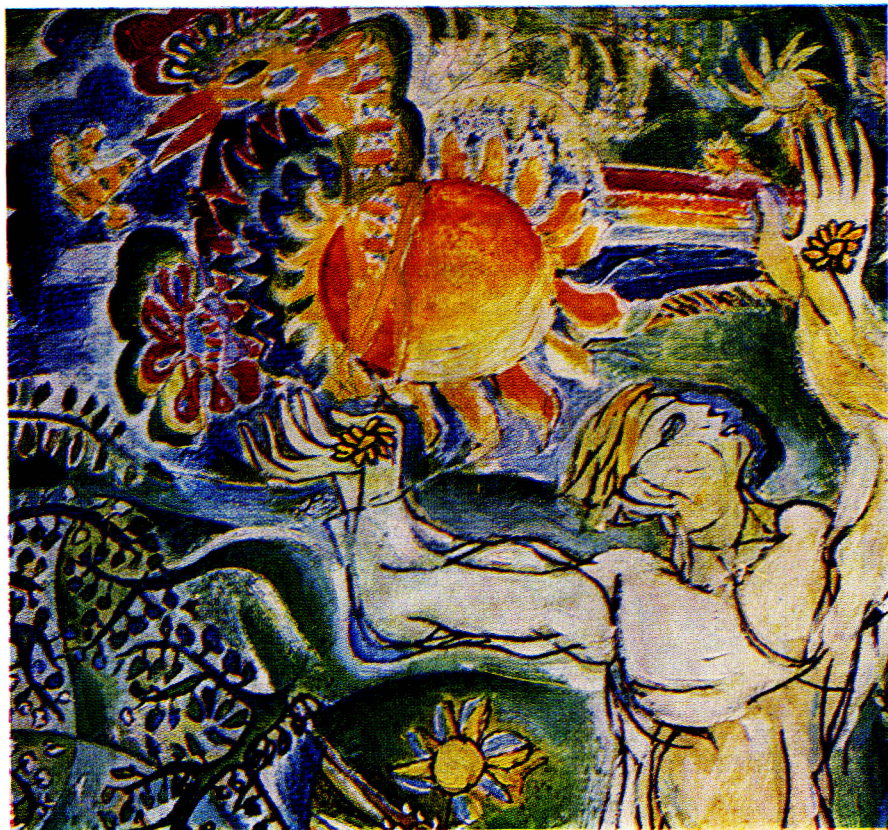
Перевод В. Кузнецова



Кирило Кожемяка.



Модель памятника героям-пионерам.



Эскиз росписи «Творчество».



Иллюстрации к книге М. Трублаини «Шалуны на пароходе».

Слышать «голоса сущего» — значит, понимать свою ответственность перед жизнью. Индивидуальное творчество поэта, несмотря на всю его неповторимость, должно протекать в контексте народной культуры, оно не может быть оторванным от нее. За плечами каждого автора стоит сонм незримых, теряющихся во мраке времен лиц — это его предки, его народ. У народа вечная красота, она нетленна. Она есть и пребудет во веки. Поет мощный хор (пусть эти голоса не столь уж громко слышны сквозь толщу веков, отделяющих наше сегодня от их времени), к звездам возносится народная песня...

По многим свидетельствам мы знаем, что именно народная песня становилась наиболее активным фактором развития письменной, книжной поэзии. И именно народная песня в отличие от некоторых других фольклорных жанров продолжает мощно влиять на современную многонациональную поэзию. «Народные песни — это самое дорогое и ценное наследие наших предков», — писал в 1910 году в статье «Народная литература» Габдулла Тукай. «...Изначальным моральным кодексом и собранием эстетических учений нашей нации» называет латышские даины Имант Зиедонис. Все так и не иначе. Народная песня в любой культуре схватывает очень широкий круг жизненных явлений, она многолика в отличие от конкретной заданности других фольклорных жанров — загадок, заговоров, свадебной лирики.

В современной чувашской поэзии, особенно среди молодых поэтов, продолжается освоение песенных традиций. Авторы словно проходят выучку у песни, сдают экзамены на право приобщения к миру вечной, народной красоты. Любопытную эволюцию в этом отношении проделал чувашский поэт Михаил Сениэль. В начале его деятельности (60-е годы) основной повод для написания стиха возникал, так сказать, в его собственной душе. Подавленные комплексы, облагороженные сравнением с книжным романтизмом идеалом, выворачивание себя наизнанку, «потемки» любви и т. д. выражались в экзальтированном, неровном стиле. Вырываясь из замкнутого круга субъективности, Сениэль выходит к свету народного слова. И все разительным образом меняется. Открывается ясный, прозрачный мир. Но душа грустна, потому что мир этот там, в ушедших незапамятных временах. Взгляд назад с неизбежной грустью в глазах...

Вокруг яблони обежав,
солнышко красное выкатывается,
снова по небесному своду карабкается,
на отчий дом свет свой струит.
Выхожу из отчего дома,
душа моя в тоске.

Подстрочный перевод

Здесь есть что-то похожее на старинную чувашскую рекрутскую песню. Грусть о потерях, которые неизбежны на пути накопления нового опыта, грусть о невозможности возвращения туда. Отсюда и стереоскопичность изображения, ведь нас там нет, мы-то уже вышли оттуда, живем в другой жизни. Если раньше в лирике Сениэля была некоторая нарочитая душевная неприкаянность, то теперь поэт выходит к простым, здоровым началам народного нравственного сознания.

Под сводом месяца и солнца
тихо-тихо плывет белое облако.
Между добром и злом
что же находится? Кто знает?

Подстрочный перевод

Вопрос явно риторический (или от лукавого?). Между ничего нет. Ничейная полоса...

То, что было сказано выше о Сениэле, в определенной степени касается и некоторых других, не только чувашских поэтов.

В ряде случаев есть, вне всякого сомнения, стилизация, подлаживание под народную манеру, более или менее искусная имитация ее как бы наивной интонации и внутренней значительности. Подлинное вхождение в высокий строй народной словесности невозможно путем прямого заимствования. Когда распространяется модное поветрие «под фольклор», «под старину», то это прежде всего говорит о надуманности, рационализме самого такого обращения... Усвоение смысла мифа, опыта предания осуществляется более тонким путем. Речь должна идти не о «присвоении» коллективного опыта фольклора, а о постижении его сущности как смыслом, так и формой стиха.

Через внутреннюю перестройку самого себя, через воспитание души приблизился к отгадке сокровенного в народном безымянном слове чувашский поэт Педер Эйзин. Мне довелось писать в свое время о его книге «Костер» (1976), сейчас лишь хочу добавить совсем немного. Ряд стихов Эйзина на первый взгляд являются лишь отзвуком, эхом известных жанров чувашского фольклора (гостевых песен, например). Однако подобных стихов у него как раз не так много. Но словно камертон они дают определенный этический настрой всей его лирике. Эйзин глубоко почувствовал народную азбуку морали и нравственности. Его

лирический герой уже не мыслит себя вне этой «азбуки». Слова очень просты, нравственное чувство и так выразится, а это главное.

Из-за семи морей далеких
я прилетел бы —
лишь голос был бы мне:
«Приди, родной, приди».

Подстрочный перевод

Действительно, иногда возвращение к слову родного слова совершается будто после долгого заморского путешествия. То, что лежит рядом, подчас не воспринимается как эстетическое — слишком близко, знакомо, привычно, поставлено в бытовой ряд.

Эйзин в чувашской поэзии открыл новый способ вхождения в фольклор, который я хочу назвать «вслушиванием». Речь идет об очень глубоко внутреннем слиянии слова «личного» и слова «для всех». Это слияние породило новое слово. Оно теплое, ласковое и в то же время прямое, открытое. Эйзин в этом смысле не одинок в чувашской поэзии. Последние стихи Любови Мартыановой, Геннадия Юмарта, Суvara Эрдивана, опубликованные на страницах республиканских журналов «Ялав» и «Тъван Адъл», в поэтических книжках, также обнаруживают черты, свойственные стилю Эйзина, — скромность изобразительных средств, смысловая емкость слова. Интересно, что эти поэты используют содержательные мотивы народных песен, преданий, мифов, однако работают, в основном, на уровне Языка. Горизонт Языка понимается как этический. Они стремятся к нравственной его чистоте. Молодые поэты тяготеют к отточенной веками форме афоризма, пословицы, а содержанием становятся извечные противопоставления: добро и зло, небо и земля, родное и чужое и т. д. Вот пример, одно четверостишие Мартыановой:

Белый парус — мечта,
мысль, как тихий ветер.
Бездонное море — жизнь!
Ты, как милый (сердцу) дом.

Подстрочный перевод

Оригинал точно и ненавязчиво аллитерирован (шуръ — «белый» шухъш — «мысль» и др.).

Для упомянутых выше поэтов характерно особое отношение к природе. В фольклоре мир природный выступает как равный собеседник миру человека, между ними связь, постоянный контакт (многие песни строятся по закону параллелизма, это известно). Н. И. Ашмарин писал в 1892 году в работе «Очерк народной поэзии у чуваш»: «Чуваши, живя простою жизнью, близко

к природе, связан с последнею какими-то непонятными для нас узами; в его напевах видно, что он чувствует с нею какую-то солидарность, любит ее, как существо одухотворенное, понимающее его нужды». В современной поэзии природа чаще всего отчуждена от человека. Он сам по себе, а она сама по себе. Преодолевая этот разрыв, молодые поэты особенно чутки, внимательны к глубинным изменениям отношений «человек — природа». У них укрепляется сосредоточенно-внимательное восприятие естественного мира. Думается, это тоже в какой-то мере от фольклора. Приведу некоторые примеры для доказательства сказанного. Вот отрывок из стихотворения о весне Суvara Эрдивана:

Упал
яркий сполох на снег.

Только почка,
как будто в младенческом добром сне,
поджала губы.

Волга, почуяв
мощное движение,
радужными полосами
стала резать лед.

Начиная с этого момента
в чреве земли-матушки
была зачата весна.

Подстрочный перевод

Несколько необычное ощущение весны, не правда ли? Но как хорошо показана связь между светом, почкой и большим телом реки, которое еще лежит подо льдом. Все едино, это один организм.

Другой «весенний» фрагмент из стихотворения Эйзина. Человек со двора вошел в дом. Он ничего не видит. Потерял глаза? Где же они?

...Там. На скользком снегу
вьется серебряная нить
узорами вышивки чудесной.

О ветра шелк!
Мочки ушей пощипывает радость.
Ветлы греют руки
дымом из трубы.
Маленькое солнце
как грудной ребенок,
сосет карниза ледяную грудь.

Подстрочный перевод

Если в первом случае показано только само предощущение весны, то во втором уже родился ее «ребенок» — солнышко! Можно, конечно, заметить, что в стихах есть слишком натуралистические уподобления, но мне они кажутся естественными. Возможно, это далекие отголоски древнего праздника синьзе, который проводился весной в честь «тяжелой» земли. Праздник отражал представления чуваша крестьянина, надеявшегося на плодородие почвы, на будущий урожай. В стихотворениях, естественно, эхом веков отозвался лишь обобщенный смысл синьзе.

Все молодые чувашские поэты — выходят из деревни, они постепенно преодолевают отношение к ней, которое я бы назвал «хозяйственно-крестьянским». Они начинают обнаруживать в природе, которая не слепок, не бездушный лик (по словам поэта), своеобразную этику и органичную, если так можно выразиться, эстетику. Бережно, осторожно входит в мир природы чувашский поэт Геннадий Юмарт. Луг — это любимая, лес — как старшая сестра, нежные облака подобны матери.

Средь белых облаков лечу,
они добры душой, как мама,
мне стелют мягкую постель.
Хлоп! И я ложусь. сплю мертвым сном,
будто в сказке, мне тихо и покойно.
(Ах, облака! Без спросу прихожу и ухожу.
наверное, тяжело так встречаться
и расставаться?..)

Подстрочный перевод

Юмарт — поэт тонких и не так уж часто встречаемых в современной поэзии состояний согласия между внутренним миром и внешним. Он спокойно, не спеша отшлифовывает свой язык. Это медленный труд, не сразу дает он плоды. Подобно шлифовальщику линз, который в конце концов после долгих лет труда может собрать телескоп и открыть новую звезду, Юмарт вырабатывает свой синтаксис, архайзируя лексику, обретает новое видение. То есть речь опять идет о том же — о новом зрении, которое молодые стремятся обрести через язык. Через свое Слово о мире, о себе, о времени...

Если воспользоваться типологией художественной трансформации фольклора в литературе, предложенной в свое время В. Кубилюсом, то можно сказать, что ряд молодых поэтов в татарской, башкирской и чувашской поэзии сейчас делают «второй шаг» в фольклор: «Второй шаг — это психологическая интерпретация фольклорных мотивов. Писатель уже обладает собственным индивидуальным стилем и отражает в творчестве духовную ситуацию своей эпохи и свое самосознание».

Я преимущественно останавливаюсь на общих принципах «фольклорности», которые стали распространяться в современном поэтическом мышлении, говорю о сложном единстве личного и народного в многонациональной поэзии, а не о фактах прямого заимствования из народной словесности. В последнем случае национальное своеобразие, понимаемое как орнамент, как нечто внешнее, ведет к тому, что личность поэта отступает на задний план, а механическое соединение разнотильных образов дает эклектику. Конечно, еще не все поэты, тяготею-

щие к фольклору, свободны от стилизации, которая, согласно В. Кубилюсу, есть лишь «первый шаг». Думается, что стилизация уже не может соответствовать современному уровню развития поэзии.

Для меня в контексте этой темы выштыранным примером использования фольклора было бы, наверное, творчество чувашского писателя Михаила Юхмы. Вот его своего рода символ веры:

А я —
Добытчик золотого слова.
Да, я старатель
Этих щедрых жил.
Они
И моего стиха основа.
Без них бы я
И песни не сложил.

Перевод А. Медведева

Было бы... Если бы Юхма действительно занялся сбором и записью фольклорного материала, то, возможно, он действительно внес бы свою лепту в научное его изучение. Но, к сожалению, в своей практике он «возвращает» народу его творения в форме простого пересказа легенд, пересочиняет сюжеты преданий, точный лаконизм народных максим превращает в простое морализаторство. В такого рода стихах дидактика глушит живую плоть чувства, в них отсутствует достоверный психологический облик лирического героя. Все это происходит потому, что в лирике Юхмы смысл народного слова не высвечен личным опытом. Совершенно справедливы слова латвийского критика и поэта Иманта Аузиня относительно творчества «стилизаторов»: «...фольклор как таковой вовсе не является спасателем «малокровной поэзии». Обращение к фольклору под силу не всякому. Это не только сотрудничество, но и своего рода спор, состязание».

Попробуем сделать некоторое обобщение на основании всего вышесказанного. Выход к проблемам бытийности в современной многонациональной поэзии говорит о том, что она взялась за глубинное постижение духовного мира современника. Этот процесс познания не может быть успешным без обращения ко всей совокупности устойчивых духовных ценностей, которые хранит память культуры народа. Коллективный опыт сохраняется (как в генах) в гибком и живом разнообразии фольклорных форм. И первоизданное метафорическое слово (по-чувашски, например, солнце имеет ноги, оно ходит), и широкое эпическое изображение героических деяний в потоке мифологического времени (типа бурятского «Гэсэра», башкирских ку-

баиров) дают мощное усиление голоса поэта, в культурно-историческом океане не позволяют ему быть одиноким.

Обращение к коллективному опыту, к национальному образному фонду не избавляет, разумеется, поэта от напряженного труда над собственным стилем. Он должен сказать свое слово. Выразить свое не только в образах, во внешней пластике стиха. Само обращение к фольклору должно оправдываться внутренней эволюцией творчества данного автора, оправдываться и этически. Это означает, что поэт подошел к какому-то важному рубежу, где ему просто не обойтись без народной мудрости. В одном интервью Чингиз Айтматов сказал: «Иногда я включаю в свои произведения безличные пласты народного сознания. Не от имени автора и уж тем более не от имени героя. Это бывает в тех случаях, когда мне надо сказать общее слово».

При открытии горизонта всеобщности (стоит еще раз подчеркнуть, народная словесность — это речь ко всем) текст отдельного стихотворения, как бы отталкиваясь от настоящего, уходит в глубину, становится связанным весьма не просто с духовным содержанием литературы в целом. Здесь важно избежать холодной реставрации, которая неизбежно ведет к мертворожденному тексту — стилизации. Припоминание, вслушивание — да! Это путь через себя, через горизонт собственной мысли о мире ко всеобщему.

Легко рассуждать об этом теоретически, но достигнуть подобного синтеза в творческой практике невероятно трудно. Я хочу назвать поэта, которому, на мой взгляд, это удалось. Я говорю о бурятском поэте Донлоке Улзытуеве. Как звучит в его стихах песенная, мелодичная стихия! Даже эти собственные имена — Хайранга, Шибертуй, Тугла, Алхана, Цагаа-Мори... Они словно окрашивают своим звучанием соседние слова, что чувствуется и в русском переводе. Эмпирику и сиюминутность будней преодолел поэт и вышел в открытую степь со стелющейся по ветру травой — ая-гангой. Ая-ганга курится в пастушьей юрте, своим ароматом давая знать уставшему путнику о гостеприимстве крова; это она, трава, создает ощущение бесконечной дали, в которой сливаются в еди-

ную субстанцию золотой цвет земли и синевы небес:

Я слежу, не дыша,
за вечерней игрою.
Все сместилось в глазах —
Земля, вышина...

Лишь летит золотое и голубое!
Голубая страна...
Золотая страна!

Перевод Е. Евтушенко

В этом «голубом и золотом» мире, кажется, царит гармония созерцания, естественность и непринужденность душевной беседы с другом, звонко звенит протяжная гортанная песня. Этот мир конкретен. Как много в нем пейзажей родного улуса Шибертуй! Ведь, узнавая и как бы заново открывая для себя родину, мы видим ее в милых, мельчайших и знакомых до боли частностях. Но от позиции простого созерцания Дондок Улзытуев восходит к страстному размышлению о «судьбе земной, о Вселенной». Он вопрошает само мироздание:

Запрокинув лицо, я на звезды глядел,
слушал музыку сфер, слушал медленный рокот,
но куда-то в пустое пространство летел
мой безмолвный вопрос — полукрик-
полушепот,
в темноту,
в мирозданье,
улетал и навек пропадал в безгласную ночь.

Перевод С. Куняева

Единство личного и народного, о котором говорилось в этой статье, наглядно можно показать через такой образ. Поэта часто сравнивают с путником. Путник всегда стремится к горизонту, но никогда не переступит его.

В свое время И. Я. Яковлев (1848 — 1930), просветитель чувашского народа, создатель письменности, дал емкую и содержательную формулу: «сто тысяч слов, сто тысяч песен, сто тысяч вышивок» как основа народного миропонимания. Поколение, вступившее в творчество в начале 60-х годов, серьезно пытается постичь суть национального своеобразия поэзии. Отсюда усиление тяги к народной словесности, сборному началу. Этот путь лежит в направлении горизонта всеобщности. Выход к такому горизонту означает, что поэзия все в большей мере становится радостью и болью личности, которая причастна к судьбе народной.

Художественный перевод: ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Т. ВОЕВОДИНА

Муки теоретиков



е открою Америки, если скажу: большинство практиков художественного перевода отнюдь не проявляет обостренного интереса к переводческой теории. И необостренного тоже. А уж если совсем прямо: всякий нормальный художественный переводчик живет и работает вне и помимо теоретических штудий переводоведов, испытывая к ним в зависимости от личного темперамента самые разнообразные чувства: от легкой иронии до сильного раздражения. Кроме одного — интереса. Любопытно, что даже те знатоки перевода, которым случается в той или иной мере обучать молодежь своему ремеслу, ухитряются и тут обходиться без теории. Положение складывается, прямо сказать, забавное: теоретики спорят о формулировках, выявляют закономерности, подсчитывают в процентах «фреквентативность» какого-нибудь соответствия (частотность — по-русски сказать), а переводческая практика зная идет себе вперед. Не сказать, что блестяще идет. Повсюду. Главное — независимо. Но самое забавное даже не в этом. Самое забавное в том, что на этот любопытнейший феномен никто как-то не обращает внимания. Будто так и должно быть и иначе быть не может. Ну, практики, они, положим, ни при чем: они заняты, они переводят, им не до того. А теоретики? Им-то вроде бы должно быть обидно, что практика обходится без их достижений? Однако нет, не обижаются. Даже термин придумали: «Дескриптивно-прескриптивная теория перевода». Перевожу на русский: это когда теория перевода описывает существующие переводы и, описывая, предписывает достижения мастеров-практиков другим переводчикам, если те пожелают ими

воспользоваться. А вообще не люблю — так и не слушаю. Вот и сосуществуют в непресекающихся плоскостях переводческая теория и переводческая практика.

Отчего так?

Лежащее на поверхности объяснение — субъективное. От слова «субъект» — объясняется все это субъективными свойствами участников этой парадоксальной коллизии: переводчиков, редакторов, критиков, теоретиков перевода. Практики-де не интересуются теорией потому, что им недосуг, и еще потому, что монографии и сборники научных статей по переводу до них попросту не доходят (особенно это относится к вузовским изданиям, о существовании которых многие практики не подозревают); кроме того, практический перевод осуществляется одними людьми, а теория пишется другими (я тут имею в виду подлинную теорию, то есть положения научно структурированные, а не «заметки», «размышления» и т. п., с которыми иногда выступают сами переводчики).

Кроме того, читать теоретические исследования по переводу — дело непростое, тут требуется кое-какая подготовка. Тексты трудноваты для восприятия со стороны. Главным образом, это относится к лингвистической ветви исследований. В каком-то смысле и это объяснимо: в кругу гуманитарных наук лингвистика — самая точная, можно сказать, самая «техническая» наука, но эти хорошие качества дали ей цену утраты контактов с широким читателем. К тому же в современных лингвистических исследованиях по переводу часто бывают «задействованы» новейшие. недавно явившиеся на свет, иногда довольно сложные концепции, связанные с исследовательскими методами современной линг-

вистики. Тут не обойдешься институтским курсом «введения в языкознание» двадцатилетней давности.

Да и стиль решительно всех лингвистических работ таков, что кажется, будто их авторы нарочно стараются, чтоб непосвященные не лезли в их огород. Они городят вокруг этого огорода непроходимый частокол научных терминов, тяжеловесных конструкций, глубокомысленных фраз. Коллеги — ничего, они привыкли, они сами так пишут. А свежему человеку, пожалуй, и не продаться.

Все это, конечно, причины субъективные. Серьезные, заслуживающие внимания, но все-таки внешние, не определяющие.

Главная, внутренняя, объективная причина — в качествах самой теории.

Сегодня теория перевода еще не доработалась до прямой, непосредственной, деятельной помощи практику — переводчику, критику, рецензенту, редактору художественного перевода. Ни одно переводоведческое исследование не заканчивается обращением к практикам: на основании сказанного выше делайте так и вот так, и у вас будет получаться лучше. Уверена, если бы и впрямь получалось лучше, даже самые отпетые поборники интуитивно-практического взгляда на художественный перевод интересовались бы теорией, читали. Таково свойство практиков в любой области: от теории они ждут не общеобразовательного интереса, а практической пользы и помощи — даже если сами считают, что ни в какой помощи не нуждаются.

Что же предлагает нам в практическом смысле современная переводческая теория?

Семидесятые годы и начало восьмидесятых обильны публикациями по переводу. Перечислю некоторые. Две книги В. Н. Комиссарова: «Слово о переводе» (М. «Международные отношения». 1973) и «Лингвистика перевода» (М. «Международные отношения». 1980); А. Д. Швейцер «Перевод и лингвистика» (М. Воениздат. 1973); сборник «Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике» (М. «Международные отношения». 1978); Л. С. Бархударов «Язык и перевод» (М. «Международные отношения». 1975). Не часто, но регулярно выходит сборник «Тетради переводчика» (с 1982 года издательство «Международные отношения» передало их «Высшей школе»), ежегодно появляются сборники статей по вопросам перевода на переводческом факультете Института иностранных языков имени М. Горького и на филологическом факультете МГУ.

Хватает публикаций и у литературове-

дов. Среди главных: Г. Р. Гачечиладзе. «Художественный перевод и литературные взаимосвязи» (М. «Советский писатель». 1980); А. Попович. «Проблемы художественного перевода» (М. «Высшая школа». 1980), книга болгарских исследователей С. Влахова и С. Флорина «Непереводимое в переводе» и «Муки переводческие» С. Флорина.

Так что есть материал, позволяющий поразмыслить над тем, что же такое сегодня теория перевода, каковы ее достижения и проблемы. Особенно, мне думается, побуждает к такому размышлению недавно вышедшая четвертым изданием книга А. В. Федорова «Основы общей теории перевода» (М. «Высшая школа». 1983). Формально это учебник и поэтому излагает в целостности и единстве то, что накоплено данной наукой как более или менее бесспорное и общепризнанное.¹

Книга имеет подзаголовок «Лингвистические проблемы». А. Федоров относит свой труд к лингвистическому направлению переводческих исследований. Это симптоматично. Учебник общей теории перевода заявляется как учебник лингвистического переводоведения (впрочем, если приглядеться к книге А. Федорова поиреалистнее, то окажется, что она не вполне лингвистична, но важна здесь сама установка). Это серьезный знак преобладания лингвистического начала в теории перевода. Крен, характерный для последнего десятилетия. Хотя на словах никто вроде бы и не противопоставляет лингвистическое начало литературоведческому — тут мирное сосуществование. Однако по сути эти две линии противостоят самой разностью своих подходов к переводу. А. Федоров, впрочем, выразил это противостояние в открытую, что и понятно: положив лингвистику в основание общей теории перевода, он должен был оговорить альтернативные подходы. Вот оно, противостояние: в литературоведческих изысканиях о переводе «преобладают умозрительные, дедуктивные построения», которые «не вызывают особых дискуссий», они «довольно однообразны», «не вмещают всего богатства реальных возможностей перевода», «упрощают и обедняют» дело.

Откуда такое резкое неприятие?

Литературоведческое переводоведение, как это ни странно на первый взгляд, мало внимания уделяет собственно пере-

¹ В том же 1983 году вышла книга А. В. Федорова «Искусство перевода и жизнь литературы», стоящая на границе переводческой теории и практической критики перевода; рецензию на эту книгу см.: «Дружба народов» № 7, 1984.

в о д у, то есть переходу текста из языка в язык. Много говоря о переводе вообще, «литературное» переводоведение молчит, когда надо решать, как перевести конкретный текст, конкретное предложение, конкретное слово. Литературоведение почти с возмущением отворачивается от таких «технологических» вопросов; оно судит суммарно: переводчик тот же писатель, художник слова, и переводит он — упаси боже! — не слова, не предложения, а... что? Художественные образы, мысли, чувства, мелодию, интонацию, «гул», «ритм» — нечто трудноуловимое и уж тем более не формулируемое в проверяемых терминах.

Мне думается, наиболее лапидарно эту принципиальную позицию литературоведческой теории перевода выразил в свое время Г. Гачечиладзе: «Автор оригинального произведения является мастером одного языка, а переводчик — мастером двух языков. При условии, что он хороший знаток языка подлинника и в то же время безукоризненно владеет родным языком, для него проблемы языковых соответствий практически не существует, за исключением отдельных случаев, подобные которым могут встретиться и в оригинальном творчестве».

Однако если спуститься с заснеженных вершин абстракции, как говорил А. А. Потебня, на почву практики и реальной переводческой работы, то выйдет, что переводчики (далеко не все из которых являются «мастерами двух языков») хоть и ставят целью, как принято говорить, «художественно воссоздать» произведение в целом, однако на каждом конкретном этапе своей работы переводят все-таки предложения, словосочетания и даже слова (в которых, спору нет, выражены мысли, чувства, ритмы и т. д., но ведь в словах выражены-то!). И переводят все это практики, стало быть, ориентируясь исключительно на свое чутье, (если оно есть) и не ожидая никакой поддержки от теории.

Отсюда понятно тяготение современной переводческой мысли к лингвистике. Лингвистика предполагает научность, ясность, конкретность и корректность мышления, конструктивность и верифицируемость выводов. В ней ищут то, что противостоит общим словам и общим местам, расплывчатым формулировкам и эмоциональным всплескам, более или менее удачно маскирующим уязвимые места, рассуждения. Лингвистическое переводоведение и возникло как ностальгия по практичности, конкретности, применимости. Возникло в послевоенную пору, укрепилось в пору

расширившихся международных контактов, расцвело на пересечении общественной потребности и научной возможности. Общественная потребность — неслыханное развитие художественного перевода, нужда в переводческих кадрах. Впрочем, опора первоначально была — на тексты информативные, общественно-политические, технические. Требовалось получать взаимозаменяемые, аутентичные тексты на нескольких языках. Вот из какой практики пришел «социальный заказ» теоретикам перевода.

Например, с трибуны международной конференции предлагается внести какое-то изменение, поправку в документ, принимаемый конференцией. Делегатам предлагается найти в имеющихся у них разноязычных версиях абзац, строчку, предложение, слово. При этом исходят из того, что это как бы единый текст, только в разном языковом обличье. Тут мало применим известный переводческий афоризм Цицерона «*Non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu*» (Не слово словом, но смысл смыслом). Тут нужно именно «*verbum e verbo*». До той лишь грани, разумеется, пока не пропадает или не искажается смысл.

Возникли новые, более высокие требования к точности перевода. Выдвинулся принцип: расхождения в смысловых нюансах между оригиналом и переводом могут быть вызваны единственно расхождениями в строе языков. Целью и идеалом перевода было провозглашено достижение максимальной смысловой близости. Перевод стал пониматься как своего рода перелив смысла из одной языковой оболочки в другую. Задача переводчика: как можно меньше расплескать. Отсюда сформулированное Л. Бархударовым рабочее определение перевода — «процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть значения». Это определение, изрядно однобокое, функционирует только в рамках направления, которое можно назвать семантико-лингвистическим.

Что это за направление в теории перевода? Оно выявляет лексические, грамматические преобразования — «трансформации», — благодаря которым достигается «неизменность плана содержания» — сохраняется единство лингвистического смысла. По сути дела, для перевода информативных текстов ничего больше и не требуется. Вышеописанная теория перевода лучше всего и работает в применении к той категории текстов, для которых она возникла. Недаром все без исключения по-

собия по переводу специальных текстов строятся только на этой основе.

Она себя в узкой сфере и оправдала. Она господствует на переводческом факультете института иностранных языков, где готовят переводчиков общественно-политических текстов.

Но хорошо. Информативные тексты — не вся словесность. Как обстоит дело с другими текстами, а следовательно, с другими видами перевода? И прежде всего с переводом художественным? Какую позицию занимает тут вышеописанная теория?

На этот счет в «Дружбе народов» prominently одно странное суждение: А. Хворощан в статье «Возможен ли «максимальный» перевод»¹ неობдольшой отрывок обоснованную и стоящую особняком в лингвистическом переводоведении идею В. Дмитренко о «максимальном» переводе художественного текста с позицией всего лингвистического переводоведения в целом. Дело там, коротко говоря, в следующем: В. Дмитренко, взяв небольшой отрывок оригинала, высчитывает, на сколько процентов покрывает его имеющийся перевод, и предлагает свой перевод, добирающий недостающие проценты. Исследователь подходит к художественному тексту, как к чисто информативному, совершенно отвлекаясь от его основного качества — художественности. Об этом можно было бы и не говорить, если бы эта методика не оказалась у А. Хворощана знаменем всего лингвистического переводоведения.

На самом деле предлагается нечто иное: универсальная лингвистическая база, нужная при построении более частных теорий перевода для разных типов текстов.

Очень отчетливо это соотношение базы и частных разработок дано в книге А. Федорова. Собственно, там две теоретические главы; одна из них: «Условия выбора языковых средств в переводе» — выдержана в духе традиционной семантико-лингвистической теории. По сути дела, это фрагменты сопоставительного языкознания, приспособленные к задачам перевода. (Между прочим, переводоведы, привыкшие иметь дело с письменным информационным переводом, вообще высказывают мнение, что теория перевода — это раздел сопоставительного языкознания. Эта точка зрения не очень распространена, особенно у нас в стране, но она существует, что показательно.)

Федоров членит проблему в согласии с традиционным делением языковедческой науки: «Общелексикологические вопро-

сы теории перевода» (даже не лексические — лексикологические!) и «Грамматические вопросы перевода». Соответствующие сопоставительные закономерности излагаются в полном отвлечении от специфики переводимого материала — речь идет о различиях языкового строя вообще, например, о «большем разнообразии причастных форм в русском языке сравнительно с романским и германским языками». То есть здесь рассказано о том, какие элементы разных языков имеют один и тот же или близкий смысл; положим, смысловую нагрузку западноевропейского артикля по-русски можно, как правило, передать порядком слов или специально введенным местоимением.

Все это согласно укоренившимся в теории перевода представлениям как бы универсальная база перевода, перевода вообще. На ней, на этой базе, настраивается «перевод в частности»: теории тех или иных видов перевода.

А. Федоров усматривает специфику в жаровом типе переводимого материала. Жаровые типы разные авторы выделяют разные. По А. Федорову, их три: во-первых, это тексты газетно-информационные и научные; во-вторых, общественно-политические, публицистические и ораторские и, наконец, — художественные. «Построение общей теории перевода немислимо без анализа разновидностей перевода, без учета их внутренних особенностей и соотношения...»

Мысль вроде бы бесспорная: «учет внутренних особенностей» нужен, куда ж без него. Вся беда в том, что последовательный и полный «учет» частностей сплошь и рядом вынуждает к «недоучету» общих закономерностей, изложенных выше.

Перевод во многих случаях, и прежде всего художественный перевод — это не «перелив смысла», а создание иноязычного текста, равного оригиналу по воздействию на читателя. Поэтому теория художественного перевода, как частная теория, рискует сильно разойтись с общей теорией перевода, выработанной именно на основе представления о переводе как о «переливе смысла». Общая теория должна воплощаться в частной, частная должна представлять собой приложение общих принципов к конкретному материалу. Если этого нет и частная теория противоречит общей, то какой тогда, простите, резон в общей теории? Либо она не нужна вовсе, либо никакая она не общая, а самая что ни на есть частная, но тогда поди знай, к какому именно материалу ее прилагать.

«Общие закономерности» явно малоприменимы для художественного перевода и,

¹ «Дружба народов» № 11. 1982.

по-видимому, вообще для всякого текста, имеющего функцию не сообщения, а воздействия. Всякий художественный переводчик знает, сколькими семантическими и соответствиями приходится жертвовать, чтобы добиться нужного художественного эффекта. Причем часто аналогичный художественный эффект, сходное впечатление достигаются настолько несходными смысловыми средствами, что говорить о каких-то трансформациях практически невозможно,— это просто пересоздание. Причем не какой-то заковыристый случай, а норма, совершенно обычные условия работы художественного переводчика.

Но ведь не только в художественном переводе это так. Устный переводчик, чтобы добиться требуемого воздействия на собеседника, произносит текст, семантически нередко далековатый от исходного. Так что специальные задачи, решаемые в конкретном виде перевода, могут совершенно разойтись с наджанровой, «сквозной», теорией перевода.

Этот-то разрыв и компрометирует лингвистическое переводоведение в глазах практиков. Впечатлительные практики порой вообще готовы считать, что теория перевода создается злостными схоластами, которые в угоду своим оторванным от жизни лингвистическим построениям готовы вытравить на корню всякое небанальное решение, необычное слово, незатасканное выражение, то есть изгнать из художественного перевода все художественное.

— Да разве мы причастия с деепричастиями переводим?— возмущаются практики художественного перевода.— Мы переводим мысли и чувства, воспроизводим авторское мироощущение, одному автору присущий индивидуальный склад речи!

— И мы тоже не функции артикля передаем,— вторят им устные переводчики.— Мы помогаем людям общаться и соответственно ищем средства, слова, а что там чем было выражено в оригинале, мы этого не помним.

Удовлетворены наличной теорией, пожалуй, только письменные переводчики информативных, в частности, общественно-политических текстов. Я не раз слышала от разных людей, что достаточно выучить известный учебник по русско-французскому общественно-политическому переводу В. Г. Гака и Ю. А. Львин и все в порядке. В этом виде перевода разрыв между теорией и практикой минимален. Везде бы так!

Но, увы, на практике, в жизни общие закономерности перевода оказываются в большой степени функцией. Если давать самое об-

щее, годное для всех случаев определение перевода, то получится нечто такое: перевод есть текст, заменяющий в данное время, в данных условиях и для данной аудитории другой текст, созданный на незнакомом ей языке. Все, что внутри определения: требования к переводному тексту, приемы достижения заменяемости — все это разнится в зависимости от типа текста, от способа и назначения перевода, от «данных условий».

Так не логично ли именно из типа текста и исходить? А также из способа перевода и его назначения? То есть не перевернуть ли принятую в настоящее время теорию, сделав базисом не общие закономерности, а именно особенности разных типов перевода? Такой вариант теории, по существу, присутствует, иногда скрыто, во всех работах по лингвистическому переводоведению. У А. Федорова сказано: «Сравнение разновидностей перевода поучительно и полезно потому, что оно ведет прежде всего к выявлению различий между ними, характерного своеобразия каждой из них. Это не столько сопоставление, сколько противопоставление как самих типов переводимого материала, так и принципов и методов перевода, обусловленные их внутренними особенностями». А раз так, то не противопоставить ли их со всей прямотой и ясностью и именно это противопоставление положить в основание общей теории перевода? И вовсе не пытаться сначала искусственно стягивать все виды перевода к общим закономерностям с «семантическим инвариантом», а потом с помощью бесчисленных оговорок водворять каждый вид перевода на его естественное место, возвращая каждому его собственные, ему лишь присущие черты. Ведь если вдуматься, так именно здоровый профессиональный инстинкт заставляет художественных переводчиков всячески отмежевываться от наличной на сегодняшний день общей лингвистической теории перевода.

Не лучше ли сказать прямо: в разных случаях, обстоятельствах, при разных видах перевода, для разных аудиторий в качестве «перевода» (то есть полномочного представителя иноязычного текста) функционируют совершенно разные тексты, в разной мере и по разным принципам передающие и смысл, и формальные особенности оригинала! Кто из «общественно-политических» переводчиков не знает, что один и тот же текст, будучи переведен письменно либо устно, последовательно либо синхронно, получает очень и очень разный вид? Практически это знают все причастные к делу люди, однако теория продолжает как-то застенчиво мяться на позициях «сквозной

лингвистичности», предлагая, в лучшем случае, поправки косметического толка.

Многие подходят к мысли о перестройке переводческой теории — сама логика к тому ведет, однако никто пока эту грань не переступает. В. Комиссаров в книге «Лингвистика перевода» со своим рассуждением о разных типах эквивалентности подошел к такой идее вплотную, но все-таки остался «по эту сторону».

Будет ли теория перевода, перестроенная описанным выше образом, лингвистической? Разумеется. После всего того, что сделано лингвистами, невозможно повернуть назад к общим рассуждениям и вкусовым оценкам, в уютный круг общих мест и дорогих имен от Жуковского до Чуковского.

Теория перевода должна остаться лингвистической в том смысле, что должна доводить свое исследование до уровня языковых знаков и формулировать свои конечные выводы в лингвистических терминах. Иначе ими никто не сможет воспользоваться. В то же время реальное, конкретное воплощение «знаковости» и «лингвистичности» в каждом виде перевода и соответственно тому в каждом разделе переводоведения — разное. К тому же, надо еще уточнить, какие именно это виды и разделы: классификаций переводимого материала придумано много, однако во всех есть наряду с достоинствами свои недостатки.

Чистая «лингвистика» в теории перевода срывается, по-видимому, только применительно к письменному переводу информативных текстов. Применительно к устному переводу «лингвистичность» уже должна измениться. Процесс устного перевода нельзя представлять как трансформацию из языка в язык с сохранением «неизменного содержания». Устный перевод (в нем тоже, в свою очередь, имеются разновидности, но не о них теперь речь) это прежде всего общение, однако это общение не столько личностей, сколько ролевых масок. Именно ролевые отношения участников коммуникативного процесса (наряду с ситуацией, с целью общения) определяют лингвистические параметры устного перевода. Поэтому «верхний ярус», «стратегию» устного перевода естественнее передать в ведомство социальной психологии.

Бесполезно устанавливать, например, как чаще всего передается в устном переводе, положим, русское причастие прошедшего времени: устный переводчик все равно не сумеет этим практически воспользоваться. Гораздо эффективнее искать ответа на вопрос: какими языковыми чертами должен обладать текст перевода, чтобы удовлетворять требо-

ваниям, которые к нему предъявляет ситуация общения и роли участников. Тут разумно привлечь методы социальной психологии.

По этому пути идут уже некоторые теории устного перевода; кое-что на эту тему можно прочитать в последних двух-трех выпусках «Тетрадей переводчика», хотя сделано еще до обидного мало.

Однако не случайно же именно устные переводчики впервые начали изучать черты перевода не в сопоставлении с оригиналом, а в соотношении с тем, в какой обстановке реализуется текст: устный переводчик — непосредственный участник процесса коммуникации и коммуникативный эффект, попросту говоря — воздействие перевода может наблюдать тут же, «не отходя от кассы».

И, наконец, главный для нас вопрос: какой будет теория художественного перевода?

Главное в нашем ответе: по общему виду, по принципу построения теория художественного перевода должна перекликаться с теорией устного перевода. Звучит вроде непривычно. Однако я убеждена, что это так.

Структура теории художественного перевода видится мне в самых общих чертах такой. «Верхние ярусы» ее заполняются силами чистого литературоведения, истории и теории литературы. Общую концепцию переводимого произведения как порождения определенной эпохи, определенной культурной традиции, определенного типа личности — такую концепцию лингвистика создать не может.

В каждом художественном произведении «намешано» много разного. Передать все адекватно невозможно в принципе; что-то в переводе усиливается, что-то остается в тени, что-то вовсе исчезает. Это особенно хорошо видно, когда сравниваешь разные переводы одного и того же крупного произведения. Например, А. Веселовский, переводя «Декамерон», ориентировался на литературную форму новелл Боккаччо, а Н. Любимов подчеркивал скорее народную основу их, восходящую к городскому фольклору. То и другое в оригинале присутствует, но что важнее? Который из переводчиков поступал правильнее? Быть может, это вообще разные манеры перевода, равно имеющие право на существование, и их нельзя сравнивать? Вот тут и вступает в силу закон ситуации...

Или, положим, для детей иногда делается специальный перевод некоторого известного произведения: не сокращенный, а именно специальный, например, «Гаргантюа и Пантагрюэль» в обработке Н. Заболоцкого. Решить, нужен он или не нужен, а если

нужен, то какой должен иметь вид, «чистая теория», разумеется, не может, — это решает конкретно-историческая критика, исходя из ситуации.

Безусловно, общая концепция произведения вычитывается из текста, и тут не обойтись без лингвистического, а в более привычной формулировке, стилистического анализа. Это первый этап переводческого процесса — «раскодирование», извлечение из текста художественной информации.

Но ведь есть еще и второй, главный этап переводческой работы: воспроизведение на иной лингвистической почве этой самой художественной информации — «не той же монетой, но той же суммой», по классическому определению Белинского. Если на первом этапе переводчику требуется стилистика анализа (в первом приближении эту потребность удовлетворяют существующие пособия по стилистике разных языков, толкующие о стилистической роли различных элементов языка), то на втором этапе требуется стилистика синтеза. Ничего подобного пока нет, и не совсем ясно, как эту стилистику построить. Ясно только, что главный ее принцип — идеографичность, построение «от мысли к слову». Эта частная теория должна дать в руки переводчику точные приемы выражения того или иного смысла, достижения того или иного эффекта.

Возьмем, например, комический эффект. Несомненно, что наряду с универсальными, общечеловеческими способами его достижения в каждом языковом организме существуют какие-то специфические, наиболее распространенные способы, вытекающие из особенностей того или иного языка. В языках с богатой омонимией, положим, во французском, это чаще всего игра слов. В русском ходовой прием — соединение в качестве грамматически однородных членов логически разнородных понятий («забытая богом и начальством деревушка»). Как сказал Вяземский: «французская острота шутит словами и блещет удачным подбором слов. Русская — удачным приведением противоречивых понятий. Французы шутят для уха, русские для глаз». Так что, может быть, и не стоит на русской почве выстраивать структурный аналог иноязычного эффекта, а попросту воспользоваться русским приемом? Переводчики постоянно делают нечто в этом роде, но им приходится самостоятельно «открывать» приемы, которые вполне могут быть зафиксированы теоретической стилистикой. Разумеется, речь идет о каких-то универсальных, стандартных и своей основе приемах. Нестандартные слу-

чай всегда будут требовать «индивидуального подхода» и большой изобретательности. И в этих точках будет развиваться и обновляться теория.

Потом переводчику требуются «репертуары» лексических средств: «микротемы», повторяющиеся из произведения в произведении: внешность человека, пейзаж, эмоциональные реакции и т. п.

Сопоставление таких «репертуаров», кстати сказать, могло бы придать большую осязаемость распространенному представлению о разнице художественного мышления разных народов, о том самом народном «духе» и «духе языка», о котором не первую сотню лет толкуют переводчики. Такая теоретическая работа в какой-то мере уже ведется, однако довольно вяло, без осознания общего контекста. Практики здесь впереди, например, Н. Любимов с его опытом.

Вот, мне кажется, что уже сегодня может дать лингвистическая теория художественному переводу для практического обихода. Претендовать на выработку алгоритма «трансформации» одного художественного текста в другой на теперешнем уровне наших знаний смешно. Теория художественного перевода должна идти не по линии жестких соответствий «слово — слово», «конструкция — конструкция», а по линии сопоставления семантических полей, где соответствия не так резко очерчены и где они носят вероятностный характер.

Когда-то Белинский заметил, что хороший переводчик должен писать так, как писал бы соответствующий иностранный автор, случись ему родиться русским. На это существует шуточный ответ (кажется, он принадлежит К. И. Чуковскому): пожелание Белинского равносильно просьбе нарисовать портрет человека, каким бы он был, если б родился от другого отца. Однако шутки шутками, а современный уровень развития лингвистики, в том числе так называемой лингвистики текста, сравнительной типологии, позволяет с большей или меньшей достоверностью, что называется, претворить в жизнь пожелание Белинского. «У русского писателя эта мысль была бы выражена скорее всего вот так» — вот какая «лингвистика» потребна практике. И она уже возможна.

Короче говоря, лингвистика должна снабжать и теорию, и практику перевода конкретными, как в старину говорили, «положительными» знаниями. А уж как их приложить к определенной ситуации — это не дело лингвистики. Тут требуются иные подходы иной тип осмысления материала. Так вот, сегодняшняя лингвистика доставля-

ет переводоведению (во всяком случае, художественному переводу) ничтожно мало «положительных знаний» — явно ниже своих возможностей.

Именно поэтому творческие искания многих переводчиков столь разительно напоминают блуждания в трех соснах: за отсутствием научных данных они вынуждены «методом тыка» решать такие задачи, для которых сегодня вполне возможно уже выработать стандартный алгоритм, универсальную отмычку.

Взять хотя бы старую и вечно молодую проблему «национального колорита». Совершенно ясно, что эффект здесь коренится в попутных ассоциациях, он связан с так называемым лексическим фоном слова. О лексическом фоне можно прочитать в книге Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Лингвострановедческая теория слова», но без связи с переводом. А если в связи? У нас нет словарей и пособий, объективирующих, улавливающих, приводящих к сознанию «лексический фон», тот комплекс ассоциаций, который дает «национальную окраску», а пока словарей нет — все зыбко, неопределенно, субъективно и в конечном счете нерешаемо. Одному кажется, что какое-то слово свидетельствует о богатстве словаря переводчика, а другому — о безвкусной и нахальной стилизации. Кто рассудит? Издание типа «Словаря ассоциативных норм русского языка» под редакцией А. А. Леонтьева могло бы помочь, но словник этого словаря ничтожно мал.

Вот и получается произвол. Например, Г. Гафурова в статье «Некоторые особенности воспроизведения колорита эпохи в художественном переводе» пишет: «...учащиеся средневекового медресе по-узбекски называли «толиби илмар». Буквально — жаждущие знаний. В переводе они названы студентами. О том, насколько неуместно здесь слово «студент», можно видеть из следующего отрывка. «Студенты были в старых, но чистых халатах из пестрядевой полосатой ткани. Головы их обвивали белоснежные тюрбаны, лица хранили смиренное и вместе с тем полное достоинства выражение, приличествующее ученикам медресе».

Исследовательнице кажется, что тут нарушен «колорит эпохи», а мне кажется, что нет: в средневековой Европе были университеты и были студенты. Латинское слово *studere*, от которого происходит «студент», как раз и значит: усердно работать, прилежно заниматься, стараться, добиваться, стремиться, изучать, учиться. Что же касается **национального колорита**, то,

по-моему, никаких «неузбекских» ассоциаций слово «студент» не вызывает. Мне кажется так. Кому-то кажется иначе. Как видим, наука нам тут не помогла.

Это лишь один частный пример того, что лингвистика могла бы дать теории перевода и чего она ему не дает. А там, где безмолвствует наука, всегда является желание разрешить все недоумения с помощью личных домыслов. Эти домыслы, слагаясь в некоторую совокупность и наслаиваясь друг на друга, образуют сейчас, так сказать, «паратеорию перевода», и она, не имея корней в науке и вообще в реальности, все-таки живет и функционирует в практическом переводческом обиходе. С этим ничего не поделаешь, пока место интуиции не займет научно обоснованная теория.

История переводоведения в сжатом виде напоминает историю языкознания. Когда-то, в XIX веке, лингвистика терлась среди других гуманитарных наук: филологии, философии, психологии, этнографии. Чтобы идти вперед, надо было вычлениться, осознать себя, найти свой специфический объект и задачи. Ради этого рвались старые естественные связи, горизонт намеренно сужался, а объект намеренно упрощался. Соссюровский «язык в себе и для себя» был исторически необходим. Вполне прав был Бодуэн де Куртенэ, когда поставил лингвистике первоочередную задачу: решительно порвать с филологией — сейчас это странно читать вне исторического контекста. Потому что сейчас лингвисты и филологи стремятся вернуть или хотя бы повернуть лингвистику к осмыслению ее естественных связей — с филологией, культурой, вообще с человеком. Процесс этот объективен, и показателем его служит возникновение всякого рода этно-, психо-, социо- и т. д. лингвистик. И это не возврат назад, а шаг вперед на новом уровне — с новыми фактами и опытом.

Аналогично дело обстоит и в теории перевода. Когда-то, чтобы идти вперед, надо было поставить ногу на твердую почву. Этой почвой оказался узенький кусочек тверди: семантический инвариант и учение о межязыковых трансформациях. Сейчас знания о переводе явно выплескиваются из границ семантико-лингвистического переводоведения. Требуются новые рамки, новые структуры и новые факты. Но только так переводоведение может стать тем, чем должно стать: практически полезной теорией.

Тогда не придется агитировать практиков проявить интерес к ней: сами придут.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ ТЕОРИИ

С. Т. Калтахчян. Марксистско-ленинская теория нации и современность. М. Политиздат. 1983



ти заметки — не развернутая рецензия, они преследуют одну цель — привлечь внимание к содержательной книге. Автор хорошо известен специалистам и более широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной культуры, известен как исследователь природы пролетарского интернационализма, выявлению диалектики национального и интернационального в духовной культуре социалистического общества. Ранее опубликованные работы С. Т. Калтахчяна в этой чрезвычайно сложной области социального знания были заметным явлением в советской теоретической литературе.

В докладе июньскому (1983 года) Пленуму ЦК КПСС К. У. Черненко подчеркнул, что «идеологическая работа в условиях нашей страны, объединяющей свыше 100 наций и народностей, немыслима без внимательного изучения их специфических интересов, особенностей национальной психологии и культуры». Изучению именно этих вопросов посвящена насыщенная конкретным материалом и обобщениями монография С. Т. Калтахчяна «Марксистско-ленинская теория нации и современность».

Эта книга во многом опирается на положения, разработанные автором в его предшествующих работах, но она представляет собой новое самостоятельное исследование. Здесь встречаются история и современность. Современное звучание исследования сказывается, в частности, в том, что в относительно традиционных проблемах теории наций акцентируются такие их аспекты, которые особенно актуальны в наше время, одновременно рассматриваются новые вопросы, поставленные ходом сегодняшнего социального развития. Автор современен тогда, когда об-

ращается к истории, историчен, когда говорит о современности. Исследование С. Т. Калтахчяна носит комплексный характер, автор привлекает в интересах раскрытия проблематики данные различных наук.

Утверждая непреходящее значение разработанного классиками марксизма-ленинизма учения о нации, выявляя истоки этнических конфликтов, подвергая убедительной критике националистические концепции буржуазных идеологов, автор опирается на достижения современной философской и социально-политической мысли, этнографии, антропологии, лингвистики, психологии и истории. Исходя из того, что фундаментальной проблемой истолкования природы любой человеческой общности — племени, народности, нации — выступает проблема человека, автор обращается к исследованию так называемой биосоциальной природы человека и раскрытию марксистского понимания сущности человека как совокупности всех общественных отношений. Используя выводы различных наук, С. Т. Калтахчян убедительно показывает, что ключ к решению проблемы всестороннего развития человека надо искать не в евгенических «рецептах» выведения особой породы людей, а в правильном использовании всех социальных рычагов пробуждения и развития неограниченных потенций личности. Этот вывод имеет большое политическое и социальное значение — не существует природной, генетической ущемленности отдельных людей и наций. Проблема полнокровного развития наций, как и всестороннего развития личности, решается на основе коренных революционных преобразований общественной жизни. Но именно потому, что выводы объективной науки находятся в непримиримом расхождении с интересами эксплуататорских классов, в капиталистическом обществе, особенно в США, в настоящее время наблюдается новая вспышка концепций психорасизма, необиологизаторства и так далее, подвергнутых в книге обстоятельной критике. В ней выявляется не только научная несостоятельность этих концепций, но и раскрывается их реакционная сущность. Аргументированная критика подобных воззрений сопровождается позитивной разработкой вопроса о генетическом потенциале человека; он настолько обширен, что в процессе развития и становле-

ния человека, как правило, реализуется лишь та часть его, для которой оказываются благоприятными условия социального бытия.

Большое значение для полемики с буржуазными теориями «высших» и «низших» наций имеет научное обоснование вопроса о взаимосвязи языка и мышления. Опровергая доводы буржуазных теоретиков, С. Т. Калтахчян опирается на диалектику соотношения языка, мышления и объективной действительности, разработанную основоположниками марксизма-ленинизма. Привлекая новейшие данные психологии, нейрофизиологии и других наук, автор показывает, что у народов, говорящих на разных языках, всегда можно обнаружить общие законы мышления, сопоставимые системы понятий и так далее. Истинность этого положения иллюстрируется обращением к проблеме перевода художественной литературы на языки других наций. Убедительно написаны страницы книги, на которых показано, что так называемая лингвистическая дополнительность служит для выражения присущих именно данной нации оттенков чувств, понятий, представлений.

На обширном теоретическом и фактическом материале автор освещает важнейшие вопросы генезиса нации, взаимодействия наций с другими социальными общностями. Наиболее интенсивно исследованы вопросы национальной культуры и диалектики в ней национального и интернационального. Автор показывает: новая социально-историческая общность — советский народ — примечательна и тем, что для нее характерно активное взаимодействие и взаимообогащение национальных культур. Плодотворной является попытка раскрыть глубинные основы диалектики этого процесса, перенести его в более широкий пласт обобщения, вскрыть сходные явления в интернациональном единстве стран социалистического содружества.

Все проанализированные автором проблемы — диалектика антропогенеза и социогенеза до образования наций; происхождение и сущность нации, условия ее формирования и развития; национальные особенности психологии и культуры; проблемы самосознания и классового осознания национальных отношений; система социальных отношений и судьбы нации, интернациональное единство в современном общественном развитии — рассматриваются и на материале конкретных явлений культуры и искусства. Этим книга представляет особенный интерес для писателей, критиков, литературоведов и читателей, интересующихся теоретическими проблемами литературного процесса. Она позволяет глубже разобраться в существующих и развивающихся интернационалистических тенденциях в советской и мировой литературе, увидеть диалектику интернационального и национального в произведениях писателей, композиторов, художников различных наций и народностей.

В раскрытии диалектики национального и интернационального автор не допускает ни малейшего упрощения. Он последова-

тельно проводит через всю свою книгу идею, согласно которой, «единство интернационального и национального не абстрактное тождество, а включает в себя различия, многообразие». Понятен и убедителен критический пафос С. Т. Калтахчяна относительно «попыток ограничить национальную культуру архайчными рамками, зашифровывать ее так, чтобы она осталась понятной только для данной нации». Он правомерно подчеркивает, что такие позиции «ничего общего не имеют с пониманием истинных интересов и путей развития национальной культуры. Самобытность в таком понимании служит некой охранной грамотой от взаимодействия и взаимообогащения национальных культур ради их «чистоты». Ссылаясь, в частности, на высказывание писателя М. Случкиса, связывающего подъем современной литовской прозы с освобождением от узости национального художественного мировоззрения, С. Т. Калтахчян показывает, что аналогичные процессы имеют место не только в Литве. Автор отмечает, что в зависимости художественных достижений от богатства и зрелости национальных традиций, аккумулирующих передовую идейно-эстетический опыт всего социалистического искусства, в сознании преемственности по отношению к мировым ценностям культуры выражается закономерность социокультурного развития.

В книге выявляется несостоятельность и реакционность надклассовых концепций единой национальной культуры, дана аргументированная критика эстетических и литературоведческих взглядов, фетишизирующих значение национальных особенностей в художественной культуре безотносительно к их прогрессивному или консервативному характеру. Автор отстаивает понимание духовной, в частности, художественной культуры как выражения единства национальных и всех социальных отношений. С. Т. Калтахчян показывает, что именно потому, что национальное тесно переплетено с классовым, «реакционное искусство любой нации, отступаая от правды жизни, противоречит интересам народа, а следовательно, и тому, что составляет содержание подлинно национального». И наоборот, прогрессивные элементы каждой национальной культуры как часть входят в содержание интернациональной культуры, принципы которой были обобщены В. И. Лениным. Подлинно прогрессивная культура всегда интернациональна.

Заслуживает внимания содержащаяся в книге критика антиисторизма, который приводит отдельных авторов к идеалистическому пониманию сущности человека и национальной общности людей. Особую актуальность представляет критический анализ тех публикаций, в которых встречается выведение «национальной психологии», «национального характера» из абстрактных посылок «абсолютной» морали, из «национального духа», просматриваются неопочвеннические мотивы, апологетика крестьянской патриархальности и так далее.

Следует отметить, что разработка вопроса теории нации продиктована самой жизнью, противоречиями современного общественного развития, острым противо-

борством национальной политики социализма и капитализма. Новая работа С. Т. Калтахьяна раскрывает действенную силу пролетарского интернационализма, направлена против буржуазных фальсификаций сущности нации, обобщает опыт развития национальных отношений в СССР.

А. ЗИСЬ

ПУБЛИЦИСТ. РОМАНТИК. ДРАМАТУРГ

Сарвар Азимов. Я вижу звезды. Рассказы. Пьесы. Киноповести. Перевод с узбекского. М. Изд-во «Советский писатель». 1983

Молодой ученый-филолог, дипломат и драматург смотрит премьеру своей пьесы в театре имени Навои в Ташкенте едва ли не в канун своего отъезда в качестве чрезвычайного и полномочного посла Советского Союза в одну из стран Востока...

На сцене разворачивается действие драмы «Кровавый мираж». Шикарный отель, последнее прибежище эмигрантов, стремящихся если не восстановить свое господство, то хотя бы отравить атмосферу преданной и проданной ими родины. Теперь с падением Гитлера последние их надежды терпят крах. Перед нами проходит картина деградации и гибели тех, кто, оторвавшись от родных корней, составляет заговоры, засылает диверсантов в покинутую ими страну, продает совесть и честь во имя «кровавого миража» столь желанной им гибели Советов.

Острые противоречия разъедают их среду. Эмигранты превращаются из «национального комитета» защиты «отечества» в клику космополитических наемников западного капитала, все еще лелеющего мечту уничтожить социализм. И подлинным руководителем отщепенцев является не председатель эмигрантского комитета, «почтенный» Мир Алихан, не престарелый шейх Абдулфатих, произносящий напыщенные фразы о жертвах во имя торжества ислама (а на деле торгующий всем на свете, в том числе и своей внучкой Акикой), реальный глава этого отребья — прожженный агент американской разведки Тейлор. На сцене в резких гротескных положениях разворачиваются суэта и гибель тех, кто верит в кровавый мираж.

Поначалу в этой пьесе многое представляется преувеличенным, сгущенным. Однако в целом стиль и характер произведения соответствуют изображаемой С. Азимовым действительности. А наблюдений он накопил немало в своей деятельности за рубежами нашей страны. В 1964 году С. Азимов был избран на пост председателя Советского комитета по связям писателей Азии и Африки, а затем и заместителем генерального секретаря ассоциации писателей Азии и Аф-

рики. Присутствуя на писательских форумах в разных городах и странах, находясь в самой гуще острой идеологической борьбы, С. Азимов становился свидетелем вопиющих социальных контрастов и политических страстей, изображение которых и легло в основу многих его произведений.

...Этот открыто агитационный яркий спектакль с его живыми персонажами и четкой идейной направленностью представил зрителю решающие качества литературного характера С. Азимова: здесь, как и в других своих произведениях (будь то пьеса, повесть или рассказ), он всегда остается драматургом и романтиком, открыто демонстрирующим художественные возможности публицистики.

Вот написанная позже повесть «Звездояк». Драматичен и драматургичен сам замысел повести, рисуемой жизнью наших современников в резких, контрастных тонах и положениях. Обездоленный войной, уличный подросток Умид, сбившийся с пути и заболевший злой чахоткой, заботами разыскавшего его старшего брата помещен в туберкулезный санаторий в горах, где все противоречит опыту бывшей жизни героя: прекрасная природа, атмосфера заботы о человеке, которого здесь лечат, и, конечно, прекрасная девушка-художница, несущая некую тайну в своей душе. Конфликт повести — это конфликт возвышенного чувства и низменных представлений о жизни в душе юноши. Девушка, которую впервые полюбил он светлой и робкой любовью, оказывается в каких-то непонятных отношениях с пожилым главным врачом санатория. Конфликт между низкими подозрениями героя, продиктованными ему его ранним жизненным опытом, и высокой реальностью (врач беззаветно любит девушку, которая отвечает ему лишь дочерней преданностью) разрешается светлым прозрением героя, который покидает санаторий обновленным.

Но контрасты прямого действия, видимо, представляются автору недостаточными и он (как публицист и романтик) вводит в повествование своеобразное обрамление. Умид стал журналистом и послан корреспондентом в Нью-Йорк, куда приезжает и герой-повествователь (видимо, дипломат). Вместе они посещают некие светские сборища, на которых (может быть, и с несколько излишним нажимом) демонстрируется моральное растение верхушки долларового большого света. И эти картины также написаны рукой драматурга — в репликах и диалогах.

Центральной в сборнике нам представляется драма «Я вижу звезды», в которой с особой отчетливостью выразился творческий характер автора. Именно здесь воплотилась его заветная мечта: «...найти творческий ключ к движению времени, воссоздать достоверно-зримые черты человеческой жизни...»

Конфликт в драме «Я вижу звезды» до предела напряжен с первого же ее эпизода. Потерпел катастрофу летевший через пустыню «АНТ-2». Оставшиеся в живых пассажиры ждут помощи. Острота положения усугубляется тем, что открываются

страшная правда: Турсунов обрезал ножом веревку, на которой спускался за водой Султанов. Налицо преступление, совершенное пусть и нелюбимым в области за властный и несправедливый подчас нрав, но обремененным доверием человеком.

Казалось бы, остроконфликтная драма завершена уже в первом акте. Но это только начало. Содержание пьесы отнюдь не сводится к факту преступления должностного лица и спасения невинно пострадавшего. Главное — в раскрытии процесса деградации личности одаренной, но честолюбивой и эгоистичной. Своевременного никто не остановил его. Первые отступления от морали социалистического общества, постоянные поправки самому себе, и Турсунов запутался в злоупотреблениях, превратился в преступника.

В эту пьесу автор умело и экономно, опираясь на принципы публицистики, вкладывает сложное содержание, воспроизводя динамичный сюжет. То скрещиваются, то расходятся во времени жизненные пути перерожденца Турсунова и ряда людей, каждый из которых в той или иной мере пострадал, но и одновременно вырос и окреп в противоборстве с социальным и личным эгоизмом «талантливого карьериста». Многосторонне и красочно рисует автор героев, в самой речи и поступках которых отчетливо проступают их характеры. И если можно здесь примечать некоторые диссонансирующие моменты, то это несколько излишне «красивая» манера, в которой рисуются идеальные отношения Султанова и его жены Бахмал.

В этом произведении отчетливо проявляется оригинальная черта С. Азимова-драматурга. Он создает, казалось бы, знакомую ситуацию (люди терпят аварию в пустыне, передовой хозяйственник Султанов сталкивается с карьеристом-руководителем Турсуновым). Казалось бы, и исход ситуации будет банальным (потерпевшие аварию спасутся и спасут упавшего в колодезь товарища. Или: Султанов докажет свою правоту перед зазнавшимся Турсуновым и займет его место). Но каждая ситуация пьесы разрешается неожиданно (как это бывает и в действительности) — неизбежным, как убедил нас в том автор, саморазоблачением отрицательного персонажа. А каждый, всегда неожиданный исход эпизода, как правило, завершается новым направлением развития действия, рисующим новую ступень нравственного падения Турсунова. Так в цепи неожиданных развязок отдельных эпизодов проявляются все новые и новые закономерности в движении характеров.

Особенно ясно выступает специфика дарования С. Азимова в киноповести «Листок из блокнота» (снова прозаическая жанровая характеристика произведения, настойчиво сближающая драматургию с прозой, причем с прозой публицистического характера).

В киноповести С. Азимова, созданной им в соавторстве с Н. Рожковым, оригинально интерпретируется, казалось бы, общеизвестный сюжет о ходоках к Ленину. Узбекская семья (муж, жена, маленькая дочка) через всю взметенную революци-

ей страну добирается к Ленину и получает на память о беседе с вождем «листок из блокнота» с написанными на нем рукою Ильича словами о том, что правда большевиков вечная и эта правда победит.

И перед читателем предстает процесс трудной победы ленинизма в жизни и сердцах узбекских дехкан, идущих от феодального строя непосредственно в социализм, пробиваясь через кровь, смерть и вековые предрассудки ислама, обретая в жестокой битве за справедливость высокое счастье борцов-победителей. Киноповесть эта многоаспектна и многогеройна, но центральное место в ней занимает противоборство двух сил: представляющего идеалы трудового дехканства ходока к Ленину Камиля Рустамова и товарища его детских игр и юношеских стремлений, отпрыска «хозяев» кишлака Марданбека. И хотя родители покупают в жены Марданбеку любимую девушку Камиля и Гульчехра родит баю дочку, но и жена и дочь уходят к бедняку Камилю, ибо ему принадлежит то, чего нельзя купить за деньги, — любовь женщины и ее ребенка.

На протяжении всей киноповести длится борьба двух начал — самоотверженности и себялюбия, представленных Камилем и Марданбеком. Казалось бы, при всей своеобычности методов этой борьбы ситуации в ней общеизвестны и типичны.

Но нет! Это лишь излюбленный поворот С. Азимова — уверив героев и читателей, что впереди банальный исход общеизвестной ситуации, тут же показать: не так-то все просто!

В то время как Рустамов, убежденный в том, что Марданбек «убил в себе волка», мирно беседует с ним, раздается выстрел, и Камиль падает раненый. Правда, как выясняется, стрелял-то не Марданбек. Но тот, не обинуясь, выговаривает сообщнику за излишнюю поспешность; его, Марданбека, планы идут куда дальше убийства сельского активиста...

И, если можно упрекнуть автора, раскрывшего изощренную деятельность врага, то только в излишней затяжке, с какой изображается его неприглядная карьера. Надо отметить, что в естественной для него среде басмачей он выглядит убедительней и страшней, чем в роли гитлеровца или зарубежного заговорщика.

Книга С. Азимова дает отчетливое представление о творческом лице автора времени 60-х—70-х годов. Определенная и целостная по типу и характеру, она представляет собой пример интернационального по смыслу и содержанию творчества, в то же время глубоко уходящего корнями в родную национальную почву. Сознательное преувеличение в обрисовке романтизированных героев и персонажей, остроконфликтное построение сюжета, порою преобладание черно-белых цветов, резкое разграничение добра и зла — отнюдь не стилизация, а внутренняя закономерность творчества С. Азимова, за плечами которого и яркое многоцветие восточно-классической поэзии, и четкая очерченность «деловой» прозы «Бабур-намэ»,

внутренне переключаящейся и с русской повествовательной традицией. Читатель «раннего» С. Азимова будет с интересом ждать новых книг этого своеобразного автора.

З. КЕДРИНА

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Альгимантас Зурба. Земля родниковая. Повести и рассказы. Перевод с литовского Д. Кийв. М. Изд-во «Молодая гвардия». 1983



Новой жизни обычно дается новое имя. Но, когда в деревне Шалтуне объединили лошадей и коров и выволокли из сараев весь инвентарь, что было началом новой, непохожей на прежнюю жизни, деревне все же оставили старое имя — Шалтуне, родник.

Родник, хлеб, земля... доброта — это вечно, не будем спешить отказываться от того, чем наградила нас мать-природа, как бы хочет сказать этим зачинном писателе, и эта мысль объединяет все рассказы и повести сборника. Но действие в них происходит уже позднее, в ту пору, когда через Шалтуне прошел газопровод и деревня стала превращаться в поселок городского типа, а возле нее возникло водохранилище. Перемены коснулись, естественно, не только быта, но и всего образа жизни — в деревне вырос городской многоквартирный дом, в нем не станешь уже держать ни свинью, ни корову. Появились приезжие люди, новые специалисты. Потихоньку стала меняться сама структура жизни. Кто-то покинул Шалтуне, кто-то попробовал прижиться на стороне, но вернулся домой, а кто-то покатил перекасти-полем дальше. Менялся весь ритм существования крестьянина.

Все, что происходит в Шалтуне, писатель показывает через ее обитателей, через перемены, которые происходят в них самих. Мы не видим, как тянут газопровод, но видим, как мечется, как мучается старый Липнейка: рано или поздно ему придется расстаться со своим конягой Жальгирисом — газопровод пройдет через то место, где стоит его халупа, а в городскую квартиру коня не потащишь («Все весной»). И Ромас женится не на односельчанке, а на газопроводчице Ванде, которая резко меняет жизнь семьи Янкунасов («За плотной беснуется моторка»). А Гите Стайпус становится строителем, то есть сам круто порывает с прошлым («Проклятые пчелы»). Хорошо или плохо то, что происходит в Шалтуне, автор прямой оценки не дает: такова жизнь! Его занимает в первую очередь то, что происходит здесь с человеком. И вместе с тем оценку событий не трудно вывести из его отношения к герою, которое почти всегда предельно ясно, хотя совсем неоднозначно. Так первоначально возникающие симпатия и жалость к старому Липнейке сменяются раздра-

жением, смешанным с безразличным удивлением: не так-то просто и беззащитен, оказывается, этот несчастный, каким кажется поначалу. Постепенно начинаешь понимать его жену Анусю, натерпевшуюся от него «за то, что он не сумел сделать ее счастливой», и доведенную до того, что она готова спать в свой собственный постылый дом. Жесточая, противоестественная форма протеста не столько, может быть, против Липнейки, сколько против всей вековой тяжести крестьянского труда, подчеркивает крайнюю степень ее отчаяния. На этом фоне становится понятным резкое движение Ванды, сбрасывающей свадебную фату («Отцепи мне эту штуку, мешает») и запевашей песню, каких на свадьбах не поют, или носящейся по водохранилищу на моторке... Душно ей в этом старом размеренном мире. Это понимает даже свекровь. «Здесь ей тесно, ты бы отпустил ее, а, Ромас?» — говорит она сыну, преследуя, правда, свои цели — девчонку эту, пришедшую в Шалтуне из другой жизни, не взнуздать, не лучше ли отпустить, пока не перебалаламутила все село.

Нельзя сказать, однако, что молодые, в книге противопоставляются старикам, что старики — всегда приверженцы старого, а молодые — нового. Инас Янкунас («За плотной беснуется моторка») раздумал помирать, когда увидел, как у самого двора разлилось озеро! «Пожить еще надо, поглядеть, как оно будет». А Альгис Галвонис понимает старуху Габре Ясюнене куда лучше, чем своих сверстников — ее внуков, истребляющих, как саранча, вишневым сад. Что роднит, что сближает здесь старого и малого? Почему «они оба чувствуют одинаково»? Значит, и возраст здесь ни при чем, и чужое семья оказывается ближе своего? В чем же дело? А очень просто: посмотрите, как осторожно, бережно выкладывает Альгис хлеб на стол. «Так обращался с хлебом лишь ее, Габре Ясюнене, родной отец, растивший целую кучу детей».

Родник, хлеб, земля, доброта — ценности вечные, что должно быть понятно каждому, независимо от возраста. Новое должно вбираться в себя лучшее, что есть в старом, разрушая или отказываясь от худшего в нем.

Но процесс рождения нового не легкий и не скорый. Это видно по тому, что происходит с Гите Стайпусом («Проклятые пчелы»), бывшим батраком и сыном батрака, а ныне прорабом строительной бригады. Он просто не может видеть, как его соседи, вернувшиеся в деревню после тридцатилетнего отсутствия, устраиваются на старом месте, как молодича Эугения Добилене уверенно поднимает дом, выросший в землю, как зацвели подсолнухами выкрашенные Эугенией стены, но главное — пчелы! — четыре улья появилось перед домом Добиласов. Сложные чувства завладела Гите Стайпусом — страсть к красавице Эугении, восхищение ею, тем, как заветела она дела, и зависть; презрение и чувство мстительного превосходства над Анце Казене, свекровью Эугении, переселившие благодарную память о том, как эта самая Анце, его быв-

шая хозяйка, устроила когда-то его счастье с Рутей. Но злорадство берет верх над чувством благодарности: теперь Анце приглядывает за его, Гите, свиньями, когда ему нужно отлучиться. А все из зависти, она прямо-таки залихват Гите: «Проклятые пчелы... Проклятые люди!.. Пстой, гады, мы еще увидим, кто кого!» Пожалуй, это уже не вековая зависть бедного к богатому, слабого к сильному. Это зависть к тому, кто оказался жизнеспособнее, хитрее, удачливее. Есть в этой зависти что-то дремучее, неистребимое. Но подумаем вот о чем: позволил бы себе Гите Стайпус раньше, когда, к примеру, батрачил, украсть чужую, но принадлежащую ему краску (чтобы перепродать ее Эугении)? Вряд ли. Он тогда хорошо знал, что чужого брать нельзя. А сейчас позволяет. Почему? Гите уже не крестьянин, но еще и не рабочий. Он человек промежуточный, и психология у него человека промежуточного. С одной стороны — сильные еще чувства собственника, а с другой — он уже перестал ощущать себя хозяином, хотя и повторяет на каждом шагу: «Человек — земле хозяин». Понятие же рабочей чести у него еще не сформировалось. Потому и кричит он «Проклятые пчелы!», что пчелы для него уже не символ трудолюбия, а баловство (никто в Шалтуне теперь не держит пчел), роскошь, которую он себе позволить не может хотя бы потому, что изменился род его занятий, что он оторвался от земли. При внешней прочности, стабильности жизни Гите на самом деле самоощущение его зыбко и неустойчиво.

Гите Стайпус так же непривлекателен, как и осколок прошлого Анце Казене (прошлое держит его пока так же цепко, как и Анце), как и Эугения — тоже человек промежуточный — с ее отлично развитым хватательным рефлексом, как и Эразий Куокштас («Когда приходит чужой»), оторвавшийся от одной жизни, но не пришедший к другой. Он ко многому равнодушен, его представления о нравственности весьма относительны. Не случайно именно Эразию поручают делать то, чего других не заставишь — срыть фундамент чьей-то снесенной избы, — ему ничего не жаль, ему все «трын-трава».

Психология промежуточного человека, пожалуй, занимает автора больше других проблем.

У Зурбы есть рассказ «Крисюс», лучший, по-моему, в сборнике, отмеченный тонким психологизмом. Речь в этом рассказе идет о старике Крисюсе, непревзойденном мастере колоть свиней. Дело, конечно, кровавое, но необходимое и естественное в крестьянской жизни, поэтому, как всякий мастер, Крисюс делает его с великим умением, ибо считает, что главное в нем — не причинить ни животному, ни хозяевам лишних мучений. И вот однажды он увидел себя чужими глазами — глазами своей приезжей снохи, он услышал, как она, отмывая пятнышко крови на его телогрейке, подавляет рвоту. Что-то нарушилось в Крисюсе, он потерял уверенность, боясь снова встретить «странных, полный невысказанного страха взгляды» снохи. В конце концов Крисюс упал в тос-

ку, ушел жить на озеро, но и там его преследовал жуткий визг скотины, которую режут неумелые руки.

Думается, что многие рассказы писателя — это своего рода предостережение: будьте осторожны, не спешите разрушить то, что вам не по душе или чего вы еще не понимаете, всему свое время. И в этом смысле программным мне кажется в книге рассказ «Звезда Иеронимаса Грязуде» — о старом мастере, резчике по дереву.

Когда настало время снести и его сарай, к Иеронимасу приехал сам председатель колхоза. Он долго рассматривал дубовых идолов, обитавших в сарае, и «искренняя, чистая благодарность» к старику охватила его. Он понял, что нужно новой Шалтуне — ее главную площадь должна украсить деревянная скульптура Иеронимаса, и ничто иное. «Может, попробуешь?» — спросил председатель. Долго думал старый мастер и ничего не мог выдумать путного — слишком мало времени ему ответили, «не успело еще все в сердце войти». «Понимаешь, я еще не вижу всего. Это должно само прийти, незаметно. Без принуждения, что ли».

И наконец придумал: «Пока что посадим яблоньку. Посмотрим, как примется. Погодим». И председатель понял Иеронимаса и согласился. Так заканчивается этот рассказ-притча, последний рассказ сборника. Думается, что председатель Шалтуне был мудрый человек, он хорошо знал, что всему свое время.

Э. МОРОЗ

ВЕСТИ О СВОБОДЕ

Н. В. Минаева. Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX века. Саратов. Издательство Саратовского университета. 1982



В книге Н. В. Минаевой прослеживается взаимодействие русской и польской общественной мысли в период после поражения Наполеона. В эти годы в Варшаве начала свою деятельность русская имперская канцелярия во главе с Н. Н. Новосильцевым. В русско-польском окружении канцелярии оказалось немало вольнолюбивой молодежи, в том числе и будущих декабристов. Именно из этой канцелярии в Варшаве вышла «Конституционная Хартия Польши 1815 года», которая содержала критику деспотического режима, конституция, основанная на идее народного управления. Она стала самым демократическим документом посленаполеоновской Европы. Там же была подготовлена и конституционная хартия для России — «Государственная уставная грамота 1818 года». В условиях нарастающей внутри России реакции она не увидела света, но история ее подготовки, содержащееся в ней отрицание самодержавной идеи, наконец, обна-

родование ее усилиями польских повстанцев в ходе восстания 1830 года — все это свидетельства интернациональной солидарности русской и польской прогрессивной общечеловечности. Вводя в научный оборот этот малоизвестный документ, автор книги заостряет внимание читателя на вопросе об авторстве конституционного проекта. В книге приведены убедительные аргументы в пользу П. А. Вяземского. С именем Петра Андреевича Вяземского, этого «декабриста без декабря», как называли его исследователи, в круг затронутых в книге проблем входит вопрос о роли прогрессивной дворянской молодежи России в польских событиях накануне восстания декабристов.

Прежде всего привлекает внимание сама фигура П. А. Вяземского, одного из самых близких друзей А. С. Пушкина. О жизни и деятельности его в Польше — до книги Н. В. Минаевой — известно было очень мало. К 1818—1819 годам относится замысел Вяземского и декабристов — Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова — основать в Варшаве русский журнал с целью пропаганды передовых идей своего времени.

Н. В. Минаевой привлечены неизвестные ранее материалы, подтверждающие намерения декабристов повлиять на общественное мнение Польши. «Тебе надобно собрать сотрудников, из коих один решится, может быть, на сие дело», — писал М. Ф. Орлов П. А. Вяземскому. — Он наш, арзамасец, а именно Никита Муравьев. Он недавно оставил службу и, сколько я знаю, горит желанием быть полезным. Я, Николай Тургенев, Дашков, Сергей Тургенев в Царьграде, Блудов в Англии и прочие арзамасцы будут твоими сотрудниками». Периодическое издание, замышляемое в польской столице, могло бы иметь громкий резонанс в Польше и России. Но канцелярия Новосильцева оказалась под бдительным оком охранителей правительственного порядка.

Автору книги удалось так же найти неизвестный до настоящего времени автограф, принадлежащий Вяземскому, «Мой сон о русском журнале». Он найден в фамильном архиве Вяземских — Остафьевском и содержит намерение «действовать на общее мнение, образовывать язык, приохотить к нему (журналу. — Л. П.) женщин и, наконец, дать состоянию писателей законное существование, признанное покровительством правительства и уважением общества».

Увлечателен в книге рассказ об истинном направлении известного литературного общества «Арзамас», куда входили Вяземский и его друзья. Замысел издания журнала в Варшаве хорошо вписывается в общую систему просветительских начинаний «Арзамаса». На рубеже 1817—1818 годов «арзамасцы» приняли решение участвовать в государственной службе и использовать ее для проведения в жизнь просветительских идей. Разделяя намерения своих товарищей и переходя на службу в Варшаву, П. А. Вяземский обратился к ним с посланием «Прощание с халатом». Прощаясь с «арзамасской буффонадой», он стремился пробудить в своих товарищах

стремление отдать свой дар на пользу общества. Интересны новые факты о контактах П. А. Вяземского с поляками, находящимися на русской службе. В Остафьевском архиве сохранились документы, подтверждающие это.

Н. В. Минаева приводит отзыв одного из сослуживцев П. А. Вяземского — поляка И. Фавицкого — на нашумевшее в то время стихотворение П. А. Вяземского «Негодование»:

«...Какая сила! Какое негодование! Однако не скажу: какая злоба! Ее тут не нахожу и не советую вам ни обещать, ни питать ее никому. Спасите от нее последние три стиха... Не знаю, какой смелый цензор позволил вам спрашивать: где граждане? Поэтому и нахожу вам заметить, что граждане отечества не то говорят, что вы хотите... Какая прекрасная пьеса! Темная и страшная! Уж верно, мы не увидим ее печатной! А Впрочем, не худо бы ее выровнять и в некоторых местах развязать... Она не пропадет и пойдет далеко!»

Интересно, что реакция русских друзей Вяземского была близка той, которую высказывал польский его единомышленник. Передавая «Негодование» своему другу декабристу Николаю Ивановичу Тургеневу, Вяземский советовал ему «взять один список с собой в дилижанс... Только не доходить бы ему (Н. Тургеневу. — Л. П.), таким образом, от Петербурга до Москвы и далее, как Радищеву».

Оппозиционные взгляды Вяземского во время его пребывания в Варшаве, как убеждает исследование Н. В. Минаевой, углублялись по мере работы над «Государственной уставной грамотой», его доклады русскому царю Александру I не приносили желаемого результата. Дело подготовки русской конституции затягивалось, и наконец она была вовсе положена под сукно, а сам Вяземский отозван в Россию, где его ждала уже совсем иная служебная карьера.

О «Государственной уставной грамоте» стало известно значительно позже, в ходе польского восстания 1830 года. В руках варшавских революционеров оказались материалы имперской канцелярии Новосильцева, в том числе и конституция, предлагающая ввести представительное правление в самодержавной России. В книге Н. В. Минаевой восстановлена история обнародования революционным повстанческим правительством этого любопытнейшего документа на польском, русском и французском языках.

Правительство Николая I предприняло решительные меры, чтобы уничтожить «Государственную уставную грамоту» и все следы ее распространения в Польше. Книга была изъята из продажи, все собранные экземпляры привезены в Москву и сожжены в арсенальном дворе Московского Кремля. Рукопись же самого документа, отнятого у польских повстанцев, помещена в Государственный архив под строжайшим надзором смотрителей.

Однако никакие царские запреты и заповеди не смогли помешать распространить этот документ в среде прогрессивной общечеловечности России и Польши.

Русская конституция была перепечатана с сохранившегося у кого-то из частных лиц экземпляра и вышла отдельным изданием сначала в Париже в 1859 году, а в 1861 году ее издал А. И. Герцен в Лондоне. Позже, в 80-е годы, она выходила в русских исторических журналах, а также в зарубежных периодических изданиях. Н. В. Минаевой собраны убедительные свидетельства о хождении этого документа и в русском обществе. О его существовании хорошо знали декабристы, имеющие широкий круг друзей и знакомых в Москве, Петербурге, Варшаве, Париже и Лондоне. Глава Ордена русских рыцарей — преддекабристской организации — М. Ф. Орлов также знал об этом документе. Факт широкой известности «Государственной уставной грамоты» в свете нового исследования Н. В. Минаевой становится очевидным.

В книге убедительно показано единство освободительных устремлений, общность социальных целей в борьбе с самодержавием. В этом и заключен замечательный исторический пример революционного интернационализма, о котором писал В. И. Ленин, оценивая восстание 1863—1864 годов: «Традиции борьбы за национальное освобождение были так сильны и глубоки, что после поражения на родине лучшие сыны Польши шли поддерживать везде и повсюду революционные классы».

Л. ПУСТИЛЬНИК

НОВАЯ ВСТРЕЧА СО СТАРЫМИ ЗНАКОМЫМИ

Константин Лордкипанидзе. Волшебный камень. Роман. На грузинском языке. Тбилиси. Изд-во «Сабчота Сакартвело». 1984



Эта книга была долгожданной, видимо, не только для меня, но и для многих читателей. Еще два десятилетия назад мы впервые встретились с героями, подарившими нам радость проникновения в необычайно сложный и значительный жизненный мир. И вот у нас в руках первая книга романа «Волшебный камень».

Мы уже хорошо знаем, что Константин Лордкипанидзе подолгу и весьма кропотливо работает над своими произведениями, часто возвращается к ним даже после публикации — правит их, что-то добавляет, тщательно шлифует. Претерпели изменения по сравнению с предыдущими изданиями и отдельные части «Волшебного камня». В какой-то мере изменился даже аспект осмысления некоторых жизненных явлений, они представлены с большей напряженностью и драматизмом, откровеннее обнажены нерв некоторых проблем, острее пережита боль.

Мне думается, не случайно именно в 70-е годы Константин Лордкипанидзе заново увлекся работой над «Волшебным кам-

нем». Эти годы были для писателя особенно плодотворными. Он подряд опубликовал три книги «Хроники сельской жизни» («Что произошло в Абаше», «Горько вернулся в горы», «Золотая кисть»), рассказы и публицистические статьи, а теперь вот и «Волшебный камень».

Константин Лордкипанидзе — писатель, наделенный политическим чутьем и гражданским чувством, хорошо осознающий свой долг перед эпохой, перед народом. Он постоянно в гуще событий, он всегда настроен на поиск доброго и светлого в жизни. (Хотя это вовсе не порождает одностороннего восприятия мира. Глаз художника нацелен в одинаковой степени на добро и зло, и оба эти начала всегда в жестоком единоборстве, отсюда и тот драматизм, который пронизывает его романы и повести.)

Как говорит сам писатель, для него существуют два святых образа: кровь, оросившая поле брани, и пот, пролитый в труде.

Если три произведения Константина Лордкипанидзе «Заря Колхиды», «Волшебный камень» и «Хроники сельской жизни» представить как единый цикл, станет ясно, что в его творчестве отражены основные этапы развития грузинской советской деревни. Вот почему его смело можно назвать художественным летописцем сельской жизни Грузии.

Для писателя советский образ жизни единственно возможный. Он не просто верит в него — он прирос к нему сердцем, что со всей очевидностью проступает и в «Волшебном камне». Лордкипанидзе — преданный, верный поборник и пропагандист социалистической деревни. Но это отнюдь не означает, что он изображает идиллические, полные покоя картины. Да и прекрасные свойства души вовсе не подразумевают безмятежного торжества в человеке одного лишь добра. Потому в его произведениях всегда есть борец великих страстей. С этой точки зрения и новый роман «Волшебный камень» органически сочетается со всем ранним творчеством писателя, следует его главной тенденции и развивает ее.

Тематически «Волшебный камень» непосредственно перекликается с «Зарей Колхиды», как бы продолжает ее. То время и те проблемы, которые в «Заре Колхиды» он так разносторонне проанализировал, писатель и в новом произведении разрабатывает так же основательно и впечатляюще, но уже сравнительно более сжато: он довольствуется эпизодическими картинками. В первой книге, состоящей из двух частей («Белые облака» и «Огненное гумно»), действие начинается в двадцатые годы и доведено до Великой Отечественной войны. Но из отрывков, опубликованных на страницах наших журналов, мы знаем и то, что во второй книге действие романа приближается к нашему времени, широко захватывая и послевоенные годы. Таким образом, можно предположить, что это будет обширное эпическое полотно.

«Волшебный камень» — роман многоплановый. Писатель раскрывает судьбы людей разных поколений, и параллельные сюжетные линии, заключенные в один ком-

позиционный строй, создают широкую и ясную панораму жизни.

«Волшебный камень» начинается с пролога («Воспоминания»), который знакомит нас с писателем, замыслом, дает ключ к его пониманию.

...В одну темную, безлунную ночь сидят в Ширакской степи у огня погонщики и слушают сказку о волшебном камне. «Сказка кончилась, но ночные погонщики все так же задумчиво сидели у огня... Наконец один из них вздохнул и сказал: похитить бы этот волшебный камень.

— И что бы ты пожелал? — спросил другой.

— Что пожелал бы? Ведь сколько всего надо, а он дал бы нам буйволов, помог бы нам распахать и засеять всю Ширакскую целину!»

О том, как сбылась эта мечта, и написан роман. Пришло время, когда она стала для грузинского крестьянина доступной и осуществимой. Это был итог большой самоотверженной борьбы, которой сопутствовали тысячи трудностей, сомнений. И не с помощью быков и буйволов, а тракторами и комбайнами осуществлялась вековая мечта. Хотя и ценой не только огромного труда, но и жертв. Но самым главным было то, что и борьба, и усилия эти были проникнуты и вдохновлены большой идеей, верой и надеждами.

И сейчас еще в жизни села немало трудностей и нерешенных проблем — на каждом этапе развития свои сложности. Писатель не закрывает глаза и на это. Он хорошо знает цену человеческим достижениям и человеческому счастью. Источник, питающий творчество Константина Лордкипанидзе, — великая правда жизни. «Волшебный камень» написан о глубоко изученном и познанном. Писатель еще раз убедил нас в том, что в таком скрупулезном освоении проблем и доскональном знании грузинской деревни ему нет равных.

Первая часть книги — «Белые облака» — посвящена жизни кахетинского края двадцатых годов. Показанная крупным планом молодая пара — Сосана Кабанашвили и Матико Арабидзе — явно не похожа на героев той эпохи, какими мы их знали по литературе, в том числе и по книгам самого Константина Лордкипанидзе.

Ну, как сравнить, допустим, Сосану Кабанашвили, задавленного жизнью калеку, оставившего здоровье на Трапезундском фронте, да и здесь не имеющего средств к существованию, и, например, Бичию Пурцхванидзе из повести «Мой первый комсомолец», одержимого страстным желанием бороться за строительство новой жизни, нового мира, молодого человека, полного сил, убежденного в правоте своего дела. Если что и объединяет их, — это внутренняя душевная потребность сеять добро в меру своих сил. Хотя это не так уж мало.

В том же селе жила и бедная крестьянская девушка Матико. Она ютилась у родственников, работала, не переводя дух, только бы кусок хлеба не застрял в горле от попреков. Да и кого еще легче было обидеть, чем ее?.. И только доброе сердце Сосаны прониклось сочувствием к та-

кой же, как и он, обделенной жизнью девушке. А еще он заметил, что огромные голубые глаза Матико всегда так испуганно моргали, будто кто-то «только-только прервал ее глубокий сон и она еще не понимала, где находится и что вокруг делается... Такие глаза мужчины легко не забудет». Совсем проста и бесхитростна та помощь, которую Сосана оказал Матико, но эта поддержка и была тем знаком добра, сочувствия и человеческого тепла, которые и в самом деле способны творить чудеса.

Так найдут друг друга две чистые и светлые души. Так загорится на этой земле еще один счастливый очаг. Заброшенный двор и заколоченная прежде развалюха с возвращением Сосаны наполняется светом и радостью, а выросшая (и то из милости) в чужом доме Матико согрета теплом собственной семьи, своего дома. Но самым большим счастьем для Матико и Сосаны было то, что они теперь вместе и могут, сидя на разостланной под дикой грушей рогожке, вдвоем любоваться разноцветными диковинными облаками в небе.

Пора испытаний и переживаний неизбежно наступает каждого в этом мире. Придет эта пора и для Сосаны и Матико. Счастливый Сосана, движимый добрыми намерениями, пошлет Матико учиться грамоте — чтобы не скудела благодать в бедной избе... Однажды заболевшего старого учителя заменил Тома Амашукели, бывший московский студент приятной наружности и с хорошо подвешенным языком. Матико невольно обратила внимание на его холеную внешность. А дома она впервые вдруг заметила, что у мужа багровая, огрубевшая, как древесная кора, изборожденная преждевременными морщинами бургистая шея.

С того дня Матико про себя начала называть незнакомого молодого человека «сыном белых облаков», и порой в сердце женщины вдруг возникало страстное желание «подойти к Тома и хоть на секунду, всего лишь на одну секунду, ласково прикоснуться к этой умопомрачительной белизне... Ей казалось, что от этого ее душа и сердце преисполнятся какой-то волшебной силой».

Так жила в своих грезах Матико, мучаясь как в тифозном бреду, пока словно по воле providения это желание не исполнилось. В тот же миг Матико очнулась. Она стала свидетельницей подлости Тома. Она ждала чуда, но вместо чуда ей явилось ничтожество. Хуже того — кто только не пинал Матико на протяжении ее безрадостной молодости, но такого унижения она еще никогда не испытывала. Ее чистая душа, сродни прозрачному горному роднику, не может примириться с той грязью, с которой соприкоснулась в силу рокового мгновенного безрассудства. Выход для нее только в раскаянии. Она сама все расскажет Сосане и, никого не обвиняя, полностью возьмет бремя вины на себя.

С поразительной силой написаны эти значительные для романа страницы. Сосану «ужаснула такая беспощадная к себе искренность женщины, ее святешая чистота, сила ее мольбы». И все же он, пот-

рысенный, не в состоянии сразу же понять этот крик измученной души.

Матико была убеждена, что «большая любовь отличается большим великодушием»; но это, видимо, как талант, удел людей незаурядных. Сосана в этом смысле тоже оказался не бездарен, но очнулся он несколько позднее. Сразу же он не сумел многого понять, не смог преодолеть мужского самолюбия — и опоздал. Матико «вышла из дому и исчезла бесследно, словно женщина эта была лишь одним из клочьев тумана и больше ничем...»

Константин Лордкипанидзе уже в самом начале романа не только внушил нам страдание к жгучим человеческим страстям, он не только глубоко проник в психологию героев, но и, что главное, по моему убеждению, будто высветил чистоту человеческих отношений, прибегая к поразительно живым, естественным краскам, не исключая и символики.

Этой трагической историей большой человеческой любви начинается роман, и свет ее насквозь пронизывает произведение. И мотив горького урока звучит не только для Сосаны или Матико, но и для других героев, которых автор постепенно вводит в роман. Это Захарий и Анука Надирадзе, их сыновья Леван и Георгий, Манучар и Магдана Угрехелидзе и их дочь Гогола, Коля Дубов, Симон Чохели и другие. Но зло бытует на этом свете и часто даже торжествует, гнездясь в человеческих душах, распаясь в них, находя себе там опору.

Так постепенно «заселяется» роман, но в центре внимания постоянно остаются Сосана и Матико, в первых главах вместе, а потом, пожалуй, одна Матико, поскольку именно ее выводит писатель на главную арену жизни.

Интересен не только полный гражданственности образ Матико (ее неброская самоотверженность ради общего дела и сердце, преисполненное любви к односельчанам-труженикам), интересен и тот жизненный путь, который проходит героиня. Писатель раскрывает сложный процесс формирования личности, показывает почти непреодолимые трудности, которые Матико в своей непримиримости и потирающей целеустремленности оставляет позади. Судьба привела ее в сельсовет родной деревни, сделала ее пусть и рядовым, но поборником новой жизни, одним из тех, кто сам закладывает основы этой новизны.

Потому и читатель, с первых страниц покоренный обаянием героини, проникается сочувствием и симпатией к ней, и чувство это не оставляет его до самого конца. Только, к сожалению, этот «конец» наступает очень скоро — с финалом первой части романа Матико Арабидзе расстается с нами уже окончательно.

Расставание с такой личностью в романе кажется преждевременным и как бы неоправданным. Этот образ в романе рельефен, по-своему даже монументален. И, возможно, именно поэтому мы ждали и, видимо, предпочли бы, чтобы героиня оставалась в произведении до последних его страниц. Автор распорядился иначе: он превратил героиню в символ новизны, све-

та, чистоты — таким вошел ее образ в наше сознание.

Вместе с уходом Матико Арабидзе лирическая и романтическая струя в романе будто иссякает. Его вторая часть — «Огненное гумно» — посвящена художественному отображению реалий деревенской жизни. Мы становимся свидетелями на полненных трудом будней сельчан, преодоления сложностей, поражений и побед. Противопоставление Симона Чохели, семьи Надирадзе и других лагерю «Красного Дата» становится все более явным и обостренным, но все же это, видимо, лишь подготовка к главным сражениям, и, чтобы разобраться во всем этом, мы с нетерпением ждем второй книги романа. Надеемся, что на этот раз ожидание будет не столь долгим...

ГУРАМ ГВЕРДЦТЕЛИ

ОГОНЬ НАД ЧЕРНЫМ БРОДОМ

Олег Чухонцев. Слуховое окно. Стихи. М. Изд-во «Советский писатель». 1983



меющееся, радостное лицо. Ясный, чуть ввысь взгляд. Трогательно юная неровность, неправильность обнаженных в улыбке зубов. Провинциально застегнутая на все пуговицы — перед объективом — рубашка. Темные, непокорные волосы.

Пять стихотворений и литературно-критическая статья никому еще не известного молодого автора в одном из номеров «Юности» за 1962 год. «Это мы!» — вот так отчетливо, манифестально заявляет этот свое поколение. «Олегу Чухонцеву 24 года. Он только что окончил Московский областной педагогический институт. Дважды был со студенческими бригадами на целине». Вот и вся биография, предпосланная этой, первой публикации О. Чухонцева в «Юности», после которой миновало уже двадцать два года — почти столько, сколько было поэтов в те многообещающие времена.

Новая книга. Вторая (о первой — «Из трех тетрадей» — много говорилось в критике) за все эти годы. Чуть настороженный за очками взгляд, не открытый в небеса, как на той, юной фотографии, а обращенный прямо на читателя, на современника. Определенная сухость. Жесткая линия губ. Закрытость. Неконтактность. Результат пуги? Усталость? Да, и это, конечно. В эти двадцать-то два прошедших года немало чего уместилось. За это время мог бы родиться и созреть новый поэт, и вот он сейчас уже выступал бы со своим, новым манифестом...

Не выступил.

А что же тогда? А тогда брожение, юность, первая подборка в эпоху бурного читательского интереса к другим.

Его, О. Чухонцева, поэтическое пространство еще оставалось как бы за стихом, угадывалось за строчками.

Только сейчас, исходя уже из нашего современного знания стихов поэта, мы можем реконструировать эту тайнопись, эти знаки будущей поэтической судьбы. А тогда, может быть, они не были вняты и самому начинающему:

И стояли за ним и за мной —
Черный брод.
Два огня над водой.

Захлеб доброго и жизнерадостного первого чувства сменился теперь иным: чувством, подвергнутым тщательной, серьезной интеллектуальной перепроверке, которая, как оказалось, его не исчерпала, а подтвердила и углубила:

Нет, не любовью. видно, а бедою
выстрадываем мы свое родство,
а уж потом любовью, но другою,
не сознающей края своего.

Образы дома, семьи, рода складываются в единый метаобраз «своих». Будничные семейные заботы и работы. Скромные жанровые картины — копание картофеля, например. Прелесть теплой домашности, осмысленной в декабрьском мире как своеобразная ниша (Чухонцев тем самым явно наследует «домашние» мотивы поэзии О. Мандельштама: «Мы с тобой на кухне посидим. Сладко пахнет белый керосин...»). Брезжащее спасение. Бутылка — так непременно «домашнего» вина. Если дом, то «старый деревянный». Тут же «трескучая печь». Рядом родные и близкие. Идиллия? Как бы не так... «Черный круг! — А это дуло репродуктора зевнуло, вырвав из белесой мглы тетю Маню под иконкой, тетю Олю с похоронкой, дядю Яшу без ноги». «И где моя судьба в судьбе народной, и что со мною станет-ся и с ней» — постоянный вопрос поэзии О. Чухонцева. Место поэта в пространстве мира — не над действительностью; не с орлиной выси озирает он ее, как, скажем, поэт того же поколения Ю. Кузнецов: «Обнимая незримую высь, на ходу расточаясь широко...» Нет, у О. Чухонцева все гораздо незатейливей, скромней, и, казалось бы, много проще. Ни «незримых высей», ни орлиных полетов — проходная комната, старый посадский дом да осенние поля, да родное болото... Место поэта — внутри кольца «своих», к которым сердце поэта приросло с болью:

Ах, не ты ли — какими судьбами —
счастье русское? Как бы не так!
Сапоги оторвало с ногами.
Одиночество свистит в кулак.
И тоска моя рыщет ногами.
как собака, и воем во мрак.

Один из важнейших смысловых, программных эпитетов у О. Чухонцева — «бедный» и его синонимы. «...Кто нищ, бездомен и гоним, он, прах гребущий по дорогам, как Иов, не оставлен богом, но ревностно возлюблен им», — таков у О. Чухонцева парафраз библейского «блаженны нищие духом»... Четверостишие, расшифровывающее смысл названия сборника, начинается словами: «...А бедный художник избрал слуховое окно...» В одном из программных стихотворений, «Проходная ком-

ната», читаем: «...станет совестно доброго взгляда одинокой и бедной старухи, и увижу, что нету богатства, кроме нашего бедного братства...» Но мир поэта именно в «бедности» своей обладает самыми высшими ценностями — «нету платы иной, кроме хлеба, нету правды другой, кроме неба!».

Из первой книги перешло во вторую стихотворение «Этот город деревянный на реке...», где О. Чухонцев попытался нарисовать идиллию, пастораль, возможную при большей удаче:

И представивши: так же сложится судьба,
как из бревен деревянная изба;
год по году — не пером, так топором —
вот и стены. вот и ставни. вот и дом.

Но эта, написанная с грустной улыбкой несбыточности иллюзия дома, которому не страшна будет «стужа из окон», эта жажда тепла и надежного дома уже тогда была «сослагательной». Стихотворение о теплой избе, о «деревянном отечестве» соседствует с устойчивыми мотивами декабрьского холода и стужи:

И присутствие снега и льда
ощущается в зябком дыханье,
и такая вокруг пустота,
что хоть криком кричи в мирозданье.

Лирический герой О. Чухонцева безылюзорно смотрит в глаза реальности. Кто он? Каков он? Скажем так: это сорока — с чем-то — летний человек, чье нелегкое детство совпало с послевоенным периодом, человек из небольшого городка (посада), давно уехавший из него, но сохраняющий постоянную внутреннюю связь с родными (поэма «Свои»). Это человек с обостренным чувством исторической и родовой связи, несущий на своих плечах тяжесть времен и эпох, человек отвечающий (в отличие от такой особи, как «человек безразличный»). Для этого человека вслушивание в голоса предшественников не дань литературной образованности или моде, а поиск духовного примера. Цикл в «Слуховом окне» так и называется: «Голоса» («Каховский», «Чаадаев на Басманной», «Батюшков»). Но что дают эти поиски духовной связи? Ведь исторические итоги были подчас неутешительны; время было «темно и неисповедимо: рано ли — все равно, поздно ли — все едино»; время обречало человека на двоедушие и двуличие: «Как червь, разрезанный на части, ползет — один — по всем углам, так я под лемехами власти влачусь, раззятый пополам» («Чаадаев на Басманной»), время попирало и сам разум человеческий: «...то ли свет, то ли разум потух...» Но, невзирая на глубокую пессимистичность изображенных исторических обстоятельств, в лирике О. Чухонцева отчетливо звучит тема внутреннего сопротивления, тема стойкости, духовного противостояния несломленной личности: «Или пеплом пади в холодеющих высях, только не отплати малодушьем за вызов».

Малодушие, как и равнодушие, характерны для честного, но «мертвого», бездействующего сознания: «дышит — не дышит. Как мертвый лежит», «Господи, сколько же можно терпеть?! Думать — не думать? В обои глядеть?» Реализм лирики

О. Чухонцева подтверждается тем, что поэт в высшей степени внимателен именно к такому лирическому герою, не раздваивающему мановением руки моря и океаны, а тяжело, мучительно переживающему вынужденную пассивность.

Грозящая «бесконечность небития», возможная невозможность выбора («Нету выбора»), многолюдное одиночество души соединены в этом герое с жадной деятельностью («Все равно! Все равно! Ожиданием труда занималась душа — и не видела дела»), а воспоминания о протекшей счастливой, питавшейся открывшимися надеждами юности с трезвым, ироничным, зрелым осознанием бесплодности ее прекраснотных мечтаний:

Друзья дорогие, да будет вам в мире светло!
Сойдемся на зрелости лет в одиночестве тесном.
Товарищи верные, нас не случайно свело на поприще гибельном, но, как и в юности, честном.
Я вас окликаю, хоть нет вас. Быть может, нигде.
Как юности нашей. теперь пребывающей в сетях.
Так что остается в заносчивой нашей нужде?
Коль выпито все, и посуду сдадим напоследях.

За словами у О. Чухонцева стоят не высокопарные поэтические понятия, а конкретные реалии нашей жизни. Естественность и ненарочитость — эстетическое и этическое кредо поэта. О. Чухонцев не будет рассуждать о добре и зле, зато он скажет собрату по поэзии «по-посадским»: «...взрачивай добро, как на грядке редиску». О. Чухонцев принципиально избегает многозначительности, как можно более снижая пафос высоких символов и поэтических формул. Сравним опять с Ю. Кузнецовым. «Полная или пустая, что эта жизнь нам сулит?», восклицает-вопросает он. У О. Чухонцева — явно ироническое отношение к подобным запрограммированным прозреям духа:

...кто меж печатными строками
читал духовными глазами?
И я так паялся порой.

Если у Ю. Кузнецова «явленные поэта не знает своих берегов, идет во все стороны света, щетиня друзей и врагов», то Чухонцев видит место поэта в дружестве — «как вызывающе красивые мы были в дружестве своем». Если у Ю. Кузнецова идет всемирно-вселенский отчет («все чудовища мира ринутся на тебя»), то Чухонцев сочетает рафинированную интеллектуальность с частушечно-посадскими, чуть ли не скомошошми ритмами:

А у Шуры говор за ночь —
Пир ли, плач — пришел Лукьянов.
Яков то есть, на одной.
Шитый-латаный, оглохший,
улыбается, хороший:
на одной пришел домой.

О. Чухонцев порою прикидывается этиким Иванушкой-дурачком, придурковатым увальнем: «Одна беда: садясь за прозу, не тянешь водочки с морозу...». Простодушной прибауткой поэт словно прикрывает самые важные, опорные ценности, немножко подсмеиваясь над невниматель-

ным читателем, стилизуя свою поэтическую речь. Так, «Прощанье со старыми тетрадами», носящее затейливый подзаголовок «Размышления перед трескухой печью и бутылью домашнего вина в старом деревянном доме в Павловском Посаде, где автор родился», заканчивается шутилой присказкой: «Была сметана, будет масло, а если что кому не ясно, я это объясню потом».

Хотя поэт и тоскует по открытости («Какая радость высказаться вслух и за радужные отплатить радушьем!»), мы понимаем, что установка на слово со сдержанным, лишь иногда прорывающимся подтекстом выбрана автором вполне сознательно и, пожалуй, навсегда. Она организуется поэтической образностью Чухонцева («Когда запеваает бор»), выстраивает сжатую композицию его поэтического высказывания. Слова в лирике Чухонцева взаимно освещаются двойным, чуть ли не противоположным смыслом, что и рождает истинно чухонцевскую, тяжелую иронию: «невольник чугунный под сенью свободного дара», «живительная беда», «в одиночестве тесном», «в заносчивой нашей нужде». Это качество поэтики Чухонцева является нам и его этическое кредо («чем круче волна — тем верней, чем хлеще удар — тем чудесней»), его опору на нравственный стоицизм:

Неслыханна эта доля,
живительная беда —
вытягивать поневоле
мелодию в холода...

Перепады серьезного и смешного, скорморошество, поддразнивание читателя, постоянное использование вулгарного просторечия в окружении специально выставленных на обозрение, высокопарных изречений, «высокий штиль», смешанный с низким, — таковы принципы художественной речи О. Чухонцева. Для Чухонцева поговорка ближе, чем пословица, присловье ближе, чем афоризм; сопереживание важнее назидания. Но поговорка, присловие, шутка незаметно приводят к четкому смысловому итогу, нравственному императиву: «Простимся с громкими мечтами, и пусть токуют в фимиаме соперники по ремеслу — пусть их! — а мы, как в поговорке, и от махорки будем зорки, покурим под шумок в углу. Не угождать. Себе дороже...». Его поэтическая мысль идет, как бы приотпывая, развиваясь присказкой, проговариваясь совершенно случайно и необязательно, между делом. «Оборотистый народец — поэты», «строк по триста пилить», «Ошибка вышла. Наших нет», «паялся», «тянешь» — и тут же рядом «рутина», «комфорт», «честолюбивые звонки» — таков широко открытый навстречу устному слову — как просторечному, так и интеллигентскому «арго» — лексикон поэта, не чурающегося улицы с ее возгласами и криками:

И что же? Горячо-морожно!
Попробуй — жить куда как можно.
но петь уже — дерет во рту...

Замечательно точен и лаконичен язык в «Послевоенной балладе», построенной на репликах двух героев. Сила слова испытана поэтом и в «Повествовании о Курб-

ском», где «язвительный слог» мятежного князя уподобляется реальному огню:

О, так вспыхнула речь, так обрушилось слово,
что за словом открылся горящий пролет.

Неприятие формально-поэтического языка и ложной псевдометафоричности, опора на «посадское» мышление (а здесь прежде всего ценят здравый смысл) — все это характерно для книги «Слуховое окно». «Земля тепла, а радость безыскусна, как хорошо, что слов не занимать», восклицает Чухонцев. Но это только одна сторона. Другая — те огоньки смыслов, которые разбросаны по книге и освещают путь читателю-единомышленнику, как огонь над черным бродом. По этим-то огонькам (а не только по здоровой простоте и явной яви), иногда слабым, чуть пульсирующим, иногда обжигающим, и ведет нас поэт к пониманию того, что

...из пропасти лет
всплывает за строкою Эпоха:
— Затмение солнца. Расцвет
поэзии Архипоха.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

ЧТО ЗНАЧИТ: ПЕРЕВОД, ОТВЕЧАЮЩИЙ ОРИГИНАЛУ!

Ахсан Баянов. Другой земли нет.
Стихи. Перевод с татарского Вл. Леоновича. М. Изд-во «Секетский писатель». 1983



Давно прошло время, когда каждый перевод на русский язык рассматривался как событие чрезвычайное: выход на всеобщую арену. Ныне татарские поэты выпускают в центральных издательствах до тридцати поэтических сборников в год. Продавцы жалуются: несмотря на общий книжный дефицит, переводная поэзия идет туго. На полках скапливаются сотни поэтических книг, некоторые лежат годами, пока их не спишут.

Но эту заметили, выделили сразу.

Казанский поэт Николай Беляев ухватил меня за рукав в коридоре Дома печати.

— Слушай, а ведь здорово, черт побери! Нет, ты только послушай! Никогда не думал, что у нас в Казани есть такой замечательный поэт. Куда только вы, критики, смотрите! Или его «сделал» Леонович? Каков он в оригинале?

Мнение Н. Беляева — талантливого переводчика и страстного пропагандиста татарской поэзии — само по себе стоит немало. Кстати, он высказал его и в печати. Я привожу его здесь как показатель того волнения, которое вызвала эта книжка в кругу истинных ценителей поэзии.

Да, книга Ахсана Баянова и в самом деле получилась на редкость цельной, на едином дыхании. Это не сборник, составленный по принципу «сбору по сосенке»,

а именно книга, проникнутая единством личности, единством пристального, с насмешливым прищуром взгляда на мир, единством настроения — полускептического, полупечального, естественного и живого. В стихах чувствуется наше время, когда «от искусственного вещества до искусственного существа человечество дотянулось». Трудно сказать, чего больше у поэта в отношении к этим далеко не новым «приметам времени», искренного восхищения или горечи и тревоги. Ведь даже «глаз овечий в дымке сомнения от искусственного осеменения».

Лирический герой А. Баянова, может быть, и не оригинален ни в своей любви к родной земле, ни в тревоге за то, что «высохло болото и речка стала ручейком», что с пересохших берегов отлетели ласточки и гнезда их в отвесных склонах чернеют, «как раны пулевые». Он, несомненно, оригинален трезвой горечью этих чувств, самосознанием человека, любящего природу и безнадежно оторванного от нее. В одном из стихотворений герой продвигает мысленный эксперимент: уединяется на благословенном острове, «в излучке тихого атолла, иль фьорда...». Здесь в полном и блаженном одиночестве он сколько душе угодно может наслаждаться тишиной и покоем. И что же? Герой испытывает тревогу: им овладевает боязнь тишины. Он уже раскаивается в своем опрометчивом поступке: «И хорошо я раю — да нелюдимо». И вывод — не без усмешки над самим собой — «мне шум и смрад биологически необходимы!».

Поэзия А. Баянова насквозь полемична. Скажем, в стихотворении «Гвозди» есть оттенок поэтического спора со знаменитыми тихоновскими строками: «Гвозди бы делать из этих людей — крепче бы не было в мире гвоздей». Баянов заставляет метафору «гвозди — люди» работать в неожиданном смысле. Их бьют по голове, «да молотком», да так, что искры сыплются из глаз». Забыть, а ну как не туда? Тогда за гвоздодер — «и гвоздь отчаянно вопит, когда обратно лезет». В стихотворении А. Баянова достаточно простая и ясная мысль: вряд ли в наше время роль человека должна исчерпываться тем, что он как гвоздь, пусть даже на нужном месте. «И очевидно, из людей — равно наоборот — не выйдет никогда гвоздей иль гвоздь пойдет не тот...» Шутка? Да, но за ней творческая полемика, поэзия.

Особое очарование придает книге пронизывающий ее, слегка горчащий, как черемуховая ветка во рту, привкус иронии. Что и говорить, качество, довольно редкое в лирической поэзии, а потому особенно ценное.

И тут меня посещает сомнение. Да, талантливо, да, легко, непринужденно. Только Баянов ли это? Я вроде бы знаю поэта по оригинальным книгам и публикациям, и знаю давно, еще с середины пятидесятых годов, и сам не раз писал о нем. И никогда ни я, ни другие рецензенты не замечали за ним склонности к иронии или сарказму. Много писалось о гражданственности и масштабности поэзии А. Баянова, о свойственном ему романтическом па-

фосе, суровой сдержанности чувств... Но усмешка?

Идешь и видишь: землеройка
сидит на веточке ольхи.
и философские стихи
ты пишешь набело и бойко.

Мышонок! Эх, лети, мышонок!
И в ход пошел избыток чувств.
Однако же ольховый куст
так странно трепетен и тонок...

Ну да! — ведь гнет его вода:
весна, разлив — такое дело...
Мысль философскую заело...

Чьи это интонации? Может быть, раннего Заболоцкого, а скорее, «позднего» Леоновича, но только не татарского поэта. И уже напрашивается пассаж о том, что переводчик вправе допускать отступления от буквы оригинала, видоизменять образы, находить новые ритмы, но ни в коем случае не должен менять интонацию...

Однако (еще один поворот руля!) истинная поэзия обладает свойством убеждать независимо от критических силлогизмов. И когда я, уже прочтя переводы Леоновича, вновь раскрыл книги Баянова на татарском (а он автор почти десятка оригинальных сборников), то заметил нечто, чего ни я, ни другие татарские критики до сих пор не замечали. Как уже говорилось, А. Баянов — полемист по натуре. Это сложный поэт, которого надо читать и перечитывать, думать о нем, спорить с ним. Соглашаться не обязательно. Но какой же спор обходится без иронии, сарказма? Пусть не столь явно, не так броско, но это свойство все-таки присуще татарскому поэту. Леонович его учуял! Он ничего не придумал от себя, он лишь подчеркнул, усилил то, что, как на недопроявленной фотопленке, уже имелось в оригинале.

Вот одно из стихотворений А. Баянова в подстрочном (а потому неизбежно корявом) переводе: «Правда в голом виде бывает подчас некрасива (неприемлема, неудобна). И тогда ее укутывают в шелка выдумок, делают ей пышную прическу, навешивают серебряные позументы и золоченые кисти, прикрывают пестрыми узо-

рами (узорчатой тканью). Но (в результате) истина превращается в красивую ложь».

А теперь посмотрим, как раздувает остывшие угли подстрочника В. Леонович:

Нагая истина дурна,
ей счастья не видать земного —
и платье для нее готово.
и одевается она.

На грудь прикалывает брошь,
на шею вешает мониста —
из шелка-бархата-батиста
глядит хорошенькая ложь.

Переводчик не следует педантично за словесной тканью оригинала, позументы и золоченые кисти заменяются брошью и монистами, и истина у него одевается сама, а не ее наряжают. Но ход авторской мысли, иронический пафос и насмешливое настроение переданы безупречно.

Мы часто повторяем, что переводчик — не раб оригинала. Но своими требованиями точного соответствия всем компонентам стиха фактически ставим его в рабскую зависимость. Чуть что не так — искажил! отошел! нарушил! Перевод должен «отвечать оригиналу». Отвечать — да, согласен. Но, может быть, не «оригиналу», а «на оригинал»? Когда я читал сборник Баянова, мне было интересно следить за логикой переводчика, за его толкованием, пониманием подлинника. Недаром же через перевод я открывал в оригинале свойства и краски, которых раньше не замечал. И, что самое главное, у меня вообще не возникло желания спорить с переводчиком, уличать его. Так следишь за игрой талантливого актера, который по-новому трактует давным-давно известную роль...

В незатухающих спорах о переводе то и дело повторяется мысль, что перевод является или должен быть своего рода зеркалом, как можно точнее передающим все (или по возможности все) особенности природы. А если это живое взаимодействие, не просто отражающее, а как бы отвечающее на оригинал?

Прочитав переводы Вл. Леоновича, я утвердился в этой мысли.

РАФАЭЛЬ МУСТАФИН



◆ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Чего не сказал на допросе Александр Бестужев...

Двадцатого апреля 1826 года декабрист Гангеблов сделал Следственному комитету письменное заявление, сообщив, что в Пажеском корпусе, где он воспитывался, существовало тайное общество «Квилки» из 8—10 пажей. Организатором его был друг Бестужева Александр Креницын, зачинщик так называемого Арсеньевского бунта, разжалованный царем в рядовые. Это заставляет думать, подчеркивал Гангеблов, «что небольшое общество сие было отраслью Тайного Общества».

26 апреля Александру Бестужеву было предложено четыре подробных «вопросных пункта», требовавших раскрытия целей общества, его связей, имен членов. На все вопросы Бестужев дал отрицательный ответ.

«ОТВЕТ. Причиною связи моей с Креницыным была литература. Не имея еще тогда знакомства с известными литераторами, я как начинающий искал знакомства с начинающими, а Креницын в то время между учениками имел некоторую известность. О том, что у пажей было общество, что оно называлось Квилками и что Креницын был главою оного — слышу впервые. Если что и было, то верно столь затей его были ребячественны, что Креницын не смел мне и сказать о том, хотя впрочем и мне тогда было только 20 лет. В начале 1819 года Креницын был разжалован в солдаты и с тех пор я не имел о нем никакого слуха, не только с ним переписки. И так дружба наша как плод ребячества кончилась...

Что же касается до прикосновения нашего общества к пажескому, — оного не могло быть ни по каким отношениям. Правила первого известного Комитета, вероятно ли же, чтобы оное приняло в состав свой школьников? Круг наш, правда, состоял из молодых людей, но уже испытанного характера и чистой нравственности, не из беспутных шалунов. И я знаю утвердительно, что общество наше ни прямого, ни косвенного влияния не только на подобные общества, но и вообще на учебные заведения не имело. Я же был знаком с Креницыным в 1818 году, а принят в общество в конце 1823-го. Следственно, через меня сношений никаких быть не могло.

В заключение скажу, что во время нашего знакомства ни я (ни тем менее Креницын) не имели понятия о либерализме — все наше вольнодумство ограничивалось Вольтером и эпиграммами и окомое веселостей [мы] ни о чем не думали. Вследствие чего и думаю, что если сказанное общество

в самом деле существовало, то верно цель его не стремилась далее стен корпуса и пажеских затей: голова Креницына была слишком слаба, чтобы замысливать что-либо важное.

Штабс-капит[ан] Алекс[андр] Бестужев». Показание Бестужева, хранящееся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции в Москве, никем не исследовалось. Отрывочные же публикации его не содержали достаточных для анализа фактов. А между тем изучение документа показывает, что Бестужев так и не сказал следствию всей правды.

Почему же человек, который вообще-то, по мнению Следственного комитета, «в ответах был весьма чистосердечен», в данном случае изменил своему правилу? Может, боялся наконец, что дальнейшим откровением он усугубит свою вину? Нет! Ложь во спасение собственной персоны была глубоко чужда ему. Ложь, а сказать точнее, святая неправда потребовалась Бестужеву, чтобы извинить своего друга, «неблагонадежного» Креницына от нового, еще более сурового наказания.

Михаил Семевский, близко знавший Креницына, сообщил в одной из статей, что Креницына познакомили с А. Бестужевым сыновья известного слача Лукина. Как удалось установить, ими оказались однонашки Креницына по корпусу Константи и Николай Лукины, вхожие в дом Бестужевых. Их знакомство, по словам того же автора, состояло в бытность Бестужева юнкером лейб-драгунского полка. Следовательно, это могло произойти где-то между апрелем 1816 и ноябрем 1817 года. Но, поскольку Бестужев утверждает, что во время знакомства с Креницыным ему было только 20 лет, будем считать, что впервые они встретились в октябре—ноябре 1817 года. Последнюю же встречу можно датировать мартом — началом апреля 1820 года, потому что после Арсеньевского бунта (10 апреля) Креницын был отправлен в «темную» и вскоре выслан из Петербурга.

Теперь становится совершенно очевидным, что дружба Бестужева с Креницыным продолжалась не около года, как он написал в «Ответе», а более двух лет. Разница! Драгунский полк стоял тогда в Петергофе, Пажеский корпус находился в Петербурге, и, несмотря на неблизкое расстояние, друзья, по словам Михаила Бестужева, встречались часто. Это верный признак того, что их знакомство быстро переросло в прочную привязанность друг к другу.

В одной из эпиграмм на Александра Бестужева говорится, что у него «ум — острый, как булат, и мысль — алмаз». И преувеличения здесь, видимо, нет. Он действительно был человеком острого ума, разносторонне образованным. Креницын не мог не восхищаться смелостью и убедительностью суждений Бестужева. Привлекала и спокойная уверенность в себе, и веселость друга, не унывавшего ни при каких обстоятельствах.

А каким предстал перед юнкером Бестужевым паж Креницын?

Несомненный поэтический талант, незаиссямый характер, благородство помыслов — все это импонировало Бестужеву, и он искренне привязался к необычному пажу. Об этом сохранилось документальное свидетельство — стихотворное послание Бестужева, с которым он обратился к Креницыну примерно через год после знакомства. Автор называет приятеля то «другом», то «другом любезным».

Но Бестужев не только поощрял талант, заботился о его развитии, но и помогал Креницыну. Думается, не без его содействия дебютировал Креницын в 1819 году в «Сыне отечества», где год назад уже начал печататься Бестужев. Подчеркиваю: поощрял и помогал, но отнюдь не писал за него стихи, как утверждает в своих воспоминаниях опубликованных в 1888 году, Гангеблов.

Далее. Бестужев представил дело так, что в ту пору он и «тем менее Креницын» понятия о либерализме не имели и все их «вольнодумство ограничивалось Вольтером» (под-

¹ Он родился в октябре 1797 года — Е. С.

разумевалась его ранняя лирика, проникнутая эпигуризмом) и что они «кроме веселостей ни о чем не думали». На первый взгляд все вроде бы так и было. Например, в том же послании «К Креницыну» он писал: «Последуй дружества совету: поставь лишь радости за мету». Но только на первый взгляд!

Литературную деятельность Бестужев начал как переводчик. И весьма показательно, что, по крайней мере, к середине 1818 года Александра Бестужева волновали совершенно определенные общественные идеи. Поэтому-то он вполне сознательно и избрал для перевода ту главу из трехтомного труда баварского посланника при российском дворе графа де Брея, в которой автор раскрыл тяжелое положение русского крестьянства при крепостном праве.

Прогрессивная общественная позиция писателя получила дальнейшее развитие в его критических публикациях — позиция противника деспотического царского режима.

Чтобы окончательно убедить следствие в неспособности друга к серьезным делам, Бестужев подчеркнул в конце, что «голова Креницына была слишком слаба, чтоб замышлять что-либо важное». Однако многие факты убеждают в обратном. На основании их известный советский литературовед Н. И. Мордовченко пришел к выводу, что «из друзей Бестужева, в общении с которыми укрепилось его вольнолюбие, в первую очередь нужно назвать поэта А. И. Креницына». И верно. Начав с критики высокопоставленных лиц («Панский бульвар»), Креницын вскоре четко сформулировал свое жизненное и поэтическое кредо: «Долг благородных душ — порок изобличать» («К врагам»). После публикации этого стихотворения не прошло и года, а его автор уже становится зачинщиком бунта, направленного против телесных наказаний воспитанников корпуса. И это далеко не случайное явление, ведь Креницын был главой корпусного тайного общества.

Относительно пажеского кружка вольнодумцев сложилось в литературе устойчивое мнение как об организации не очень серьезной, ученической в самом обыденном понимании слова, цель которой, по утверждению Бестужева, верно, «не стремилась далее стен корпуса». Но вряд ли это справедливо. Во-первых, потому, что, как писал в заявлении Гангблов, в общество входили «пажи, вышедшие уже из ребяческого возраста». Креницыну же было тогда лет 18-19. Во-вторых, школу ребяческих затей Креницын прошел значительно раньше в «Обществе мстителей», организованном Е. Баратынским и просуществовавшем до 1816 года. И, наконец, в-третьих, Креницын был способен и на нечто большее, чем ребяческие проказы. Ведь не зря же корпусное на-

чалство считало, что у него «самый вредный образ мыслей».

Знал ли Бестужев о существовании пажеского общества? На вопрос он заявил без обиняков, что слышит об этом впервые. Но у нас теперь есть все основания, чтобы не верить его утверждению. В самом деле, если заключенный вполне сознательно встал на путь сокрытия правды, то он не мог признать в том, что знал о тайных собраниях пажей. В противном случае он обязан был, как требовал Следственный комитет, сообщить и цели, и статут общества, и назвать его членов. А это значило бы поставить под удар не только Креницына, но и бывших его сообщников.

Последнее замечание. В «Ответе» содержится также утверждение о том, что переписки с Креницыным Бестужев не имел. Если это так, тогда непонятно, зачем же 18 мая 1820 года Бестужев выяснял у их общего корпусного приятеля Ростовцева адрес Креницына. Не ради же светской пристойности присылал он в корпус своего человека с запиской, в которой как бы извинялся за то, что не мог прибыть лично по причине нездоровья. Нет! Бестужев был обязательным человеком, преданным товарищем. Поэтому логичней всего предположить, что как старший по возрасту (разница в четыре года), как наставник юного друга он остро почувствовал в майские дни двадцатого года свою моральную ответственность за попавшего в беду товарища.

Заявление Следственному комитету Гангблов предвзвирал самонадеянной фразой: «Недавно вспомнил я об одном предмете, который хотя и кажется маловероятным, но по некоторым причинам может вести к новым открытиям». Однако никаких ожидаемых «открытий» не произошло. Бестужеву, человеку смелому и благородному, удалось-таки провести следователей, и Креницын избежал нового наказания. Опасность же, нависшая над ним, была вполне реальной и грозной. В одном из наших архивов в материалах Следственной комиссии хранится список 16 военнослужащих, «остающихся... в подозрении, но еще не взятых». В этом списке фигурирует и фамилия Александра Креницына.

Да, «взять» его не удалось, но в глазах Николая I он все равно остался заговорщиком. Имя Александра Николаевича Креницына было включено в черную книгу царизма — Алфавит декабристов. По увольнении же Креницына от военной службы царь приказал учредить над ним строгий секретный полицейский надзор, который затянулся на долгие восемь лет.

Друзья мятежной юности — Бестужев и Креницын — до конца дней своих сохранили друг к другу чувства взаимной признательности и уважения.

Евг. СТЕПАНОВ

◆ НУРЕК-84

Подарки чешских друзей

Нурекская библиотека «Дружбы народов» пополнилась рядом книг чешских друзей.

Книги «Прага» и однотомник Ярослава Гашека «Рассказы и фельетоны» подарили нурекчанам первый секретарь чешского Центрального комитета Союза чехословацко-советской дружбы Милан Гранде и ответственный сотрудник Союза Ярослав Дашек.

На книгах автографы: «Дружбинской библиотеке в юном интернациональном го-

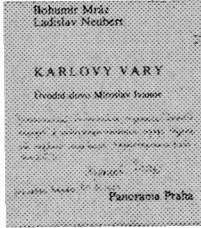
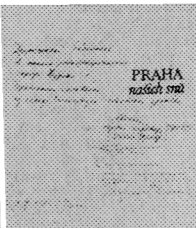
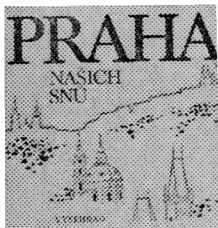
роде Нуреке с братскими чувствами от Союза чехословацко-советской дружбы.

Милан Гранде.
Ярослав Дашек.
3.7. 1984 г. Прага».

Книгу «Карловы Вары» посылает в Нурек первый секретарь Карловарского райкома Компартии Чехословакии Ярослав Гаяр.

На книге автограф:

«Знаменитой библиотеке журнала «Дружба народов» в интернациональном городе



Нуреке от первого секретаря Карловарского райкома КПЧ.

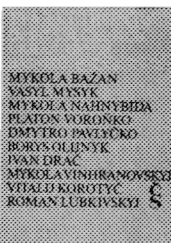
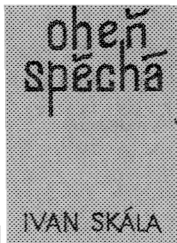
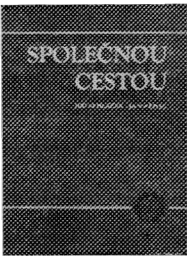
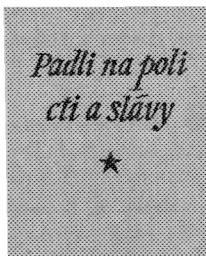
Ярослав Гаýар.

Карловы Вары. 29.VI. 1984.

Книгу, посвященную памяти советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии, дарят нурекчанам директор издательства «Лидове накладательство» Ян Новак и главный редактор издательства Магда Гайкова.

Книги нурекчанам посылают секретарь чешского Союза писателей Богумил Ногейл, директор чешского Литературного фонда Отакар Ланц, активисты Союза чехословацко-советской дружбы Дана Плачкова, Светлана Михнова, Гелена Райцова, Соня Майстерова, Милена Витнерова, Ладыя Петри-ла, Власта Марашова, Ирэна Махачкова, Любош Нехватал, Антонин Урбан.

В последнее время книги с автографами подарили Нурекской библиотеке И. Руж, Д. Руж (НРБ), Ж. Карай (ВНР), Г. Миллер, К. Миттельштут (ГДР), А. Рейнфранк, К. Рейнфранк (ФРГ), Н. Кузов, С. П. Фалеев, И. С. Назаренко, М. Ф. Капелюха, Л. И. Федосеева, Л. В. Никольская, С. Э. Аветисов, Н. П. Вассар, М. И. Энк, Т. А. Морозова, Е. Е. Зубова, О. Ю. Барбасова, Е. К. Ганькин, С. В. Годунов, Е. Б. Петрова, Р. В. Гальян, С. Г. Колесов, М. Е. Каневский, Д. В. Кан, Е. В. Анисенков, М. Я. Цветкова, Т. П. Тихомов, Я. П. Большаков, К. С. Садоев, В. Ф. Дьячков, Р. В. Галеев, Г. С. Цева, М. Д. Волков, П. И. Комаров, Г. М. Акиншин, Д. С. Пыжов, Н. Н. Андреев, Ю. Ф. Щеглов, Б. С. Карпов, Е. М. Якобсон, Ю. Н. Выборнов, Ю. Логвин, А. Грибаускас, Н. Стещенко, А. Баянов, В. В. Львов, Н. И.



Нетесина, Г. Помазнов, А. Тер-Маркарян, В. Н. Прус, Евг. Лучковский, В. Рысцов, Е. В. Стоянская, М. Дадажанова, М. Ногтева, А. Кантор, С. С. Толстов, А. Галуев, Н. Джумаев, В. Штейнберг, Л. Мамаев, М. С. Крюков, Н. Кондратьевская, Ю. Брагин, Г. Губанов, Г. В. Басов, Б. Н. Алексеев, Д. Н. Крылов, В. Н. Ильин, В. Н. Белоног, Е. М. Забродина, Н. П. Дмитриев, А. Ф. Москитина, Н. В. Суслова, В. Н. Нехлюев, М. М. Краснов, И. Б. Дунаева, Е. А. Панкова, С. С.

Хадышьян, М. С. Грачева, Д. Ю. Грушко, Ф. И. Каширин, М. С. Пермяк, К. Е. Теракопьян, П. Гриднев, Г. Кондаков, П. Гальбак, И. Я. Сенькова, Н. С. Северцев, В. Шеметев, В. Т. Оганесян, Р. В. Гальянов, З. В. Феоктистова, Т. Н. Мельникова, К. И. Серебровский, О. Н. Стукалов, А. В. Бак, Ю. Н. Воронин, А. А. Тюрина, В. С. Лысенко, Э. Г. Штейнберг, В. Г. Попов.

В создании уникальной нурекской коллекции приняли участие уже 10 714 человек.

О НАШИХ АВТОРАХ

●

ДИБАШ КАИНЧИН. Родился в 1938 году в селе Яконур Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Автор книг: «Люди одной долины», «Деревня», «Его земля», «Чабаны» и других. Живет в селе Яконур Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области.

●

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ. Родился в 1922 году в селе Сладкое Яшалтинского района Калмыцкой АССР. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Первый сборник стихов на калмыцком языке «Стихи юности» опубликован в 1940 году. Автор многих поэтических сборников: «Любовь и война», «Моабитский узник», «Глазами сердца», «Бамба и красавица Булгун», «Заслужить бы друга любовь...», «Равные солнцу», «Я твой ровесник», «Дальние сигналы», «Избранные произведения» в 2-х томах, «Близь и даль», «Возраст», «Разнотравье», «Зов апреля» и других. Участник Великой Отечественной войны. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. Народный поэт Калмыкии. Живет в Элисте.

●

АНАТОЛИЙ ДИМАРОВ. Родился в 1922 году в Миргороде Полтавской области. Учился во Львовском педагогическом институте. Начал печататься в 1944 году. Первая книга «Гости с Волыни» вышла в 1948 году. Автор книг повестей и рассказов: «Для чего человеку сердце», «На поруки», «Выстрел Ульяны Кашук» и других; романов: «Его семья», «Идол», «Будут люди». За трилогию «Боль и гнев» удостоен Государственной премии УССР имени Тараса Шевченко. Участник Великой Отечественной войны. Живет в Киеве.

●

ВИКТОР БОКОВ. Родился в 1914 году в деревне Язвицы Загорского района Московской области. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Начал печататься в 1934 году. Автор многих сборников стихов, среди них «Яр-хмель», «Заструги», «Ветер в ладонях», «Лирика», «У поля, у моря, у рек», «Когда светало...», «Стихотворения и песни», «Стежки-дорожки» и другие, книги прозаических миниатюр «Над рекой Истермой. Записки поэта». Живет в Москве.

СОДЕРЖАНИЕ

ДИБАШ КАИНЧИН. С того берега. Повесть. С алтайского. Перевод Е. Гущина	3
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ. Град в Венеции. Поэма. С калмыцкого. Перевод Юлии Нейман	45
АНАТОЛИЙ ДИМАРОВ. Рассказы. С украинского. Авторизованный перевод К. Григорьева	52
ВИКТОР БОКОВ. Даль прекрасна, и манит дорога! Стихи	105
БОРИС МЕГРЕЛИ. Без всяких полномочий. Роман. Окончание	108
ОЛЕГ САЛТУК. Моя земля. Стихи. С белорусского. Перевод И. Васильевского	187



АКТУАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ

А. М. ЛЕОНТЬЕВ, А. В. ЕМЕЛЬЯНОВ. Кадры. Беседу записал А. Никишин	188
--	-----



ОТ НУРЕКА — К РОГУНУ

ВЛАДИМИР ГРУДСКИЙ. Байпазинская ступень. Рабочая хроника одной стройплощадки	196
---	-----



ГЛОБЕУС «ДН»

ЭРНСТ ГЕНРИ. Кто вооружает Японию	215
--	-----



ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ. ...И снова в пути. К нашей вклейке	223
--	-----



КРИТИКА

А. ОВЧАРЕНКО. Из аила во Вселенную. О творчестве Чингиза Айтматова	225
АТНЕР ХУЗАНГАЙ. «Сто тысяч слов»... Или диалектика обновления	236



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД: ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Т. ВОЕВОДИНА. Муки теоретиков	245
--------------------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

А. ЗИСЬ. Действенность теории. З. КЕДРИНА. Публицист. Романтик. Драматург. Э. МОРОЗ. Всему свое время. Л. ПУСТИЛЬНИК. Вести о свободе. ГУРАМ ГВЕРДЦЕЛИ. Новая встреча со старыми знакомыми. НАТАЛЬЯ ИВАНОВА. Огонь над черным бродом. РАФАЭЛЬ МУСТА-ФИН. Что значит: перевод, отвечающий оригиналу!

253

ДНЕВНИК «ДН»

ЕВГ. СТЕПАНОВ. Чего не сказал на допросе Александр Бестужев...
НУРЕК-84. Подарки чешских друзей

267

О НАШИХ АВТОРАХ

270

На обложке: на второй странице — А. РЫБАЧУК, В. МЕЛЬНИЧЕНКО. Труд. По мотивам поэзии Л. Первомайского. На третьей странице — А. РЫБАЧУК, В. МЕЛЬНИЧЕНКО. Иллюстрация к сборнику стихов Микола Брата «Небо над долиной».

На вклейке: из произведений украинских художников А. РЫБАЧУК и В. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Технический редактор А. ЛЕРНЕР

Художественный редактор А. МАРКОВ

Адрес редакции: 121827 ГСП. Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Телефоны: главный редактор и первый заместитель главного редактора — 291-62-27, заместитель главного редактора и зав. редакцией — 291-62-49, ответственный секретарь — 202-52-03, отдел прозы — 291-63-63, отдел поэзии — 291-85-10, отдел публицистики — 291-63-54, отдел критики и библиографии — 291-05-09, отдел художественного перевода и отдел культуры и искусства, редактор приложений — 291-64-50.

Сдано в набор 14.09.84. Подписано в печать 26.10.84. А 07500. Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Балтика». Печать высокая. Объем 17 п. л. Усл. печ. л. 23,8. Усл. кр.-отт. 26,25. Уч.-изд. л. 26,50. Тираж 153,350 экз. Зак. 3181. Цена 1 руб. 10 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов»
103791 ГСП Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.



А. РЫБАЧУК, В. МЕЛЬНИЧЕНКО.

**Иллюстрация к сборнику стихов
Микола Брата «Небо над долиной».**

Цена 1 руб. 10 коп.

Индекс 70250